Христа распинают вновь

Казандзакис Никос

НИКОС
КАЗАНДЗАКИС
ХРИСТА
РАСПИНАЮТ
ВНОВЬ

Образ Христа интересовал Никоса Казандзакиса всю жизнь. Одна из ранних трагедий «Христос» была издана в 1928 году. В основу трагедии легла библейская легенда, но центральную фигуру — Христа — автор рисует бунтарем и борцом за счастье людей.

Дальнейшее развитие этот образ получает в романе «Христа распинают вновь», написанном в 1948 году. Местом действия своего романа Казандзакис избрал глухую отсталую деревушку в Анатолии, в которой сохранились патриархальные отношения. По местным обычаям, каждые семь лет в селе разыгрывается мистерия страстей Господних — распятие и воскрешение Христа.

НИКОС КАЗАНДЗАКИС И ЕГО РОМАН «ХРИСТА РАСПИНАЮТ ВНОВЬ»

Десять — пятнадцать лет тому назад творчество греческого писателя Никоса Казандзакиса перешагнуло границы своей родины и получило мировую известность. Его лучшие произведения, и в первую очередь романы, одно за другим переводятся на различные языки, неизменно вызывая интерес широких кругов читателей.

Казандзакис — один из тех писателей, кому было суждено еще при жизни обрести мировое признание и славу. Герои многих его произведений — сильные, отважные люди, наделенные необыкновенными способностями и титанической энергией, всегда готовые пожертвовать собой ради свободы и счастья своего народа.

Таким борцом, искателем правды и справедливости, был сам Казандзакис. Его искания были честными и мученическими; он часто сбивался, блуждал в потемках, но потом с новой энергией устремлялся вперед.

Великие общественные преобразования в России, явившиеся результатом Великой Октябрьской социалистической революции, оказали большое влияние на Казандзакиса. Со временем это влияние все больше и больше проявляется как в творчестве писателя, так и в его мировоззрении. Последующая победа миролюбивых сил в антифашистской борьбе, установление нового общественного строя в ряде стран Европы и Азии, наконец могущественное движение народов за сохранение и упрочение мира, их стремление к свободе и прогрессу окончательно привели писателя в ряды великого лагеря мира. Казандзакис активно включается в борьбу за мир и призывает народы с еще большей энергией бороться против происков поджигателей новой войны. «Свободе и миру, — говорил писатель при вручении ему премии Всемирного Совета Мира, — постоянно грозит опасность. Наш долг — ежеминутно мобилизовывать все силы на их защиту, зорко охранять их».

От изображения одинокого бунтаря-сверхчеловека к показу широких слоев народа, от трагедии к роману, наконец, от мучительных исканий к сознательному участию в борьбе за мир и народное счастье — такова эволюция Казандзакиса, писателя и человека.

Никос Казандзакис родился 18 февраля 1883 года в городе Гераклионе на острове Крите, в семье землевладельца. Во время критского восстания 1889 года против турецкой тирании Казандзакис вместе с семьей покидает родные места и находит убежище в Пирее, где впервые знакомится с тяжелой жизнью беженцев. Вернувшись в Гераклион, он учится в гимназии, а в 1902 году переезжает в Афины и поступает на юридический факультет Афинского университета, который и заканчивает с отличием в 1906 году.

Свою литературную деятельность Казандзакис начал как автор драмы «Рассветает», поставленной в 1907 году на сцене театра «Афинеон», и новеллы «Змея и лилия», подписанных псевдонимом Кармас Нирвамис.

Последующие годы он проводит в Париже, некоторое время путешествует по Италии, а в 1910 году переезжает в Афины и издает там ряд своих произведений. Одно из них — «Старый мастер» — было переделано известным греческим композитором Каломирисом в «Музыкальную трагедию» и поставлено на сцене Национального театра. С 1911 года много времени он отдает переводам на новогреческий язык западноевропейских историков, философов и историков литературы.

В 1914 году Казандзакис знакомится с одним из самых замечательных греческих поэтов — Сикеляносом. Они становятся друзьями и вместе мечтают о создании новой религии. В поисках новой религии Казандзакис считает себя продолжателем дела великого русского писателя Л. Н. Толстого. В своем дневнике он пишет: «…меня взволновал Толстой. Его трагическое бегство — признание поражения. Он хотел создать религию, но создал лишь романы и искусство. Суть стремлений Толстого — это и мое занятие… Я начну оттуда, где остановился Толстой».

В начале 20-х годов он задумывает написать несколько трагедий, и среди них — «Будду», «Одиссея», «Христа».

В эти годы беспокойная душа Казандзакиса все чаще и чаще обращается к северу — к молодой Советской республике. В 1922 году писатель начинает изучение русского языка, а с октября 1925 по январь 1926 года находится в Советском Союзе в качестве специального корреспондента афинской газеты «Элефтерос логос». В 1927 году Казандзакис снова приезжает в СССР, теперь уже по приглашению советского правительства. В Москве он знакомится с Анри Барбюсом, Кларой Цеткин и другими прогрессивными деятелями.

Возвратившись в Грецию, Казандзакис решает включиться в политическую жизнь страны, предпринимает шаги к созданию социалистической организации в Греции, но преследования греческого суда заставляют писателя отказаться от своего намерения.

В следующем году Казандзакис снова посещает Советский Союз, где знакомится с А. М. Горьким. В Москве писатель публикует в «Правде» статьи о политическом положении в Греции. Здесь же им создан сценарий «Ленин».

В 1930 году он заканчивает и издает «Историю русской литературы», переводит на греческий язык «Божественную комедию» Данте, «Фауста» Гете, «Отелло» Шекспира, сочиняет песни, посвященные Ленину. В 1938 году он завершает монументальное произведение из тридцати трех тысяч трехсот тридцати трех строк семнадцатисложного размера, своего рода эпопею XX века — «Одиссею».

В период немецкой оккупации (1941–1944) Казандзакис живет на острове Эвбея, где заканчивает трагедию «Будда», впоследствии переделанную и переименованную им в «Янцзы», начинает роман «Житие Зорбаса», переводит на новогреческий язык совместно с филологом Какридисом «Илиаду», пишет трагедии «Каподистриас», «Константин Палеолог».

В 1946 году Казандзакис уезжает в Западную Европу и здесь — в основном во Франции, временами в Западной Германии — живет последнее десятилетие своей жизни. Именно в эти годы написаны его лучшие произведения — романы «Христа распинают вновь» и «Капитан Михалис».

Еще в 1945 году «Союз греческих писателей» выдвинул Казандзакиса кандидатом на Нобелевскую премию. Но официальная Греция постаралась сделать все возможное, чтобы помешать присуждению писателю заслуженной награды, и добилась своего. Больше того, Казандзакис не был принят даже в члены греческой Академии, чему он, кстати сказать, искренне радовался.

Зато среди широких кругов читателей различных стран творчество Казандзакиса начинает пользоваться все большим успехом. Его произведения получают высокую оценку прогрессивной критики, а 28 июня 1956 года, по решению Всемирного Совета Мира, Казандзакис был награжден Международной премией мира.

В 1957 году по приглашению правительства Китайской Народной Республики он посещает Народный Китай. Тепло и дружески отзывается греческий писатель об этой замечательной стране. (Он собирал материал для книги о Китае, но смерть помешала осуществлению этого замысла.) Из Китая Казандзакис направляется в Японию. В Европу он возвращается тяжело больным. Узнав о его болезни, китайское правительство прислало ему теплую телеграмму и большую сумму денег, заявив о своем намерении оплачивать все дальнейшие затраты, связанные с лечением писателя. Казандзакис вернул деньги с благодарностью и послал правительству Китая ответную телеграмму: «Мне достаточно вашей моральной поддержки. Деньги же разрешите вернуть обратно. Китайский народ нуждается в них больше».

Не успев окрепнуть после перенесенной болезни, Казандзакис снова тяжело заболел азиатским гриппом и умер во Фрейбурге 26 октября 1957 года. Тело его было перевезено в Грецию и торжественно похоронено на родине писателя, в городе Гераклионе.

Казандзакис испробовал свои силы в самых разнообразных литературных жанрах. Начав свою деятельность как новеллист, драматург, переводчик, историк литературы, он вскоре стал известен как автор многочисленных путевых заметок, а позже заслужил мировое признание как один из крупнейших романистов своего времени.

Казандзакис долго и упорно работал в жанре трагедии, обращаясь к нему снова и снова в течение всей своей жизни. Писателя всегда волновали образы выдающихся исторических деятелей, герои библейских легенд. Но он не просто пересказывает эти легенды, не ограничивается воспроизведением исторических событий и лиц, а творчески переосмысливает их, создает образы сильных людей, влияющих на ход исторических событий.

В обрисовке этих образов сказалось увлечение автора философией Ницше, сильно повлиявшей на формирование мировоззрения писателя в ранний период его творчества. Однако следует подчеркнуть, что Казандзакис никогда не являлся чистым идеалистом (равным образом и чистым материалистом), а всегда оставался эклектиком, причем после второй мировой войны в его мировоззрении стали преобладать материалистические тенденции.

Если уж говорить о философских взглядах Казандзакиса, то следует подчеркнуть, что, будучи талантливым писателем, он так и не сумел до конца разобраться в сложных философских вопросах. Он изучил множество философских систем, как идеалистических, так и материалистических, но, боясь оказаться в плену какой-нибудь одной из них, стал на путь эклектизма. Именно этим объясняются глубокие противоречия, присущие мировоззрению писателя и отразившиеся в образах некоторых его героев. Но постепенно идеи научного социализма, дух нашей эпохи оказывают все большее влияние на Казандзакиса, и к концу своей жизни он вполне сознательно связывает свою судьбу с силами мира и прогресса.

Одна из ранних трагедий Казандзакиса «Христос» была издана в 1928 году. Отдельные мотивы, отдельные ее образы перейдут впоследствии в другие произведения Казандзакиса. В основу трагедии легла библейская легенда, но центральную фигуру — Христа —

автор рисует бунтарем и борцом за счастье людей, убежденным в том, что мир и счастье могут быть завоеваны только в результате упорной и кровавой борьбы, к которой он и призывает людей:

Я несу вам мир, но его ноги утопают по колена в крови.
Я несу вам любовь, но она подобна мечу над вашей головой.

В трагедии «Константин Палеолог» идея борьбы достигает своего апогея. Понимая неизбежность поражения, главный ее герой все равно продолжает бороться и любуется романтикой этой безнадежной борьбы ряди борьбы.

В трагедии «Христофор Колумб» ясно угадывается влияние многочисленных идеалистических философских систем на мировоззрение Казандзакиса. Когда соратники Колумба, не веря в успех задуманного им предприятия и не желая больше испытывать лишений, уговаривают его вернуться на родину, Колумб — совсем в духе субъективных идеалистов — отвечает: «Я родился для того, чтобы открыть новую страну. Я существую; значит, и она, эта неведомая страна, существует тоже».

Трагедии Казандзакиса не имели большого значения для развития греческого театрального искусства. Но они небезынтересны как литературные произведения, ибо характеризуют и творчество писателя, и его идеологию на определенном этапе. Их герой — сильная личность, бунтарь, смело идущий навстречу смерти, знающий, что он одинок и поэтому бессилен перед превосходящей силой противника. Но его трагическая гибель сама по себе часто является энергичным протестом и одновременно стимулом для дальнейшей борьбы.

Самым большим по объему произведением Казандзакиса является «Одиссея» — монументальная эпопея, над которой он работал с перерывами в течение пятнадцати лет… Казандзакис заставляет гомеровского героя продолжить свои скитания по миру, знакомит его с новыми странами и народами, вкладывает в его уста критические замечания об их образе жизни. Преодолев неимоверные трудности, став свидетелем многих печальных и страшных событий, Одиссей решает построить некий «идеальный город». Однако испытания и невзгоды даже здесь не покидают героя. Землетрясение и извержение вулкана разрушают город, один за другим гибнут товарищи Одиссея, и он вынужден снова пуститься в странствия по белу свету.

Известный греческий поэт Никифорос Вреттакос очень метко определил значение «Одиссеи» такими словами: «„Одиссея“ — это вой в бездне. Это… картина отчаявшегося человека XX столетия». Таким «отчаявшимся» очень часто оказывался и сам Казандзакис. Ему тоже довелось много скитаться, блуждать, колебаться, долго искать выхода, но, в отличие от большинства буржуазных интеллигентов, он никогда не терял веры в неиссякаемые силы народа и не прекращал борьбы. «Сущность нашего бога, — писал Казандзакис, — это борьба. В ней разворачиваются и действуют боль, радость и надежда».

Последнее десятилетие жизни писателя — наиболее значительный и плодотворный период его творчества. За эти годы писатель создал романы, которые, собственно, положили начало его широкой известности за рубежом и заставили греческую общественность взглянуть на творчество Казандзакиса иными глазами. Правда, после опубликования этих романов у писателя появились многочисленные враги в лице святой церкви и ее служителей. В 1953 году греческая церковь требует принятия срочных мер против автора романов «Капитан Михалис» и «Христа распинают вновь», а в 1954 году папа римский заносит роман «Последнее искушение» в индекс запрещенных книг.

Все романы Казандзакиса тесно связаны с его предыдущим творчеством. Но это, конечно, не просто варианты прежних произведений, — мы видим эволюцию как в мировоззрении, так и в творческом методе писателя. Романы характеризуются простотой композиции, ярким, красочным, предельно ясным языком, изобилующим меткими эпитетами и богатыми, точными сравнениями. Многолетний писательский опыт, прекрасное знание жизни греческого народа, обширные познания в области литературы привели к тому, что именно в жанре романа нашел Казандзакис свое истинное призвание.

Еще в 1941 году — во время фашистской оккупации — Казандзакис начинает писать роман «Житие Зорбаса», а в 1946 году издает его почти одновременно в Греции и во Франции под названием «Жизнь и дела Алексиса Зорбаса».

Основная тема романа: отношение к жизни его главных героев — Зорбаса и самого Казандзакиса. Поступки этих героев, их беседы служат автору тем материалом, с помощью которого он раскрывает сущность их мировоззрения.

Участие Зорбаса в войнах Греции с Турцией и Болгарией, зверства, чинимые греческой армией, свидетелем, а иногда и участником которых стал герой романа, раскрыли ему глаза на грабительский характер этих войн. Он приходит к отрицанию буржуазного отечества, к своеобразному интернационализму. «Много несправедливых и злых дел совершил я во имя родины, — говорит Зорбас. — Я резал людей, грабил, поджигал деревни, бесчестил женщин и опустошал дома… А из-за чего? Из-за того, что это были турки или болгары. Тьфу, пропади ты пропадом, — я так часто проклинаю себя. Зато теперь я набрался ума-разума.

Теперь я смотрю на людей и говорю: вот этот человек хороший, а этот — плохой. А болгарин он или грек — это мне безразлично».

Однако, несмотря на кажущуюся простоту, образ Зорбаса сложен и противоречив. Часто этот человек искренне прощает всех своих врагов, руководствуясь в своих поступках самыми гуманными и благородными побуждениями. Но иногда он проникается жесточайшей ненавистью и презрением к людям: «Человек — это зверь! Страшный зверь!.. Ты причинил ему зло — он уважает тебя и дрожит перед тобой. Но сделай ему добро — и он выколет тебе глаза!» Зорбас не верит ни в бога, ни в черта, ни тем более в человека. Он верит только в себя. И не потому, что считает себя лучше других, нет! Он и себя считает зверем и продолжает поступать по-звериному, потому что в окружающем его обществе все основано на звериных, волчьих законах. Наслаждайся жизнью — вот нынешний девиз Зорбаса.

Образ Зорбаса во многом схематичен, он лишь воплощение определенных идей автора. Сам Казандзакис в романе — полная противоположность Зорбасу. Он являет собой как бы духовное начало. Он философствует, спорит со своим героем, во многом оправдывает его поступки, хотя, конечно, ни на минуту не перестает считать его образ жизни неприемлемым для себя. Автор предчувствует неизбежность политических и общественных потрясений, но на вопрос, каковы будут эти изменения в общественной жизни, он еще не в состоянии дать ответ. И поскольку идеи автора еще недостаточно ясны, то и герои романа, будучи рупором этих идей, вышли несколько бледными и расплывчатыми.

Победа миролюбивых сил в антифашистской борьбе оказала решающее воздействие на дальнейшее формирование мировоззрения и личности Казандзакиса. С этих пор надежды и чаяния простых людей, их стремление к национальному и социальному освобождению получают широкое отражение в его произведениях. Героями романов Казандзакиса становятся люди мужественные и благородные, твердо верящие в торжество справедливости и социальною прогресса.

Национально-освободительная борьба соотечественников-критян против турецкого гнета послужила основой для создания превосходного романа «Капитан Михалис». В своем романе Казандзакис воспроизводит события на Крите в конце XIX столетия. Критяне не могут и не хотят больше жить под иноземным игом. Турецкие власти используют все — от запугивания и угроз до применения силы, — чтобы удержаться на Крите. Большая часть турок, особенно те, которые непосредственно общаются с греками, настаивают на более гибком обращении с местным населением, но турецкая верхушка подавляет малейшие проявления национального самосознания критян. Вражду между турками и греками усугубляет различие религиозных вероисповеданий. Турки поджигают дома христиан, те отвечают тем же. Решение этого «спора» переносится на поле битвы. Главари греческих сел на Крите собираются на совещание. Они знают, что молодое греческое государство не в состоянии помочь им, а великие европейские державы не пожелают испортить отношения с султаном. Но тем не менее они решают бороться, опираясь только на свои собственные силы. Турецкое правительство перебрасывает войска на мятежный остров, — теперь перевес турок становится очевидным. Архимандрит обращается к главарям партизанских отрядов с просьбой сложить оружие. Все подчиняются. Только капитан Михалис со своим отрядом продолжает героически сопротивляться и в конечном счете гибнет в неравной борьбе.

Трагический финал романа является одновременно и оптимистическим началом. С одной стороны, это объективное отражение реальной расстановки сил в ту эпоху и непреклонная вера критского народа в свое освобождение. С другой — такой финал помогает Казандзакису подтвердить одно из своих любимых положений: «В этом мире существует тайный закон. Этот закон жесток и не терпит нарушений: вначале зло всегда торжествует, но в конце концов всегда оказывается побежденным. Необходима долгая борьба, много пота и крови для того, чтобы человек завоевал свои права. Свобода — это самая большая драгоценность…»

Одним из лучших романов Казандзакиса по праву считается его роман «Христа распинают вновь». Роман был переведен на многие европейские языки, а в 1958 году — на украинский язык.

Образ Христа интересовал Казандзакиса всю жизнь. Но традиционный библейский Христос превращается у него в неутомимого борца за счастье народа, защитника и покровителя всех обиженных и угнетенных. Таков Христос в одноименной трагедии (1928). Дальнейшее развитие этот образ получает в романе «Христа распинают вновь», написанном в 1948 году.

Официальная Греция встретила новый роман Казандзакиса крайне враждебно, а «служители бога» грозили писателю отлучением от церкви. О причинах такой ненависти нетрудно догадаться — очевидно, не один преподобный отец узнал себя в образах попа Григориса или архиепископа, и, боясь разоблачения, святые отцы попытались расправиться с писателем.

Местом действия своего романа Казандзакис избрал глухую, отсталую деревушку в Анатолии, в которой еще сохранились патриархальные отношения. Название этой деревни — Ликовриси, что значит «волчий источник». Забитость и примитивные представления о мире характерны для большинства ее жителей. Ликовриси почти оторвана от остального мира, и единственным связующим звеном между ними является бродячий торговец Яннакос. Он информирует односельчан о том, что происходит за пределами Ликовриси. Даже о таком событии, как греко-турецкая война 1919–1922 годов и разгром греческой армии в Западной Турции, ликоврисийцы имеют очень смутное представление.

Если в центре романа «Капитан Михалис» стояла национально-освободительная борьба греков против турецкой тирании, то здесь писатель изображает борьбу между самими греками, разделившимися на два непримиримых лагеря: с одной стороны — сельская верхушка, возглавляемая попом Григорисом и поддерживаемая турецким агой и обманутым народом; с другой — бедняки и все те, кто убеждается в лицемерии богачей, в несправедливости существующих порядков и поднимается на борьбу за их изменение. Пробуждение сознания у части бедноты, расслоение крестьянства и зарождение классовой борьбы в селе Ликоврији — вот стержень, вокруг которого развертывается действие романа.

В Ликоврији царят спокойствие и мир. Поп Григорис — представитель бога в деревне, а зачастую и сам бог, — вместе с агой и богачами пожинает плоды честного труда односельчан, покорно подчиняющихся его распоряжениям. Между ростовщиком Ладасом и попом Григорисом иногда вспыхивают ссоры, но в конце концов они находят общий язык и внешнее спокойствие не нарушается.

По местным обычаям, каждые семь лет в селе разыгрывается мистерия страстей господних — распятие и воскрешение Христа. Такую мистерию должны были разыграть и в том году, о котором повествует роман. Долго обсуждали кандидатуры и наконец решили: Христа будет изображать пастух Манольос, Иуду — седельщик Панайотарос, грешницу Магдалину — распутная вдова Катерина, а Ладас и Патриархеас — Кайафу и Пилата. Были выбраны крестьяне на роли апостолов. И началась подготовка к мистерии.

Именно эта подготовка и чтение евангелия пробудили сознание героев романа и наглядно выявили расхождение между ханжескими словами и реальными делами сельской верхушки. Некоторые критики упрекали Казандзакиса в том, что возникновение борьбы крестьян за справедливость автор объясняет различным толкованием религиозных текстов. Нельзя с этим полностью согласиться, особенно если вспомнить высказывания Маркса и Энгельса о том, что классовая борьба в средние века нередко принимала религиозную окраску. А ведь жизнь в Ликоврији мало чем отличалась от средневековья. Кроме того, у необразованных крестьян не было ничего, кроме евангелия, поэтому оно и послужило первым толчком к тому, чтобы люди задумались над своей жизнью, над несправедливостью существующих общественных порядков, над лживостью морали сельских богачей.

Приверженность крестьян к патриархальному быту диктует вначале и примитивные формы борьбы. Однако, по мере ее развертывания, формы эти меняются и совершенствуются. Казандзакис стремится уловить внутреннюю логику событий, пытается выявить формы этой сначала стихийной, а затем вполне сознательной борьбы обездоленных крестьян против своих эксплуататоров.

Первые беседы между будущими апостолами и Христом — Манольосом, их стремление во что бы то ни стало понять и претворить в жизнь нужные им положения евангелия открывают как бы подготовительный период к будущим открытым схваткам. Часто в своих выводах и поступках они выходят далеко за пределы святого писания, и перед ними вырисовывается образ своего Христа — союзника бедняков и противника попа Григориса и вообще всех власть имущих.

Внешним толчком к более смелым рассуждениям, а затем и к открытой борьбе с несправедливостью послужил приход в Ликоврији пострадавших от турок беженцев и решительный отказ попа Григориса в какой бы то ни было помощи несчастным. Попа Григориса беспокоит не только то, что помощь беженцам отразится и на его собственных амбарах, но главным образом то, что пришельцы и их глава — поп Фотис, пострадавшие в греко-турецкой войне, могут зародить в сердцах ликоврисийцев ненависть к туркам и тем самым нарушить покой и репутацию сельских богачей в глазах турецкого начальства. Хитрый ход попа Григориса, объявившего погибшую от голода беженку умершей от холеры, помогает Манольосу и его друзьям правильно понять подлые действия попа.

По мере ухудшения положения беженцев, явившегося результатом явной вражды к ним попа Григориса, жители Ликоврији разделяются на два враждебных лагеря: в одном — богачи и ослепленная часть крестьян, в другом — горстка друзей Манольоса, стремящихся всеми силами помочь несчастным, временно поселившимся на горе Саракине.

Борьба между этими двумя лагерями разгорается сначала вокруг понимания и толкования образа Христа. И те и другие исходят из священного писания, но, по-разному его объясняя, каждый лагерь берет на вооружение только то, что созвучно его интересам и что может пригодиться в идейной борьбе с противником.

Характерны слова сына богача Патриархеаса Михелиса, ставшего на сторону беженцев: «Христос превратился у вас в какого-то деда Ладаса, в ростовщика, лицемера, хитреца, лжеца, труса, сидящего на сундуках с турецкими и английскими золотыми монетами. Ваш Христос вступает в сговор со всеми сильными мира сего, чтобы спасти собственную шкуру и кошелек! Наш Христос — бедный, гонимый, стучит во все двери, но никто ему не открывает... Наш босой Христос смотрит на голодных измученных людей и кричит: „Несправедлив, подл, безжалостен этот мир, и он должен быть разрушен!“»

Борьба принимает острый характер и превращается в открытую вооруженную схватку, когда поп Григорис отказывается признать силу закона за подписью Михелиса, объявив последнего умалишенным. Но Манольос, его товарищи и саракинцы готовятся силой оружия отвоевать свое право на земли, подаренные им Михелисом. Теперь и образ Христа принимает иной облик. В представлении замученных голодом и несчастьями людей — это борец, ненавидящий господствующие порядки и карающий зло. Яннакос, например, представляет себе Христа таким же разрушителем и поджигателем домов богачей, как и он сам: «Если бы Христос в наше время спустился на землю, на нашу землю, что бы он нес на плечах? Как ты думаешь? Крест? Нет! Бак с керосином». Так образ Христа теряет всякий религиозный смысл.

Не случайно в роли Христа выступает в романе пастух. Общественное положение Манольоса дает ему возможность сначала самому разобраться в грязных делах богачей, потом просветить своих товарищей и вместе с ними начать ожесточенную борьбу с защитниками старого мира. В связи с этим необходимо обратить внимание на то, что беженцы с самого начала (и опять-таки благодаря своему положению) без сомнений и колебаний борются за свои права на жизнь, за справедливое переустройство мира. В сущности, кроме своих рук и жгучей ненависти к турецкой тирании, у них ничего не осталось. Они-то и являются в настоящее время сельским пролетариатом.

Если проанализировать линию развития образов положительных героев Казандзакиса, нетрудно увидеть, что их путь к избавлению лежит через многочисленные искушения и жестокую внутреннюю борьбу. Только преодолев все это, они становятся по-настоящему свободными, стойкими в борьбе, подчиняя свои личные интересы общественному долгу.

Наиболее характерным в этом отношении является образ главного героя романа — Манольоса. После жестоких душевных мучений, долгих размышлений и споров с самим собой он жертвует большой и настоящей любовью ради общего дела. Но Манольос не только мужественный борец и пламенный агитатор. Он любит людей великой и благородной любовью, все его мысли и дела направлены на то, чтобы просветить их и привести на путь борьбы с несправедливостью. Венцом этой любви к людям является последняя страница его короткой жизни, когда он отдает себя на растерзание озверевшей толпы, спасая тем самым товарищей по борьбе.

Устами Манольоса писатель призывает: «Вперед! Настало время! Свобода или смерть! Наши права не отдают нам добром, мы завоюем их силой!» Любопытно, что на обвинение попа Григориса в «большевизме» он отвечает: «Если большевик — это то, что у меня в мыслях, значит, я большевик». Итак, Манольос не боится связать свое имя с самой прогрессивной идеологией нашего времени, и уже одно это свидетельствует о том, какую огромную эволюцию претерпело мировоззрение Казандзакиса в последние годы его жизни.

Борьба между чувством и долгом — движущая сила развития не только образа Манольоса, но и Катерины, Михелиса, Яннакоса, Костандиса, которые после многих ошибок, раздумий и колебаний становятся на сторону правого дела.

С большой теплотой и любовью рисует писатель образ вдовы Катерины. Несмотря на прошлую распутную жизнь, эта женщина, полюбившая Манольоса, начала поддерживать его справедливую борьбу и оказалась гораздо выше, благороднее и душевно куда чище своих благочестивых односельчанок. Большая любовь к Манольосу и страдающим людям очищают ее, зачеркивает прошлое и открывает новую страницу в ее судьбе.

Через ряд крупных и мелких ошибок, через бессмысленное убийство приходит к обновлению и поп Фотис — глава беженцев. Ошибки прошлого научили его горячо любить людей. Теперь поп Фотис целиком отдался борьбе за их счастье. Его ненавидят богачи Ликовриси. Чтобы припугнуть агу и заручиться военной поддержкой, они объявляют его «агентом Москвы». Из своего жизненного опыта поп Фотис знает, что там, где не помогает сила логики и убеждения, где исчезли последние остатки любви к беднякам, там необходима открытая вооруженная борьба. Против войска попа Григориса он выстраивает свою армию — армию отверженных, армию борцов за справедливость. И хотя в конце концов саракинцы вынуждены отступить и уйти из Ликовриси, нет сомнения в том, что под умелым руководством попа Фотиса они будут продолжать борьбу до полного торжества своих идей, до построения справедливого строя.

С особенной силой мастерство Казандзакиса как художника-реалиста проявляется в изображении отрицательных персонажей: представителей сельской верхушки и защитников их интересов — православной церкви и турецких властей. Наиболее реалистические образы романа: поп Григорис, старик Ладас, капитан Фортунас, турецкий ага. Положительные же образы несколько схематичны, абстрактны и бледны. Объяснение этому найти нетрудно. Казандзакис видел порочность и несправедливость строя, при котором богатство и насилие являются основой общества, и всю силу своего таланта реалиста он направил именно против такого общественного устройства. Но каково должно быть будущее общество, этого писатель не знал. Алексис Зорбас, герой одноименного романа Казандзакиса, спрашивает у последнего, какие порядки он предложил бы вместо старых. И Казандзакис не может ответить на этот вопрос: «Я не знал. Я хорошо представлял себе, что должно было разрушиться, но я не знал, что именно нужно построить на развалинах старого. Старое существует, его можно прощупать, оно живет в наши дни, и мы с ним сталкиваемся каждую минуту. Будущее еще не родилось, его нельзя осязать…»

Критика представителей имущего класса идет главным образом по линии саморазоблачения. Они выдают себя своими словами и поступками. Очень часто Казандзакис использует также внутренний монолог. Трудно представить себе ликоврисийского попа без его лицемерия; звериная натура этого человека скрывается под православной рясой и лживыми словами добродетели. Это волк в овечьей шкуре, готовый растерзать, смести с пути все, что ему не по нраву, все, что мешает его обогащению. Он глубоко убежден, что бедняк, поднимающий руку на частную собственность, — злейший враг и его нужно уничтожить. Только наедине с самим собой он не таит своих мыслей. Почему бог не дал ему силу убивать своих личных врагов одним лишь словом «анафема»? Тогда он в первую очередь убил бы Манольоса — за то, что его душа чиста и его трудно скомпрометировать в глазах односельчан и даже самого аги. Потом — попа Фотиса. За его аскетическое лицо, горящие глаза, звонкий голос, за то, что в нем тоже нельзя было найти каких-либо недостатков. В список своих жертв поп Григорис включил бы всех, кто когда-либо оскорбил его словом или делом. Даже с теми, кто давно умер, он бы тоже расправился, будь они живы.

Замечательный образ старого скряги и лицемера Ладаса по силе реализма можно сравнить с гоголевским Плюшкиным. Это самый богатый в селе человек, но, сидя на бочках с вином, с маслом, имея полные амбары хлеба, он чуть не умирает от голода, ходит оборванный и босой. Единственная цель его жизни — стяжательство. Все его мысли и поступки подчинены этой цели. Он мечтает прожить двести лет для того, чтобы завладеть всем Ликоврисн. У гроба Патриархеаса он думает лишь о том, как бы завладеть богатствами покойного. Во время пожара он прежде всего кинулся спасать сундук с золотом, а жену вытащили из горящего дома соседи.

Лишь один раз Казандзакис заставляет всех этих лицемерных хищников сбросить с себя лицемерные покровы добродетели. В подвале аги, в ожидании скорой смерти, они показывают свое истинное лицо и разоблачают друг друга. Но все тотчас же забывается, едва они переступают порог подвала и вновь оказываются на свободе.

Несколько сложнее рисуются образы Патриархеаса и турецкого аги. По своему общественному положению они принадлежат к господствующей группе людей, но вместе с тем не утратили гуманных чувств. Ага, например, пожалев голодных детей, которым все отказывают в куске хлеба, приказывает впустить их к себе во двор и хорошо накормить. Он искренне восхищается самоотверженностью Манольоса, готового пожертвовать собой ради спасения села. А Патриархеас, узнав в темнице об этом благородном поступке, чувствует угрызения совести. «Но если Манольос невиновен и сделал это ради спасения села?! Неужели мы покинем его?» — говорит он попу Григорису. Но тот грубо и лицемерно отвечает: «Господь милостив, он простит меня».

Роман Казандзакиса особенно ценен своей уничтожающей критикой основ буржуазного общества. Мощное оружие этой критики — тонкая и горькая ирония автора, переходящая то в острую сатиру — когда речь идет о персонажах отрицательных, то в безобидный юмор — когда дело касается образов, близких самому писателю.

Следует отметить, что Казандзакис полностью не свободен от некоторых «грехов», характерных для реалистов XX века, — от описаний натуралистического характера, от некоторой символики и мистики, но все это тонет в той огромной лавине реализма, которая буквально захлестывает читателя.

По тонкости и глубине психологического анализа, по меткости наблюдения и точности передачи виденного и пережитого, по яркости и типичности своих героев, наконец по живости и красочности бытовых картин Казандзакис-романист не имеет себе равных в современной греческой прозе. Поэтому его романы по праву займут свое место в одном ряду с произведениями других выдающихся европейских писателей.

ХРИСТА
РАСПИНАЮТ
ВНОВЬ

ГЛАВА I

Сидит ликоврисийский ага на веранде, возвышающейся над сельской площадью, покуривает трубку и попивает раки. Тихо моросит мелкий, теплый дождик; на обвислых усах аги, выкрашенных черной краской, поблескивают дождевые капли. Разгоряченный выпитой раки, ага время от времени слизывает их, чтобы освежиться.

Направо от аги с трубою в руке стоит сеиз — громадный свирепый уроженец Востока, косоглазый, с отвратительной рожей; налево, скрестив ноги, восседает на бархатной подушке смазливый, упитанный турчонок, который время от времени разжигает трубку аги и беспрерывно подливает раки в его чашку.

Полузакрыв осоловелые глаза, ага мысленно славит всевышнего: аллах прекрасно сотворил этот мир, все в нем предусмотрел: захочешь есть — перед тобою и хлеб, и мясо, зажаренное докрасна, и плов с корицей; захочешь пить — перед тобою вода бессмертия — раки; спать захочешь или отдохнуть — аллахом сотворен для тебя сон; разгневался — созданы аллахом кнут и спины райи; пожелаешь развлечься — можешь послушать амане; ну, а если возжаждешь забвения печали своей и мук мира сего — создан аллахом Юсуфчик.

— Великий мастер аллах, — взволнованно бормочет ага, — великий мастер! Умная у него голова! Как это ему пришло в голову — сотворить раки и Юсуфчика.

От прилива религиозного чувства и чрезмерного опьянения глаза аги наполняются слезами. Со своей веранды он поглядывает вниз и с удовлетворением созерцает райю, разгуливающую по площади; люди чисто выбриты, по-праздничному разодеты, подпоясаны широкими красными кушаками, на всех свежевыстиранные короткие штаны и голубые куртки. У одних на головах фески, у других — тюрбаны, третьи красуются в мерлушковых шапках. За ухом у самых бравых — цветок базилика или сигаретка.

Третий день пасхи. Кончилась обедня. Сладостный, теплый денек; то проглядывает солнышко, то моросит мелкий дождик; благоухают цветы лимонного дерева, распускаются почки на других деревьях, оживает трава, Христос возрождается в каждом комке земли. Бродят христиане по площади, встречаются друзья, обнимаются, восклицают: «Христос воскрес!» И потом направляются в кофейню Костандиса или усаживаются под большим платаном посреди площади, заказывают наргиле и кофе — и начинается приятная беседа, такая же бесконечная, как этот мелкий дождик.

— Вот так, наверно, и в раю, — говорит церковный служка Хараламбос, — нежное солнце, мелкий дождик, цветущие лимонные деревья, наргиле и долгие задушевные разговоры.

На другом краю площади, за платаном, высится заново выбеленная сельская церковь «Христова распятия» с красивой колокольней. По случаю пасхи церковные врата украшены ветвями вербы и лавра. Вокруг церкви — сельские лавчонки и мастерские: например, мастерская седельщика Панайотароса, прозванного Гипсоедом. Так его прозвали потому, что однажды он съел привезенную кем-то в село гипсовую статуэтку Наполеона; потом привезли статуэтку Кемаля-паши,— он и ее съел; наконец, привезли статуэтку Венизелоса — и она была съедена. Около седельной мастерской — парикмахерская Адониса. Над дверью ее приколочена вывеска, огромные буквы которой, красные как кровь, гласят: «Здесь удаляют и зубы». Немного подальше — мясная лавка хромого Димитроса с вывеской: «Свежие головки. Иродиада». Каждую субботу режет Димитрос теленка, а перед тем как зарезать его, золотит ему рога, украшает ему шею алыми лентами и, ковыляя, водит его по всему селу, расхваливая достоинства своей жертвы. И, наконец, замечательная кофейня Костандиса, длинная, узкая и прохладная, где так хорошо пахнет кофе и табаком, а в зимнюю пору — шалфеем. На правой стене висят — гордость всего села — три большие блестящие литографии: по одну сторону — полуголая святая Женевьева в тропическом лесу; по другую сторону — королева Виктория, голубоглазая, дородная, с пышной грудью кормилицы; а посредине — Кемаль-паша, грозный, с сердитыми серыми глазами, в высокой мерлушковой шапке.

Все те, кто гуляет по площади или сидит в заведении Костандиса, люди порядочные, работящие, хорошие хозяева. И село у них богатое, и ага у них — человек отличный, большой любитель раки и крепких духов — мускуса и пачулей. Любит он и упитанного турчонка, сидящего слева от него на бархатной подушке. Ага посматривает на христиан, как пастух на своих хорошо откормленных овец, и радуется. «Отличные они люди, — думает он, — вот и в этом году наполнили мои погреба пасхальными дарами — головками сыра, сладкими пирогами с кунжутом, чуреками, крашеными яйцами... А кто-то из них, дай ему аллах здоровья, принес и сосуд с хиосской мастикой — это для моего Юсуфчика, чтобы он жевал ее, чтобы благоухал его ротик...»

Так размышляет ага и ласково поглядывает на толстого мальчугана, жующего мастику и равнодушного ко всему, что творится вокруг.

Все это — блаженные мысли о погребах, наполненных всяким добром, мелкий, тихий дождик, поблескивающие камни мостовой, пенье петухов, Юсуфчик, пристроившийся у его ног и жующий с причмокиванием мастику, — все это наполнило сердце аги такой радостью, что он почувствовал себя совсем счастливым. Он поднял голову и попробовал было запеть амане, но тут же его одолела лень.

Тогда он повернулся к сеизу и подал ему знак протрубить, чтобы народ внизу не шумел. Потом повернулся налево: «Спой мне, Юсуфчик, да будет с тобой мое благословение, спой мне „Дунья табир, руйа табир, аман, аман“. Спой мне, а то я с ума сойду!»

Упитанный мальчуган не торопясь извлекает изо рта мастику, приклеивает ее к своему голому колену, подпирает правой рукой щеку и начинает петь амане, столь любимое агой: «Жизнь и сон — одно и то же, увы, увы!»

Голос его, страстный и кокетливый, то взлетает, то опускается, подобно воркованию голубки… Ага закрыл глаза и так увлекся песней, что, слушая ее, забыл даже о раки.

— Ага в хорошем настроении, — прошептал Костандис, подавая кофе. — Да живет раки!

— Да живет Юсуфчик! — сказал, горько улыбаясь, Яннакос, бродячий торговец и сельский письмоносец с белоснежной, коротко остриженной бородой и зоркими, птичьими глазами.

— Да живет слепая судьба, сделавшая его агой, а нас — райей, — пробормотал брат местного попа, Хаджи-Николис, сельский учитель, худощавый человек в очках, с большим острым кадыком, который дергался вверх-вниз, когда он говорил.

Он разгорячился, вспомнив своих предков, и вздохнул:

— Было время, когда эти земли принадлежали нам, эллинам, но колесо истории повернулось, и пришли византийцы, тоже эллины и христиане, а потом снова повернулось колесо, и нахлынули неверные… Но ведь Христос воскрес, братья, воскреснет и наша отчизна! Ну-ка, Костандис, угощай молодцов!

Тем временем песня кончилась, турчонок засунул в рот мастику и опять принялся жевать ее, по-прежнему равнодушный ко всему окружающему. Снова протрубил трубач. Теперь райя могла горланить и смеяться вволю.

В дверях кофейни показался капитан Фуртунас, один из пяти старост села. Старый судовладелец, он немало лет провел на Черном море, перевозил русскую пшеницу, занимался и контрабандой. Был он высок, плечист и слегка сутуловат; на его безбородом лице оливкового цвета, изрытом глубокими морщинами, выделялись черные как смоль, искристые глаза. Постарел он, постарело и его судно, и однажды ночью разбилось оно неподалеку от Трапезунда. Потерпев кораблекрушение, капитан Фуртунас почувствовал, что уже достаточно повидал на своем веку, и возвратился в родное село, чтобы попить вволю раки, а когда настанет смертный час — отвернуться лицом к стене и распрощаться с миром.

Многое повидал он на своем веку, но все наконец наскучило; вернее, не наскучило, а просто он устал, только совестно ему было в этом признаться.

Сегодня он красовался в желтом плаще и в высоких капитанских сапогах, на его голове высилась дорогая архонтская шапка из настоящей астраханской мерлушки. В руке он держал длинную палку, как и подобало старосте. Некоторые из односельчан поднялись, приглашая его выпить чашку раки.

— Нет у меня свободного времени, ребята, нет даже для раки, — сказал он. — Христос воскрес! Тороплюсь я к попу, там у нас, у старост, сегодня сбор. Через час приходите и вы, те, кто приглашен. Похристосуйтесь и приходите, вы же хорошо знаете, что у нас сегодня серьезное дело. Только пусть кто-нибудь из вас сходит за Панайотаросом, седельщиком с бородой черта. Он нам очень нужен.

Он помолчал минуту, потом хитро подмигнул.

— Если его нет дома, то наверняка найдете его у вдовы, — сказал он, и все громко засмеялись.

Но старик Христофис, возчик, познавший в молодости любовную страсть и до сих пор помнивший, как дорого она ему обошлась, вскочил с места.

— Что вы смеетесь, бездельники? — закричал он. — Правильно делает! Живи, Панайотарос, и не слушай их! Жизнь коротка, а смерть уносит навеки!

Мясник Димитрос, колченогий толстяк, покачал бритой головой:

— Бог да охранит вдову нашу, Катерину! Сатана знает, как спасти нас от распутства!

Капитан Фуртунас засмеялся.

— Слушайте, ребята, — сказал он, — зачем вы ссоритесь? В каждом селе необходима хоть одна распутница, чтоб не попадали впросак честные женщины. Это, пожалуй, похоже на источник в дороге: проходят жаждущие и пьют. А то бы стучались во все двери подряд. А ведь женщины, когда у них попросишь водицы...

Он повернул голову и увидел учителя.

— Хаджи-Николис, ты еще тут? Ведь твое благородие тоже начальство, а у нас сбор! Теперь уж и кофейня стала школой! Заканчивай и приходи!

— А мне тоже прийти? — спросил старик Христофис и подмигнул своим товарищам. — Я гожусь в Иуды.

Но капитан Фуртунас уже поднимался по склону, тяжело опираясь палкой о мостовую. Сегодня ему нездоровилось, его мучил ревматизм — всю ночь глаз не сомкнул. Еще поутру он выпил два-три стакана раки вместо лекарства, но это не помогло — боль не проходила, даже раки не смогла ее унять.

— Кабы не стыд, — пробормотал он, — я бы закричал, — может, боль и утихла бы; да вот проклятое самолюбие не позволяет кричать! И если палка выпадет из рук, никому не разрешу помочь мне, нагнусь сам и подниму! Прикуси, капитан Фуртунас, губы, держи паруса по ветру, прямо по волнам, смотри, чтоб не опозориться! Жизнь, по-видимому, тоже буря, пройдет и она!

Так он поднимался, посапывая и бранясь вполголоса. Остановился на минуту, осмотрелся — никто за ним не следил. Передохнул и немного пришел в себя. Поглядев наверх, увидел сквозь деревья на краю села белый с синими оконными рамами дом попа.

— Вишь, построил себе дом на краю села, чертов поп, — пробормотал капитан. — Будь он проклят!

И снова начал подниматься по склону.

В доме попа уже находились двое старост. Они сидели на тахте, поджав под себя ноги, и молча ждали угощения. Поп командовал на кухне; его единственная дочь Марьори ставила на поднос кофе, холодную воду и варенье.

У окна сидел первый староста Ликовриси, дородный Георгиос Патриархеас. Был он господского происхождения. На нем — суконные шаровары, на указательном пальце — толстое золотое кольцо; на кольце — печать с двумя заглавными буквами: «Г. П.». Руки у него были пухлые и мягкие, как у архиепископа. Никогда он не знал, что такое труд, за него работали и его кормили батраки и арендаторы. И он разжирел спереди и сзади, брюхо у него висело, как у лошади, а тройной подбородок покоился на волосатой и пухлой груди. У него не хватало нескольких передних зубов, и когда он говорил, то шепелявил и проглатывал слова. Но даже и этот недостаток подчеркивал его господское происхождение, ибо собеседник вынужден был наклоняться, чтобы понять, о чем он говорит.

Справа от него, в углу, сидел, покорно сгорбившись, второй староста — самый богатый хозяин деревни, старик Ладас. Был он слабый, тощий, с маленькой головой, с гноящимися глазами и с двумя неожиданно огромными, мозолистыми руками. Семьдесят лет он не разгибает спины над землей, вскапывает, засевает ее, сажает на ней оливковые деревья и виноград, выжимает и пьет кровь ее. С малых лет не расставался он с землей. Ненасытный, жадный, бросался на нее, давал ей одну монету, а требовал — тысячу, и никогда не говорил: «Слава тебе господи!», а всегда что-то бормотал недовольно. Даже в старости не хватало ему земли; чем ближе был он к смерти, чем больше чувствовал, что уже не в силах съесть много хлеба, тем сильнее торопился проглотить весь мир. Начал давать взаймы односельчанам с большой для себя выгодой. Несчастные закладывали виноградники, поля и дома, а когда приходило время расплачиваться, денег у должников не оказывалось, и их имущество шло с молотка: все проглатывал старик Ладас.

И постоянно жаловался, и постоянно голодал; и жена его ходила босая, и даже дочь родную отправил он на тот свет, потому что не позвал врача, когда та слегла в постель.

— Много расходов, — твердил он, — большие города далеко, откуда же взять врача? И потом, что они знают? Да ну их к бесу! У нас тут поп, он знает все способы лечения, я ему заплачу, прочтет он молитвы, вылечит тебя, и обойдется это дешевле.

Но лекарства попа оказались бессильными, молитвы не помогли, и девушка умерла семнадцати лет, избавившись от своего алчного отца; он тоже избавился от свадебных расходов. Однажды, спустя несколько месяцев после ее смерти, сел и подсчитал: приданое стоит примерно столько-то; одежда, столы, стулья — столько-то; надо было бы приглашать на свадьбу родственников, а те бы обожрались мясом, хлебом, вином — это обошлось бы во столько-то... Избавилась дочь от страданий мира сего — от мужа, детей, болезней, стирки! Счастье выпало ей на долю, прости ее господи!

Вошла Марьори с подносом; опустив глаза, поздоровалась со старостами, остановилась перед первым из них, Патриархеасом. Была она бледная, с большими глазами, тонкими бровями, с двумя толстыми каштановыми косами, уложенными венком вокруг головы. Старик староста захватил ложечкой вишневого варенья, посмотрел на девушку и поднял стакан:

— За твою свадьбу, Марьори! Мой сын торопится!

Дочь попа была обручена с его единственным сыном, Михелисом. Поп гордился своим будущим родственником и надеялся вскоре пестовать внуков.

— Не могу понять, почему он так торопится, благословенный. Говорит, невтерпеж ему, — добавил староста, улыбаясь и подмигивая девушке.

Та покраснела до ушей, растерялась и не могла вымолвить ни слова.

— Будет свадьба, будет! — сказал поп Григорис входя с бутылкой мускатного вина. — Да благословят вас Христос и богородица!

У попа было грубое толстое лицо, волосы были завязаны узлом на затылке, борода расчесана на две стороны, от него пахло ладаном и сливочным маслом. Он увидел, что дочь его покраснела, и постарался изменить ход беседы.

— А ты, староста, когда сам выдашь замуж свою приемную дочь Леньо? — спросил он.

Леньо — одна из тех незаконнорожденных, которых староста смастерил со своими служанками. Он обручил ее с верным ему и смирным пастухом Манольосом и посулил ей богатое приданое — стадо овец, которых пас Манольос на горе, что высилась напротив церкви Богоматери.

— Если бог захочет, то на днях, — отозвался староста. — Леньо спешит. Торопится, счастливица; поднялась ее грудь, хочется ей кормить сына. «Скоро май, — заявила она мне позавчера, — скоро май, хозяин, и нужно торопиться».

Он улыбнулся благодушно, и его тройной подбородок заходил ходуном.

— В мае, говорит, венчаются только ишаки! Права Леньо — нужно торопиться. Хоть они с Манольосом и слуги, но ведь тоже люди.

— И его я люблю, как своего сына, — сказал староста. — Когда я был в монастыре святого Пантелеймона, увидел там мальчика, — ему, наверно, было лет пятнадцать. Пришел он с подносом в келью игумена, чтобы угостить меня. Истым ангелом выглядел, только крыльев ему не хватало. Пожалел его я! Жаль его, сказал я, такой молодец и должен чахнуть в монастыре, как кастрат. Пошел я в келью старца, отца Манасиса. Парализованный, лежал он в постели много лет. «Отче, — сказал я, — об одном одолжении тебя попрошу; и если ты его сделаешь, подарю монастырю серебряное кадило». — «Только Манольоса не проси», — сразу сказал Манасис. «Как раз о нем-то и речь, старче, я хочу его взять к себе в работники». Старик вздохнул. «Люблю его, как сына, говорит, никогда не приходилось мне жаловаться на него. Болен я и одинок, друзей у меня уже нет. Каждый вечер я рассказываю ему об отшельниках и святых, он учится, и так у меня время проходит». — «Отпусти его, старче, говорю, пусть войдет в мир, детей плодит, живет; а если жизнь ему опротивеет, пусть тогда пострижется в монахи». В общем, сумел я уговорить старика и забрал мальчика; а теперь я ему даю Леньо — путь добрый!

— Он тебе наплодит внуков, — сказал Ладас, злобно хихикая; потом взял ложечкой одну вишню, медленно пожевал ее, глотнул муската и пожелал: — Доброго вам урожая, да поможет вам бог не умереть с голоду! Виноградники и посевы в этом году плохие, пропадем.

— Бог даст, — ответил своим зычным голосом поп, — бог даст, дед Ладас, не падай духом! Подтяни пояс и не злоупотребляй едой, много есть вредно. И не будь таким щедрым, не раздавай свое имущество бедным.

Староста-барин засмеялся так, что затрясся весь дом.

— Подайте милостыню, христиане, старик Ладас помирает с голоду! Наплакался он, напопрошайничался, протягивая свою здоровенную ручищу.

Послышались тяжелые шаги, под которыми задрожала лестница.

— Прибыл капитан Фуртунас, старый волк, — сказал поп и пошел открывать гостю дверь. — Постой, Марьори, не уходи, нужно будет его угостить! Я принесу ему стакан раки, пить вино он считает ниже своего достоинства.

Капитан остановился за дверью, чтобы перевести дух. Потом вошел с улыбкой, но капли пота выступили у него на лбу. За капитаном показался учитель, — он запыхался, догоняя моряка, и теперь обмахивался фуражкой. Следом вошел поп со стаканом раки.

— Христос воскрес, молодцы! — сказал капитан, обращаясь к трем старикам.

Стиснув зубы от боли, он с показной быстротой опустился на ковер и повернулся к девушке.

— Я не хочу сладостей и кофе, Марьори, они для дам и стариков. Этого стаканчика, который вы называете стаканом для воды, мне хватит. За твою свадьбу! — сказал он и выпил залпом.

— Большой день сегодня, — заметил учитель, потягивая кофе. — Скоро соберется народ, нужно побыстрее принять решение.

Марьори вышла с подносом, и поп запер дверь. Его широкое загорелое лицо вдруг исполнилось пророческого величия. Под густыми бровями засверкали глаза. Когда поп бывал в настроении, он любил поесть, выпить, отпустить грубую шуточку; любил и подраться, когда был рассержен. Даже теперь, в старости, поглядывал он на женщин, и кровь у него кипела; в его голове, в груди, во всем его существе бурлили человеческие страсти. Но когда он служил обедню, или протягивал для благословения руку, или изрыгал проклятия, над ним словно проносились злые ветры пустыни, и поп Григорис, обжора, пьяница, любитель грубых шуток, становился пророком.

— Братья мои, знатные люди, — начал он низким голосом, — сегодня у нас праздник, бог нас видит и слышит; все, что говорится в этой комнате, он запишет в своих книгах, помните об этом! Христос воскрес, но в нас, в нашем теле он еще распят; давайте воскресим его и в нас самих, братья старосты. Забудь, архонт, на минутку свои земные дела, — хорошо устроились на этих землях и ты, и твои потомки; ты много ел, пил, целовался — отрешись хоть на миг от всех этих благ и помоги принять решение. И ты, дед Ладас, позабудь в такой торжественный день об оливковом масле, вине и золотых турецких монетах, которыми набил свои сундуки. Тебе, учитель, брат мой родной, мне нечего сказать; твой разум всегда выше еды, золотых монет и женщин, он всегда с богом и с Грецией; ну а ты, капитан, старый грешник, свершивший на Черном море немало незаконных дел, сегодня и ты подумай о боге и тоже помоги нам принять правильное решение.

Капитан вышел из себя:

— Оставь прошлое, поп, бог нас рассудит! Если бы мы могли с тобой побеседовать, мне кажется, многое можно было бы сказать и о твоей святости.

— Говори, старина, но не забывайся, — к старейшинам ведь обращаешься! — добавил и староста-барин, нахмурив брови.

— К червям я обращаюсь! — закричал рассерженный поп. — И сам я червь, но не прерывайте меня. Народ, где бы он сейчас ни был, придет сюда, и у нас должно быть какое-то решение. Ну, слушайте. В нашем селе сохранился от дедов и прадедов древний обычай: через каждые семь лет выбирать из односельчан пять-шесть человек, которые во время страстной недели должны изображать Христовы муки. Шесть лет уже прошло, настает седьмой год; мы, старейшины села, должны сегодня выбрать из наших односельчан самых лучших, способных воплотить трех великих апостолов: Петра, Иакова, Иоанна; а еще кто-нибудь изобразит Иуду Искариота и Магдалину-распутницу. Наконец кто-то из смертных, прости меня грешного, господи, должен будет, сохраняя в течение всего года свою душу чистой, изобразить Христа распятого.

Поп остановился на минуту, чтобы перевести дыхание; его молчанием воспользовался учитель, и кадык у него заходил вверх-вниз.

— В старину это называли таинством, — сказал он, — начиналось оно в воскресенье перед пасхой в церкви и кончалось Христовым воскрешением в страстную субботу, в полночь, в саду. У язычников были театры и цирки, а у христиан — таинства...

Но поп Григорис прервал его:

— Хорошо, хорошо, все это мы знаем, учитель, дай мне закончить! Слово становится плотью, мы это видим собственными глазами, когда приобщаемся к Христовым мукам. Из всех соседних сел собираются паломники и разбивают свои палатки вокруг церкви, плачут и бьют себя в грудь в течение всей страстной недели, потом начинается веселье и танцы с пением; «Христос воскрес!» Много чудес творится в эти дни, вы их помните, братья старосты, многие грешники начинают плакать и раскаиваться, некоторые богачи вспоминают, какие грехи совершили они для того, чтобы разбогатеть, и приносят в дар церкви виноградник или участок своей земли, чтобы спасти душу! Ты слышишь, дед Ладас?

— Говори, говори, отче, да не намекай, — ответил рассерженный Ладас. — На меня намеки не действуют, знай это!

— Значит, собрались мы сегодня для того, чтобы о божьей помощью выбрать односельчан, которым доверим это святое таинство. Говорите откровенно, пусть каждый выскажет свое мнение. Архонт, ты первый староста, ты и первый говори, а мы послушаем.

— Иуда у нас есть! — вскочил капитан. — Лучше Панайотароса Гипсоеда, мы никого не найдем! Человек он дикий, рябой, сильный, настоящий орангутанг; одного такого я видел в Одессе. И самое главное, у него борода и волосы как раз такие, какие нужны: рыжие, как у черта!

— Не твоя очередь, капитан, — сказал поп строго. — Не торопись, уважь других. Ну, так как же, мой архонт?

— Что же тебе сказать, отче, — ответил первый староста. — Я хочу только одного: пусть мой сын, Михелис, изображает Христа.

— Не пойдет, — грубо прервал его поп, — твой сын богат и очень уж толст, слишком хорошо ему живется, я Христос был беден и тощ. Не подходит он, уж ты меня извини! Да и вообще, годится ли Михелис для такого трудного дела? Его кнутом исхлещут, наденут ему на голову терновый венец, поднимут на крест — Михелис этого не выдержит! Хочешь, чтобы он захворал?

— А самое главное, — снова вскочил капитан, — Христос был белокур, а у Михелиса шевелюра и усы черны как смоль!

— Магдалина у нас есть, — вмешался Ладас, хихикая, — вдова Катерина. Все у грешницы налицо: она и распутница, и красивая, да и волосы у нее белокурые и длинные, до самых колеи. Я видел однажды, как она причесывались на дворе, — тьфу, будь она проклята! Эта девка и митрополита в искушение введет!

Капитан открыл было рот, чтобы снова брякнуть какую-то грубость, но поп строго посмотрел на него, и безбородый прикусил язык.

— Плохих мы находим легко, — сказал поп. — Иуду, Магдалину, а хороших? То-то оно и есть! Мне кажется, нужно сделать скидку. Где же мы найдем — согрешил я, господи, — человека, который был бы похож на Христа? Хотя бы приблизительно, хотя бы только телом своим? Много дней и недель я думаю об этом, много ночей не сплю. И как будто бог сжалился надо мной — я нашел.

— Кого же? — спросил недоверчиво старый барин. — Говори, мы послушаем.

— С твоего разрешения, архонт мой, нашел я его среди твоих людей; этого человека и ты любишь. Пастух твой, Манольос! Он спокойный, разговорчивый, грамотный — как-никак бывший монастырский служка. У него и глаза голубые, и борода негустая, цвета меда. Таким рисуют Христа! К тому же верующий; каждое воскресенье спускается с горы, чтобы послушать обедню — и, сколько раз он ни причащался, я всегда отпускал ему грехи, ибо никаких недостатков у него не находил.

— Он какой-то неземной, — пропищал старик Ладас. — Ему являются видения!

— Это хорошо, — убежденно заметил поп, — и вы это запомните! Главное, чтобы душа была чиста!

— Он выдержит и побои, и боль от тернового венца, и крест он сможет нести. Ну а то, что он еще и пастух, совсем хорошо, ведь и Христос пасет человеческие стада, — добавил учитель.

— Я ему разрешаю, — сказал первый староста, немного подумав. — Ну, а сын мой?

— Он подходит для Иоанна! — воскликнул поп восторженно. — У него есть все, что для этого нужно: полный, черноволосый, глаза продолговатые, как миндалины, вдобавок из хорошего дома — таков был и любимый ученик Христов.

— В роли Иакова, — сказал учитель, робко посмотрев на своего брата попа, — будет хорош, как мне кажется, — лучше я не нашел! — Костандис, хозяин кофейни: он диковат, сухощав, неразговорчив и упрям. Именно таким рисуют апостола Иакова.

— Да и жена у него такая, всю душу из него выматывает, — снова вставил слово капитан. — Апостол ведь тоже был женатый. Что ты на это скажешь, мудрец?

— Не играй со святынею, безбожник! — рассердился поп. — Ты не на своем корабле, где мог отпускать грубые шуточки среди матросов, — тут у нас таинство происходит!

Учитель приободрился.

— Недурным Петром, представляется мне, будет Яннакос: узкий лоб, кудрявые серебристые волосы, короткая борода; он то сердится и тут же успокаивается, то вспыхивает и гаснет, как трут. Но добрая душа! Лучшего Петра в нашем селе не нахожу.

— Только малость на руку не чист, — сказал старейшина, покачивая тяжелой головой. — Но ведь он торговец, чего ж от него ждать? Это не мешает.

— Говорят, — снова пропищал Ладас, — что он убил свою жену. Удавил ее.

— Ложь, ложь! — закричал поп. — Меня об этом спрашивайте! Однажды съела покойная горшок недоваренного гороха и обожралась, потом на нее напала жажда, выпила воды полный кувшин — очень пить хотела, бедняжка, — раздулся у нее живот и лопнул. Не бери на себя греха, дед Ладас!

— Так ей и нужно, — сказал капитан. — Вот что вода делает, лучше пила бы раки.

— Нам еще нужны Пилат и Кайафа,— продолжал учитель. — И мне кажется, их трудно будет найти.

— Лучшего Пилата, чем твоя милость, архонт, нам не найти, — сказал поп елейным голосом, обращаясь к первому старосте. — Не хмурься, Пилат был тоже большим архонтом и имел твою внешность: представительный, дородный, чисто вымытый, со складками на подбородке. И человек он был хороший: сделал все, что мог, чтобы спасти Христа, но в конце концов сказал: «Я умываю руки», — и тем избавился от греха. Согласись, архонт, что ты придашь величие таинству. Подумай, какая это будет слава для нашего села и сколько людей соберется, как только они узнают, что великий архонт Патриархеас будет изображать Пилата!

Тот гордо улыбнулся, зажег трубку и не сказал ни слова.

— Чудным Кайафой будет дед Ладас! — сорвался с места капитан. — Где мы найдем лучшего Кайафу? Ты ведь рисуешь, отец, так не можешь ли сказать, как изображают Кайафу на иконах?

— Ну, — сказал поп неуверенно, — примерно таким, как дед Ладас! Кожа да кости — словом, скелет, с впалыми щеками, с желтым носом…

— И под носом у него был стригущий лишай? — продолжал задира капитан. — И он не давал воды даже своему ангелу? И держал свои туфли под мышкой, чтоб не стерлись подошвы?

— Я уйду! — рассердился Ладас и поднялся с тахты. — Будь Кайафой ты, капитан Спаномария! Разве не нужен хоть один безбородый?

— Я останусь про запас, — сказал капитан, посмеиваясь и делая вид, будто закручивает усы. — Мы, старики, смертные люди. Может, конечно, статься, что за год кто-нибудь из вас двоих — ты, Ладас усатый, или твоя милость, Пилат, — отправитесь на тот свет. Вот тогда я и займу ваше место, чтоб не расстроилось таинство.

— Ищите другого Кайафу, вот что я вам говорю! — закричал скряга. — Мне еще нужно землю поливать, я ухожу!

И направился к выходу. Но поп шагнул к двери и загородил ее, расставив руки.

— Куда же ты идешь, ведь народ собирается! Не уходи, не позориться же из-за тебя!

И прибавил мягче:

— Ты тоже должен принести какую-нибудь жертву, уважаемый староста. Подумай об аде. Многие грехи тебе зачтутся, если ты нам поможешь в этом богоугодном деле. Лучшего Кайафы мы не найдем, не упрямься! Бог это запишет в своих книгах.

— Кайафой я не буду! — закричал испуганно дед Ладас. — Ищите другого! И в книгах, о которых ты говоришь…

Но он не успел закончить своей речи: по лестнице уже поднимались односельчане, и поп открыл им дверь.

— Христос воскрес! — поздоровались вошедшие (было их человек десять), прикладывая ладони к груди, потом к губам и к голове, и выстроились вдоль стены.

— Воистину воскрес! — ответили старосты и снова уселись на тахтах, поджав под себя ноги.

Архонт вынул портсигар и угостил вошедших сигаретами.

— Мы приняли решение, дети мои, — сказал поп. — Вы пришли вовремя. Добро пожаловать!

Поп похлопал в ладоши, вошла Марьори.

— Марьори, — сказал он, — угощай молодцов! Принеси каждому по красному яйцу. С наступлением пасхи!

Пришедшие выпили, взяли по красному яйцу и стали ожидать дальнейшего.

— Дети мои, — начал поп, поглаживая свою раздвоенную бороду, — я вам объяснил вчера, после обедни, для чего вы нам нужны. Большое таинство будет в нашем селе на пасху, и мы должны все, от мала до велика, подать друг другу руки. Вы все помните страстную неделю шесть лет назад. Как все тогда плакали от волненья! И потом, в Христово воскресение, какая была радость, сколько было зажженных свечей, как все мы обнимались, когда начали танец и запели «Христос воскрес из мертвых»! Все стали тогда братьями! Вот так же, даже лучше, должны быть отмечены страсти господни, воскресение Христово и в наступающем году. Вы согласны со мною, братья?

— Согласны, отец наш! — в один голос ответили все. — Благослови нас!

— Бог вас благословляет! — сказал поп и встал. — Мы, старосты, уже решили, кто из наших односельчан будет воплощать в этом году Христовы страсти — кто будет апостолом, кто Пилатом и Кайафой, кто Христом. Во имя бога, подойди, Костандис!

Хозяин кофейни подоткнул свой фартук, приколол один его угол к широкому красному поясу и подошел.

— Ты, Костандис, будешь представлять Иакова, старшего брата Иисуса. Так мы, старосты, решили. Тяжел этот божественный груз, и нужно с честью его нести, не опозорить апостола! Ты должен стать с этого дня новым человеком; ты хороший человек, но должен стать еще лучше! Будь честнее, разговорчивее, чаще ходи в церковь. Поменьше ячменя клади в кофе, не смешивай остатки вина с тем вином, которое продаешь, лукум не режь пополам, продавай его целиком. И, имей в виду, больше не бей свою жену, потому что с сегодняшнего дня ты не только Костандис, но и Иаков. Понял? Отвечай!

— Понял, — ответил Костандис и, пристыженный, отошел в сторонку, к стене.

Ему хотелось сказать; «Не я бью свою жену, она меня бьет», — но он постеснялся.

— Где Михелис? — спросил поп. — Он нам тоже нужен.

— Торчит на кухне и разговаривает с твоей дочерью, — сказал Яннакос.

— Пусть кто-нибудь сходит за ним! А теперь подойди ты, Яннакос!

Торговец приблизился, поцеловал руку попа.

— Тебе, Яннакос, выпал трудный жребий — представлять апостола Петра. Хорошенько подумай! Забудь прежнее. В тайном крещении крестится раб божий Яннакос и становится апостолом Петром! Возьми евангелие, ты ведь немного грамотен, там ты прочтешь, кем был Петр, что он сказал, что он сделал, а я тебе помогу советами. Ты тоже, в сущности, плут, Яннакос, но у тебя доброе сердце. Забудь о прошлом, перекрестись, начинай новую жизнь, стань на путь божий: не обманывай на весах своих покупателей, не продавай кукушку за соловья, не вскрывай больше чужих писем и не выписывай секретов людских. Слышишь? Теперь скажи: слушаюсь и повинуюсь.

— Слушаюсь и повинуюсь, отче мой, — ответил Яннакос и быстро отошел к стене.

Он побоялся, как бы не вздумал этот чертов поп перечислять его, Яннакоса, грехи у всех на глазах. Но поп его пожалел и замолчал, и тогда Яннакос отважился.

— Отче, — сказал он, — об одном одолжении я прошу. Мне кажется, что в евангелии упоминается и ослик. Мне кажется, Христос в предпасхальное воскресенье въехал в Иерусалим на ослике. Значит, и нам понадобится ослик. Пусть им будет мой ослик.

— Воля твоя, Петр, пусть на таинстве будет и твой ослик, — ответил поп. Все захохотали.

В эту минуту вошел Михелис: упитанный, краснощекий, в бархатной шапочке набекрень, с золотым обручальным кольцом на пальце. Был он затянут в сукно и атлас, щеки его пылали, — только что он касался руки Марьори, и кровь в нем еще кипела.

— Добро пожаловать, наш любимец Михелис, — сказал старик поп, гордясь своим будущим зятем. — Тебя мы единодушно выбрали на роль любимого ученика Христова, Иоанна. Большая это честь, большая радость, Михелис! Ты будешь припадать к груди Христа и утешать его, ты будешь следовать за ним до его последней минуты, до креста, и, когда остальные его ученики разойдутся, тебе доверит Христос свою мать.

— С твоего благословения, отец мой, — сказал Михелис и покраснел от удовольствия. — С малых лет я любовался этим апостолом на иконах; там он молодой, красивый, преисполненный благости. Мне он всегда нравился. Спасибо, отец мой! Ты хочешь еще что-нибудь мне поручить?

— Нет, Михелис. Твоя душа — невинный голубь, сердце твое исполнено любви. Апостола ты не опозоришь, с тобой мое благословение!

— Теперь мы должны найти Иуду Искариота, — продолжал поп, рассматривая односельчан своими хищными глазами.

Те дрожали под его суровым взглядом. «Помоги, господи, — бормотал каждый из них, — не хочу, не хочу быть Иудой!»

Взгляд попа остановился на рыжей бороде Гипсоеда.

— Панайотарос, — послышался голос попа, — ну-ка, подойди, у меня просьба к тебе!

Панайотарос повел плечами и толстой шеей, словно вол, пытающийся освободиться от ярма. На одну секунду ему захотелось закричать: «Не пойду!» — но он струсил перед старостами.

— К твоим услугам, отче мой, — сказал он и подошел, ступая тяжело, как медведь.

— Большой услуги мы ждем от тебя, и ты нам не откажешь: ведь каким бы суровым и чудаковатым ты ни казался, у тебя нежное сердце: ты словно неподатливый миндаль — скорлупа каменная, зато под ней таится сладкое зерно... Ты слышишь, что я говорю, Панайотарос?

— Слышу, не глухой, — ответил тот, и его изуродованное оспой лицо побагровело.

Он понял, чего от него хотят потребовать старосты, и ему стали противны их хитрость и лесть.

— Без Иуды не бывает распятия, — продолжал поп, — а без распятия нет воскресения. Значит, кто-то из односельчан должен пожертвовать собою и воплотить Иуду. Мы бросили жребий, и жребий пал на тебя, Панайотарос!

— Иудой я не буду! — наотрез отказался Гипсоед.

Он так сжал в кулаке пасхальное яйцо, что оно лопнуло. Яйцо было всмятку, и кулак сразу стал желтым.

Архонт вскочил и грозно поднял свою трубку.

— В конце концов, — закричал он, — что будет, если все начнут командовать! Тут совет старост, а не базар. Старосты приняли решение, все кончено. Народ должен подчиняться. Ты слышишь, Гипсоед?

— Я уважаю совет старост, — возразил Панайотарос, — но вы требуете от меня, чтобы я продал Христа! Этого я не сделаю!

Архонт, задыхаясь от бессильной ярости, не мог произнести ни слова. В этой суматохе капитан ухитрился снова наполнить свой стакан раки.

— Бестолковый ты и не по-умному рассуждаешь, Панайотарос, — сказал поп, стараясь смягчить свой голос. — Ты же не предашь Христа, дурень, ты будешь только притворяться Иудой, делать вид, будто предаешь Христа, чтобы мы могли распять его и потом воскресить. Какой же ты непонятливый! Ну, рассуди сам, и ты поймешь: чтобы спасти мир, нужно распять Христа, а чтобы Христа распяли, нужно, чтобы кто-то предал его… Поэтому, сам видишь, для того чтобы спасти мир, Иуда необходим. Более необходим, чем любой другой апостол! Если не будет кого-нибудь из других апостолов, это не беда; но если Иуды не будет, то ничего и произойти не может… После Христа он самый необходимый… Ты понял?

— Иудой я не стану! — повторил Панайотарос, продолжая сжимать в руке раздавленное пасхальное яйцо. — Вы хотите меня сделать Иудой, а я не хочу, и кончено!

— Панайотарос, сделай нам одолжение, — вмешался и учитель, — будь Иудой, и твое имя станет бессмертным.

— И дед Ладас тебя просит, — добавил капитан, вытирая губы, — и подождет денег, которые ты ему должен, не будет к тебе приставать. Даже от процентов откажется…

— Не вмешивайся в чужие дела, капитан, — завопил разозлившийся скряга. — Я ничего этого не говорил! Поступай, Панайотарос, так, как велит тебе бог, а от процентов я не откажусь!

Все замолчали. Было слышно только, как тяжело дышал Панайотарос, — словно в гору шел.

— Не будем терять времени, — сказал капитан, — оставьте человека в покое! Пусть хорошенько обо всем подумает, свыкнется с этой мыслью, ведь так это не делается — раз и готово. Не так-то просто стать Иудой. Конечно, над этим надо поразмыслить и выпить раки, как говорится. Давайте сюда Манольоса, чтобы закончить. Где же он?

— Мы его видели, он любезничал со своей невестой Леньо. Не оторвешь его от нее, — отозвался Яннакос.

— Я тут, — сказал покрасневший Манольос, который тихо вошел и стоял в углу. — К вашим услугам, архонты и старосты!

— Приблизься, Манольос, — промолвил поп, и его голос стал сладок, словно мед. — Подойди, и пусть будет с тобою мое благословение!

Манольос подошел и поцеловал попу руку. Был это белокурый, застенчивый, бедно одетый юноша. От него пахло тимьяном и молоком, в его голубых глазах светилась чистая, невинная душа.

— Самый трудный жребий выпал тебе, Манольос, — сказал поп торжественным голосом. — Бог тебя избрал, чтобы ты воскресил своим телом, своим голосом, своими слезами святые слова… Ты наденешь терновый венец, тебя будут бичевать, ты поднимешь святой крест и будешь распят. С сегодняшнего дня до следующего года, до страстной недели, ты должен только одно помнить, Манольос, только одно: как быть достойным, чтобы поднять страшную тяжесть креста.

— Я не достоин… — пробормотал Манольос, дрожа.

— Никто не достоин, но тебя избрал бог.

— Я не достоин, — снова пробормотал Манольос. — Я обручен, я трогал женщину, у меня грех на уме, через несколько дней я женюсь… Как же я могу поднять страшную тяжесть креста?

— Не противься воле божьей, — строго сказал поп. — Да, ты не достоин, но бог милостив, он улыбается и выбирает. На тебя пал его выбор, молчи!

Манольос замолчал, но его сердце билось и разрывалось на части от радости и страха. Он посмотрел через окно; вдали расстилалось поле, спокойное, мокрое, совсем уже зеленое; мелкий дождь прекратился; взглянув вверх, Манольос радостно вздрогнул: величавая дуга, вся в изумрудах, рубинах и золоте, повисла в воздухе и соединила небо с землей.

— Да будет его воля! — сказал Манольос, крепко прижимая ладони к груди.

— Пусть приблизятся все три апостола, — приказал поп. — Подходи и ты, Панайотарос, не злись, мы тебя не съедим! Подойдите под благословение.

Все четверо подошли и стали по обе стороны от Манольоса. Поп простер руки над их головами.

— Благословляю вас, — сказал он. — Святой дух да снизойдет на вас, и как набухают и распускаются древесные почки весной, пусть так же раскроются и ваши сердца, хотя они у вас и непокорные! И да свершится чудо, пусть вас увидят верующие на страстной неделе и скажут: «Вот эти — Яннакос, Костандис и Михелис? Нет, нет! Это Петр, Иаков и Иоанн!» Пусть смотрят, как поднимается на Голгофу и Манольос с терновым венцом на челе, и пусть их охватывает ужас! И пусть содрогнется земля, померкнет солнце, раскроются врата церкви в их сердцах. Пусть наполнятся их глаза слезами, пусть они прозрят и увидят, что все мы братья! И пусть воскреснет Христос уже не в храме, а в нашем сердце. Аминь!

Три апостола и Манольос почувствовали, что они покрываются холодным потом. От страха, словно ястреб нацелился на души всех четверых, подогнулись у них колени; невольно задрожали и соединились их руки, и все вместе, будто перед опасностью, они образовали одну цепь. И только Панайотарос все еще сжимал свой кулак и не захотел к ним присоединиться; он посмотрел на дверь и заторопился.

— Теперь идите, — сказал старик поп. — С благословением Христовым! Новый, очень трудный путь открывается перед вами; затяните пояса потуже, перекреститесь — и да поможет вам бог!

Так он сказал, и один за другим они поклонились ему, попрощались со старостами и вышли. Поднялись и старосты, разминая затекшие ноги и руки.

— С божьей помощью, все хорошо кончилось, — сказал архонт. — Хорошо у тебя все вышло, отче! Ты нас выручил. Молодец!

Но когда старосты уже переступали порог, капитан Фуртунас хлопнул себя по бокам и захохотал:

— Ах, досада какая! Забыли мы выбрать Магдалину!

— Не беспокойся, капитан, — сказал старик архонт, судорожно глотнув. — Я ее позову к себе домой и поговорю с ней. Думаю, мне удастся уговорить ее, — добавил он, ухмыляясь.

— Если суждено тебе согрешить с нею, архонт, — сказал поп, — поторопись, коль бога не боишься, сделать это до разговора с нею. Если уж она станет Магдалиной, сам понимаешь, получится большой грех.

— Хорошо, что ты меня об этом предупредил, отче, — откликнулся архонт и вздохнул с облегчением, словно избавился от серьезной опасности.

«Будь мы все прокляты, — пробормотал капитан Фуртунас, когда остался один и начал спускаться по склону, тяжело опираясь на палку и направляясь к конаку, куда был приглашен агой на обед. — Да, здесь нужно чистое сердце, а у нас — Содом и Гоморра!

Наш поп? Жадина! Открыл аптекарскую лавку, называет ее церковью и продает Христа граммами; излечиваю, говорит шарлатан, все болезни. „Какая у тебя болезнь?“ — „Сказал неправду“. — „Один грамм Христа, столько-то денег“. — „Я украл“. — „Полтора грамма Христа, столько-то“. — „А ты?“ — „Человека убил“. — „О, это тяжелая болезнь, бедняга! Ты вечером перед сном примешь пять граммов Христа, дорого стоит, — столько-то“. — „Дешевле нельзя ли, святой отец?“ — „Цена такая, плати, а то попадешь на самое дно ада“. И показывает он ему рисунки, которых полно у него в лавке, — на них изображен пылающий ад, с чертями и вилами; просителя бросает в дрожь, и он открывает свой кошелек...

Старик Патриархеас? Форменный кабан, сплошное брюхо с головы до пят; кажется, что даже в голове у него кишки. Если уложить с одной стороны все то, что он сожрал за свою жизнь, а с другой стороны все то, что он навалил ртом или задом, поднимутся две огромные зловонные горы. Вот так и явится послезавтра перед богом с двумя горами — справа и слева.

А Хаджи-Николис, учитель? Несчастный, бедный, уродливый, трусливый, в очках, а воображает, что он — Александр Македонский. А сам только на словах герой и набивает головы детей всякой книжной чепухой. Что же от него и ожидать? Учитель!

Дед Ладас? Скряга, бессовестный и жалкий, сидит над своими бочками, наполненными вином, над кувшинами с оливковым маслом, над мешками с мукой — и подыхает с голоду. Это он однажды вечером сказал жене, когда к ним пришли гости: „Жена, зажарь одно яичко, ужинать будут семь человек“. Живет он в голоде, в жажде, оборванный и босой. И зачем он только живет? Чтобы при своем богатстве подохнуть! Пропади он пропадом!

А если спросить обо мне? По моей милости плачут веревка и палка; меня можно касаться только щипцами, а то запачкаешься! Сколько я съел, выпил, сколько воровал, сколько убивал, сколько изменял в своей жизни! Когда все это я успел? Да, слава моим рукам, моим ногам, моему рту, брюху моему; хорошо они поработали, да будут они благословенны!»

Так разговаривал капитан Фуртунас сам с собою, стуча палкой по камням и спускаясь вниз. Фуражку свою он держал в руке и обмахивался ею, потому что ему было жарко. Остановившись перед конаком аги, он плюнул: так он обычно изливал свою злость, — будто оплевывал всю Турцию, будто поднимал маленькое знамя свободы и на миг становился свободным.

Плюнув и тем излив свою злость, он постучал в дверь; при мысли об обеде у него потекли слюнки: хорошо он поест, хорошо выпьет; ага отличный человек, щедрый. Опять они туго повяжут головы полотенцами и будут пить раки большими стаканами.

Раздался стук деревянных башмаков, во дворе послышались чьи-то быстрые шаги, и дверь открылась. Старая служанка аги, горбатая Марфа, приветствовала капитана.

— Если веруешь в Христа, капитан, — сказала она ему, — не напивайтесь опять, нет сил больше терпеть, нет сил!

Капитан ухмыльнулся и ласково похлопал ее по горбу.

— Хорошо, Марфа, не напьемся, а если напьемся, то не будем блевать, а начнет тошнить, принесешь нам таз, чтобы мы не запачкали комнату. Даю тебе слово.

И с независимым видом он переступил порог.

ГЛАВА II

Под вечер три избранных апостола вместе с Манольосом отправились к озеру Войдомата, расположенному неподалеку от села, чтобы погулять и поговорить. Они искали уединения, благотворной тишины, чтобы спокойно побеседовать, ибо чувствовали приятную усталость и таинственный трепет во всем теле, словно после причастия.

Дождь прекратился, блестели деревья и камни, пахло сырой землей, и где-то уже насмешливо и радостно куковала кукушка. Солнце, как бы приберегая свою силу, ласково гладило землю теплой рукой, дождевые капли еще играли на листьях, мир улыбался и плакал в нежном, омытом дождем воздухе.

Некоторое время четверо товарищей шли молча, пробираясь по мокрым садовым тропинкам. Мушмула уже зацвела, лимонные цветы ярко выделялись на фоне темно-зеленой листвы. Христос еще не воскрес, но вся земля, играющая яркими красками после дождя, благоухала, словно плащаница. Веял теплый ветерок, деревья слегка покачивались, распустились даже самые невзрачные ветки.

Костандис первым прервал молчание.

— Тяжелое бремя возложил на наши плечи поп, — сказал он тихим голосом. — Пусть господь поможет нам нести эту тяжесть. В прошлый раз, помните, Христа изображал дядя Хараламбис, хороший хозяин и добрый глава семейства; но он так старался идти по стопам Христа, так весь год трудился, чтобы стать достойным креста, что под конец рехнулся: в первый же день пасхи надел терновый венец, поднял на свои плечи крест, оставил все, пошел в монастырь святого Георгия Сумеласа в Трапезунде и там постригся в монахи. Распалась его семья, умерла жена, а дети бродят по деревням и попрошайничают. Манольос, ты помнишь дядю Хараламбиса?

Но Манольос молчал. Слушая Костандиса, он весь ушел в свои мысли; комок подступил к горлу, и он не мог говорить. То, чего с самого детства он желал, то, о чем мечтал столько ночей, сидя на коленях у старика Манасиса и слушая жития святых и рассказы об их чудесах, — все это теперь бог ему посылал. Хотелось ему пойти по следам святых мучеников, умертвить плоть свою, отдать жизнь за веру Христову и войти в рай, держа в руках орудия пытки — терновый венец, крест и пять гвоздей…

— Ты думаешь, мы тоже сойдем с ума? — сказал Михелис, насмешливо улыбаясь, но чувствуя в душе какое-то странное, смутное беспокойство. — Думаешь, мы и впрямь уверуем, что мы апостолы? Боже сохрани!

— Разве я знаю? — ответил Яннакос, качая своей выгоревшей на солнце головой. — Человек — очень хрупкая машина и очень легко развинчивается. Один винтик расшатается и…

Они подошли к озеру Войдомата и остановились. Темно-зеленая вода, густой камыш, дикие утки. Два аиста поднялись и медленно пролетели над их головами. Солнце садилось на западе.

Они смотрели ничего не видящим взором на вечернее озеро, редко посещаемое людьми. Мысли блуждали далеко; всех их вдруг охватили непривычные заботы. Все молчали. Наконец Яннакос нарушил молчание.

— Правда, Костандис, задача трудная, очень трудная, — сказал он. — Приобрел я — прости, господи! — плохие привычки. Как от них избавиться? Не кради, говорит, при взвешивании, не расклеивай чужих писем… Поп думает, это легко… Но если не воровать при взвешивании, как ты заработаешь деньги, чтобы стать когда-нибудь человеком? И если не читать чужие письма, как, скажи мне, коротать время? Много лет назад, после того как меня покинула покойная жена, появилась у меня эта привычка. Не от злости, боже упаси, просто от скуки… Это единственная моя отрада! Да еще мой ослик, господь его храни! Другой радости у меня нет. Когда я возвращаюсь из поездки по селам, я запираюсь в своем бедном доме, кипячу воду и расклеиваю письма над паром… Я их читаю, узнаю, как живет тот или другой односельчанин, потом заклеиваю снова и утром раздаю. А теперь поп убеждает… Что ни говори, вороне трудно стать голубкой. Прости меня, господь!

Михелис самодовольно улыбнулся и погладил свои тонкие черные усы. Он не крал, не читал чужих писем, никакого греха не знал за ним поп Григорис — можно было гордиться собою. Он вынул портсигар, угостил товарищей, и все четверо закурили большие сигареты. Покурили, повздыхали и немного успокоились.

Михелис не смог удержаться и похвалился:

— Священник сказал, что мне не нужно менять привычки; я и так, по его словам, не опозорю имени апостола.

Похвалился и густо покраснел от стыда, но сказанных слов уже нельзя было вернуть.

Манольос строго посмотрел на него; на какое-то мгновенье мелькнула мысль, что Михелис — сын его хозяина, но тут же он вспомнил, что и сам он с сегодняшнего дня уже не только Манольос, а нечто более значительное, — и осмелел.

— И все-таки, кто знает, хозяин, не нужно ли и твоей милости изменить кое-какие привычки? — сказал он. — Ешь поменьше — подумай, сколько голодающих в селе! Откажись от этой роскоши, от этих коротких штанов из сукна с дорогой вышивкой, от этой новой куртки. Подумай только, как много в нашем селе бедняков, дрожащих зимой от холода… И время от времени открывай свои амбары, раздавай что-нибудь бедным… Слава богу, добра у тебя больше чем достаточно.

— Ну, а если старик пронюхает, что я даю милостыню? — испуганно спросил Михелис.

— Тебе уже двадцать пять лет, ты же мужчина, а не ребенок, — ответил Манольос. — К тому же Христос выше твоего отца; он твой настоящий отец, он приказывает тебе.

Михелис повернулся и посмотрел на своего слугу с удивлением: первый раз тот обращался к нему так смело… «Кажется, он зазнался, после того как его выбрали Христом, — подумал Михелис. — Придется посоветовать отцу поставить парня на место».

— Я думаю, мы должны купить евангелие, — сказал Костандис. — Тогда мы увидим, по какому пути нам следует идти.

— У нас есть большое евангелие, дедовское, — откликнулся Михелис. — Оно переплетено в дощечки и свиную кожу; каждая половина его переплета похожа на ворота крепости; на нем есть даже замок с тяжелым ключом; когда ты его открываешь, то кажется, что входишь в большой город. Давайте каждое воскресенье собираться в нашем доме и читать его.

— Мне тоже нужно было бы в горах евангелие, — ответил Манольос. — До сих пор, когда мне становилось скучно одному, я находил кусок дерева, делал из него ложки, посохи, табакерки, козлов — все, что приходило мне в голову… Понапрасну расточал я время свое. Но теперь…

Он замолк и снова впал в раздумье.

— Да и мне, пожалуй, — сказал Яннакос, — когда я брожу по селам со своим ослом или отдыхаю под каким-нибудь платаном, не плохо было бы иметь под рукой евангелие и читать его. Вы скажете, что я многого не пойму, но это ничего, хоть что-нибудь, да уловлю.

— Мне, мне оно нужно больше, чем вам! — воскликнул Костандис. — Когда моя жена начинает браниться, вся кровь во мне закипает, вот тогда я открою его и успокоюсь, думая о том, что мои муки перед муками Христа, — ничто! Ибо... ты меня извини, Яннакос, она ведь твоя сестра, но трудно ее выносить! Однажды она бросилась на меня с вилкой, хотела выколоть мне глаза; только позавчера выхватила горшок с горохом из печки и начала гоняться за мной, чтобы ошпарить меня. Не раз говорил я себе: или она меня убьет, или я ее; но теперь я буду читать евангелие — и пусть она орет сколько хочет!

Яннакос улыбнулся.

— Бедняга Костандис, — сказал он сочувственно, — один только бог знает, как мне тебя жалко, но потерпи. Ведь на долю каждого мужчины приходится лишь одна женщина; окружи ее вниманием и молчи.

— Плохо только, — продолжал Костандис, — что я читаю с трудом, — от одной буквы еле-еле переползаю к другой и ломаю над ними голову.

— Ничего, — возразил Манольос, — это даже лучше; читаешь по слогам и понимаешь все слово. Апостолы тоже были простыми и неграмотными людьми, почти все они были рыбаками.

— Апостол Петр был грамотным? — нетерпеливо спросил Яннакос.

— Не знаю, — ответил Манольос, — не знаю, Яннакос. Спросим об этом священника.

— Еще мы спросим его, продавал ли Петр рыбу, которую ловил, или просто раздавал ее бедным, — пробормотал Яннакос. — Ясно, конечно, что он не крал, когда взвешивал, но, может быть, он все-таки продавал ее? Вот вопрос! Продавал или дарил?

— Мы должны еще прочесть жития святых... — предложил Михелис.

— Нет, нет, — запротестовал Манольос, — мы простые люди и запутаемся. Я, когда еще служил мальчиком в монастыре, читал их и чуть с ума не сошел. Пустыни, львы, страшная болезнь проказа, от которой их тела покрывались язвами и червями или становились твердыми и высыхали, как черепаший панцирь... А иногда еще приходило искушение в виде красивой женщины. Нет, нет! Только евангелие.

Так вечерней порой бродили они медленно вокруг озера и впервые в своей жизни вели такие необычные беседы... Как будто внутри их забил новый ледяной источник, стремясь просверлить старую твердую скорлупу и выйти наружу... Все время звучали в их ушах странные слова попа Григориса: «Пусть дух господа бога повеет на вас...» Разве святой дух — ветерок, что может повеять? Такой же ветерок, как сегодня, теплый и влажный, который раскрывает почки на деревьях и от которого набухают и распускаются сухие ветки? Может быть, святой дух — такой же ветерок, дующий нам в душу?

Они размышляли над всем этим, вопрошали самих себя, старались все это понять. Но никто не желал спросить своего соседа, потому что каждый испытывал тайную странную сладость от этих мучительных размышлений.

Молча они наблюдали, как угасал вечер. Вечерняя звезда трепетно мерцала на краю неба, бестолково и радостно квакали лягушки. Слева чернела безмолвная зеленая гора Богоматери, где находилась кошара Манольоса и где он пас овец своего хозяина. Справа возвышалась дикая гора Саракина, из фиолетовой превратившаяся уже в темно-голубую; в ее недрах зияли черные как смоль пещеры. А на ее вершине сверкала втиснутая между огромных скал маленькая, недавно побеленная, похожая на яйцо церковь пророка Ильи.

А внизу, на мокрой земле, между камышами, время от времени вспыхивали и замирали в ожидании светлячки, тихие, терпеливые, полные нежности.

— Поздно уже, — сказал Михелис, — нужно возвращаться.

Но Яннакос, который шел впереди, вдруг резко замедлил шаг и, приложив ладонь к уху, прислушался: все услышали далекий нарастающий топот спускающихся с горы людей — словно гудел улей или звучал рог...

Время от времени раздавался чей-то громкий голос, то ли подбадривая кого-то, то ли кому-то приказывая.

— Посмотрите… посмотрите, друзья! — воскликнул Яннакос. — Что это за муравьи ползут по полям? Словно крестный ход!

Все пристально вглядывались в темноту и напряженно прислушивались.

Длинная цепочка женщин и мужчин тянулась среди засеянных полей и проходила через виноградники, — казалось, что люди увидели село и спешат к нему.

— Вы слышите? — сказал Михелис. — Как будто поют псалмы.

— Вроде бы плачут, — откликнулся Манольос. — Я слышу плач.

— Нет, нет! Поют псалмы! Затаите дыхание, послушаем!

Остановились, прислушались. Теперь в вечерней тишине отчетливо и торжественно звучал старинный военный тропарь: «Спаси, господи, люди твоя…»

— Это наши братья христиане! — закричал Манольос. — Пойдемте встретим их!

Все четверо пустились бежать. Голова колонны уже достигла первых домов села. На дорогу с бешеным лаем выскакивали собаки, открывались двери, появлялись женщины, бежали мужчины, на ходу дожевывая хлеб, — было время ужина. Обычно в эту пору ликоврисийцы ужинали, сидя у столов с поджатыми под себя ногами. Они услышали псалмы, рыдания, тяжелый топот и выскочили на улицу. Поспешили и три апостола во главе с Манольосом — Христом.

Вечерний свет еще не угас, и теперь, когда люди подошли, можно было хорошо видеть их. Впереди шел опаленный солнцем священник, худой, с большими черными глазами, сверкающими из-под лохматых густых бровей, с редкой седой бородой клинышком. В руках он сжимал тяжелое евангелие в серебряном переплете, прикрытое епитрахилью. Справа от него шагал широкоплечий огромный мужчина с обвислыми черными усами; он нес хоругвь, на которой был вышит золотом лик святого Георгия. За ними шли несколько высохших стариков с большими иконами в руках, а за стариками брела целая толпа: женщины, мужчины, дети, которые кричали и плакали. Мужчины были нагружены тюками и рабочим инструментом: мотыгами, лопатами, кирками, серпами, а женщины тащили колыбели, треножники, посуду.

— Кто вы, христиане, откуда вы пришли и куда идете? — крикнул Яннакос и остановился перед священником в то время, когда толпа уже хлынула на площадь села.

— Где поп Григорис? — ответил хриплым голосом старик. — Где ваше начальство?

Он повернулся к ошеломленным ликоврисийцам, которые с беспокойством смотрели на пришельцев.

— Мы христиане, братья, не пугайтесь нас, мы преследуемые христиане, такие же греки, как и вы! Позовите старост села, я хочу с ними поговорить… Бейте в колокола!

Усталые женщины рухнули на землю, мужчины спустили с плеч груз, вытерли потные лица и молча смотрели на своего священника.

— Откуда вы идете, дедушка? — спросил Манольос одного побелевшего от времени старика, который склонялся под тяжестью огромного мешка, но продолжал держать его на своих плечах.

— Не торопись, сынок, — ответил ему старик, — не торопись! Отец Фотис об этом вам расскажет.

— А что у тебя в мешке, дедушка?

— Ничего, сынок, ничего, мои вещи… — ответил старик и очень осторожно опустил мешок на землю.

Священник стоял, крепко сжимая в руках евангелие. Тем временем какой-то молодой ликоврисиец взобрался на колокольню, схватил веревку и яростно забил в колокол. Две испуганные совы бесшумно слетели с платана и исчезли в темноте.

На балконе появился совершенно пьяный ага. Ему показалось, что площадь заполнилась чужим народом. В ушах у него гудело: где-то как будто кричали, плакали или пели — он ничего не мог понять! И что такое случилось, почему бьют в колокол?

— Иди сюда, Спаномария, — сказал он, обернувшись назад, — иди сюда и открой мне тайну! Что это за толпа на площади? Что это за гул, что за колокола? Или, может быть, мне все это снится?

Капитан Фуртунас показался на балконе, на ходу обвязывая белым полотенцем голову, чтобы она не трещала. Пьянствуя с агой, он всегда делал себе такую повязку, потому что раки, говорил он, может разорвать голову на тысячу частей. Время от времени он разворачивал полотенце, окунал его в ведро с холодной водой и снова крепко обвязывал разгоряченную голову.

Капитан нагнулся и посмотрел вниз; он неясно различал собравшихся вокруг платана мужчин, женщин, какие-то знамена.

— Ну что ты там видишь, Спаномария? — снова спросил ага. — Понимаешь ли ты, что там, внизу, творится?

— Люди! — ответил капитан. — Люди, мне кажется. А ты как думаешь, ага?

— Мне тоже кажется, что люди... Откуда они взялись? Что им нужно? Выгнать их из села? Оставить их? Спуститься с кнутом? Как ты думаешь?

— Да брось, ага! Зачем теперь кричать, спускаться с кнутом и портить себе настроение! Не думай о них, будем лучше сами развлекаться. Давай-ка выпьем еще по стакану.

— Юсуфчик, — крикнул ага, — принеси сюда, золотой мой, подушки, стаканы и большую бутылку. И закуски! Иди сюда, веселись и ты с нами, Юсуфчик! А греки пусть себе дерутся.

— Где отец Григорис? — продолжал спрашивать поп Фотис. — Где ваше начальство? Неужели нет ни одного христианина, который сходил бы за ним?

— Я пойду! — ответил Манольос. — Потерпи немного, отче!

И повернулся к Михелису.

— Потрудись немного, Михелис, пойди позови своего отца. Скажи ему: пришли христиане, преследуемые христиане, и припадают к его ногам, взывая о помощи. Он же архонт, он должен им помочь. А я побегу к попу Григорису. Ты же, Костандис, беги к деду Ладасу, скажи ему, что чужие люди пришли и продают свои вещи за полцены, они в нужде; так ему и скажи, а то он не придет. А ты, Яннакос, беги к капитану домой! Пришли люди, потерпевшие кораблекрушение на Черном море; слышали о нем и пришли... Проходя мимо, позови и учителя, пусть он тоже придет; скажи ему: греки пришли, и они в большой беде!

Какой-то мальчуган вмешался:

— Капитан ест и пьет наверху, у аги... Вот он вышел на балкон. Ого! И голова у него обвязана полотенцем; значит, пьян вдрызг!

— Архонт тоже спит, храпит! — послышался за ним веселый голос. — Даже пушка его не разбудит!

Они обернулись. Вдова Катерина, кругленькая, с пухлыми губами, краснощекая, подошла, запыхавшись. У нее на голове была новая зеленая шаль с большими вышитыми розами, щеки ее горели, вычищенные ореховым листом зубы сверкали.

— Он сейчас на седьмом небе, спит и храпит! — повторила Катерина, игриво посматривая на Манольоса и улыбаясь. — Ты напрасно шлешь к нему вестников, Манольос!

Манольос повернулся к ней лицом, но испугался и опустил глаза. «Это же зверь, — подумал он, — зверь, пожирающий людей. Отойди от меня, сатана!»

Вдова подошла ближе. От нее одуряюще пахло — настоящий зверь! Но тут же она услышала чье-то грозное рычание и обернулась. Опустив голову, на нее мрачно смотрел Панайотарос. По-видимому, он тоже бежал, потому что дышал прерывисто, и его покрасневшее, изрытое оспой лицо было страшно.

— Пошли! Пошли! — сказал Манольос, торопя друзей.

Они побежали вверх по склону и вскоре исчезли в кустарнике.

Стиснув зубы, рассерженный Панайотарос сделал шаг-другой и остановился перед Катериной.

— Ты что же, ходила домой к этому парализованному хрычу? — прорычал он и, дрожа, наклонился к ее плечу. — Что тебе нужно было от него? Мерзавка, я тебя сожру!

— Я не гипс, чтобы ты мог меня съесть! — засмеялась вдова, скользнула в толпу и остановилась около великана, державшего знамя.

— Потерпите, дети мои! — говорил теперь священник, расхаживая взад и вперед среди своих людей. — Потерпите, сейчас придет начальство, придет и отец Григорис, кончатся наши муки! Мы вырвались с божьей помощью прямо из когтей смерти. Снова пустим корни в землю, не погибнет наше поколение! Не погибнет, дети мои, — оно бессмертно!

Раздался радостный крик, словно улей загудел, потом все притихли. Некоторые женщины, расстегнув блузки, стали кормить грудью детей, чтобы те не плакали. Великан опустил знамя на землю, а столетний старик протянул свою мозолистую руку к мешку и улыбнулся.

— Слава тебе господи, — пробормотал он, — пустим снова корни! — и перекрестился.

Тем временем со всех сторон сбегались напуганные селяне, подошло и несколько старух; собаки устали лаять и обнюхивали пришельцев; а мальчуган, держась за веревку, все звонил и звонил в колокол.

Над миром расстилалось синее бархатное бескрайнее небо с разбросанными по нему редкими звездами. Подняв глаза к небу, пришельцы смотрели на него, доверчиво ожидая прихода старосты и решения своей судьбы. В наступившей тишине слышалось ласковое журчанье льющейся воды.

— Ну, чертов капитан, налей еще, — сказал ага, слушая, как журчит ручей. — Это похоже на сон. Хорошо нам живется, налей, выпьем еще, чтобы не просыпаться. И имей в виду, когда подерутся греки, дай мне знать, чтоб я спустился с кнутом.

— Не беспокойся, ага, я смотрю внимательно и дам тебе знать! Я на вахте!

— Позвал бы сеиза, пусть придет с трубой! Может быть, он мне понадобится. Юсуфчик, разожги мою трубку!

Юсуфчик зажег длинную трубку с янтарным наконечником, ага закрыл глаза, начал курить, и ему казалось, что он вот так, сидя на подушке, с большой бутылкой и Юсуфчиком, входит в рай.

Манольос тем временем вернулся и, воздев руки, кричал, с трудом переводя дух от быстрой ходьбы:

— Расступитесь, расступитесь, братья, священник идет!

Мужчины вскочили на ноги, женщины вытянули шеи и затаили дыхание. Хоругвь опять поднялась, снова заколыхалась около священника, старики с иконами опять стали за ним. Священник перекрестился.

— В добрый час, — пробормотал он и продолжал ждать, не двинувшись с места.

Пришел Михелис и, нагнувшись к уху Манольоса, тихо сказал:

— Спит он, храпит, я не смог его разбудить. Перепил, переел, я толкал его, но он даже не пошевелился. Как я ни кричал ему, он ничего не слышал, и я оставил его в покое.

Пришел и Костандис.

— Хитрая лиса, этот мерзкий старик! — сказал он возмущенно. — Пронюхал ловушку, — занят я, заявил, не приду! А если у нас собираются, говорит, помочь этим оборванцам, свалившимся в село, то он даже ломаного гроша не найдет для них! И пусть лучше не стучат в дверь, никому не открою, говорит.

Как раз в этот момент вернулся и Яннакос.

— Я видел учителя, он читал свои книжонки; сейчас, ответил, закончит чтение и придет; и, как решит поп Григорис, так оно и будет.

— Ничего себе, главы села! — пробормотал Манольос и вздохнул. — Один храпит, другой пьянствует, третий читает, а скупец сидит, как наседка, на своих монетах… Но я надеюсь на нашего священника, — он явится, он глас божий, он все нам скажет.

Какая-то молодая женщина, высохшая как скелет, с землистым от голода лицом, закричала тонким голосом и уронила голову на грудь; когда-то ей жилось хорошо, но теперь она не ела вот уже несколько дней и обессилела так, что была почти при смерти.

— Крепись, Деспиньо, крепись, — говорили ей другие женщины и обмахивали ее платками. — Мы пришли в богатое село, наши пошли за хлебом, поедим и окрепнем! Ободрись!

Но та только качала головой, и глаза у нее уже помутнели. Послышались радостные голоса, толпа зашумела.

— Идет! Идет!

— Кто идет, Спаномария? — спросил ага, приподнимая свои тяжелые веки.

— Я тебе говорю, ага, не порть себе настроения… Сейчас ты в раю, не уходи оттуда! Я сижу рядом с тобой, внимательно слежу и дам тебе знать, если что… Мне кажется, идет поп Григорис.

Ага засмеялся.

— А у толпы, которая пришла к нам, есть свой поп? — спросил он.

— Да, — ответил капитан, наполняя очередной стакан.

— Ну, тогда мы посмеемся! Два попа подерутся! Эти ваши попы на женщин похожи, клянусь своей верой! Отрастили себе длинные гривы, и когда встречаются, то так и норовят вцепиться друг другу в волосы. Где сеиз? Сходи и скажи им, чтобы орали погромче, я хочу послушать!

Тем временем Панайотарос, преследуя вдову, подошел к знаменосцу.

— Я сожру тебя, бесстыжая! — снова прорычал он ей в самое ухо. — Зачем ты крутишься здесь, среди мужчин? Марш домой, быстро! Уходи отсюда! Я тоже пойду за тобой.

— Неужели ты не видишь страданий этих христиан? Тебе не жаль этих голодных?

Она на минуту замолчала, повернувшись к нему спиной, и вдруг, не в силах больше сдержать тяжкого слова, душившего ее, резко обернулась и крикнула:

— Иуда!

И, бросившись в самую гущу беженцев, скрылась.

Панайотарос почувствовал, как у него закружилась голова, земля заходила под ногами, словно кто-то вонзил ему нож в сердце. Он схватился за древко знамени, чтобы не упасть, и стоял с разинутым ртом, ожидая, когда земля перестанет качаться и он сможет убежать отсюда.

— Вот он! Вот он — отец Григорис! — послышались отовсюду голоса.

Толпа увидела его. Высокий, откормленный, в лиловой атласной рясе, с широким черным поясом на огромном брюхе, поп Григорис — представитель бога в селе Ликовриси — появился перед голодной толпой.

Мужчины и женщины упали на колени, тощий поп пришельцев раскрыл объятья и сделал шаг вперед, чтобы по-монашески обнять откормленного божьего служителя. Но тот протянул пухлую руку, нахмурил брови и оттолкнул попа. Окинул сердитым взглядом ободранных, голодных, полумертвых людей; зрелище это ему не понравилось, и он громко спросил:

— Кто вы такие? Почему вы покинули свои дома? Что вам здесь надо?

Женщины притихли, — услышав его голос, дети подбежали к своим матерям и схватились за их платья, собаки снова начали лаять. Наверху, на балконе, капитан приложил ладонь к уху и внимательно слушал.

— Дорогой отче, — спокойно, но решительно ответил поп беженцев. — Я священник Фотис из далекого села святого Георгия, а все эти люди — души, вверенные мне богом. Турки сожгли наше село, прогнали нас с наших земель, многих убили; мы же спаслись, оставили все и ушли, Христос повел нас, и мы следуем за ним, ищем новых земель, на которых могли бы поселиться.

С минуту он помолчал; во рту у него пересохло, и слова с трудом вылетали из горла.

— Мы тоже христиане, — продолжал он через некоторое время. — Мы, эллины, великий народ, мы не должны погибнуть!

Свесившись через перила, капитан, хоть и пьяный, прислушивался к резкому, гордому голосу взволнованного священника. Понемногу раки испарилась, и в голове капитана посветлело.

«Действительно, — подумал он, — что мы за черти, что за упрямцы! Откуда у нас столько мужества! Мы как осьминоги: отрезали одно щупальце, отрезали другое, а на их месте вырастают новые».

Он развязал полотенце, от которого шел пар, окунул его в ведро с водой, стоявшее рядом, снова повязал себе голову, и ему стало легче.

Опять послышался голос отца Фотиса:

— Мы не погибнем! Тысячи лет прожили и тысячи лет еще проживем! Мы рады приветствовать тебя, отче!

«Что за атаман этот поп, — снова подумал капитан Фуртунас. — Откуда у него этот огонь, этот задор, это мужество, притом он совсем нечестолюбив! Клянусь морем, он, по-моему, прав... Мы, греки, бессмертная нация. Нас вырывают с корнем, нас жгут, нас режут, но мы не сдаемся. Берем иконы, корыта, треножники, евангелие — и снова в путь! Чтобы пустить корни где-нибудь подальше...»

Его душили слезы. Вдруг он перегнулся через перила балкона и крикнул:

— Здравствуй, Папафлесас!

Несколько человек подняли головы к балкону, но из-за шума, вызванного словами попа, не все поняли, что сказал капитан. Женщины причитали, вспоминая свои дома, а голодные дети громко плакали.

Когда шум несколько утих, отец Григорис поднял свою толстую руку и заговорил:

— Что бы ни делалось в мире, все делается по божьей воле. С неба бог видит землю, держит в руках весы и взвешивает. Он дает Ликовриси возможность радоваться своему богатству и погружает ваше село в траур. Бог знает, какие грехи вы совершили!

Он на минуту замолчал, чтобы толпа хорошенько разобралась в этих суровых словах, потом снова поднял руку и крикнул с упреком:

— Отче, только правду! Признайся, какие дела свершили вы и как дожили до такого несчастья.

— Отец Григорис, — ответил истощенный поп, с трудом сдерживая гнев, который уже начал клокотать в его груди, — отец Григорис, я тоже служитель всевышнего, я тоже читаю святое писание, я тоже держу в своих руках чашу с телом и кровью Христа! Мы оба, — нравится тебе это или нет, — равны. Может быть, ты богат, а я беден; может быть, у тебя обширные поля и дом — полная чаша, а мне, как видишь, некуда голову приклонить, но перед богом мы оба равны. Может быть, я даже ближе к богу, потому что я голодаю. Поэтому не кричи так, если хочешь, чтобы я тебе ответил.

Поп Григорис запнулся. Он тоже почувствовал, как гнев закипает в его груди, но сдержался. Он понял, что не прав и что односельчане видят его неправоту и сочувствуют справедливым словам грозного приблудного попа.

— Говори, говори, дорогой отче, — сказал он более мягким тоном. — Бог слышит нас, и народ тоже слышит нас; все мы христиане и греки. Все, что мы можем, и даже то, что свыше наших сил, мы сделаем, чтобы спасти души, вверенные тебе богом.

— Отец Григорис, — снова раздался голос пришельца, — мы слышали в наших краях о тебе, теперь мы воочию видим тебя и любуемся тобой; мы слышим твои слова, и они придают нам бодрости. Ты меня спросил, каким образом наше село попало в такое бедственное положение? Я тебе отвечу. Слушай, отец Григорис, слушайте вы, старосты, хотя вы даже не потрудились посмотреть на нас, слушайте и все вы, христиане Ликоврconfigure...

Сердце Манольоса сильно билось. Он обернулся к своим товарищам.

— Подойдем поближе к нему, — прошептал он, — подойдем поближе, чтобы видеть и слышать его.

— Таким я представляю себе апостола Иакова, — сказал Костандис.

— А я — апостола Петра, — сказал Яннакос.

Священник рассказывал торопливо и взволнованно, как будто не хотел воспоминаниями бередить рану. Мысли его перескакивали от одного события к другому, голос дрожал, священник словно боялся растревожить прошлое.

— Однажды над крышами нашего села послышался голос: «Идет греческая армия! На перевалах показались фустанеллы!» — «Звоните в пасхальные колокола, — крикнул я. — Пусть соберется народ, я буду говорить». Но народ уже устремился на кладбище, люди раскапывали могилы, и каждый кричал своему отцу: «Отец, они пришли! Отец, они пришли!» Они зажигали свечки на могильных крестах и брызгали вином, чтобы оживить мертвых. А потом все устремились в церковь. Я поднялся на амвон: «Братья мои, дети мои, — крикнул я, — христиане! Греки пришли! Земля соединилась с небом. Женщины и мужчины, все берите оружие, чтобы гнать турка до Красной Яблони!»

— Тише, отче, тише, пожалуйста, — шепнул попу подошедший Яннакос. — Тише, ага сидит на балконе и слушает.

Ага действительно в эту минуту вздрогнул; хотя он и был погружен в сон, однако краешком уха уловил какие-то бунтарские речи и вскочил.

— Не нравятся мне эти дела, Спаномария. Мне как будто послышалось...

— Говорю тебе, не беспокойся, дорогой ага, спи! Спи, я весь внимание.

— Я хочу спать, капитан... Но если увидишь, что попы перейдут границы и сцепятся, толкни меня, чтобы я проснулся; тогда я спущусь с кнутом и наведу порядок.

Он обернулся к Юсуфчику.

— Иди сюда, Юсуфчик, пощекочи мне пятки, чтобы я скорей заснул, — сказал ага и опять опустил тяжелые веки.

Отец Фотис продолжал, понизив голос:

— Мы разыскали оружие на чердаках, я тоже надел на себя патронташ и крест и собрал народ на площади: «Дети мои, — сказал я им, — перед тем как отправиться в путь, давайте споем все вместе гимн!» Как радостно звучали голоса, какой это был праздник! Земля задрожала, когда мы все вместе начали петь гимн!

И отец Фотис, забывшись, начал громко петь: «Выросшая на священных костях греков...»

— Тише, тише, отче, — снова прошептал ему на ухо Яннакос.

Но в эту минуту раздался с балкона хриплый голос капитана:

— «И, как в древности, мужественная, да здравствует, да здравствует Свобода!»

Ага слегка зашевелился, как будто его укусила блоха, но тут же снова погрузился в сон.

Люди на площади вздрогнули и посмотрели на балкон. Но капитан все так же сидел на подушке, поджав под себя ноги, и снова наполнял свою чашку раки.

— Твое здоровье, Греция, — прошептал он. — Ты завоюешь весь мир!

— Капитан Фуртунас напился, — сказал Костандис, — и теперь в приподнятом настроении; дай бог, чтобы он не выхватил пистолет из кобуры аги и не прикончил его! Тогда мы погибли!

— Ну и пусть, — взволнованно сказал Михелис. — Этот поп заставляет мое сердце биться сильнее.

— Замолчите, братья, замолчите, дайте послушать, — сказал Манольос, который весь превратился в слух и не сводил глаз с попа Фотиса.

Нахмурившийся поп Григорис тяжело дышал. «Этот поп-голодранец зажигает сердца, — думал он, — это большое несчастье. Нужно найти способ, чтобы он убрался из нашего края…»

— Говори, говори, уважаемый отче, — сказал он покровительственно. — Почему ты остановился? Мы слушаем.

— О дальнейшем не заставляй меня говорить, дорогой отче, — ответил отец Фотис, тяжело вздыхая. — Ведь у меня сердце, а не камень, не выдержит оно…

По щекам его покатились слезы, голос осекся.

Капитан снова навалился на перила балкона и вытер свои глаза мокрым платком.

— Черт меня побери, — прошептал он, — я с ума сошел!

— Божья воля, — сказал поп Григорис, — не проклинай никого, отче, это большой грех.

— Никого я не проклинаю, — крикнул поп, снова входя в раж, — я ничего не боюсь, мы бессмертны! Сердце мое успокоилось, я продолжаю свой рассказ. Эвзоны были разбиты, ушли, а мы остались. Мы остались, и вернулись турки. Вернулись турки — этим все сказано! Сожгли дома, перерезали мужчин, изнасиловали женщин — турки всегда турки! Я собрал всех, уцелевших от гибели, вот этих, которых вы видите, вот этих, стоящих перед вами на коленях, дорогие христиане, — немного мужчин, немного женщин, много детей… Взяли мы иконы, евангелие и знамя святого Георгия, взяли и кое-какие пожитки, я стал впереди, и начался наш поход… Преследования, голод, болезни… Три месяца мы скитаемся, многих потеряли в пути. Мы их хоронили, оставшиеся в живых продолжали свой путь! Каждый вечер мы останавливались, полумертвые от усталости, но я находил в себе силы, вставал, читал им евангелие, говорил им о боге и Греции, и это подбадривало нас, и утром опять начинались наши скитания… Нам стало известно, что далеко, рядом с горой Саракиной, находится богатое село, с хорошими людьми — Ликоврисси. Подумали мы: они христиане, греки, у них полные амбары, у них много земли, не дадут они нам погибнуть! Вот мы и пришли. С доброй встречей!

Поп Фотис вытер пот, струившийся по лицу, перекрестился и, наклонившись к евангелию, которое держал в руках, поцеловал его.

— Другой надежды у нас нет, — сказал он, — иного утешения нет, только это!

И поднял высоко над головой тяжелое серебряное евангелие.

Глаза у всех наполнились слезами, люди вздрогнули от ужаса. Манольос оперся на руку Яннакоса, чтобы не упасть, а Михелис нервно теребил свои черные усики и едва сдерживал слезы. Даже глаза Панайотароса затуманились и смотрели теперь на людей с добротой и нежностью… Вдова тоже плакала о христианах и Греции, о мужчинах и женщинах, стоявших вокруг нее, плакала она и о своих грешных и постыдных делах… А наверху, на балконе, капитан Фуртунас зажал рукой рот, чтобы не разрыдаться и не разбудить храпевшего агу.

Только оба попа не плакали; один потому, что пережил все эти бедствия и иссушил свои слезы, другой потому, что все время мучительно размышлял, не зная, что бы придумать, как бы отвязаться от этого голодного стада и его грязного вожака, который будоражил души людей.

— Некоторые из нас, — продолжал поп Фотис, смягчая голос, — успели пробраться на кладбище, выкопали кости своих отцов и доныне таскают их с собой; эти кости будут заложены в фундаменты нашего нового села. Вот этот столетний дед таскает кости предков на своих плечах уже три месяца!

Поп Григорис начал нервничать.

— Все это хорошо и свято, отче, — сказал он, — но скажи, что вам от нас нужно?

— Землю, — ответил поп Фотис, — землю, чтобы на ней укорениться! Нам говорили, что у вас есть лишние земли — пустыри, дайте их нам, и мы их обработаем! Мы их засеем, мы вырастим зерно и обмолотим его, будет хлеб, чтобы прокормить наш род. Вот чего хотим мы, отче.

Поп Григорис зарычал, словно овчарка. Как, эти голодные хотят войти в его кошару? Медленно он провел рукой по седой бороде и погрузился в размышления. Мужчины и женщины ждали затаив дыхание. Воцарилась гробовая тишина.

Ага вскочил, рассердившись.

— Почему они замолчали? — спросил он. — Разве я не велел им кричать?

— Спи, спи, ага, — сказал капитан, — драка еще не началась.

— Что с тобой случилось? Почему дрожит твой голос? Ты пьян?

— Эта подлая раки ведь не вода, — она меня и свалила! — пробормотал капитан и вытер слезы.

Манольос не мог сдержаться. Батрак, как только решился он выступить на глазах всего села?

— Дорогой отец Григорис, — закричал он, — прислушайся к голосу этих людей! Христос голодает и просит подаяния!

Поп Григорис обернулся, разгневанный.

— Замолчи!

Тишина казалась гнетущей. Костандис и Яннакос стали около Манольоса, будто хотели защитить его. Подошел к нему и взволнованный Михелис.

— Пойди разбуди своего отца, — сказал ему Манольос. — Иди! У него доброе сердце, он пожалеет их. Ведь тебе их тоже жалко, хозяин?

— Мне их жалко… жалко… но я боюсь будить его…

— Бога нужно бояться, Михелис, бога, — сказал Манольос, — а не людей!

Михелис покраснел. Как смеет так говорить его батрак? Кому он приказывает? Михелис нахмурился, но ничего не сказал. Даже с места не сдвинулся, чтобы пойти разбудить своего отца.

Поп Григорис все еще молчал и думал, что сказать, как ему прогнать из своей кошары этих голодных волков. Он чувствовал, что вся его паства взбунтуется, уйдет от него… Что же делать? Позвать агу? Но что скажут односельчане, если он призовет турка решать судьбу тех, кто подвергся разорению и покинул родные места именно потому, что воевал против турок. Позвать старост? Но он доверял только старику Ладасу. Архонт по натуре был человек чувствительный и слезливый, он наверняка сказал бы да. Другой, паршивый капитан, тоже, безусловно, сказал бы да, ибо что он терял? А учитель, пустоголовый очкастый болтун, одержимый высокими идеями, вообще никогда не знал, как разделить сено между двумя ослами…

— Медлит бог, медлит озарить тебя, отче мой, — сказал поп Фотис, у которого истощилось терпенье.

— Медлит, — ответил рассерженный поп Григорис, — ибо он доверил мне души и я перед ними в ответе.

— Все души на земле вверены каждому из нас двоих, — возразил священник, — но не разделяй, отче, души на моих и твоих.

Будь они только вдвоем, поп Григорис набросился бы на него, схватил бы его за горло, задушил бы, но что он может сделать теперь? Пришлось сдержаться. Но молчать он уже не мог, ибо все смотрели на него и ждали его решения. Он пошевелил губами.

— Слушай, отче… — начал он.

— Слушаю, — ответил поп Фотис и сжал в руках тяжелое евангелие, словно собираясь швырнуть его в попа Григориса.

Поп Григорис толком еще не знал, что он скажет. Ничего он еще не придумал. Но как раз в эту минуту и совершилось чудо, которого он так ждал, в котором так нуждался. Послышался крик, и дочь одного из старост, Деспиньо, упала мертвой на землю. Люди бросились к ней, но тут же в ужасе попятились назад: она позеленела, у нее опухли ноги, вздулся живот, посинели губы.

Поп Григорис вознес руки к небу.

— Дети мои, — закричал он, едва сдерживая свою радость, — в эту грозную минуту бог дал нам ответ. Наклонитесь, посмотрите на эту женщину, посмотрите хорошенько на ее вздутый живот, на опухшие ноги, на позеленевшее лицо, — это же холера!

Люди отшатнулись в ужасе.

— Холера! — снова закричал поп Григорис. — Эти пришельцы несут в наше село страшную смерть, — мы погибли! Будьте суровы, подумайте о своих детях, о женах, о селе! Не я решаю, бог уже решил за нас! Отче, ты хотел ответа — вот он!

Так он сказал и простер руку к мертвой, лежавшей посреди площади.

Поп Фотис прижал к своей груди евангелие, руки его дрожали. Он шагнул к попу Григорису, хотел что-то сказать, но не смог — у него перехватило дыхание.

Капитан на балконе встал, пошатываясь, и снова сунул полотенце в ведро; кровь опять бросилась ему в голову, он весь горел. Обвязав мокрым полотенцем голову, он присел, и ему стало легче. Вода текла по его увядшим щекам, по голому подбородку, по безволосой, изъеденной морской солью груди.

— Ну и подлец этот козлобородый! Все свалил на несчастного попа-пришельца! Холера, говорит… Тьфу тебе, богохульник! Не пройдет тебе этот номер, нет! Я спущусь по лестнице и крикну: «Обманщик! Обманщик!» Я тоже староста, тоже управляю селом. Мое слово тоже что-нибудь да значит. Сейчас я ему скажу.

Пробормотав это, он, пошатываясь и спотыкаясь, направился к двери. Одним ударом открыл ее. Остановился на минуту на верхней площадке. Какая-то дьявольская сила поднимала и опускала дом, страшная буря качала зажженный фонарик; висевшие на стенах ружья, ятаганы, красные фески и сеиз, который спал, свернувшись калачиком на пороге, — все это вертелось вместе с домом. Он схватился за перила лестницы, вытянул ногу, ему показалось, что на ней появились крылья. Ступеньки опускались и поднимались, словно волны… Он сделал шаг вперед и вдруг покатился по лестнице головою вниз, так что загудел весь дом.

Вскочил проснувшийся ага.

— Эй, капитан, — завизжал он, — кто там провалился?

Было темно, он протянул руки, пощупал — на балконе никого. Он попытался подняться, но снова свалился на подушку рядом с Юсуфчиком, который спал с мастикой во рту. Ага протянул руку, пощупал горячее, благоухающее тело и улыбнулся.

— Юсуфчик мой, — сказал он нежно, — Юсуфчик мой, ты спишь?

Он прислонил голову к нежной груди мальчика и, счастливый, снова закрыл глаза.

Раздался голос попа Григориса, теперь спокойный и добрый:

— Отче мой, ты нам рассказал о ваших муках, и наши сердца разрываются от горя. Видишь, все мы плачем. Мы раскрыли свои объятья, чтобы принять вас, но в эту минуту бог пожалел нас и послал страшное знамение. Смерть вы несете с собой, братья мои, — поэтому ступайте с богом, не губите наше село!

Так сказал ликоврисийский поп, и в толпе беженцев послышались рыдания. Женщины плакали и рвали на себе волосы, а возмущенные мужчины со слабой надеждой смотрели на своего попа. Ликоврисийцами овладел ужас. Обезумевшими глазами смотрели они на окоченелый труп, лежавший в самом центре села.

— Пусть уходят! Пусть уходят! — послышались отовсюду голоса. — Пусть уходят!

— Принесите извести и бросьте на труп, чтобы не распространилась зараза по всему селу! — завизжал какой-то старик.

— Не бойтесь, братья! — закричал отец Фотис. — Это неправда, не слушайте его! Мы не несем с собой смерть, мы просто голодаем. И эта женщина умерла от голода, клянусь вам!

Он обернулся к попу Григорису.

— Толстобрюхий поп! — заревел он. — Поп с двойным подбородком! Бог слышит нас с неба. Пусть он тебя простит, ибо я не могу! Ты взял грех на душу!

— Уходите с богом! — крикнул какой-то старик ликоврисиец. — У меня дети и внуки, не губите нас!

Страх начал охватывать всех крестьян, их сердца окаменели. Они размахивали руками и кричали:

— Уходите! Уходите!

— Глас народа — глас божий! — сказал поп Григорис, скрестив руки на груди. — Уходите, в добрый час!

— Грех на ваших душах! — крикнул отец Фотис. — Мы уйдем! Встаньте, дети мои, мужайтесь! Они не хотят знать нас, и мы тоже не хотим знать их! Земля большая, пойдем дальше.

Женщины поднялись, снова взвалили груз на плечи; мужчины взяли свои узлы и инструменты, знамя закачалось и встало впереди колонны. Манольос, плача, наклонился, помог столетнему старику подняться, потом взвалил ему на спину мешок с костями.

— Надейтесь на бога, дедушка, — сказал он ему, — не отчаивайтесь! Надейтесь на бога...

Старик обернулся и покачал головой.

— А на кого же, не на людей же? — закричал он. — Ты ведь видел! Тьфу, пропади все они пропадом!

Пока они собирались в дорогу, поп Фотис медлил. Он посмотрел на своих людей, высохших и полумертвых, и его сердце сжалось от горя.

— Братья ликоврисийцы! — крикнул он. — Если бы я был один, если бы мне надо было отвечать перед богом только за свою душу, я не унизился бы до того, чтобы протягивать руку и просить милостыню! Я бы издох от голода. Но мне жаль этих женщин и детей, они больше не выдержат и упадут на дороге от голода. Ради них я забываю и гордость и стыд и протягиваю вам руку — подайте, христиане! Вот наши одеяла — помогите, кто чем может, — кусок хлеба, бутылка молока для детей, горсть маслин... Мы голодаем!

Двое мужчин взяли одеяла и, держа их натянутыми, вышли вперед.

— Во имя бога, — сказал священник и перекрестился. — Мы уходим. Вперед, дети мои, мужайтесь! Мы выпьем и эту чашу. Слава тебе, господи! Мы пойдем по селу, будем стучаться в двери. Терпение! Вот до чего мы дошли — мы закричим: «Подайте милостыню, подайте милостыню! Подайте все, что у вас лишнее, то, что вы бросили бы собакам!» Терпение и мужество! Христос победит!

Он обернулся к попу Григорису.

— Мы еще встретимся когда-нибудь, — закричал он. — Мы еще встретимся! Прощай, до второго пришествия! Тогда мы предстанем перед богом, и он нас рассудит!

Первой отозвалась вдова Катерина; она сняла с головы новую зеленую шаль с большими красными розами и бросила ее на одеяло. Потом порылась у себя в карманах, нашла зеркальце, флакончик с духами и тоже бросила их на одеяло.

— У меня больше ничего нет, братья, — плача, сказала она. — Больше ничего, извините меня...

Костандис на минуту заколебался, но потом вспомнил, что должен играть роль апостола, побежал в свою лавку, схватил пачку сахара, пачку кофе, бутылку коньяку, несколько кофейных чашек, кусок мыла, стремительно вернулся и бросил все это на одеяло.

— Мало этого, — сказал он, — но даю с любовью. Идите, в добрый час!

Они пошли по селу. То и дело высовывалась чья-то рука, торопливо бросала что-нибудь в развернутое одеяло, и дверь тут же захлопывалась, чтобы не вошла холера.

Они подошли к дому старика Ладаса, постучали — дверь не открылась. Свет, маячивший в окне, погас. Яннакос, шедший впереди с тремя своими товарищами, постучал сильнее и крикнул:

— Эй, Ладас! Они — христиане! Они голодают, все дают им кусок хлеба, дай и ты!

Но из дома послышался сердитый голос деда Ладаса:

— Если тебе хочется пить, не выливай воду!

— Когда-нибудь я тебя сожгу, антихрист! — крикнул Яннакос, угрожающе поднимая кулак.

— Братья, пошли к дому архонта Патриархеаса! — крикнул Михелис, обернувшись к трем своим товарищам. — Пошли, пошли, чтобы успеть! Пока старик спит, откроем амбар и возьмем, что сможем.

— А если старик рассердится? — иронически спросил Манольос.

— Выпьет уксусу, чтобы гнев прошел, — ответил Михелис. — Пошли!

Все четверо радостно побежали вперед, словно собирались разграбить какой-то вражеский город.

Тем временем вдова вернулась к себе домой; ее плечи дрожали от холода, но она довольно улыбалась. «Ничего, — думала она, — какая-нибудь другая женщина накинет на себя мою шаль и не будет чувствовать холода…»

Вдруг позади послышался грубый голос; она почувствовала на своей обнаженной шее горячее дыхание, и чьи-то руки схватили ее за горло.

— Сука! Я купил тебе шаль ценой крови своего сердца, а ты ее даришь?! Я задушу тебя!

На улице было пустынно, и вдова испугалась. Он дышал ей в лицо винным перегаром, она видела его глаза, устремленные на нее с угрозой и мольбой.

— Панайотарос, — прошептала она, — ты зверь, я больше этого не сделаю.

— Зачем ты назвала меня Иудой? Ты вонзила мне нож в сердце. Ты хочешь, чтобы я тебя пожалел, но почему ты не пожалеешь меня? Могу я прийти к тебе сегодня?

Он ждал и весь дрожал. Немного спустя снова послышался его умоляющий голос:

— Нет у меня другой радости, кроме тебя, Катерина… Позволь мне.

Вдова чувствовала, как ее захватывает эта горячая, торопливая, хмельная, пропитанная потом и слезами мужская страсть. Она вздрогнула.

— Заходи, — сказала она тихо и пошла вперед, покачивая бедрами.

Панайотарос, часто дыша, пошел за Катериной, крадучись вдоль стены в ночной темноте.

А в это время толпа беженцев уже подходила к дому архонта. Четверо мужчин с четырьмя полными корзинами ожидали у порога.

— Братья! — крикнул Яннакос. — Это не поместится в одеяле. Выделите четырех парней, пусть они помогут нам.

— Идите с миром! — сказал Михелис. — Да простит бог нас и архонта Патриархеаса!

— Да простит вас бог! — раздались радостные голоса мужчин и женщин, которые уже почти растащили содержимое одной корзины и теперь что-то жевали.

— Что нам нужно, ребята, чтобы победить смерть? — крикнул великан, несший знамя. — Что нам нужно? Кусок хлеба! Вот он, — сказал он и выхватил из корзины большой каравай хлеба.

— Старик еще храпит, — заметил Манольос, удаляясь от двора.

— Храпит и во сне видит, что входит в рай, — сказал Яннакос. — А впереди идут и указывают ему дорогу не четыре ангела, а четыре корзины!

Все засмеялись, чувствуя, что на сердце у них стало легче.

Они уже выходили из села. Ночь лежала на земле, прозрачная, голубая, благоухающая. Собаки проводили беженцев до околицы, полаяли еще немного и, исполнив свой долг, удовлетворенные, вернулись обратно. Перед беженцами вдруг поднялась гора Саракина, дикая, скалистая, вся в расселинах.

— Пошли, — сказал Манольос своим товарищам, — пошли попрощаемся с попом. Это не поп, это Моисей, который ведет свой народ через пустыню.

Они ускорили шаг.

Манольос схватил руку отца Фотиса и поцеловал ее.

— Отче мой, — сказал он, — мне кажется, наше село взяло на себя грех. Будь нашим заступником перед богом, огради нас от проклятия!

Священник ласково возложил свою худую руку на белокурую голову.

— Как тебя зовут, сын мой? — спросил он.

— Манольос.

— Я не проклинаю жителей села, Манольос. Они простые, доверчивые люди. У них свой пастырь; что он им говорит, то они и делают. Так нужно. Но, пусть простит меня бог, у вас плохой пастырь! — Он на минуту задумался. — Горькое слово я сказал: нет, он не плохой человек, а жестокий. Горе его смягчит. А ты, юноша, кто такой? — спросил он, глядя на Михелиса, который держал за руку Манольоса.

— Это сын нашего архонта, Михелис, — ответил Манольос.

— Скажи своему отцу, Михелис, что бог запишет в свои списки, которые у него заведены на каждого смертного, все четыре корзины; и когда-нибудь в потустороннем мире они ему оплатятся с лихвой. Так платит бог, передай ему; четыре корзины умножатся, как те пять хлебов.

К ним подошли Яннакос с Костандисом.

— Я — Яннакос, грешный торговец, — сказал он. — А это — Костандис, владелец кофейни. Благослови нас, отче.

Отец Фотис благословил, возлагая свою костлявую руку на их головы.

— А теперь, дети мои, — сказал он, — возвращайтесь домой. Да благословит вас бог!

Он обернулся и посмотрел вокруг себя. Была глубокая ночь. Кругом царила тишина, ни один листок не шевелился на деревьях. Все небо было усыпано звездами. Огромная Саракина подымалась прямо над их головами.

— Здесь много пещер, отче, — сказал Яннакос. — В древности, я слышал, в этих пещерах жили первые христиане; а в одной пещере еще можно увидеть богоматерь и распятие Христа, высеченные на скале. Это, наверное, была их церковь.

— Здесь и вода есть, — прибавил Костандис. — Зимой и летом она бьет из-под одной скалы, и если немножко подняться, то станет слышно журчанье родника. И куропатки есть. А на вершине находится церковь пророка Ильи.

— Вы можете сегодня отдохнуть в пещерах, — сказал Манольос. — На горе полно сухих веток, разведете костры, приготовите себе поужинать. И если вас устроит это, вы можете пожить здесь некоторое время и отдохнуть. Пророк Илья, хозяин горы, любит гонимых.

Поп Фотис поднял глаза и посмотрел на гору. Несколько минут он размышлял. Четыре товарища с беспокойством смотрели на него; выражение его аскетического лица непрестанно менялось; казалось, своим взглядом он проникал в неведомые, глубоко скрытые тайны.

Вдруг, словно приняв какое-то решение, он перекрестился.

— Бог говорит твоими устами, Манольос, — сказал он. — Люди отовсюду нас гонят, и мы разделим пещеры со зверями. Во имя господа бога!

Он поднял евангелие, благословляя гору.

— Творение всевышнего, — прошептал он, — сей огромный камень, и ты, бессонная вода, что выходишь из недр скалы и поишь стрижей и соколов, и ты, огонь, что спишь в дереве и ждешь человека, чтоб он тебя разбудил и принял на службу, — мы рады вас приветствовать! Мы люди, гонимые людьми, и вы, стрижи и соколы, приветствуйте нас, наши одичалые, измученные души! Мы несем с собой кости наших отцов, орудия труда, зародыши новых жизней. Во имя господа бога! Пусть примется и пустит корни на этих голых камнях наш род!

Он в темноте нащупал ногой тропинку, повернулся назад к толпе, которая молча ждала его решения, и закричал:

— Следуйте за мной!

Потом обернулся к трем товарищам.

— Христос воскрес, дети мои! Прощайте!

— Воистину воскрес! — ответили те.

Они стояли, тесно прижавшись друг к другу, и смотрели, как беженцы поднимались на гору. Впереди — поп и хоругвь, старики с иконами и столетний старец с костями в мешке; сзади — цепочка женщин с грудными детьми на руках; замыкали шествие мужчины.

Вскоре они скрылись в темноте.

ГЛАВА III

Праздник в честь Христовых страстей и светлого Воскресения целую неделю озарял деревенские дома, заваливал их куличами, пасхами и крашеными яйцами; в садах распускались и благоухали цветы; праздник опьянял деревенских жителей, заставлял их забыть свою корысть, облегчал на несколько дней их трудную жизнь, давая им почувствовать свободу, — так чувствуют себя растреноженные лошади; но сегодня они уже встряхивают отяжелевшими головами с влажными ноздрями и снова впрягаются в повседневный труд.

Ранним утром того дня, когда праздник уже остался позади, вошел Яннакос в темную конюшню, где спал и мечтал его любимый ослик. Конюшня пахла навозом и влажным теплом животного; таким же запахом, наверно, был пропитан и мир в первые годы сотворения.

Умный ослик спокойно открыл свои большие глаза, повернулся и увидел хозяина. Узнал его; это был Яннакос — так его все называли — спутник и товарищ ослика, которому каждый день приходилось носить кладь: бродили они по деревням, возвращались домой, сюда, в конюшню, и здесь ослику давали пить чистую воду и есть ячмень и солому. Он узнал хозяина, поднял хвост и радостно заревел.

Яннакос подошел, погладил его черный лоснящийся круп, белый мягкий живот и теплую шею; потом захватил рукой большие чуткие уши, взял другой рукой палку, повернул ослика к себе и начал с ним говорить:

— Юсуфчик ты мой (так он его ласково называл, когда они были наедине, — тайком, чтобы не узнал ага), Юсуфчик мой, праздники кончились, Христос воскрес, нам было хорошо, обижаться на меня ты не можешь. Я тебе давал двойную порцию овса, собирал тебе свежую траву, чтоб у тебя разыгрался аппетит, я тебе сделал и пасхальный подарок, ошейник из голубых камней, и повесил его тебе на шею от дурного глаза. Повесил я тебе еще головку чеснока вместо талисмана, чтобы быть за тебя спокойнее. Ведь ты очень красивый, Юсуфчик, а у людей злые глаза, позавидуют и сглазят тебя. Как бы я жил без тебя? Ты не должен забывать, что мы остались вдвоем, что в мире у меня больше никого нет, кроме тебя; детей мне наплодить не удалось, жена моя померла, объевшись гороха; только ты у меня и остался, Юсуфчик мой!

Принес я тебе сегодня радостную весть, ты ей порадуешься. На следующую пасху мы будем изображать в селе Христовы страсти, — ты, наверно, слыхал о них? Нам нужен будет и один ослик. И вот я попросил старост сделать мне одолжение — чтобы им был ты, мой Юсуфчик! На тебя сядет Христос, чтобы въехать в Иерусалим. Ты понял, какая это честь? Вместе с апостолами и ты, мой сынок! Ты будешь идти впереди, будешь нести бога, и путь твой будет устлан миртами и лаврами, по ним ты будешь ступать, и божья благодать снизойдет на твою спину, на твой зад, на брюхо, и твоя шерсть будет блестеть, как шелк.

А когда я умру и бог захочет поместить и меня, беднягу, в раю, остановлюсь я у двери, поцелую руку привратнику и скажу ему: «Одна просьба у меня к тебе, Петр, разреши и моему ослику войти в рай; хочу вместе с ним войти, иначе и сам я не войду». И апостол засмеется, погладит твой зад и скажет: «Пусть исполнится твое желание, Яннакос, въезжай на своем Юсуфчике, осликов бог любит». И тогда какая будет у нас радость, Юсуфчик мой! Вечная радость! И будешь ты бродить уже без тяжелых корзин, без поклажи, без седла по зеленым лугам, где будет цвести такой высокий клевер, что моему Юсуфчику не придется нагибаться, чтобы достать его. И станешь ты своим ревом каждое утро будить ангелов на небесах, а они в ответ будут смеяться, станут на тебе кататься, легкие как пух, а ты будешь бегать по лугам — с голубыми, красными, фиолетовыми ангелами на своей спине. Ты будешь похож на того осла, которого я однажды видел в Измире на базаре, — он был нагружен розами, лилиями, сиренью и весь благоухал!

Настанет, настанет такой день, Юсуфчик мой, не бойся! Однако нужно, мальчик мой, работать, чтобы быть сытыми! Ну, иди теперь, я оседлаю тебя, иди, я нагружу тебя двумя корзинами с товаром. Обойдем снова все деревни, будем продавать нитки, иголки, шпильки, расчески, ароматный ладан, ситец и жития святых. Помоги мне, Юсуфчик, чтобы успешно шли наши дела! Мы же с тобой товарищи, компаньоны, и, что бы ни заработали, — ты хорошо это знаешь, — мы делим пополам честно: мне пшеницу, а тебе солому. И если, как говорится, наши дела пойдут хорошо, я тебе закажу седло у Панайотароса, чтобы оно не давило тебя, и новую сбрую с красными кистями.

Ну, будь здоров, я сказал бы тебе: перекрестись, но ты не христианин, ты осел; ну, тогда расставь свои ноги, облегчись, выпустив жидкость, которая тебе мешает, и давай нагружаться. Уже утро наступило. Пойдем, Юсуфчик!

Яннакос быстро нагрузил ослика, взял палку и маленькую дудку, которой оповещал о своем приходе, открыл дверь, перекрестился, и двинулись они в путь в этот первый послепасхальный день, веселые и отдохнувшие.

День сверкал, играл, спускался с неба, потом хлынул на землю и на село, и все заулыбалось: двери, окна, мостовые. Яннакосу захотелось поесть. Вынул он из котомки большой кусок хлеба, горсть маслин, головку лука и, счастливый, начал есть.

«Какой чудесный мир, — думал он, — какой он вкусный, будто пшеничный хлеб!»

Дверь соседки-вдовы была раскрыта; Катерина, подобрав платье, в расстегнутой кофточке, из ведра лила воду и мыла порог. Ее голые до колен ноги, гладкие и крепкие, блестели, словно литые; ее груди прыгали под кофточкой, как живые звереныши, вот-вот готовые выскочить наружу.

«Плохая это примета с раннего утра», — подумал Яннакос и ударил ослика по крупу, чтоб побыстрее пройти.

Но раскрасневшаяся вдова заметила его, поднялась и оперлась о косяк двери.

— Желаю тебе успеха, Яннакос! — крикнула она, улыбаясь. — Смотрю на тебя и удивляюсь, сосед, как это ты можешь так жить — одинокий, как кукушка, и все улыбаешься и жуешь… Я не могу! Не могу, бедный сосед, и такие плохие сны мне снятся…

— Какое поручение ты мне дашь, Катерина? — спросил Яннакос, чтоб изменить беседу. — Не хочешь ли зеркальце, флакончик духов? Что тебе нужно?

На пороге, беспокойно блея, показалась овца вдовы; на шее у нее была повязана красная ленточка, вымя, полное молока, отвисло.

— Хочет, чтобы я ее подоила, — сказала вдова, вздыхая, — переполнилось вымя и мешает ей; что и говорить, она, бедная, тоже женщина…

Вдова нагнулась и нежно погладила овцу.

— Сейчас, сейчас, — сказала она, — не торопись, вымою сперва порог, чтоб стал чистым, ведь столько грязных ног через него прошло.

Втолкнула в дом овцу и повернулась к Яннакосу.

— Плохие сны мне снятся, сосед, — повторила она и вздохнула. — Вот в эту ночь, перед рассветом, мне снился Манольос. Будто резал он на части луну и кормил меня ею... Ты, Яннакос, много скитался по белому свету, был и в Измире, говорят... Ты разбираешься в снах?

— Хватит, Катерина, пожалей людей, не трогай их, — ответил Яннакос. — Ты думаешь, я не заметил, как вчера вечером ты подмигивала Манольосу? Неужели и с этим невинным существом хочешь позабавиться, безбожница? Не жалко тебе его? Он же обрученный, бедняга, не порть ему дело! И если об этом пронюхает Панайотарос, разве ты не понимаешь, что он его убьет? Жить нужно иначе, Катерина, возьмись за ум! Не говорил еще с тобой старик Патриархеас? Разве не сказал он тебе, что по решению старост, в дни таинств, на следующую пасху, ты будешь представлять Магдалину?

— Я и так изображаю ее, Яннакос, я и сейчас ее изображаю, — сказала вдова, застегивая кофточку, для того чтобы показать, что она была расстегнута. — Неужели надо было, чтобы мне это архонт передавал? Этот скряга-паралитик — тьфу, черт его побери! Потому, говорят, что я белокурая...

— Это совсем другое дело, Катерина, — сказал Яннакос, — совсем другое дело... Как тебе объяснить, ведь я и сам всего до конца не понимаю. Вот ты не будешь больше с Панайотаросом, а будешь с богом. Вот за ним ты и будешь следовать! Ты будешь духами обмывать ему ноги, будешь их вытирать своими волосами... Поняла?

— Это одно и то же, глупый. Слушай, что я тебе скажу! Каждый мужчина, даже Панайотарос, на минуту тоже бог. Настоящий бог, это не пустые слова! Потом он снова опускается, становится Яннакосом, или Панайотаросом, или стариком Патриархеасом, впавшим в детство. Ты понял?

— Убей меня бог, Катерина, если я понял... Конец света, как говорит старик Патриархеас.

Обиженная вдова схватила ведро, с силой плеснула водой на порог и забрызгала ноги Яннакосу. Юсуфчик пошевелил ушами, словно и на них попала вода.

— Эх ты, мужчина! — сказала Катерина насмешливо. — Бедняга, что ты можешь понять? Иди, путь добрый, желаю успехов в твоих делах — вот это ты понимаешь!

Яннакос тронул палкой ослика, тот вздрогнул и пошел, а за ним зашагал хозяин, дожевывая свой хлеб, довольный тем, что избавился от вдовы.

— Дай-ка я пройду сперва к попу, посмотрим, может быть, у него будет какое-нибудь дело ко мне; если с него не начну, будет он злой, как турок! «В первую очередь, говорит, ко мне, а потом к старостам; я представитель бога в Ликовриси!» Давай-ка лучше пойдем к первому волку, чтобы не иметь неприятностей.

Обернувшись, он увидел Катерину, — с подобранным платьем, полуголая, она еще мыла порог.

— Ну и сука! — пробормотал он. — Какими ногами, какими коленями, какой грудью наградил ее бог, чтобы искушать людей... Ой, несдобровать тебе, Манольос, если попадешь в ее когти!

Так, разговаривая сам с собой, шел Яннакос, а тем временем поп Григорис в лиловой рясе, подпоясанной черным бархатным кушаком, с непокрытой головой, босой, ходил взад и вперед по двору, перебирая длинные четки из черного янтаря, подаренные ему епископом, и никак не мог прийти в себя от негодования.

Робко подошла Марьори и поставила на каменную скамью, под виноградным кустом, поднос с кофе, сухари и кусок сыра — обычный утренний завтрак попа. Позднее, примерно через час, он съедал свою ежедневную порцию — два яйца всмятку, выпивал стакан вина, которое хранил для «возлюбленного», как он ласково называл желудок, и потом славил бога.

Поставив поднос на скамью, Марьори начала поливать цветы — базилики, герань, бархатцы. Сегодня она опять была бледной, худой, казалась невыспавшейся. Синева окружала ее миндалевидные глаза, губы горели. Мать ее умерла еще в молодости от страшной болезни легких. Марьори была вся в мать. Время от времени отец поглядывал на нее и вздыхал: «Пусть выйдет замуж, пусть выйдет замуж, подарит мне внука, а там что бог даст! Михелис — видный, здоровый, из крепкой семьи, к тому же еще и богат; он обессмертит мой род».

Марьори закончила поливать цветы и собиралась уйти в дом. Поп торопливо проглотил оставшийся кусок хлеба.

— Погоди, — сказал он ей внезапно, — куда ты идешь? Я хочу поговорить с тобой.

Он с трудом сдерживал свой гнев, ему хотелось все высказать Марьори. Она оперлась о косяк двери, скрестила руки и ждала. Она знала, что и о ком он ей скажет, и вся дрожала. Совсем недавно ушел Панайотарос, она кое-что уловила, услышала, что отец, провожая Гипсоеда, произнес: «Ты хорошо сделал, что рассказал мне об этом... Ты должен был!.. Я его приберу к рукам!»

— К твоим услугам, отец, — сказала Марьори и опустила глаза.

— Ты слышала, что мне говорил Панайотарос?

— Я была в доме и готовила кофе, — ответила Марьори.

— О твоем злосчастном женихе, о Михелисе!

Поп тяжело вздохнул, вены на его висках вздулись, он собирался заговорить. Но в эту минуту постучали в калитку. Марьори почувствовала, что бог ее пожалел, избавил от скандала, и побежала открыть дверь.

— Кто там? — сердито спросил поп и быстро проглотил недопитый кофе.

— Я, Яннакос, отец мой. Христос воскрес! Начал, как видишь, обход деревни и пришел за твоим благословением. И, может быть, будет у тебя какое-нибудь поручение, письмо какое-нибудь.

— Милости просим, — громко сказал поп, — войди и закрой за собой калитку!

«Сегодня он опять в плохом настроении, — подумал Яннакос, — черт меня принес!»

Он нагнулся, чтобы поцеловать попу руку.

— Брось ты целовать руку, безбожник, сперва поговорим! Я буду спрашивать, ты будешь отвечать. Что это за новости, — то, что я узнал, а? И, рассказывают, твоя милость тоже участвовала в этом? И был ты первым и самым ярым? Ну, что рот разинул? Не притворяйся, будто ничего не знаешь. Люди пришли ко мне и все рассказали, все, как было. Нечестивцы, святотатцы, воры!

— Отче мой...

— При чем тут отче и тому подобное! Растаскиваешь мое имущество, опустошаешь мой дом, а потом являешься, робкий и послушный, целовать мне руку! Лицемер, иезуит, жаль, что я сделал тебя апостолом Петром! Что же, так ты начинаешь свою апостольскую проповедь, воришка?

— Я?.. Я?.. — бормотал смущенно Яннакос.

— Ты, ты и твои злосчастные друзья, Костандис и Манольос! Обманули еще и невинного Михелиса, этого божьего агнца. Знаете, что душа у него хорошая, воспользовались случаем — и давай опустошать дом корзинами!.. Ворюги! Согрешил я, господи, назначив вас апостолами!

— Но мы же брали не из твоих амбаров, отче, — осмелился возразить Яннакос.

— А что же, из твоих, вшивый? Конечно, из моих! Михелис женится на Марьори, и наши два дома составят одно целое. Короче говоря, из моих амбаров вы тащили корзинами сыр, хлеб, масло, вино, маслины и сахар! И истратили это все — на кого? На разбойников! С такими друзьями и с такой головой он скоро раздаст свое имущество бедным и лентяям и оставит мою дочь на соломе!

Поп повернулся к испуганной дочери, которая стояла неподвижно, не осмеливаясь поднять глаза.

— Ты слышишь, Марьори, ты слышишь о позоре нашей семьи? Что мне тебе сказать, если твой возлюбленный так глуп? Хорошенько нужно обо всем подумать, прежде чем мы примем решение!

Горячие слезы, повисшие на длинных ресницах, покатились по бледным щекам девушки, но она не открыла рта.

— Ты слышишь, Марьори? — снова спросил поп.

Голова ее склонилась еще ниже, словно она говорила:

«Слышу, подчиняюсь...»

Ослик, привязанный к кольцу у калитки, начал реветь; Яннакос рванулся.

— Ты меня извини, отче, но я должен уйти! Если мы что плохого и сделали, то ведь взяли у богатого и отдали бедным, пусть бог нас простит!

— Бог говорит моими устами! — завопил поп, гордо закидывая голову. — Ты не можешь с ним говорить напрямик! Через меня пройдут твои слова! А я тебе говорю: воры вы — и ты, и Костандис, и Манольос! Я позову старост, мы решим, что нужно делать... Не успели прийти эти разбойники, а уже заразили наше село!

— С твоим благословением, отче, — сказал Яннакос и торопливо направился к калитке.

Поп затрясся от злости и ничего не ответил. Потом обернулся к дочери.

— Принеси мне туфли, камилавку и посох, схожу к архонту и старостам.

Он зашел в комнаты, чтобы наскоро съесть яйцо всмятку, а Марьори выбежала к Яннакосу, который еще отвязывал от кольца ослика, и сказала торговцу быстро и негромко:

— Яннакос, сделай одолжение, купи мне то, чем мажутся женщины в городах, чтобы щеки делались красными. Дашь мне потом потихоньку и скажешь, сколько стоит...

— Будь спокойна, Марьори, — ответил Яннакос, — я все тебе принесу! Я знаю, что тебе нужно.

Поп, уже с набитым ртом, закричал из дому:

— Мы еще вернемся к нашей беседе, Яннакос!

— Ну и черт! — пробормотал Яннакос, с силой захлопывая калитку. — Представитель, говорит, бога! Но если бог такой же, как этот поп, то горе беднякам — он нас сожрет живьем!

Почесал затылок, улыбнулся.

— Ну, положим, нам и теперь жизни нет! Так-то!

Он ласково похлопал ослика.

— Давай, Юсуфчик, потихоньку двигай ногами, иди, мой сыночек! Сколько времени потеряли мы с этим волком! Не грусти, сынок мой, пусть себе болтает! Лишь бы ты у меня был здоров! А ну-ка, заглянем в кофейню, получим поручения и уйдем. Воры, говорит... Пропади ты пропадом, обжора!

Переполненная кофейня гудела от голосов. Собралось тут все село, вспоминали вчерашние страшные события, то, что видели собственными глазами, — толпу пришельцев, оборванного попа с евангелием, упавшую на землю иссохшую женщину, которую обсыпали известью, чтобы не заразила она все село, старика с мешком, наполненным костями. Одни благословляли попа Григориса, который их спас от смерти, другие жалели голодающих мирных жителей, многие клялись, что вчера в полночь видели огни на Саракине...

Панайотарос вошел, осмотрелся вокруг, как бык, и сел в углу. Подозвал хозяина кофейни.

— Стаканчик кофе, — сказал он угрюмо, — без сахара.

— Невеселый ты, сосед! — заметил Костандис. — Опять сегодня плохо спал?

Седельщик нахмурил свои колючие рыжие брови.

— Кофе без сахара, — повторил он и отвернулся.

Старик Патриархеас с длинным посохом, в архонтском колпаке, вошел в это время в кофейню и слегка помахал рукой, приветствуя односельчан, приподнявшихся поздороваться с ним. Голос у него был сиплый, веки опухшие, он еще не пришел в себя после сна. Язык тяжело ворочался во рту, ему лень было говорить.

Костандис принес сладкий кофе, лукум и стаканчик холодной воды.

— Доброе утро, архонт, — сказал он ему.

Но архонт не ответил. Обмакнув Кусок лукума в воду, он положил его целиком в рот, запил водой, потом вытащил большой платок, высморкался так, что гул прошел по всей кофейне. Ему полегчало, и он начал громко прихлебывать кофе. Глаза приоткрылись, в голове прояснилось, вернулся нормальный голос. Ему подали наргиле; архонт уже совершенно проснулся.

Повернув голову и увидев Хаджи-Николиса, учителя, он подмигнул ему. Учитель взял свой наргиле, подошел к столику архонта и поздоровался.

— Какие новости, учитель? — спросил старик Патриархеас. — Ночью я спал крепко, и сквозь сон мне слышался какой-то шум, однако я не встал. А когда шел сюда, мне что-то рассказывали по дороге, — будто какие-то странные люди приходили, какая-то женщина, говорят, померла, два попа подрались… Что я слышу? Конец света? Ты можешь мне толком объяснить, Хаджи-Николис?

Учитель кашлянул, нагнулся к старику и тихо начал рассказывать, размахивая руками, в восторге от того, что может рассказать о чем-то страшном. Рассказывая, он и сам становился таким страшным, что старик архонт слушал его, разинув рот.

Панайотарос смотрел на них и нервно покусывал усы. Вытаращив глаза, он с нетерпением следил за обрюзгшей широкой физиономией старика Патриархеаса: он ожидал, что тот вскочит, что кровь бросится ему в голову, он схватит посох и бегом направится к своему дому.

Но напрасно — лицо старика не менялось.

— Трусишка учитель, — бормотал Гипсоед и ерзал на своем стуле, будто сидел на гвоздях, — трусишка учитель, боится все рассказать, боится испортить ему настроение; но я-то обо всем ему расскажу!

Он решительно встал и подошел к столику, за которым сидели оба старосты.

— С твоего разрешения, архонт, — сказал он, — мне кажется, что премудрая ученость, сидящая с тобою рядом, побоялась тебе все поведать, но я не боюсь и расскажу обо всем, как только мы останемся вдвоем.

— Хаджи-Николис, — сказал архонт, — оставь нас на минуту, будь добр, посмотрим, чего хочет седельщик?

Повернулся к Панайотаросу.

— Только покороче, потому что учитель и так прожужжал мне все уши.

— Я не болтун, — возразил Панайотарос сердито, — ты меня знаешь, я обойдусь и без лишних слов. Из-за Манольоса твой сын совсем обезумел. Взяли они с собой Костандиса — хозяина этой кофейни, и Яннакоса, бродячего торговца, пробрались к твоим амбарам, наполнили до краев четыре большие корзины и отдали их голытьбе. А твоя милость в ту пору храпела! Вот и все, что я хотел тебе рассказать. Теперь ухожу.

Кровь бросилась в отяжелевшую голову архонта; он зажмурился, и голос его снова стал сиплым.

— Иди к черту, — гаркнул он, — душу мне ранишь с самого утра!

Архонт отшвырнул наргиле, оглянулся вокруг, но ничего не увидел, — кофейня кружилась у него перед глазами. Поднялся, сделал шаг, потом другой, нашел дверь, вышел на улицу и, задыхаясь, начал подниматься по склону, направляясь к себе домой.

— Что ты там нашептал ему, Панайотарос, чем взбесил его? — закричали седельщику односельчане, сердясь и посмеиваясь. — Бога не побоялся? Он же старый человек, этот толстяк, ты ведь убить его мог!

Но Панайотарос переступил порог и исчез.

Дудка Яннакоса загудела насмешливо, с задором.

— Эй, односельчане, — кричал Яннакос, красуясь, как петух, посреди площади, — начинается мой поход по городам и селам. Все, у кого есть ко мне поручения, поднимайтесь; кто письма хочет послать, принесите их; у кого родственники, дети, друзья, торговые дела в соседних селах, подходите! Беру поручения, отправляюсь в путь и, если бог захочет, в воскресенье принесу вам ответы!

Некоторые поднялись, подошли к Яннакосу и, понизив голос, давали ему свои поручения; и Яннакос все словно записывал в своем уме, сидя на ослике.

Последним подошел Костандис, нагнулся к уху Яннакоса.

— Имей в виду, бедняга, не заходи к старику Патриархеасу; что-то ему наговорил бессовестный Иуда — старик вскочил, взбешенный, и, размахивая своей палкой, пошел бить сына.

— Из-за корзин? — тихо спросил Яннакос.

— Конечно, из-за них. Плохо это для нас кончится. Видно, нам тоже придется расплачиваться.

— Я уже расплатился. Поп рассвирепел и только что прочел мне мораль... Подумаешь! Мне это безразлично! Пусть хоть перебесятся, мы выполнили свой долг.

— Да и я расплатился, не ты один, — сказал Костандис и вздохнул. — Сестра твоя с раннего утра набросилась на меня, чуть глаза не выцарапала. «Бессовестный, бродяга, преступник! — кричала на меня. — Я все узнала; опустошил ты кофейню из-за этих святотатцев, которые налетели на наше село, из-за холериков. Мы голодаем, дети твои измучены нуждой, а твоя милость, преступник ты этакий, дарит и кофе, и сахар, и мыло!»

— Кто же ее так быстро известил? — спросил Яннакос с недоумением.

— Рыжий черт, кто же еще! Он, помнишь, ни на шаг не отходил от нас вчера вечером, а успел, однако, всех обойти и всем все рассказать — попу, жене моей, а теперь и старику Патриархеасу. Взбесился, что его назначили Иудой, а нас апостолами!

— Потерпи, Костандис, — сказал ему Яннакос, у которого душа болела из-за того, что его сестра так сильно ругает бедного хозяина кофейни, — потерпи и пока притворяйся дурачком, а в воскресенье, когда я вернусь, поговорим снова. Будь здоров!

Яннакос кольнул ослика в круп и вскоре был на краю села.

— У тебя-то все хорошо, — бормотал Костандис, глядя на удалявшегося Яннакоса. — У тебя все хорошо, все сложилось как надо: детей нет, жена издохла, избавился...

Тем временем Яннакос поглаживал лоснящуюся спину ослика и посмеивался.

— Эх, Юсуфчик, хорошо нам вдвоем, живем дружно, как братья. Разве ссорились мы когда-нибудь? Никогда, слава богу! Потому что мы оба хорошие люди и хорошие ишаки, что одно и то же, и никого мы не обманываем... Ну-ка, будь добр, возьми правее... Меняем мы сегодня маршрут, ты разве не слышал, что сказал Костандис? К архонту сегодня не пойдем; иди прямо к деду Ладасу, который с такой любовью смотрит на тебя, что у него даже слюнки текут... Ну, давай, побыстрее, а потом выйдем из села и избавимся от всех этих старост и попов, будь они прокляты! И останемся снова вдвоем!

И, повернув направо, направился к дому скряги.

«Хотел бы я увидеть беднягу Манольоса, прежде чем уйти, — подумал он, — и рассказать ему о Катерине, чтобы берег себя и не грешил. Христа он изобразит, конечно, да вот только от женщин держаться надо подальше!»

Старик Ладас сидел во дворе, оборванный и босой. Жена его, Пенелопа, принесла ему в треснутой чашке утренний кофе из ячменя и гороха, поставила на скамеечку чашку, тарелочку маслин и положила кусок ячменного хлеба. Ладас ел и пил, обращаясь к молчаливой и ко всему безразличной жене, которая сидела напротив него на другой скамье и вязала носки. Маленькая, худая, оборванная, босая, с длинным отвислым носом, она была похожа на старого, потрепанного аиста.

В первые годы замужества, пока была молода, она часто спорила и ссорилась со своим мужем; была она тогда красива, любила роскошь, ибо родилась в богатом доме. Но мало-помалу ее чувства притупились, тело увяло, ее охватила душевная усталость, и начала она понемногу подчиняться всему без обиды и слез и не вступала больше в споры с мужем. Она продолжала слушать его речи, еще сердилась про себя, но молчала. А с того дня, как умерла ее единственная дочь, даже и не слушала, что болтал ей старик Ладас, уже совсем не сердилась и ничему не противилась. Ходила, ела, спала, и просыпалась, но словно не жила. И была бескорыстна, держалась с достоинством, на лице ее блуждала блаженная улыбка, как будто она была уже в потустороннем мире.

Итак, попивал старик Ладас свою ячменную водицу, смотрел на безразличную ко всему старуху, молча вязавшую чулки, и говорил ей об одном большом плане, который он придумал вчера ночью, когда не мог уснуть, и с помощью которого мечтал наполнить целый ящик серьгами, кольцами, бусами и золотыми монетами.

— Все это я хорошо обдумал, во всех подробностях, Пенелопа, но не могу решить, кому доверить свой секрет, потому что это трудное дело и нужно для него два человека. Мир сегодняшний, Пенелопа, стал лживым, все люди ненасытные обманщики и хотят тебя разорить. Кому же доверить секрет? Хаджи-Николис — ротозей, притворяется честным, ничего не скажешь, но он учитель, что он может сделать? И то хорошо, что камнями не кидается! А если говорить об его брате, попе Григорисе… Обжора он, очень умный, очень ловкий, но все хочет забрать в свой собственный кошелек, — такой мне не годится, потому что и я хочу все забрать в свой кошелек… Головой ты покачиваешь, Пенелопа, хочешь мне сказать о старике Патриархеасе. Да пропади он пропадом! Это сплошное брюхо, а не человек! Он богач от роду, никогда не трудился, не знает, что такое пот… Слышал я, что существуют какие-то толстые муравьи, называют их царскими, они днем и ночью бездельничают, а целая армия муравьев-рабов у них в подчинении и работает на них; если же этих толстяков не покормят, то они умирают с голоду… Вот такой и он, чтоб ему ни дна ни покрышки, — царский, толстый муравей! Не подходит он мне. А если говорить о другом старосте, о капитане Фуртунасе, то это и вовсе пропащее дело; он не человек, он — кипящий котел раки. Значит, нужно мне найти кого-нибудь другого для моего дела… Но кого? Есть ли у тебя кто-нибудь на примете, Пенелопа?

Но та, отрешенная от всего, погруженная в неземное блаженство, продолжала вязать и ничего не слышала. На минутку только подняла свои мутные, мертвые глаза, в которых не отражались ни печаль, ни радость. Казалось, взор ее прошел через старика Ладаса, и увидела она за ним стену дома, за стеной — дорогу, село и поля, еще дальше гору Саракину, а по ту сторону Саракины, далеко-далеко, — море, а за морем — что-то бесконечное, черное, мягкое, неподвижное — Ничто! И тогда она опустила снова глаза и начала быстро-быстро вязать чулки, будто боясь не успеть.

В эту минуту послышалась дудка Яннакоса. Старик Ладас вскочил; его маленькие, хитрые глаза заблестели.

— Бог мне его послал! — крикнул он. — Вот он, его-то я и поджидал, он-то как раз мне и нужен! Ну, Пенелопа! У него есть все, что требуется: бродячий торговец, ходит по городам и селам, враль, мелкий воришка, мастер надуть по мелочам, а вообще-то скорее ягненок… Он мне подойдет! Он будет копить, копить, а под конец я его — цап! Начисто все выцарапаю у него!

Очень довольный, он потер свои костлявые ручищи. В это время ослик остановился перед калиткой; старик Ладас побежал и открыл.

— Добро пожаловать, Яннакос! — крикнул он. — Добро пожаловать! Бог тебя послал, здравствуй! Привяжи ослика к кольцу и заходи. Хочу с тобой потолковать!

«Что за ловушку готовит мне старая лиса! — подумал торговец. — Будь повнимательнее, бедняга Яннакос!»

Привязав ослика к кольцу, он вошел во двор.

— Закрой хорошенько калитку, закрой, чтоб никто нас не подслушал… Хочу доверить тебе большой секрет. Садись! Повезло тебе, Яннакос! Станешь ты богатым и ни в каком подлеце не будешь нуждаться. И не будешь, как попрошайка, бродить по селам и продавать нитки… Озолочу тебя, Яннакос, озолочу!

Яннакос вздрогнул.

— Не выводи меня из терпения, дед Ладас, говори яснее! Как это — озолотишь?

— Навостри уши и слушай. Эти разбойники, заходившие в наше село, были когда-то хорошими хозяевами. Турки их прогнали; теперь им нечего есть. Так вот слушай: уходя, они наверняка забрали с собой все, что у них было золотого, — серьги, браслеты, обручальные кольца, монеты... Теперь понял, Яннакос?

— Ну... ну, говори, я не сразу соображаю! Что дальше?

— Самому богу это дело понравится, вот что я тебе скажу! Бог просветил меня, Яннакос; ночью я видел на Саракине огни — значит, они остановились там в пещерах. Возьми, значит, своего ослика и иди прямо на гору. Потруби там в свою дудку, созови всех — мужчин и женщин, пусть соберутся около тебя, и поговори с ними. Ты им скажи: «Братья, вы умираете с голоду, не жалко ли вам ваших детей? Я всю ночь глаз не сомкнул, потому что о вас думал. Как же вас спасти, братья? Как же вам спастись? И бог меня просветил, теперь я знаю, что делать: вынимайте из-за пазух золотые вещи, которые вам удалось взять с собой, и устроим обмен. Я вам даю то, что нужно человеку для жизни, — пшеницу, ячмень, масло, вино, а вы дадите мне то, что вам не нужно, — всякие там драгоценности, те, что у вас сохранились... И пусть буду в убытке, ничего, — ведь все мы греки, все христиане!» Ну, теперь понятно, балда?

— Начинаю... начинаю понимать, — ответил Яннакос уклончиво.

Он не мог еще толком уразуметь, бог или черт подсказал этот план старику Ладасу.

— Озарение божье, я тебе говорю! Но ни слова! Чтоб никто не пронюхал об этом деле... Ну, в добрый час, чтоб ты тоже увидел, бедняга Яннакос, светлые денечки... Жалко мне тебя, такой человек бродит зимой и летом по дорогам и губит свою молодость. Сколько тебе лет?

— Пятьдесят, — ответил Яннакос, скрыв только два года.

— Ну вот, видишь? Во цвете лет! Не растрачивай жизнь свою, Яннакос! Построишь и ты господский дом, женишься в селе на ком захочешь, — мне кажется, тебе нравится дочь попа, — детей наплодишь... Помогать будешь своим друзьям, поможешь и селу своему, и когда будешь проходить, подниматься будут люди и приветствовать тебя низкими поклонами... Начнется для тебя новая жизнь, Яннакос, господская, а не нищенская! Ну сколько еще лет мы будем жить в этом мире? А жизнь нужно прожить по-человечески... Давай, берись за дело, только смотри, чтобы кто-нибудь другой не опередил нас: попа я боюсь!

— А я боюсь бога, — нерешительно сказал Яннакос. — Бога я боюсь, дед Ладас! Разве это правильно — ограбить наших гонимых братьев?

— Не ограбим мы их, петушиная твоя голова, мы их накормим, мы избавим их от смерти!.. Будут они сыты, несчастные, будут они живы, они — наши братья. И у меня есть сердце, мне их жалко... Мы меняем, а не воруем... Конечно, насколько можешь, следи за тем, чтоб было нам выгодно. Головы у нас на плечах есть, будем торговать. Прибыль — приятная вещь... Ну, бери хлеб, маслины, ешь! Товарищами будем, компаньонами; значит, все мы должны делить пополам! У меня осталось немного и кофе, пей!

— Я не голоден, — сказал Яннакос, у которого закружилась голова. — Посижу я на скамейке, обдумаю все, что ты мне сказал... Ты мне открываешь новый путь, дед Ладас, дай же мне собраться с мыслями, все взвесить и решить.

— Плохо только, что времени у нас нет! Сама обстановка нас торопит. Ну что ты сидишь и притворяешься? Направляйся на Саракину, не теряй времени! Попа я боюсь, говорю тебе, попа-обжоры!

Сидел Яннакос на лавочке, обхватив голову руками, упершись локтями в колена и долго-долго ничего не говорил. Голова гудела, как котел, в висках стучало, разум помутился. Перед ним мелькали серьги, отрывавшиеся от чьих-то бесчисленных ушей, бусы, срывавшиеся с чьих-то шей; обручальные кольца падали с чьих-то пальцев, золотые червонцы сыпались из поясов, прошитых шпагатом. Все это устремлялось в большой сундук, наполненный тряпками покойницы жены... Куча золотых вещей росла, росла в воздухе и превратилась в огромное здание, — нет, это было не просто здание, это был целый дворец с садами, с дворами, с балконами, с мягкими коврами, на которых восседала красивая женщина. Она причесывалась... Было воскресное утро, сияло солнце, колокол звал к обедне... И Яннакос увидел, будто открылись большие ворота и вот он, в колпаке старосты, с высоким посохом, в суконных шароварах, барской походкой идет к церкви и все односельчане приподнимаются и здороваются с ним, низко кланяясь... А потом он увидел, будто сидит он во дворе и перед ним почтительно стоит Костандис. А он, Яннакос, вынимает из-за пазухи кошель, наполненный золотыми монетами. «На, возьми, Костандис. Вот тебе деньги, пусть улыбка заиграет и у тебя на губах... Достаточно ты намучился с моей сестрой, ведьмой, — возьми на счастье!» Звал он и Манольоса: «Иди и ты, Манольос, я тебе купил стадо овец, бери его, оно твое, чтоб ты больше не служил бестолковому Патриархеасу...» Кружилась голова у Яннакоса, возникала перед ним сельская церковь с огромными часами на колокольне — вроде тех, которые он видел в Измире, а на часах по кругу большими золотыми буквами было написано: «Дар от господина Яннакоса Пападопулоса, великого благодетеля!» И дальше разыгралось воображение. Часы исчезли, и теперь перед глазами Яннакоса стояло мягкое седло с бархатным чепраком, украшенным золотыми звездочками, — и взял Яннакос это седло и вошел в конюшню. «Юсуфчик, — крикнул он, — я купил тебе новое седло, то, что давно обещал; будешь есть вволю, будешь жить хорошо, Юсуфчик, будешь прогуливаться под новым седлом по площади каждое воскресенье после обедни — и все с уважением будут давать тебе дорогу, будут приветствовать тебя, словно ты и впрямь человек».

Усмехнулся Яннакос и очнулся от грез. Посмотрел он на старушку, которая с увлечением вязала, отрешившись от всего земного, увидел старика Ладаса, вперившего свой взгляд в него, Яннакоса, в ожидании ответа.

— Пополам, — сказал он. — Согласен, дед Ладас?

Дед Ладас протянул ручищу.

— По рукам, Яннакос, согласен! Пополам, вот это честный разговор! Каждый вечер ты будешь приносить мне золотые вещи, которые соберешь, а я буду давать тебе всякие продукты, масло и вино — одним словом, то, что им нужно. А когда все загребем, ты придешь, и мы рассчитаемся. Пиши и ты в своем блокноте, что мы даем и что получаем, чтоб тоже все знал и не думал, будто я хочу обмануть тебя. А чтоб ты видел, как я тебе доверяю, на вот, возьми как аванс три турецкие золотые монеты.

Достал он из-за пазухи туго перевязанный шнурком кошелек, развязал его, сунул в него руку и, дрожа, отсчитал одну за другой три монеты. Жадно схватил их Яннакос, глаза его алчно заблестели, словно золото передало им свой блеск.

— Я подготовлю долговой вексель, — сказал старик Ладас, — и как только вернешься — да поможет нам бог! — поставишь свою подпись… Ну что, доволен? Теперь ты веришь моему слову? То, что я тебе говорю, это не слова — это золотые монеты! Ну, не будем терять времени, с богом!

Он подтолкнул Яннакоса и открыл калитку.

— Пусть бог сопутствует тебе! — крикнул ему вслед и торопливо закрыл калитку: не дай бог, еще передумает компаньон!

Потом потер свои костлявые руки и повернулся к жене.

— Пенелопа, — сказал он, прикладывая палец к губам, — никому ни слова! Ты видишь, как у меня все хорошо получилось? Видишь, как соображает у меня голова. Я тебе скажу: не голова у меня, а клад! Ты видишь, Пенелопа? Я поймал его на золотую удочку — три отдал, тысячи получу… Теперь будь добра, подготовь сундуки!

Но она даже не пошевельнулась, все вязала и вязала, не замечая, как сталкиваются, расходятся и снова встречаются спицы, — довязывала носок для старика Ладаса. И в носке она видела не худую ногу старика, а кость, длинную сухую, изъеденную червями…

Итак, впереди шел ослик, а за ним задумавшийся Яннакос. На душе у него было горько и тяжело; но в то же время в правом кармане жилета он чувствовал и другую, очень приятную тяжесть. Он словно опьянел. Прыгал с камня на камень, иногда останавливался ненадолго и погружался в размышления; тогда ослик поворачивался, смотрел на него, тоже останавливался и терпеливо ожидал.

— Лишь бы никого не увидеть, лишь бы никто меня не увидел, — бормотал Яннакос. — Иди, Юсуфчик, побыстрее, что ты останавливаешься? Переходи на эту сторону, — меняем дорогу, большие у нас дела, Юсуфчик!

Ослик с недоумением кивал понятливой головой; не мог он сообразить, зачем потребовалось переходить на другую сторону? Что случилось с хозяином? Ну и безумцы же эти люди!

— Лишь бы никого не увидеть, даже Манольоса… Теперь у меня другие заботы; пусть делает, что хочет со своей Катериной. Мне все равно… давай, Юсуфчик, в дорогу!

Но как ни старался Яннакос пройти той стороной села, где уже начинаются поля, он все-таки совсем некстати столкнулся с Манольосом и с двумя односельчанами, несшими на руках капитана Фуртунаса — тот был без памяти, с разбитой головой, перевязанной белым полотенцем, весь в крови… Впереди шел сеиз в красной феске, с ятаганом наголо.

— Что случилось, друзья, с нашим капитаном? Скажи мне, Манольос!

— Свалился с лестницы у аги, бедняга, — ответил Манольос, — голову себе разбил… Если ты увидишь мою тетку Мандаленью, позови ее, пусть придет посмотрит рану… Разбирается она в этом деле — была акушеркой до того, как стала обряжать покойников.

— Бедняга! — пробормотал Яннакос. — Наверно, упился до чертиков.

Сеиз засмеялся.

— Не беспокойся, грек! Голову он себе разбил, но она заживет, у безбородых людей семь душ.

— Манольос, — крикнул Яннакос, — мне нужно поговорить с тобой.

— Мне тоже, — ответил Манольос. — Но надо сперва уложить в постель капитана. Ступай за нами и подожди у ворот, я скоро выйду.

Капитана несли все скопом — несли медленно, потому что при каждом толчке он кричал от боли. Втащили его в полуподвал. Яннакос остановил ослика под тенью оливкового дерева и стал ожидать.

— Ну и ну, сколько событий за одну ночь, — пробормотал он. — Посмотрим, чем все это кончится! Да сжалится над нами бог!

Вынул табакерку, свернул сигаретку, прислонился к стволу оливы и начал курить, чтобы скоротать время. Он уже пожалел, что затеял разговор с Манольосом: придется потерять слишком много времени, а большие дела, предстоящие ему, требовали быстрых действий. Порывшись в кармане жилета и нащупав золотые монеты, он улыбнулся.

— Слава тебе господи, — пробормотал он, — это не сон. Много раз меня обманывали сны; снилось, что держу в руках золотые монеты… А утром, дурак, искал их под подушкой! Ну а теперь слава богу!

Яннакос снова погладил золотые монеты и успокоился.

Показался Манольос. Шел он, утирая лоб, и, увидев Яннакоса под оливой, направился прямо к нему.

— Очень тяжел этот капитан, все мы из сил выбились, — сказал Манольос.

— Я спешу, — ответил Яннакос, — мне только два слова тебе сказать, и пойду; у меня сегодня много работы… Слушай, Манольос: во-первых, лучше не появляйся в доме своего хозяина, — он узнал о корзинах и взбесился, схватил свою палку и пошел лупить сына. Поэтому не попадайся на глаза старику, пока буря не пройдет.

— Но если это так, я должен пойти, чтобы держать ответ вместе с Михелисом, — я ведь тоже виноват!

— Да и я виноват, но ведь не иду! Ты скажешь, стыдно, да ведь так удобнее… Не уходи, постой! Я должен тебе сказать еще вот что: Катерина, вдова, хочет тебя запутать в своих сетях; она тебя видит, говорит, во сне, вчера вечером на площади тебе подмигивала, а ты не понял! Будь осторожен, Манольос, Катерина — зверь, даже епископов она сводит с ума… Подумай о пасхе, которая приближается, и о своем долге… Не согреши!

Манольос опустил голову и покраснел; минувшей ночью он тоже видел во сне вдову, но как, этого не помнил; когда он проснулся, глаза у него болели от ночных видений.

— Христос мне поможет, — пробормотал он.

— Как же он успеет присмотреть за всеми, Манольос? Лучше ты сам пошевеливайся, а я спешу. Ну, говори; кажется, ты хотел мне что-то сказать?

Манольос смутился, не зная, как ему ответить, чтобы не оскорбить друга.

— Ты меня извини, — проговорил он наконец, — но вот что я тебе окажу: у нас, у четверых, большая, святая цель, мы теперь одно целое… Если кто-то из нас поскользнется, остальные должны его поддержать; один пропадет, все пропали! Поэтому я осмелюсь…

— Говори, говори, Манольос, не виляй, — сказал Яннакос и стал отвязывать ослика от оливы. — Я тебе свое сказал, теперь спешу.

— Сегодня ты снова начинаешь свою работу, — осторожно начал Манольос мягким голосом и ласково взял Яннакоса под руку, — пойдешь опять бродить по деревням со своими галантерейными товарами. Не забудь же, заклинаю тебя Христом, не забудь, о чем вчера тебе наказывал поп.

— А что он мне говорил? — грубо спросил Яннакос.

— Я тебя прошу, Яннакос, ты не подумай чего-нибудь плохого... Не красть, он говорит, не обвешивать, не...

Яннакос вскипел; быстро отвязал ослика и закрутил уздечку вокруг руки.

— Хорошо, хорошо... Его святость думает, что это легко... Что бы он сказал, начни и я ему говорить, что хорошо бы затянуть ремень потуже, чтоб так не обжираться, что лишнее надо отдавать бедным? И что не надо смешивать муку с пряностями и продавать под видом лекарства, которым лечат все болезни... Шарлатан! Еще в прошлом году три дня не хотел хоронить деда Мандудиса, труп его уже начал разлагаться, а все потому, что поп требовал, чтобы наследники заплатили вперед. А еще, не он ли продавал с молотка виноградник Геронимоса-сапожника, потому что тот попал к нему в должники? А потом в этом году, за несколько дней перед страстной неделей, не он ли составил новые расценки — столько-то за крещение, столько-то за свадьбу, столько-то за похороны... Иначе, говорит, не буду ни крестить, ни венчать, ни хоронить. А теперь, видишь ли, хватает у него нахальства указывать мне, бедному человеку...

— Ты не ругай священника, — прервал его Манольос, — каждый отвечает за себя, ты следи за своей душой, Яннакос! В этом году мы должны быть чистыми, непорочными, ты ведь будешь изображать апостола Петра, не забывай!.. Как мы поступаем перед причащением? Постимся, не едим ни мяса, ни масла, не ругаемся, не обижаемся... То же самое теперь, Яннакос...

Но Яннакос вышел из себя; он чувствовал, что Манольос прав, и это бесило его еще больше. Оставив попа в покое, он принялся нападать на своего друга.

— Эх, Манольос, — прошипел он, — не забывай, что и ты будешь изображать Христа. Не апостола, а самого Христа! Вправе ли ты трогать женщину? Нет! И вообще, твое величество теперь готовится жениться. Да или нет? Чего ж ты краснеешь? Да или нет? Анафема нам всем, думаю я! Святость — трудная вещь...

Манольос опустил голову и ничего не ответил.

— Да или нет? — снова зашипел Яннакос, все больше распаляясь. — Смотришь ты на Леньо и облизываешься... А сатана приводит ее к тебе во сне, и как она тебе нравится, голая! Я тоже был когда-то молодым, как и ты; мне знакомы проделки сатаны... Приводит он ее к тебе во сне, ты совершаешь грех и встаешь утром усталый... И когда настанет время изображать распятого Христа, ты станешь молодоженом... Тебя будут распинать, но ты — ничего страшного! — ты будешь знать, что все это игра, что распяли другого, и будешь думать, когда придется прыгать на кресте и кричать: «Или, или! лама савахфани?» — что скоро ты вернешься к себе домой, что после распятия тебя будет ждать Леньо с теплой водой, чтоб ты умылся, с чистым бельем, чтоб ты переоделся, — и вдвоем уляжетесь, после распятия, на кровать. Значит, молчи, Манольос, не лезь со своими советами! Тоже мне учитель — сам поучись сперва...

Манольос слушал, опустив голову, и дрожал. «Прав он, прав, — думал он про себя. — Я лгун, лгун, лгун!»

— Почему же ты молчишь? Разве я неправду говорю? — закричал Яннакос, радуясь тому, что Манольос дрожит.

— Но еще вчера, Яннакос... — начал Манольос.

Яннакос прервал его.

— Вчера, Манольос, — сказал он и дернул ослика за уздечку, чтоб тот двинулся с места, — вчера, Манольос, было по-другому. В праздник, видишь ли, все доотвала набивали себе брюхо, ослик был привязан, корысть спала... Но сегодня, смотри, ослик нагружен, животы у нас с ним пустые. Пасха прошла, начинается торговля... А торговля — это значит, добрый молодец, хватай, чтоб поесть, и воруй, чтоб у тебя было добро! Иначе, если не будешь торговаться, лучше отправляйся в Афонский монастырь и постригайся в монахи... Понял?

На минуту он замолчал, немного успокоился, дернул ослика за уздечку и посмотрел на Манольоса, довольный тем, что все ему высказал и излил свою злость.

— До свидания, Манольос, — сказал он. — И пусть все будет так, как мы говорили!

Но гнев его еще не совсем прошел, и он еще раз повернулся к своему другу.

— Торговец обязан, Манольос, воровать; святой — обязан не воровать! Вот так оно и есть! Не нужно путать… Счастливого венчания, Манольос, веселой свадьбы! Пошли, Юсуфчик!

Манольос остался один. Солнце поднялось высоко. Люди, волы, собаки, ослы втянулись в привычную работу. Старик Ладас надел очки и принялся, усмехаясь, медленно и внимательно составлять долговой вексель на три золотые монеты. Что касается попа, то пока он, гневаясь, шел к старику Патриархеасу, ему пришлось изменить путь и отправиться причащать одного умирающего. Фуртунас, валяясь на матраце, рычал и ругал старуху Мандаленью, которая прикладывала ему холодные компрессы и перевязывала его разбитую голову.

А Леньо сидела за ткацким станком, ткала полотно и тихо пела. Сердце ее дрожало от радости, перекатывалось в груди, сладко замирало…

Леньо слышала крик наверху, в комнате хозяина. Хозяин бранился, сын возражал, оба ходили взад и вперед, будто дрались, — под ними гнулся пол; но Леньо, склонившись над своим станком, не обращала внимания на эту ссору и нисколько не боялась, слушая грубую брань хозяина… Ведь она уходила из-под его власти; нить, которая связывала ее с домом, вот-вот разорвется, и Леньо вместе с ее Манольосом отправятся на гору к своим овцам. Ей надоел старик Патриархеас, — пусть он даже любил ее, как свою дочь, пусть даже он ей нашел жениха, пусть даже богатое приданое выделил ей, — стал он ей противен, и видеть его она не хотела.

А ссора наверху разгоралась, сердитый голос старика становился все громче, и Леньо начала прислушиваться.

— Пока я жив, — вопил старик, — я в доме распоряжаюсь, а не ты! Вот так!

Старик, видимо, задыхался, слова у него путались, Леньо сначала не все могла разобрать. Но затем ясно услышала:

— И я не хочу, чтоб ты водил дружбу с Манольосом; он, не забывай этого, слуга, а ты архонт, — помни о своем месте!

— Старая дрянь, — пробормотала Леньо, — сумасшедший, он даже своих седин не уважает, — таскает сюда эту паршивую Катерину и пускает слюни! А считает ниже своего достоинства водиться с Манольосом, как бы тот не заразил его любимчика… Ах, уйти бы скорее, чтоб не видеть тебя больше, чтоб не слышать тебя, старая дрянь!

Встала из-за станка, в полуподвале стало ей душно, вышла во двор подышать свежим воздухом.

— Старая дрянь, — пробормотала она снова, — чтоб ты сдох!

Прошла на середину двора зачерпнуть воды, окунуть в нее голову и освежиться. Леньо была привлекательной девушкой, в ней было даже что-то вызывающее: смуглая, невысокая, полная, с пухлыми губами и лукавыми глазками; от старика архонта она унаследовала его орлиный нос. Бывало, в полдень стоит Леньо у ворот, и когда какой-нибудь мужчина проходит мимо, она вытягивает шею и смотрит на него алчно, с любопытством и сочувствием. В эти минуты Леньо напоминала голодного хищного зверя, который уже приготовился к прыжку, но вдруг пожалел бедную жертву, появившуюся перед ним, дает ей уйти и с нетерпением ожидает следующую… И такая охота, дикая, молчаливая, беспощадная, а вместе с тем полная жалости, происходила каждый полдень у порога, и Леньо возвращалась домой совершенно обессиленная.

В ту минуту, когда она вытянула ведро и собиралась окунуть в воду свое пылающее лицо, калитка открылась и вошел Манольос.

— Добро пожаловать, Манольос! — закричала девушка и хотела было броситься к нему, но сдержалась.

Только посмотрела на него со страстным желанием, окинула быстрым взглядом его руки, шею, грудь, бедра и колени… Как будто собиралась с ним бороться и хотела рассчитать его силы, как будто прикидывала, трудно ли ей будет повалить его на землю.

Манольос молча пересек двор, оставил в углу свою палку и собирался подняться по каменной лестнице в комнаты хозяина. Он еще с улицы услышал крики и заторопился на подмогу к Михелису.

Он казался усталым и обеспокоенным. Как только он увидел Леньо, его испуганное сердце забилось сильнее. Именно ее он не хотел сейчас видеть! Поспешил было к лестнице, но разве Леньо могла оставить его?

— Эй, эй, — закричала она ему, — я здесь, мой повелитель!

— Здравствуй, Леньо, — нехотя ответил Манольос. — Извини меня, я тороплюсь, мне надо видеть хозяина.

— Оставь его, зачем тебе нужен этот паршивый старик? — негромко сказала Леньо сдавленным голосом. — Он сейчас ссорится со своим любимчиком, оставь их — пусть выцарапают друг другу глаза! Пойдем ко мне, посмотришь полотно, которое я соткала.

Она приблизилась к нему, обошла вокруг, словно обнюхивая, гладила его, прижималась к нему на мгновенье и, раскрасневшаяся, возбужденная, отскакивала назад, как будто он гнался за ней. Она взяла его за руку и начала подталкивать к подвалу, чтоб войти туда вместе с ним.

— Когда же мы поженимся, Манольос? Старик торопится.

— Когда богу будет угодно! — ответил Манольос, пытаясь ускользнуть.

— Склоняюсь перед его милостью, — сказала Леньо и внезапно сделалась серьезной. — Я склоняюсь перед его милостью, но скажи ему, чтоб он поторопился! Скоро май, а в мае не женятся. Значит, будем ждать до июня? До июля? Зря теряем время.

— Мы выигрываем время, Леньо, не спеши, мы еще молоды; есть у меня дела, которые надо сначала закончить, а потом, если господь бог того захочет...

— Какие дела? — быстро спросила Леньо. — Какие дела? Других, кроме пастушьих, у тебя нет.

— Есть... есть... — говорил Манольос, потихоньку подвигаясь к каменной лестнице.

— Какие? С кем? Почему ты не говоришь? Завтра я буду твоей женой, я должна знать.

— Сначала я увижусь с хозяином, а потом... Я раньше поговорю с ним, Леньо... Пусти меня.

— Манольос, посмотри мне в глаза, не смотри в землю! Что с тобой? Что случилось? Ты за один день истаял, Манольос! Что они с тобой сделали? — Тяжело дыша, она сердито и обеспокоенно смотрела на него. — Они тебя сглазили! — вдруг закричала она. — Попросим твою тетку Мандаленью обкурить тебя и заговорить от дурного глаза... Пойдем ко мне, я покажу тебе полотно...

Манольос чувствовал ее дыхание на своей шее, резкий запах, идущий от ее потного тела, ее полную, упругую грудь, касавшуюся его руки, и кровь в нем закипела, словно хотела разорвать вены.

— Я схожу, приведу старуху Мандаленью, не могу видеть тебя таким высохшим, не уходи! — решительно сказала Леньо.

Она побежала к себе, надела праздничное платье, туго повязала платком волосы, положила в корзиночку несколько красных яичек, немного кофе, сахара и бутылку вина, чтобы отдать старухе Мандаленье за ее труд. Оглянувшись, она увидела Манольоса, который уже поднялся по лестнице и стоял у дверей хозяина в нерешительности.

— Не уходи! Не уходи! — закричала она ему. — Я сейчас!

Крики затихли, Михелис, наверно, ушел. Манольос слышал за дверью только тяжелые шаги старика, который возбужденно шагал взад и вперед, продолжая ворчать.

Манольос толкнул дверь и вошел. Как только старик староста увидел пастуха, он сразу же набросился на него.

— Это ты виноват! — заревел он и поднял руку, чтобы ударить его. — Ты сводишь с ума моего сына, ты уговорил его раздать мое имущество, кровь моего сердца, этим пришельцам!

Вены на его висках, на шее, на руках посинели; задыхаясь, он расстегнул рубашку, грудь его тяжело вздымалась; ему казалось, что она вот-вот разорвется. Рухнул на диванчик в углу, обхватил голову руками, застонал и закашлялся.

Манольос прислонился к стене, посмотрел на стонавшего старика архонта, и душа его преисполнилась печали. «Сердце человека, — думал он, — зверь, дикий зверь... Христос мой, даже ты не смог его приручить...»

Старик снова вскочил, словно к нему вернулись силы, и схватил Манольоса за воротник.

— Это ты виноват! — опять заорал он, забрызгав слюной щеки и шею Манольоса. — Ты виноват! Я тебя притащил с горы, чтобы женить на Леньо, которую люблю, как родную дочь. Все праздники ты проводил у меня, хоть ты и мой слуга. В день пасхи я посадил тебя за стол вместе с собой! А ты обманул моего сына, вы тайком забрались в мои амбары, когда я спал, и ограбили меня! Вор! И это еще не все! Скажи пожалуйста, в первый раз сегодня Михелис заговорил! «Я уже мужчина, буду делать то, что хочу!» Слышишь, каков негодяй! Голову поднял: будет так, говорит, как он хочет! А когда я ему сказал: «Неужели ты не боишься своего отца?» — так он, бессовестный, не постыдился мне ответить: «Боюсь я бога, больше никого!» Ты слышишь, никого больше! Это твоя грязная работа, Манольос, чтоб ноги твои переломались, когда будешь спускаться с горы на праздник! Что молчишь? Что глаза выпучил и смотришь на меня? Ну, говори же, а то терпение мое лопнет!

— Хозяин, — тихо ответил Манольос, — я пришел попросить разрешения вернуться в горы.

Старик посмотрел на него с презрением, губы его зашевелились, он не находил нужного слова.

— Что ты сказал? Вернуться в горы? Ну-ка, повтори еще раз, если смелости хватит!

— Пришел, хозяин, попросить разрешения вернуться в горы.

— А свадьба? — не своим голосом закричал старик, и шея его снова побагровела. — Когда, негодяй, будет свадьба? В мае? В мае, когда женятся ишаки? Нет, быть ей в апреле! Поэтому я тебя и вызвал, — я тут распоряжаюсь!

— Дай мне, хозяин, еще немного времени…

— Для чего тебе нужно время? Что случилось?

— Да я еще не готов, хозяин.

— Ты еще не готов? Что это значит?

— Я и сам не знаю, хозяин… Вот чувствую, что еще не готов. Душа моя…

— Ну, какая там душа? Мне кажется, ты с ума спятил… Слышите, душа у него! У тебя есть душа?

— Как тебе сказать, хозяин? Какой-то голос внутри…

— Молчи!

Манольос протянул уже руку, чтобы открыть дверь, но старик схватил его.

— Куда идешь? Стой!

Снова начал шагать взад и вперед по комнате, стукнул кулаком по столу, до боли закусил губу.

— Вы оба меня сегодня уморите, не выдержу я! Все кончено! Сын меня больше не боится; боится, говорит, только бога; а этот — слуга, дрянь, ничтожество, — душа у него, говорит…

Разъяренный, повернулся к Манольосу.

— Уходи, чтоб я тебя больше не видел! Если в этом месяце не состоится свадьба, останешься без работы у меня. Проваливай из моего дома! И найду я мужа получше, чем ты, для своей Леньо! Убирайся отсюда!

Манольос открыл дверь, бросился вниз по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки, бегло оглядел двор. Леньо еще не вернулась. Он схватил в углу свою палку, толкнул калитку и бегом стал подниматься в гору.

У колодца святого Василия, недалеко от села, он остановился передохнуть. Это был старый, прославленный колодец, окруженный высоким камышом; на мраморном отполированном барабане виднелись глубокие следы веревок, с помощью которых на протяжении веков опускали и поднимали ведра. После обеда приходили сюда девушки и черпали холодную воду, которая вытекала из-под горы и была, говорят, чудотворной, — лечила многие болезни — печень, почки. Каждый год, в день крещения, сюда являлся поп и святил воду. По преданию, еще святой Василий Кесарийский, нагруженный игрушками для детей всего мира, прежде чем начать свое путешествие накануне Нового года, приходил сюда и пил воду из этого колодца. Поэтому колодец и носил имя святого Василия. И вода в колодце слыла чудотворной.

Солнце, достигнув зенита, изливало на землю неподвижный водопад лучей. Свежая зелень всходов на полях тянулась к солнцу и, казалось, жадно насыщалась им. Каждый листочек оливковых деревьев был облит светом. Вдали, сквозь огненную прозрачную вуаль, темнела Саракина, зияли ее пещеры, а на вершине таяла и исчезала в мерцающем свете церковь пророка Ильи.

Манольос раскрутил веревку, зачерпнул воды, напился, окунул голову в ведро, чтобы освежиться; расстегнув ворот рубашки, вытер пот. Потом взглянул на Саракину — и перед его мысленным взором, озаренный пламенем, словно созданный из самого солнца, предстал отец Фотис. Манольос смотрел на суровую фигуру праведника, ни о чем не думая, ничего не спрашивая, и испытывал странное, необъяснимое блаженство.

И так он стоял долго и неподвижно, разглядывая аскетическое лицо, и, как молодой колос пшеницы, впитывал в себя это сияние. Здесь, застыв у мраморного колодца, он испытал огромную, ни с чем не сравнимую радость, словно почувствовал великое облегчение после долгих месяцев болезни. Нет, это была даже не радость, а что-то более глубокое, значительное и вечное, как распятие.

Когда он очнулся, солнце уже склонялось к западу.

— Я, наверно, спал, — пробормотал он, — уже вечереет…

Ему стало легче, он затянул пояс, поднял с земли свой посох и заторопился встретиться со своими любимыми друзьями в уединении — с овцами, баранами, овчарками, со своим юным, загорелым, кудрявым помощником, настоящим дикарем — Никольосом.

Он совсем было тронулся в путь, как вдруг приозерный камыш зашевелился, и оттуда послышался нежный, умоляющий и слегка насмешливый голос:

— Эй, Манольос, испугался и уходишь? Постой, я хочу с тобой поговорить.

Он повернулся. Вдова Катерина, с кувшином на плечах, выходила из камыша. Жадными глазами он посмотрел на ее ослепительную шею, на ее голые, словно налитые руки, на ее красные улыбающиеся губы.

— Чего тебе надо? — пробормотал он и опустил глаза.

— Зачем ты меня преследуешь, Манольос? — страстно и жалобно спросила вдова.

Поставив кувшин на край колодца, она вздохнула.

— Каждую ночь ты приходишь ко мне во сне, не даешь мне спать. Вот сегодня утром мне снилось, что ты держал в руках луну, резал ее на части, как яблоко, и кормил меня… Что тебе от меня надо, Манольос? Зачем ты преследуешь меня? Раз я тебя вижу во сне, значит, и ты обо мне думаешь.

Манольос стоял, опустив глаза; его опаляло горячее дыханье вдовы, в висках стучало. Он молчал.

— Покраснел ты, покраснел, Манольос, — радостно сказала вдова потеплевшим, немного охрипшим голосом. — Значит, и вправду ты обо мне думаешь, мой Манольос? И я о тебе думаю, и я… И когда я о тебе думаю, стыдно мне становится, как будто я голая и ты меня видишь… Как будто я голая, а ты мой брат и смотришь на меня.

— Я о тебе думаю, — ответил Манольос, все еще не поднимая глаз, — мне приятно думать о тебе. Всю страстную неделю ты не выходила у меня из головы. Уж извини меня!

Вдова присела на край колодца. Она чувствовала приятную, легкую усталость и не могла стоять на ногах. Теперь она тоже молчала. Нагнулась над колодцем, посмотрела на отражение своего лица в глубокой темно-зеленой воде. Перед ней, как молния, промелькнула вся ее жизнь: сирота, дочь попа из дальнего села, она познакомилась со своим мужем на празднике богоматери Миртиотийской. Был он намного старше ее, почти старик, но зажиточный хозяин, а она — бедная. Взял он ее, не взял, а скорее купил; обвенчался с ней и привел ее в Ликовриси; она хотела иметь детей, но он не мог дать их ей, а вскоре и умер. Тогда, ночами, лежа одна в своей постели, двадцатилетняя вдова часто не могла уснуть. И холостые парни в селе тоже часто не спали; вертелись около ее дверей, окон, двора, пели любовные песенки и вздыхали, как телята; она также вздыхала. Так она мучилась год, два, но однажды ночью, в субботний вечер, не смогла уже сдержаться. Вымылась, смазала лавровым маслом волосы, поглядела на свое тело и пожалела его; открыла дверь; один из парней, на свое счастье торчавший у ее дома, вошел к ней. Утром, прежде чем проснулись люди, он ушел. Вдова познала большую радость; поняла также она, что жизнь коротка и большой грех пропадать одной. В следующую ночь снова открыла дверь…

Она подняла свое лицо от темно-зеленой воды.

— Почему же тебе приятно, Манольос? — спросила она.

— Не знаю, Катерина, не спрашивай; правда, я тебя люблю, как будто ты моя сестра.

— Ты меня стыдишься?

— Не знаю, не спрашивай, я тебя люблю.

— Чего же ты от меня хочешь?

— Ничего я не хочу, ничего! — крикнул испуганный Манольос и хотел уйти.

— Не уходи, не уходи, Манольос! — Ее голос задрожал.

Манольос, не поворачивая головы, остановился. Снова она замолчала. И через некоторое время крикнула ему:

— Ты мне подчас кажешься архангелом, Манольос! Как архангел, хочешь забрать мою душу.

— Позволь мне уйти, — сказал Манольос. — Ничего я не хочу! Я лучше уйду.

— Ты торопишься, — сказала вдова настойчиво, и в ее голосе прозвучала насмешка. — Торопишься пойти на гору выпить молока, поесть мяса, подкрепиться. Ты скоро женишься, Манольос, — Леньо не шутит!

— Не женюсь! — крикнул Манольос, и ему стало страшно.

Первый раз он произнес это вслух.

— Не женюсь, никогда не женюсь, я хочу умереть.

И, как только он высказал все вдове, сразу же успокоился. Повернулся к ней лицом, посмотрел ей прямо в глаза, словно больше уже ее не боялся, словно с его плеч свалилась большая тяжесть.

— До свидания, — сказал он тихо. — Я ухожу!

Вдова посмотрела ему вслед, у нее перехватило дыханье.

— Ты не думай обо мне, Манольос, — крикнула она с отчаянием, — не приходи ко мне во сне, не мучай меня! Я пошла по плохому пути, оставь меня!

«Я тебя люблю, люблю, сестра моя, я не хочу, чтоб ты пропала!» — подумал Манольос, но не обернулся, ничего не ответил и пошел вверх по горной тропинке.

ГЛАВА IV

Солнце поднялось над Саракиной, порозовела церковь пророка Ильи, и на склонах гор начали трещать куропатки. Озарилась гора; то тут, то там среди скал стали видны одинокие, словно измученные рожковые деревья, дикие груши, колючие кустарники, каменные дубы, исковерканные ветром.

Когда-то здесь, вероятно, жили люди — можно было заметить местами разрушенную стену, черепки разбитых кувшинов, одичалые плодовые деревья; позднее почти исчезла дорога, заросшая травой и усеянная камнями, от домов остались одни развалины, возвратились снова дикие звери — волки, лисы и зайцы, прежде боявшиеся человека и не забредавшие сюда. Земля, деревья, звери снова дышали свободно и не испытывали насилия страшного двуногого существа, которое в былые времена поселилось здесь, на время изменило извечный порядок в природе, но потом вдруг исчезло.

А теперь это беспокойное существо явилось вновь. К нему прислушивались звери, притаившиеся за высокими скалами. Как только показалось солнце, люди вышли из пещер. Мужчины, женщины и дети искали воду, прятавшуюся в скалах, жадно склонялись к ней, разгребали камни, разводили костры… Забирались повыше и смотрели вниз, на поля, на богатое село Ликовриси; видели там волнистые холмы, по которым раскинулись сады с оливковыми и фиговыми деревьями, виноградники; еще дальше — ярко-зеленую гору Богоматери, где паслись овцы, а совсем вдалеке, у самого горизонта, высились прозрачные, розово-голубые горы.

Отец Фотис перекрестился.

— Дети мои, — крикнул он, — бог благословил утро, сегодня у нас много работы, вставайте, все вместе попросим бога, чтобы внял он нашим молитвам.

Старики и старухи уже толпились вокруг отца Фотиса, который стоял на скалистом уступе; сбежались женщины с детьми, и последними, тяжело ступая, подошли озабоченные мужчины, понуро опустив головы. Оборванные, с впалыми от усталости и от голода щеками, босые, беззащитные среди этих негостеприимных камней, среди редких, не дающих плодов деревьев… Казалось, что сейчас раздадутся жалобы и просьбы, что польются слезы, что руки протянутся к небесам и начнут просить милостыню, но вдруг из груди этих высохших людей, радостно и уверенно, вырвался торжественный гимн давно погибшей империи, и гора ответила эхом: «Спаси, господи, люди твоя и благослови достояние твое, победы на сопротивные даруя…»

В такт помахивая руками, отец Фотис словно дирижировал этим хором, и в нем звучал его громкий и сильный голос.

Распрямились плечи, поднялись головы. Некоторые женщины начали кормить грудных детей, другие, наклонясь над костром, подбрасывали дрова и ставили горшки с едой.

— Дети мои, — воскликнул поп Фотис, — здесь, на этой пустынной горе, с божьей помощью, мы пустим корни. Три месяца мы скитаемся, высохли женщины и дети, мужчины уже стыдятся просить милостыню. Человеку, как и дереву, нужна земля. Здесь мы и пустим корни! Этой ночью мне снился святой Георгий, наш земляк, точь-в-точь такой, как он изображен на знамени, принесенном нами с родины. Белокурый юноша, подобный весне, на белом коне, а за ним, на конском крупе — красивая царевна, которую святой Георгий спас от страшного чудовища; она держит в руках кувшинчик и угощает своего спасителя… Ну, а кто же эта красивая царевна, дети мои? Это — душа Греции, наша душа! Святой Георгий усадил нас на круп своего коня и привез сюда, на эту пустынную гору, куда уже ступила наша нога, и минувшей ночью, во сне, он пришел ко мне, протянул руку и положил на мою ладонь семя — маленькую деревушку с церковью, школой, домами, садами — и сказал мне: «Посади это семя!»

По толпе прокатился гул, словно ветер зашумел в камышах. И на ладони попа Фотиса многие женщины уже различали маленькую-маленькую деревушку, похожую на яичко, снесенное солнцем.

— Вот тут и посеем его, — продолжал поп Фотис, протягивая руки и как бы обнимая всю гору, — вот тут, на этих камнях и в этих пещерах, около этих нежных ручейков и среди диких деревьев мы посеем семя, которое доверил мне святой всадник. Мужайтесь, дети мои, вставайте, идите за мной; настал великий день, мы сеем новое село! Вставай, дед Панагос, взвали снова на плечи мешок с костями, и пойдем!

Столетний старец поднял высохшую голову; его глаза с вылезшими ресницами заискрились:

— Я видел, дети мои, как трижды возникали и погибали села. Первый раз — от чумы, второй — от землетрясения, а вот сейчас от турка. Но трижды видел я также, как семя человека пускает корни то на той же самой земле, то немного поодаль. Священник благословлял, каменщики начинали строить, все набрасывались на землю и копали ее, молодцы обнимали женщин, и через какой-нибудь год — какая радость это была, дети мои! — семя давало колосья, дым поднимался над домами, кричали ребятишки, снова набухали почки на деревьях! Мужайтесь, дети мои, и снова земля возродит жизнь!

— Будь здоров, дед Панагос! — кричали мужчины и улыбались. — Ты, дедуня, победил и Харона! Ты и есть тот Дигенис, о котором давно говорят.

— Конечно, я! — отвечал старик с уверенностью.

Тем временем отец Фотис надел епитрахиль, смастерил из тимьяна и какой-то горной травы кропило, наполнил водой кувшин, сделанный из тыквы, и подозвал нескольких мальчиков, которых научил петь псалмы.

Вся толпа поднялась и была готова идти за вожаком; с правой стороны стояли мужчины, с левой — женщины; над ними солнце, этот неутомимый, упорный гигант, поднималось все выше, совершая свой вечный и всегда новый подвиг.

— Во имя бога, дети мои! — крикнул отец Фотис. — Во имя бога и отчизны! Деревня наша разрушена, но мы ее снова восстановим, ибо бессмертны корни нашего рода! Что еще вам сказать, братья? Радуюсь я, человек, когда судьба мне приносит счастье, но еще больше я радуюсь, когда приходят тяжкие времена! Потому что я рассуждаю так: вот теперь ты покажешь, поп Фотис, мужчина ты или кролик.

Мужчины и женщины засмеялись; в эту горькую минуту своими мужественными, ободряющими словами облегчал он их сердца. Дух древних воинов просыпался в каждой груди, каждый смотрел на камни и одичалые деревья, на голодные рты и засучивал рукава для борьбы.

— Идите за мной, дети мои, все вместе. Я намечу границы деревни! — сказал поп и окунул кропило в воду. — Во имя бога!

Человек-великан высоко поднял хоругвь с изображением святого Георгия, мужчины схватили рабочий инструмент — мотыги, топоры, лопаты, старики взяли в руки иконы. Впереди пошел старец, несший на плечах мешок с костями. Несколько собак, что пришли сюда с людьми, побежали за толпой с радостным лаем. Поднялся сильный шум; какая-то дудочка заиграла у подножья горы, но никто не услышал ее.

Священник окунал кропило в воду, с силой брызгал на камни, на дикие кусты, на рожковые деревья, намечал в воздухе границы деревни, сам сочинял псалмы и пел их от всего сердца:

— Господи, господи, священной водой я намечаю границы нашей деревни! Пусть не ступит сюда нога турка, пусть не перейдет этих границ чума, пусть землетрясение никогда не разрушит деревни! Четверо ворот мы построим в ней, — поставь же четырех ангелов, господи, чтоб ее охранять!

Он остановился, крест-накрест обрызгал водой большой камень, повернулся к односельчанам.

— Вот здесь, к востоку, мы построим первые ворота деревни, ворота Христовы!

Протянул руки к небесам.

— Это твои ворота, господи! Через них ты будешь входить и выходить, когда в час опасности услышишь наш голос и ступишь на нашу землю. Мы люди, у нас есть душа, у нас есть голос, и мы можем кричать. И если когда-нибудь мы скажем лишнее слово, не гневайся на нас! Мы — измученные создания, у нас много забот, и случается, что сердцу уже невмоготу, оно не выдерживает, бросает грубое слово, и тогда ему становится легче. Жизнь тяжела, и если бы тебя не было, господи, мы все, мужчины и женщины, соединили бы наши руки и бросились бы в пропасть, дабы избавиться от мук. Но существуешь ты, радость, утешение, великое возмездие, боже наш! Вот твои ворота — входи!

Двинулись дальше, пошли к югу, чтобы и там наметить границы. Священник низким голосом пел псалмы, и ему подтягивали детские голоса — словно щебетали ласточки.

Отец Фотис остановился у большого камня, в углублении которого скопилась прозрачная вода.

— Тут, — сказал он, — мы построим ворота богоматери, заступницы рода человеческого! Сделайте метку!

Протянул руки к земле.

— Пресвятая богородица, — крикнул он, — невянущая роза, цветущий дикий виноград, что обнимает мощный дуб — бога, мы честные, но гонимые люди — так услышь наш голос! Ты сидишь тут на земле, около нас, и твой фартук — теплое гнездо, полное людей. Ты мать и знаешь, что такое горе, голод и смерть; ты женщина и понимаешь, что значит терпенье и любовь. Склонись, госпожа наша, к этой деревне, внуши смирение и любовь женщинам, чтобы трудились не покладая рук, заботились о доме и боролись, не унывая, помня о муже, о детях. Дай силу мужчинам, чтобы работали и не отчаивались, чтобы, умирая, оставляли после себя двор, полный детей и внуков! Дай, госпожа наша, добрый христианский конец старикам и старухам! Вот это твои ворота, госпожа наша, заступница, — войди!

В эту минуту чей-то ослик, нагруженный кладью, появился в хвосте религиозного шествия, но никто не обратил внимания на животное. Тогда ослик остановился в недоумении и повернул мохнатые уши к своему хозяину, как будто хотел о чем-то спросить его. Тяжело дыша, весь в поту, проклиная солнце и камни, показался вслед за осликом и Яннакос.

Остановился, пораженный, как и его Юсуфчик. Он услышал псалмы, краем уха уловил слова попа, посмотрел вокруг себя, смутился. «Это, говорит, ворота… Какие же ворота? Какую деревню они построят? Из воздуха? В воздухе? Они же умирают с голоду, а хотят построить деревню. Они едва стоят на ногах, а поют церковные гимны, „…победы, говорят, на сопротивные даруя“! Прости меня, господи!»

Привязал он ослика к дикой груше и бесшумно, чтобы никто его не заметил, пошел за шествием. Изумленный зрелищем, оглушенный, он еще не знал — смеяться ему или плакать. Шел за всеми, смотрел на священника, который махал кропилом и намечал границы так уверенно, словно уже видел вокруг будущие дороги, дома, церковь, совет старост.

В третий раз остановился священник западнее ворот Христа и указал на большую скалу, на которой расцвела дикая яблоня.

— Здесь построим, — сказал он, — ворота святого Георгия Труженика! Того, кто, согбенный, обрабатывает землю, кто пасет коз, овец и коров, кто подрезает ветки и прививает дички к деревьям, как и мы, люди. Потому что святой Георгий — это не только великий герой, но и великий труженик. Благодаря тебе у нас есть смелость, покровитель нашей деревни! Сделай же так, чтобы умножились овцы и козы и давали нам молоко для наших детей, укрепляя их кости! Чтобы давали нам мясо, дабы кормилось наше тело и радовалась наша душа! Чтобы давали нам шерсть и не были страшны нам снега! Благослови, святой Георгий, всех животных и птиц, которые любят человека и служат ему, — волов, ослов, собак, кроликов, кур… Нагнись к земле, благослови и ее; мы будем бросать на ее грудь семена, ты будешь посылать дожди, когда нужно, а она будет приносить нам плоды… Будем все вместе! Земля, люди, святые — одно войско! И идет впереди нас бог и указует нам путь! Святой Георгий, здесь твоя деревня, это твои ворота; мы их сделали высокими, чтоб ты мог выходить в поле — входи же!

Яннакос с раскрытым ртом слушал и смотрел вокруг себя круглыми от удивления глазами: скалы и колючки, тимьян и чабрец… Пустошь! Два ворона, сидевшие на рожковом дереве, испугались и улетели, каркая, словно бранясь.

«Кто они такие, — думал он со страхом, — люди, звери или святые?» И смотрел на мужчин с закрученными усами и на женщин с толстыми косами и широкими бедрами. «Прости меня, господи!»

Севернее ворот богоматери снова остановился священник перед какой-то разрушенной, поросшей травами стеной. Поднял кропило, трижды благословил камни, вздохнул и повернулся к односельчанам.

— Здесь, — сказал он, и его голос задрожал, — здесь мы построим, братья, ворота Константина Палеолога! Сюда когда-нибудь, дети мои, непременно войдет вестник, весь в поту и пыли, и крикнет: «Братья, мы взяли Константинополь!»

Разбушевался народ, послышались воинственные голоса, все смотрели на север, на пыль, что поднималась с поля, — будто уже видели поспешно приближавшегося путника.

— Дед Панагос, — закричал поп, — подойди! Неси свой мешок сюда, к воротам Палеолога!

Повернулся к мужчинам, стоявшим с лопатами.

— Копайте!

Копали быстро, вырыли большую яму, в рост глубиной, старец Панагос спустился туда. Одну за другой, он вынимал из мешка кости — берцовые, локтевые, черепа, ребра — и осторожно, с уважением, при общем молчании, укладывал их в вырытой яме. Потом поп Фотис обрызгал кости святой водой, бросил туда кропило и крикнул:

— Отцы наши, потерпите; не растворяйтесь в земле! Он придет, придет! Когда-нибудь мы услышим великую весть!

Яннакос вытер глаза, наполнившиеся слезами; какой-то комок застрял у него в горле.

— Вылезай наверх, дед Панагос! — крикнул священник. — Выходи, надо яму засыпать.

Подбежали двое юношей, чтобы помочь старику.

— Оставьте меня, дети мои, — сказал он, — мне тут хорошо. Зачем я вам нужен? Чтобы хлеб напрасно есть? Не могу я больше работать, детей уже не могу плодить, никакой пользы от меня нет — оставьте меня здесь!

— Дед Панагос, — строго сказал священник, — время твое еще не пришло, не торопись!

— Отче мой, — ответил старец умоляюще, — оставь меня тут, мне здесь хорошо! Я слышал, что, если не закопать живого человека при основании деревни, деревня не укоренится. Где я найду лучшую смерть? Закопайте меня!

— Нельзя, — возразил священник, — бог дал тебе жизнь, бог ее и отнимет у тебя. Мы же не имеем права, дед Панагос… Поднимите его наверх, ребята!

Нагнулись парни, протянули руки, чтобы достать его, но старец уже улегся ничком на костях и кричал:

— Оставьте меня, дети мои, оставьте меня, мне тут хорошо!

Яннакос не выдержал, подбежал и тоже нагнулся над ямой: увидел неподвижного старика — тот повернул лицо к солнцу и улыбался, счастливый.

— Мне хорошо тут… — бормотал он, сложив руки на груди. Опять к горлу Яннакоса подкатился комок, и он всхлипнул.

Священник повернул голову, увидел Яннакоса и узнал его.

— Посторонитесь, дети мои, — сказал он, — вот один хороший человек из Ликоврисси! Пришел он навестить нас, ободрить в несчастье. Приветствуйте его, братья! Это один из тех четверых, которые наполнили корзины продовольствием и принесли его нам в первую ночь, чтобы мы поели!

Он вспомнил имя.

— Добро пожаловать, Яннакос! — сказал он и пожал ему руку с волнением. — Ради тебя и твоих товарищей бог не метнет огня на Ликоврисси и не спалит его!

Яннакос окончательно потерял самообладание и начал громко рыдать.

— Сын мой, почему ты плачешь? — спросил священник и заключил его в свои объятия.

— Я согрешил, отче, согрешил!

— Иди сюда!

Взял его за руку, и они отошли в сторону.

— Почему ты плачешь? Что с тобой? Поведай мне свое горе, сын мой; ты благодетель нашей деревни! — сказал священник и, широко раскинув руки, указал на будущую деревню.

Ноги Яннакоса подкосились, и он почти рухнул на ближайший камень. Священник, стоя рядом, с беспокойством присматривался к нему.

— Тебе нужно что-нибудь? — спросил он. — Ты что-нибудь сделал? Не плачь!

— Согрешил я, отче! Я все тебе расскажу, чтобы облегчить свою душу!

И, прерывисто дыша, начал торопливо признаваться во всем: зачем он поднялся на Саракину, какой договор заключил со стариком Ладасом, упомянул и о трех золотых монетах, которые получил в задаток…

Священник слушал, слушал и ничего не говорил; Яннакос испуганно смотрел на него.

— О чем ты думаешь, отче? — спросил он наконец, и голос его дрожал.

— Я думаю о том, сын мой, что человек — зверь, дикий зверь... Не плачь! И еще я думаю о том, что бог — велик.

— Хуже, чем зверь... — пробормотал Яннакос и сплюнул, словно ему стало плохо. — Человек — это червяк, скользкий, маленький, никчемный, бесчестный... Не трогай меня, отче мой, тебе разве не противно?

Священник помолчал, убрал свою руку, опустил глаза и вздохнул.

Яннакос внезапно поднялся с камня, на котором лежал, сунул пальцы в карман своего жилета и вынул три золотые монеты.

— Отче мой, у меня к тебе одна просьба. Возьми эти золотые монеты, купи несколько овец для деревни, для детей, которым нужно молоко... И, если можешь, возложи руку на мою голову и прости меня!

Священник не пошевельнулся.

— Если ты их не возьмешь, моя душа уже не найдет спасения. — И потом добавил: — Ты сказал, человек — это зверь; приручи же его, отче! Одно хорошее слово его приручает. От того, что ты сейчас скажешь, зависит мое избавление.

Священник бросился к Яннакосу в объятия и зарыдал.

— Обо мне, — закричал Яннакос, — обо мне ты плачешь?

— О тебе, и о себе, и обо всем мире, сын мой, — , пробормотал отец Фотис и вытер слезы.

Поцеловал Яннакоса в глаза и возложил руку на его седые кудрявые волосы.

— Пусть тебя господь простит, Яннакос! И Петр три раза отрекался от Христа, и все три раза слезы его спасали; слезы, сын мой, — большая купель... Я беру грешное золото, которое ты мне даешь, и грех твой станет молоком для голодающих детей! Прими мое благословение!

Яннакос упал к ногам священника, чтобы их поцеловать, но тот торопливо нагнулся и поднял его.

— Нет, нет, нас видят, — сказал священник, — сюда идут!

— Отче! Отче! — послышались испуганные голоса.

— Что случилось, дети мои? — спросил обеспокоенно отец Фотис.

— Дед Панагос умер, отче. Мы спустились в яму, чтобы вытащить его, глядим, а он мертв!

Отец Фотис перекрестился.

— Бог простит его. Умер он счастливый, помог нам в основании нашей деревни... Бог даст, и мы, дети мои, проживем свой век так же, как он... Пойду благословлю его.

Он повернулся к Яннакосу.

— Иди, сын мой, иди с богом! Христос с тобой!

Нагнулся Яннакос, поцеловал священнику руку и пошел к своему ослику.

От радости он почти летел, прыгал с камня на камень, как двадцатилетний юноша. Чувствовал, что по спине забегали мурашки, — словно вырастали крылья.

— К черту деда Ладаса, — бормотал он, — к черту и его золото! У меня выросли крылья!

Погладил ослика, который терпеливо ждал его в тени дикой груши, быстро отвязал его, тихонько мурлыча:

— Пойдем, мой Юсуфчик, успешны наши дела, хорошо мы поработали, слава тебе, господи!

Повернул голову, увидел огромные скалы, черные пещеры и высохших людей, которые стояли над могилой старца, у будущих ворот Палеолога, пели похоронные псалмы и крестились.

— Пусть бог укрепит вашу деревню! — пробормотал он. — Положил и я в ее фундамент три золотые монеты.

И пошел по склону, распевая.

«Да и впрямь, человек — зверь, — думал он. — Что он хочет, то и делает, по какой дороге хочет идти, по той и идет. Ворота ада рядом с воротами рая находятся, куда хочет, туда и входит... Черт может войти — и входит только в ад, ангел может — и входит только в рай, а человек — куда захочет!»

Яннакос улыбнулся.

— Здравствуй, Адам, великий зверь! — крикнул он громко и запел одну старую песню, которую давным-давно не вспоминал, но теперь она вдруг пришла ему в голову.

Я молньи сын, а гром — мой дед, и я на самом деле,
Лишь пожелаю, громы шлю, шлю молнии, метели...

У подножья горы он остановился и промолвил:

— Голоден я, надо поесть. Голоден и мой Юсуфчик; я ему нарву травы, чтоб он тоже поел и не завидовал мне. Будем вместе есть, рядом друг с другом, как братья.

Отошел в сторону, нарвал лисохвоста и чертополоха, прыгнул через ограду, сорвал несколько толстых листьев капусты и отнес всю охапку своему товарищу.

— Ешь, ешь, Юсуфчик мой, я тоже поем! Приятного аппетита!

Раскрыл котомку, достал хлеб и любимую закуску — маслины с луком, и начал жевать медленно, спокойно, как кролик.

— Какой вкусный хлеб, будь он благословен, — бормотал он. — Как будто я впервые ем его; это не хлеб, а просвира: проникает прямо в кости и питает их.

Потом вынул из котомки фляжку, на которой ножом когда-то выцарапал двуглавого орла. Поднес ее к губам, опрокинул, жидкость забулькала.

— Словно впервые пью вино, — сказал он, — оно доходит прямо до сердца и оживляет его! Слава тебе, господи, что ты сотворил виноградники и виноград; слава и тебе, человек, который научился давить виноград и делать из него вино... Ну-ка, пропущу еще глоток!

Снова поднес флягу ко рту и закрыл глаза.

— Добрый день, Яннакос! — послышался в эту минуту нежный голос.

Яннакос открыл глаза и увидел перед собой Катерину с большим узлом на плечах, а за нею ее овцу с красной ленточкой на шее.

— Эй, Катерина, — закричал он, — зачем ты сюда пришла? Куда тащишь свою овцу? Продать ее хочешь?

— Да, — ответила вдова и засмеялась.

— Иди садись, перекуси, вот тебе кусок хлеба, и выпей со мною немного! Как раз одну овцу хотел купить сейчас отец Фотис, чтобы у детей было молоко... Бог тебя просветил!

Вдова села, черной косынкой вытерла пот с раскрасневшегося лица и шеи; ее глаза радостно блестели.

— Жарко, — сказала она. — Уже лето настало, Яннакос.

— Ешь, — повторил Яннакос. Отрезал ей кусок хлеба, пододвинул к ней маслины. — Луку хочешь? — спросил он.

— Нет, — ответила вдова, — не ем я лука.

И взяла в руки хлеб и маслины.

— Не ешь, чтобы не пахло изо рта, плутовка! — сказал Яннакос и засмеялся.

— Да, — ответила вдова с внезапной грустью в голосе. — Мы, видишь ли, сосед, должны всегда благоухать ароматным мылом и духами…

Она положила хлеб и маслины.

— Не хочется что-то есть, ты меня извини…

Яннакос проглотил обиду.

— Прости меня, Катерина, — пробормотал он. — Осел я.

Вдова сорвала какую-то травинку и молча прикусила ее зубами.

Помолчали немного. У Яннакоса тоже пропал аппетит, он завязал котомку.

— Что у тебя в узле, Катерина? — спросил Яннакос, чтобы нарушить тишину, которая словно душила его.

— Немного белья для детей.

— Ты им подаришь?

— Да.

— И… овцу?

— И ее. Чтоб у детей было молоко.

Яннакос опустил голову. Вдова прибавила, будто желая оправдаться:

— Видишь ли, сосед, своих детей у меня не было, и мне кажется, что все дети у людей — это мои дети.

Яннакос почувствовал, что горло у него сжалось.

— Катерина, — промолвил он прерывающимся голосом, — мне хочется лечь на землю и поцеловать тебе ноги.

— Старик Патриархеас, паралитик, — сказала вдова, — позвал меня позавчера и заявил, что, по желанию совета старост, я буду вскоре изображать Магдалину. Мне стало стыдно. Я слышала, что значит быть Магдалиной; и я тоже — вот до чего я дошла! Сельская Магдалина… И все-таки, когда он это сказал, мне стало стыдно. Но теперь, Яннакос, мне не стыдно. Если б я встретила Христа и если б у меня был флакончик с духами, я бы его разбила и омыла господу ноги, а потом вытерла их своими косами… Так мне кажется… И стояла бы я рядом с богоматерью, даже если бы она стыдилась меня… Ты что-нибудь понял, Яннакос, из того, что я тебе сказала?

— Понял, понял, Катерина, — ответил Яннакос, и его глаза наполнились слезами. — С сегодняшнего утра, Катерина, я начинаю понимать…

И немного погодя;

— Я еще больше грешен, чем ты, Катерина, поэтому и понимаю. Сначала я был мелким воришкой, мелким вруном… Сегодня утром я стал преступником… Но теперь…

Помолчал, почувствовал, как что-то расцвело в его сердце. Схватил флягу.

— За твое здоровье, Катерина! — закричал он. — Я тебя огорчил, извини меня… Осел я, по-ослиному и поступаю.

Выпив, он хорошенько вытер горлышко фляги.

— Выпей и ты, Катерина! Хочу почувствовать, что ты меня простила.

— За твое здоровье, Яннакос! — И вдова изогнула свою красивую шею.

— Ну, я пойду, — сказала она, вытерла губы и встала. — Посмотри на овцу, как она волнуется, как жалобно блеет; не подоила я ее, бедняжку; поведу, чтобы там подоили.

— Не будешь по ней скучать, Катерина? Знаю я, как ты ее любила.

— Если бы ты отдал своего ослика, ты бы скучал?

Яннакос вздрогнул.

— Не говори так, соседка, сердце мое разрывается!

— И у меня разрывается сердце, Яннакос. До свидания!

Она остановилась на минутку, словно хотела еще что-то сказать, но не решалась.

— Ты Манольоса увидишь? — спросила она наконец.

— Я сейчас пойду по селам. На обратном пути, думаю, заверну к нему и увижу его… Ты что-нибудь хочешь передать ему, Катерина?

Вдова уже подняла узел на плечи и сердито тащила упиравшуюся овцу.

— Нет, — ответила она, — ничего.

И начала подниматься в гору.

Тем временем Манольос уже был на своей горе. Собаки учуяли его еще издалека и подбежали к нему, помахивая хвостами, а за ними поспешил и Никольос, загорелый пастушок с оттопыренными ушами, — он прыгал, как козленок, с камня на камень, навстречу старшему. Вырос он в горах вместе с овцами, был диковат, черноволос и говорил мало, скорее блеял по-бараньи, и его полосы, сальные, с прилипшей к ним сосновой смолой, торчали твердыми пучками, как маленькие изогнутые рога. Ему было уже пятнадцать лет, и смотрел он на овец похотливыми глазами, как баран.

Как только они пришли в кошару, Никольос разложил на лавочке хлеб, сыр и жареное мясо.

— Ешь, — сказал он.

— Не хочу я есть, Никольос, ешь сам.

— Почему, разве ты не голоден?

— Нет.

— Что-нибудь плохое тебе сделали люди там, внизу?

— Да.

— Зачем же ты ходил?

Манольос ничего не ответил. Он лежал на соломенном матраце с закрытыми глазами. Правда, зачем он ходил? До сих пор, каждое воскресенье, рано утром спускался он в село, слушал обедню, принимал просвиру, и снова его неудержимо тянуло в горы. Ему становилось плохо внизу, в полях. Он, уже одичавший и привыкший к одиночеству, видел там женщин, смотрел на мужчин, собиравшихся в кофейне пить и играть в карты; он задыхался там и спешил уйти, вернуться к чистому воздуху гор. А теперь…

Вспомнил он Леньо — ее насмешливую улыбку, ее лукавые глаза, ее дразнящий голос и — главное — ее грудь, приподнимавшую розовую кофточку, словно грозя разорвать ее.

Сел на матрац. Ему стало жарко, и он снял рубашку, мокрую от пота.

«Я должен терпеть, — думал он, — нужно остаться безгрешным, не трогать женщину. Это мой долг. Ведь мое тело принадлежит уже не мне, а Христу».

Христос возникал в его воображении таким, каким он видел его однажды в монастыре, на иконостасе: Христос, одетый в длинный голубой хитон, так легко ступал босыми ногами по травам, что те даже не гнулись. Прозрачный, воздушный, как иней. С его рук, ног, с открытой груди капала розовая кровь… Девушка с распущенными золотыми волосами пыталась прикоснуться к нему, но он, подняв руку, запрещал ей приблизиться. И из его рта вилась ленточка с буквами; Манольос читал их, но не мог понять смысла. Он спросил одного старика: «Что тут Христос говорит, дедушка?» И тот ему объяснил: «Не трогай меня, женщина!» — «А кто эта женщина?» — «Магдалина».

«Не трогай меня, женщина!..» Манольос закрыл глаза, и сразу же Катерина, вдова, медленно проплыла в воздухе. Встряхнула головой, сбросила черную косынку, ее белокурые волосы рассыпались по плечам, упали до колен, прикрыли ее наготу. Но вдруг повеял свежий ветерок, волосы зашевелились, и обнажилась ее грудь…

Манольос закричал: «Помогите!» — и вскочил с матраца.

Пастушонок еще ел, жадно шевеля губами, и никак не мог насытиться. Он повернулся безмятежно, с полным ртом.

— Тебе что-то приснилось, хозяин? — спросил он. — За тобой гнались? И за мною гонятся во сне. Не бойся, это сон, не будь дураком, спи!

— Разведи костер, Никольос, мне холодно…

— Но здесь очень жарко, я прямо задыхаюсь? — возразил пастушонок, которому не хотелось отрываться от хлеба и мяса.

— Мне холодно… — повторил Манольос, и зубы у него застучали.

Продолжая жевать, пастушонок встал с недовольным видом, взял дрова в углу, положил их в печку и ловко зажег. Подошел к Манольосу, посмотрел на него внимательно и покачал головой.

— Сглазили тебя, хозяин, — сказал он и снова принялся за еду.

Манольос пополз в угол, закутался в одеяло и положил голову на полено. Он смотрел на пламя, пожиравшее дрова. Леньо, Магдалина и Христос, приплясывая, проходили в пламени, сходились, расходились и вновь сходились… И вдруг женщины поднялись вместе с дымом вверх и исчезли. Манольос уже никого не видел, кроме Христа, распятого в пламени. Он ясно различал его бледное лицо, склоненное к груди, руки, прибитые к бревнам… Пламя снова заметалось, и Христос вновь воскрес, встал из угля и пепла, сделался тонким, зыбким, поднялся и исчез…

Усталый Манольос прислонил голову к поленьям и уснул.

Сон был тяжелый, нечистый, как грязное половодье, и всю ночь Манольос силился от него избавиться. Ему казалось, что он запутался в густых травах и не может найти выхода — он кричал; а под утро потекла бурная река из белокурых волос и понесла его. «Помогите!» — снова закричал он, но не мог проснуться и, раскинувшись на своем ложе, тяжело дышал.

Раза два-три пастушонок просыпался от отчаянных криков Манольоса.

— Снится опять бедняге, что за ним гонятся… — шептал он с улыбкой, тут же поворачивался на другой бок и снова засыпал.

Утром, открыв глаза и увидев через оконце голубоватое небо, Манольос перекрестился.

— Слава тебе, господи, — прошептал он, — ночь прошла, избавился!

Он совершенно обессилел, у него болела голова, он весь дрожал. Костер погас. Ему захотелось выпить теплого молока, но Никольос уже погнал овец на пастбище. Вставать не хотелось. Он посмотрел кругом, будто впервые все это увидел, взглянул на орудия своего труда: на котлы, подойники, кувшины, на развешанные по стенам деревянные ложки, которые он сам вырезал и разрисовал с большим искусством. С малых лет, когда ему попадался кусок дерева, он брался за нож и вырезал крохотные кипарисы и птичек; позже начал изображать женщин, еще позже — мужчин-всадников; а когда пошел в монастырь — то святых…

— Ты, сын мой, — сказал ему однажды какой-то монах, проходивший мимо кошары, — не должен быть пастухом; ты должен быть монахом. Мы бы давали тебе дерево, а ты возвращал бы нам иконы…

Солнце проникло через окошко, Манольос пододвинулся, чтобы погреться в солнечных лучах. Греясь, он вспомнил вдруг ночной сон, реку белокурых волос и вздрогнул.

— Христос, — прошептал он, — не дай мне впасть в искушение.

Потом он немного успокоился, встал, развел костер, вылил из подойника молоко, подогрел его и выпил. Подкрепившись, вышел во двор, сел на лавочку около кошары. Солнце поднялось выше, мир проснулся, гора заулыбалась. Вдалеке слышался свист Никольоса, который пас овец.

— Мне теперь хорошо, — бормотал Манольос. — Искушение является ночью, а теперь взошло солнце, слава богу!

Он повернул голову и у порога заметил круглый обрубок бузины. Сердце его радостно забилось. Он нагнулся, положил обрубок себе на колени, погладил его — большой, круглый, как голова, еще источавший струйки сока.

Зачесались руки у Манольоса. Вскочил он, вошел в сарай, достал пилу, острый нож и напильник, потом перекрестился, нагнулся, поцеловал дерево и начал его обрабатывать.

Солнце приближалось к зениту, а Манольос все еще сидел согнувшись и крепко прижимал колоду к груди. Он забыл об усталости, воздух от земли до неба был чист и прозрачен, и все искушения исчезли. Леньо была теперь далеко-далеко, где-то за солнцем; другая, вдова, пробралась в середину кошары, в самый темный угол и превратилась в паука. Манольос трудился, склонившись над обрубком, и смотрел только на него. Он весь превратился в зрение и в самой глубине своего сердца видел спокойный, безмолвный образ, исполненный доброты и печали. И Манольос старался воплотить этот лик в дереве точь-в-точь таким, каким представлял его себе, — впалые щеки, скорбные глаза, широкий лоб с каплями крови и рана между бровей, которую обычно не изображали на иконах, — Манольос сейчас впервые разглядел ее.

Пот лил ручьями по лицу Манольоса, пальцы его, слегка порезанные ножом, вымазали дерево кровью. Но ничто не останавливало Манольоса. Он торопился запечатлеть святой образ до его исчезновения, — торопился воплотить в дереве свое видение.

Манольос, увлеченный резьбой, не заметил, как на тропинке показались две женщины: одна молодая, а другая — старуха, с закутанной в платок головой. Когда они увидели Манольоса, молодая повернулась, приложила палец к губам, и обе начали медленно приближаться, будто хотели посмотреть, чем занимался Манольос. Старуха споткнулась, из-под ее ног покатился камень, но Манольос так углубился в свое занятие, что ничего не услышал.

Молодая не выдержала, ускорила шаг — подошла и коснулась плеча Манольоса.

— Эй, Манольос! — окликнула она.

Манольос вскочил, святой образ исчез из его головы; испуганный, он прислонился к стене, откинув назад голову.

— Что с тобой, Манольос? Почему ты так смотришь на меня, словно я — привидение? Да ведь это я, Леньо, твоя невеста, а это — твоя тетя

Мандаленья. Она пришла заговорить нечистую силу, окружившую тебя.

— Какая-то нечистая сила, сынок, поранила тебя, — сказала старуха и, тяжело дыша, тоже подошла к нему.

Манольос смотрел на них с недоумением.

— Что вам нужно? — спросил он наконец и перевернул обрубок, чтобы пришедшие не увидели, что он вырезал из него.

Старуха собиралась ему ответить, но Леньо отстранила ее.

— Оставь нас, тетушка Мандаленья, — сказала она. — Сходи собери лекарственные травы, которые тебе нужны, и оставь нас одних, я хочу поговорить с ним.

Бормоча что-то себе под нос, старуха пошла собирать травы.

Леньо села на лавочку рядом со своим женихом.

— Манольос, — сказала она ему тихо и взяла его за руку, — подними глаза и посмотри на меня. Ты больше меня не хочешь, не любишь меня больше?

— Люблю, — тихо ответил Манольос.

— Когда же мы поженимся?

Манольос молчал. Как далека от него была в эту минуту свадьба!

— Почему ты молчишь? Хозяин мне все рассказал.

— Я не хотел, чтобы ты приходила сюда, — сказал Манольос и встал.

— Я должна была попросить у тебя разрешения? — крикнула Леньо, и ее лицо вспыхнуло. — Ты мне еще не муж, я свободна!

Она поднялась и остановилась перед ним, властно протянув руку.

— Не уходи! — приказала она ему.

Манольос снова прислонился к стене и ждал. Леньо смотрела на него; ненависть и любовь боролись в ее взволнованной душе.

— Моя мать была прислугой, — глухо выговорила она наконец, — мать была прислугой, но мой отец — архонт. Кланяться не буду, я молода, приданое у меня есть, найду и получше тебя!

Манольос с силой, до боли, прижал к своей груди кусок дерева.

— Прощай, Леньо, — произнес он, чувствуя, что сердце у него разрывается.

Но как только он произнес это тяжкое слово, то сам испугался и сразу же передумал.

— Леньо, — прошептал он, опустив глаза, — оставь меня на время здесь, в уединении, чтобы я мог принять решение… Если ты меня любишь… прошу тебя!

— Ты любишь другую? Кого? Скажи прямо, и я уйду.

— Нет, нет, Леньо, клянусь!

— Хорошо, когда решишь, сообщи мне; я буду ждать… Но так и знай, могу тебя полюбить на всю жизнь, могу и возненавидеть на всю жизнь. От одного твоего слова это зависит; от одного «да» или от одного «нет» — выбирай!

Повернулась к старухе.

— Эй, тетушка Мандаленья, пошли!

Они спускались по склону. Разгневанная Леньо шла впереди; она ни разу не оглянулась; в ее сердце кипела гордая, господская кровь отца.

Манольос улегся на лавке; посмотрел на обрубок бузины — уже не было никакого желания продолжать работу; пламя погасло, святой образ исчез из души. В сердце не было ничего, что могло бы вновь вызвать это виденье.

Он вошел в сарай, прикрыл кусок дерева какой-то тряпкой, медленно, заботливо, как прикрывают раскаленные угли пеплом, чтобы они не погасли. Он уже не мог оставаться один, ему было не по себе. Он взял в углу пастушеский посох и отправился на поиски Никольоса и овец.

...Солнце заливало гору, ветер стих; тени, словно испуганные, замерли у подножий деревьев. Птицы перестали щебетать, спрятались в листве и ждали, когда спадет зной.

Никольос вдруг почувствовал в себе избыток сил и посмотрел вокруг, словно ища, на что бы их израсходовать. Кругом ни души! Ни мужчины, с которым можно было бы побороться, ни женщины, которую можно было бы повалить на землю. Овцы, ленивые и смирные, улеглись в тени под каменными дубами; с ними возиться — стыдно. Неожиданно показался здоровенный баран — вожак стада Дасос, с толстыми извилистыми рогами, с густой шерстью и тяжелым колокольчиком вожака на шее. Он посмотрел мутными глазами на своих овец, заблеял радостно и протяжно и медленно, с царственным видом продолжал свой путь. Воздух наполнился острым запахом самца — и тогда Никольос вдруг бросился на него, будто разума лишился, и со всей силой несколько раз ударил барана палкой по рогам, по спине, по брюху.

Гордый самец обернулся, но противник не произвел на него впечатления — ни рогов, ни густой висящей шерсти, да и стоял он только на двух ногах, и Дасос мог бы повалить его одним толчком. Поэтому он продолжал прогуливаться среди своих овец, презрительно поглядывая на Никольоса.

Но Никольос пошел за ним по пятам, ухватился за рога и подпрыгнул, собираясь вскочить на него. Тогда Дасос рассердился, тряхнул головой, и Никольос упал навзничь на землю, ободрав локти до крови.

— Ах так, подлец! Ну, я тебе сейчас покажу! — закричал Никольос и вскочил с каменистой почвы.

Он вобрал шею в плечи, нагнул голову, как бы собираясь боднуть, и разбежался; навстречу разогнался и Дасос. Они столкнулись, у Никольоса подкосились ноги, закружилась голова, вместе с нею закружилась и гора, но он все-таки удержался на ногах, схватил с земли палку, снова бросился на барана и начал колотить его, норовя поломать ему рога.

Как раз в это время появился Манольос; засунув два пальца в рот, он свистнул. Никольос повернулся, заметил его, но остановиться уже не мог — разбежался и опять кинулся на барана. Тогда Манольос взял камешек и бросил его в пастушонка.

— Эй, Никольос! — крикнул он. — Ты что с бараном начал драться? Иди сюда!

Ворча и ругаясь, весь в поту, подошел Никольос. Они сели под скалой. От сердитого пастушонка шел пар, отдававший запахом барана; время от времени он посвистывал и швырял камни, желая скрыть свой гнев; внутри у него все горело — ведь Дасос повалил его на землю.

Манольос смотрел куда-то в пространство, пытаясь обрести утраченную безмятежность и возродить в своем сердце тот святой образ, который он вырезал из дерева. Какое вдохновение испытывал он сегодня утром! Он позабыл тогда все свои мучения! Мир словно исчез, и на всей земле остались только он, Манольос, да обрубок бузины. И вдруг теперь померещились яркие губы, послышался женский голос...

— Никольос, сними с пояса свирель, сыграй что-нибудь... Плохо я себя чувствую, Никольос, тяжело у меня на душе, сыграй что-нибудь, чтобы я успокоился!

Пастушонок засмеялся.

— То же самое происходит и со мной, Манольос, — сказал он. — У меня так тяжело на душе, иногда мне кажется, что я не выдержу; играю на свирели, но не успокаиваюсь; вот, видишь, рассердился на барана!

— Ну, какое же у тебя горе, Никольос, ведь ты еще безусый?

— Черт его знает, что со мной! Видишь ли, Манольос, одинок я, совсем одинок, скучно мне! — доверчиво ответил мальчик.

Он достал свирель, положил свои загорелые пальцы на ее дырочки.

— Ты знаешь, что сейчас будешь играть, Никольос?

— Я? Нет. Сыграю, что в голову придет.

Он приложил свирель к губам и начал играть.

И вот зазвенели колокольчики, склоны горы наполнились стадами коз и овец, вся гора словно пришла в движение. Ожил мир, зашевелился и растворился в сладких звуках. И вдруг разлились воды и побежали, звеня, с камня на камень. Потом все смолкло: колокольчики, гора, воды... Нет, не смолкло, а превратилось в улыбку — нежную, спокойную, вызывающую радость...

Раскинулось многоголосое море... Берег, усеянный галькой, веселые, купающиеся женщины... С голыми руками и ногами, они бросались в море, на них обрушивались волны, перевертывали их, а они радостно кричали и смеялись от всей души. И весь берег шумел, клокотал и смеялся.

Опустив голову, Манольос задумчиво прислушивался к звукам свирели. Перед ним мелькали в морской пене улыбающиеся, игривые женщины; они прыгали, исчезали и вновь возвращались, обнявшись с волнами, — и вдруг сразу все затихло, море успокоилось и из него вышла Катерина — молчаливая и нагая...

— Сейчас же перестань играть! — закричал Манольос и вскочил на ноги.

Никольос повернулся, посмотрел на него, но не перестал играть — он увлекся, и ему не хотелось оставлять свирель, которую он все еще держал у рта.

— Замолчи, говорю! — снова крикнул Манольос.

— Ты меня перебил на самом приятном месте, — сердито сказал Никольос и вытер свирель о колено.

Из глаз Манольоса потекли слезы.

— Что с тобой, Манольос, ты плачешь? — испугался пастушонок. — Да не мучайся ты, это же свирель, это обман, ветер!

Манольос встал, хотел пойти, но колени его подогнулись.

— Плохо мне, — прошептал он, — плохо...

— Ты слышал звон воды? — спросил пастушонок и засмеялся.

— Какой воды?

— Я думал о воде, когда играл на свирели, и видел много воды — мне хотелось пить, — сказал он.

Одним прыжком оказался он под каменным дубом, где висела котомка с большой деревянной флягой, на которой был вырезан козел. Это был подарок Манольоса.

«Пойду лягу, — подумал Манольос, — меня знобит...»

— Следи за овцами, — сказал он Никольосу, — я пойду в кошару делать сыр.

— Там дрова сложены, — ответил Никольос, вытирая губы и грудь, по которой текла вода, — ты вскипяти молока, я скоро приду.

Пастушонок смотрел, как Манольос шел, спотыкаясь о камни, и ему стало его жалко.

— Если ты плохо себя чувствуешь, — крикнул он ему вдогонку, — оставь все и ложись, я сам сделаю сыр.

— Почему ты это мне говоришь? — обернулся Манольос.

— Потому что ноги твои, хозяин, заплетаются и ты совсем желтый.

«Бедняга! — прошептал он с сочувствием, глядя вслед ковыляющему Манольосу, уже скрывшемуся за деревьями. — Видел я, как Леньо приходила к тебе. О, черт возьми! Да ведь она высосет у тебя все силы!»

Никольос схватил с земли камень и с силой его швырнул.

— Будь они прокляты, эти женщины, — громко закричал он, — будь они прокляты!

Тут он снова увидел вожака стада Дасоса, который прохаживался перед ним, как будто опять бросая вызов на поединок; Никольос нагнул свою черную голову и бросился на барана...

Придя в кошару, Манольос развел огонь в печурке и начал делать сыр, но почувствовал, что у него нет сил. Он весь дрожал и поэтому вышел посидеть на лавочке и обогреться в лучах солнца. Солнце уже заходило, и вскоре он услышал звон колокольчиков и крики Никольоса, который свистел и камнями гнал овец к кошаре.

Мысленно Манольос перенесся в село, заходил в дома, в кофейню, прошел по площади. Потом поднялся наверх, вошел в дом попа, увидел старост, решающих, кто будет изображать Петра, кто Иуду, кто Христа... Снова видел гонимых христиан и священника Фотиса, его мужественную борьбу с сытым сельским попом и женщину, которая вскрикнула и умерла... В его ушах опять звучали слова Яннакоса — жесткие, насмешливые, полные правды: «Ты хочешь изображать Христа, а сам собираешься жениться и согрешить... Обманщик! Обманщик! Обманщик!» Мысленно он проник в комнату хозяина, увидел архонта; а еще раньше во дворе увидел Леньо, которая тесно прижалась к нему и грудью как бы ранила его; она спрашивала ласково, нетерпеливо: «Манольос мой, когда мы поженимся? Когда? Когда?» И потом... потом, когда он поднялся на гору и присел на минутку отдохнуть у колодца...

Его сердце замерло.

— Жаль мне ее, — прошептал он, — жаль! Пошла она по плохому пути, пропадет...

Он видел ее в черной косынке, видел ее прелестную белую шею, блестящие, словно сабли, зубы, начищенные ореховыми листьями... Услышал он снова ее безнадежный крик: «Не уходи, не уходи, мой Манольос!» — будто она ждала спасения только от него, только от него...

И вдруг впервые он совершенно ясно и отчетливо понял, что значит ее сон. Да, да, вдова была права, именно он может спасти ее... Сам бог оповестил ее во сне: Манольос кормит ее, вдову, лунными ломтями... И вот сейчас он вдруг уловил тайный смысл этого сна и вздрогнул от радости: луна — это веление бога, это непорочный свет, который освещает ночь... И таково желание бога, веление бога, чтобы он, Манольос, кормил ее. Он спасет грешницу, Магдалину-вдову.

— Я должен ее увидеть, — прошептал он, — я должен увидеть ее сейчас же! С каждой минутой она все больше и больше будет погрязать в грехе... Нужно спасти ее, нужно! Это мой долг...

Он вспомнил узкую тропинку, ворота с железным крючком, похожие на дугу, расписанные зеленой краской... Увидел порог, сверкавший чистотой... Он никогда не переступал через него, но, помнится, однажды в воскресенье, когда калитка была открыта, он бросил жадный взгляд внутрь и разглядел маленький двор, усыпанный крупной, свежей галькой, горшки с базиликом вокруг скамейки и пушистые красные гвоздики возле колодца...

И мысль Манольоса торопливо бежала по склону горы, приближаясь к селу. Он видел себя уже на узкой тропинке, видел, как переступает блещущий чистотой порог...

— Нужно, нужно ее увидеть... — повторял он снова и снова, — это мой долг...

Манольос чувствовал странную радость. Теперь, когда он знал, почему ему так необходимо увидеть ее, когда он знал, что это не просто его собственное желание, а веление божье, он успокоился; теперь он понял, почему так настойчиво, днем и ночью, он страстно желал встретить вдову; ему казалось, что его толкало искушение, он стыдился этого и сопротивлялся, но теперь…

Он быстро вскочил. Ему уже не было холодно, колени перестали дрожать. Он развел огонь и поставил над ним котелок с молоком.

«Какими путями, — подумал он, — приходит бог и освещает разум человека? Вот теперь его желание превратилось в сон и опустилось на подушку вдовы…»

Никольос уже подходил. Блеяли овцы, которых пастушонок загонял в огороженное место. Солнце село, тихое, успокоенное; оно закончило свой рабочий день и возвращалось домой ужинать.

— Здравствуй, Никольос! — крикнул Манольос с порога, и голос его звучал звонко и радостно, — подои овец и приходи, приготовь поесть, я тоже голоден!

Весь день он ничего не ел, ему ничего не лезло в горло, но сейчас он почувствовал вдруг сильный голод.

Мальчик посмотрел на Манольоса с недоумением и засмеялся.

— Ожил, хозяин? Какая-нибудь хорошая новость?

— Есть хочу! Давай побыстрее! Я тебе помогу.

Они принесли медные подойники, стали рядом на колени и начали доить овец. И овцы тоже стояли довольные, освобождаясь от приятной тяжести; опытные пальцы доильщиков казались им сосущими губами ягнят.

Закончили, умылись. Никольос поставил еду на скамейку. Они перекрестились и набросились на хлеб, мясо, творог. Никольос с гневом продолжал думать о сильном баране и о Леньо. В его мыслях они — вожак стада и эта кругленькая девушка — слились в одно целое, и смеющаяся Леньо была то наверху, то внизу…

— К черту… к черту… — пробормотал вдруг Никольос, схватил камешек и швырнул его вдаль.

— Что с тобой, Никольос, что ты там бормочешь? — спросил Манольос, усмехаясь. — В кого ты бросаешь камнями?

— Черт около меня крутится! — ответил пастушонок и тоже улыбнулся. — В него и бросаю камни.

— А ты его видел, Никольос?

— Конечно, видел.

— Ну, и какой он?

— Это мое дело! — ответил Никольос, встал, подошел к ведру с водой и окунул в него пылающую голову.

Манольос доел, перекрестился и тоже встал.

— Никольос, — сказал он, — я пойду сегодня в село. До свиданья!

— Опять в село? — закричал рассерженный Никольос. — Что тебе делать в селе? Сдается мне, хозяин, что и вокруг тебя вертится черт.

— Не черт, Никольос, будь он проклят, а бог!

Он смочил волосы, причесался перед зеркальцем, потом вошел в сарай, надел праздничную одежду, сунул за пояс круглое зеркальце, расческу и платочек. Зачем? Для чего они ему были нужны? Он и сам этого не знал; просто так — взял и сунул за пояс.

— Черт, я тебе говорю, черт, — сказал сердито Никольос, глядя на наряжавшегося хозяина.

— Нет, это бог, бог… — повторил Манольос, перекрестился и пошел.

— Он идет встретиться с Леньо, будь они оба прокляты! — пробормотал Никольос и сердито плюнул.

И снова ему представились баран, вожак стада, и Леньо, и снова они слились в одно целое.

ГЛАВА V

Уже стемнело; запели ночные птицы, влюбленные и голодные; вверху, на небе, повисли первые, самые крупные звезды.

«Пусть стемнеет еще больше, чтоб меня не видели в селе», — думал Манольос, медленно спускаясь по узкой тропинке. Он шел и прикидывал, какие слова нужно будет сказать вдове и как с ней поговорить, чтобы веление бога дошло до ее сердца. «Я постучу в калитку, — рассуждал он, — она подойдет открыть мне... Застигну ее врасплох, она меня увидит, закроет за мной калитку, и мы войдем в дом...» Двор ее он уже видел и не боялся — гвоздики, базилик, колодец... Но в доме? Манольос вдруг испугался и остановился передохнуть. «Там, внутри, наверно, ее кровать...» — подумал он.

У него потемнело в глазах; он уже не знал, что ей говорить, не знал, для чего он спускается в такое время, ночью, с горы и для чего будет стучаться в ее ворота. А она увидит, как он краснеет, теряется, и станет смеяться. «Послушай, Манольос, — скажет она, — ты пришел и сам не знаешь, для чего. Не снилось ли что-нибудь тебе? Может быть, ты видел во сне искушение, Манольос, иль, может быть, деву Марию? А может, и то и другое вместе — это тоже бывает, мой Манольос. И ты пришел, и сначала ты будешь мне говорить о боге и рае, а потом, потихонечку, сами того не замечая, мы окажемся на кровати... Ну что ж, ведь ты мужчина, я женщина, такими нас сотворил бог. Чем же мы виноваты, что когда мы вместе, рядом, то пьянеем, теряем голову, раскрываем друг другу объятия и соединяемся?..»

Кровь бросилась ему в голову. В ушах звучали эти бесстыдные слова, он ясно слышал, как все это говорит ему вдова. И она смеялась и подходила близко к нему... Он уже чувствовал ее дыхание, чувствовал, как от нее благоухало гвоздикой, а от расстегнутой кофточки исходил запах тела — теплый, смешанный с потом и мускатным орехом...

Вдруг его охватила усталость, колени подогнулись, и он тяжело сел на камень.

«Кто заговорил во мне? — спросил он себя испуганно. — Кто смеялся? Чье колено прикоснулось ко мне, так, что мои ноги подкосились?» Ведь он действительно слышал эти слова и смех вдовы — и еще ощущал ее запах.

— Господи, помоги! — закричал он и поднял глаза к небу.

Но сейчас небо показалось ему очень далеким, высоким, немым, безразличным, оно не было ни другом, ни врагом, и Манольос испугался. Он взглянул на звезды, и сердце его замерло. Иногда, в зимние дни, видел он вокруг кошары, сквозь заснеженные кусты, волчьи глаза, яркие, неподвижные, полные ненависти; такими же показались в это мгновение Манольосу звезды.

И воспоминания о вдове, сладкие как мед, снова завладели им. В этом холодном и враждебном мире она была единственной отрадой. Теперь она уже не говорила, не смеялась, а, трепещущая, лежала на своей широкой кровати и ворковала благодарно и жалобно, как голубка.

Манольос заткнул уши, чтобы не слышать, голова у него кружилась, вены на шее вздулись. Он снова почувствовал, как хмельная кровь бросилась ему в голову и сильно застучала в висках. Веки отяжелели, и по лицу пробежали мурашки.

Манольос покрылся холодным потом; он поднял руку, быстро провел ею по лицу и вскочил на ноги.

«Боже мой!» — попытался он выговорить, но не смог. Провел снова рукой по лицу, потрогал свои щеки, губы, подбородок. Все распухло, он не мог раскрыть рта.

«Что со мной случилось? Почему я распух?» — думал он, в отчаянье ощупывая свое лицо; оно все раздулось, как барабан, но не болело. Только глазам было больно, и они слезились.

«Я должен посмотреть на себя, я должен себя увидеть, я хочу знать, что со мной», — подумал он, вынул из-за пояса зеркальце, нагнулся, набрал сухих колючек, зажег их и посмотрел... В играющем пламени он увидел свое лицо и закричал. Оно все опухло и словно покрылось коростой, глаза были похожи на две маленькие бусины, нос скрывался за раздувшимися щеками, а рот превратился в какую-то страшную дыру.

Его лицо не походило больше на лицо человека. Это была безобразная, изуродованная, отвратительная рожа — это была не его плоть, а чужая, приставшая к нему; его же лицо исчезло.

«Боже мой, а если это проказа?» — пришло ему вдруг в голову, и он рухнул на землю.

Посмотрев снова в зеркальце, он тут же отвернулся с отвращением; человек это был или черт? Он вскочил на ноги: «Теперь я уже не могу идти… Разве можно, чтобы она увидела меня таким? Как же я буду говорить с ней? Я сам себе противен, я вернусь обратно!»

Манольос повернулся и начал подниматься по тропинке бегом, будто за ним гнались.

Подойдя к кошаре, он остановился, тихонько вошел в сарай, дрожа от страха, что разбудит Никольоса и тот зажжет свет и увидит его… «Завтра утром, даст бог, все будет хорошо», — подумал он и немного успокоился.

Он сел на соломенный матрац, перекрестился и попросил бога пожалеть его. «Боже, лучше убей меня, — говорил он ему, — но не позорь перед людьми… Почему ты прилепил эту безобразную маску к моему лицу? Отлепи ее, боже, забери ее от меня; сделай, чтоб завтра утром мое лицо было чистым, человеческим, как и раньше!»

Он положился на бога и утешился. Потом закрыл глаза и увидел во сне женщину, одетую в черное, — это, наверное, была богоматерь. Она склонилась над ним и стала тихонько ласкать его лицо своей нежной прохладной рукой, и ему сразу стало легче. Манольос схватил чудотворную руку и хотел ее поцеловать, но раздался раскатистый, насмешливый смех, упала черная вуаль, Манольос вскрикнул и проснулся. Это была не богоматерь, это была вдова…

Никольос, лежавший в другом углу кошары, услышал крик и тоже проснулся. Приподнялся, увидел своего хозяина, который лежал, отвернувшись лицом к стене, и зло засмеялся.

— Значит, вернулся, Манольос? Уже сделал свою работу?

Но Манольос, продолжая лежать, все ощупывал свое лицо, и его охватывало отчаяние. Опухоль ничуть не спала, и, наверно, открылись раны, потому что теперь кончики пальцев стали мокрыми от густой, липкой жидкости.

«Погиб я… погиб… — думал он. — Наверно, это проказа!»

Он лежал ничком на матраце, уткнувшись лицом в подушку.

— Хорошо ли погулял, хозяин? — сердито спросил Никольос. — Успешны ли были твои дела? Устал, бедняга. Ну, спи!

«Погиб я… погиб… — шептал Манольос в отчаянии. — Это проказа!»

Уже светало. Никольос вскочил, собираясь идти к овцам… Он уже стоял на пороге, когда первые лучи солнца, заглянувшие в оконце, осветили сарай. Пастушонок взглянул на Манольоса.

— Манольос, — сказал он, — до свидания!

Манольос, забывшись, повернул к нему лицо. Увидев его, Никольос выскочил во двор.

— Святая Мария! — закричал он. — Это же дьявол!

Глаза Манольоса слезились; все лицо покрылось струпьями, и из них сочился гной. С трудом он попытался заговорить, успокоить пастушонка, но не смог сказать ни слова. Он только помахал рукой, чтобы тот не волновался.

Никольос прислонился лицом к дверному косяку и стоял так, готовый в любую минуту удрать. Он все смотрел и смотрел, вытаращив глаза… Но понемногу он привык к неожиданному зрелищу и успокоился.

— Ради бога, Манольос, ответь, ты ли это? — спросил он. — Перекрестись, чтоб я поверил!

Манольос перекрестился. Тогда Никольос, осмелев, перешагнул порог, вошел в сарай, но остановился поодаль.

— Что с тобой случилось, несчастный? — спросил он сочувственно. — Дьявол, наверно, обрушился на тебя и прилепил тебе эту харю. Спаси, господи! Дьявол, говорю тебе, безусловно, дьявол! То же самое случилось когда-то и с моим дедушкой.

Манольос покрутил головой, отвернулся снова к стене, чтобы не пугать мальчика, и сделал ему знак уйти.

— До вечера, — робко сказал Никольос и выскочил из хижины, как будто за ним гнались.

Оставшись один, Манольос вздохнул, потом вскочил на ноги. Он был здоров, ничего у него не болело, его перестало трясти, и, самое странное, он чувствовал необъяснимую радость… Он достал зеркальце, подошел к окошку и посмотрел: лицо распухло, как барабан, кожа потрескалась, из ранок текла какая-то желто-мутная жижа, застывавшая на усах и бороде; все его лицо превратилось в ярко-красный кусок мяса.

Манольос перекрестился.

«Если это от сатаны, — сказал он про себя, — закляни его, Христос! Если же это от бога — добро пожаловать! Знаю я, большого несчастья он мне не пожелает. Наверно, моя беда имеет таинственный смысл, — я буду терпеть до тех пор, пока он сам не проведет рукой по моему лицу!»

Объяснив себе таким образом свою беду, Манольос утешился. Развел огонь, поставил котелок, влил в него вчерашнего молока. Он был голоден, но когда наполнил миску, то не смог даже открыть рта… Тогда он взял соломинку, опустил ее в молоко и начал жадно сосать.

А потом вышел из кошары и сел на лавочке.

Солнце разбудило птиц, и они запели свои утренние песни, потом медленно скользнуло с горной вершины на склоны и поля и вошло в село. Оно застало вдову бодрствующей, бледной, еще лежавшей на своей кровати, и забралось в ее волосы; оно застало Марьори во дворе, когда та поливала горшки с цветами, и погладило, как мужчина, ее нецелованную шею. Коснулось оно и других женщин села и по-хозяйски приласкало их.

Присело солнце и на лавочке, рядом с Манольосом, а тот широко расставил руки, приветствуя его.

«Почему я чувствую такую радость, — подумал он, — почему мне так легко, не понимаю…»

Он вытер платком свое потрескавшееся лицо, словно захмелевшее от солнца.

«Не понимаю, не понимаю», — твердил он про себя и все чаще и чаще поворачивал мокрый платок под лучами солнца, чтобы высушить его.

Когда-то в монастыре монах, отец Манасис, говорил ему об одном праведнике, у которого потрескалась кожа и из ранок выползали черви. И когда какой-нибудь из них падал на землю, он наклонялся, заботливо поднимал его и вкладывал снова в ранку. «Ешь, — говорил он, — ешь, брат мой, мою плоть, чтоб душа оголилась…» Много лет Манольос не вспоминал этого рассказа, а теперь какое утешение находил в нем, какой урок стойкости и надежды!

Он поднялся, вошел в сарай, схватил завернутый в тряпку кусок дерева — незаконченную маску, достал напильник и острый нож, вышел и снова сел на солнце. Он вдруг почувствовал, что святой лик вновь глядит в его душу, укореняется в его сердце. И он опять отчетливо, до мельчайших подробностей, увидел своим внутренним взором исчезнувший образ. Изо всех сил прижимая к себе колоду, он начал резать, стараясь воплотить в дереве свое видение.

Быстро проходили часы… Солнце, пройдя зенит, начало потихоньку спускаться… Летели стружки, уже можно было видеть в обрубке величавый, немного печальный, полный терпимости и доброты лик Христа. Особенно мучился Манольос над губами, которые как будто непрерывно шевелились и дрожали, меняясь так, что резчик не мог уловить их очертания — они то улыбались, то морщились, и тогда рот плакал, а потом губы опять решительно сжимались, как будто не хотели криком выдать страшную боль…

Вечером вернулся Никольос со стадом и увидел, что Манольос еще сидит на лавочке и держит на коленях вырезанный из бузины лик Христа. Оставалось еще выдолбить обрубок с обратной стороны, чтобы там могла поместиться голова Манольоса. Эту деревянную маску он хотел надеть в неделю Христовых страстей…

Никольос остановился, бросил быстрый взгляд на своего хозяина и тут же отвернулся. Не мог он видеть его — на лице и бороде застыл гной, образовав желтую корку. Словно дьявол сидел на лавочке и держал на своих коленях лик Христа.

— Ты мне не помогай, я подою сам, — сказал он, не желая, чтоб Манольос находился возле него.

Манольос прислонил голову к стене и закрыл глаза. Он очень устал, но чувствовал себя хорошо. Крепко держал в своих руках деревянный лик и был очень доволен, что ему удалось так верно запечатлеть тот образ, который жил в его сердце. Манольос закрепил в дереве этот неуловимый образ, готовый растаять в воздухе, и теперь он не мог ускользнуть от него. Он вложил в эту работу всю свою душу, и это принесло ему успокоение. Ему казалось, что особенно удались ему выразительные губы Христа, постоянно меняющие свою форму. Манольос медленно повертывал Христов лик и думал: если смотреть ему прямо в лицо, он смеется; если повернуть вправо, плачет; немного влево — губы сжимаются решительно и гордо... Закрыв глаза, Манольос ласкал теперь кончиками пальцев свою работу — медленно, нежно гладил Христов лик: так, наверно, ласкала Мария святого младенца.

Он достал полотенце, обернул деревянную фигуру туго, заботливо, как пеленают ребенка, и подержал ее в руках.

Тем временем Никольос подоил овец, вошел в кошару и, не поворачивая головы, чтобы не увидеть Манольоса, начал готовить ужин. «Бедняга, — думал он с несказанной радостью про себя, — разве он может быть женихом с такой мордой? Леньо, как только увидит его, закричит и побежит куда глаза глядят!»

Он выглянул во двор и спросил Манольоса:

— Ты поешь? Можешь открыть рот и поесть?

Манольос поднялся; он был голоден — в полдень забыл пообедать. Вошел в кошару, наполнил большую миску молоком, взял соломинку, уселся, скрестив ноги, и начал сосать. Потом снова наполнил миску.

Уже стемнело, но фонарик они не зажигали. Никольос не видел в темноте распухшего лица Манольоса и перестал бояться. У Никольоса сегодня было хорошее настроение, — он и сам не знал почему, — и, поужинав, он присел около печки, взял палку и начал разгребать угли под котлом.

— Мой дед, значит, — заговорил он, довольный, — мой дед, после того как совершил убийство, кражи и другие пакости, постригся в монахи. Не слышал ли ты, что когда черт стареет, то идет в монастырь? Так и мой дедушка, прости ему господи! Поселился он, значит, в монастыре святого Пантелеймона, где и ты жил около месяца... Да беда была в том, что недалеко от монастыря находилось какое-то село, а в селе, известное дело, женщины... Где их только нет, черт их побери! — сказал он и сплюнул в пепел. — Ты слушаешь? — спросил он и повернулся, чтобы посмотреть при свете костра на лицо Манольоса.

Тот кивнул головой, как будто говоря: «Слушаю».

— Ну, вот, значит, однажды черт насел на дедушку. «Женщину хочу, — сказал он, — хочу женщину. Пойду в село, найду какую-нибудь, не могу больше терпеть! Замужняя, холостая, старая, молодая, какая угодно, лишь бы была женщина!» Как только стемнело и легли, значит, спать монахи, перепрыгнул дед через монастырскую стену и пустился бежать. Хотел, видишь ли, сделать свое дело и побыстрее вернуться, чтоб никто ни о чем не пронюхал. Он бежал, бежал, подобравши рясу, и блеял, как баран, гоняющийся летом за овцами... Но бог его увидел и пожалел: в то время когда он входил в село, послал ему страшную болезнь, — проказу, ты о ней, наверно, слышал. Все его тело покрылось нарывами — большими, как лесные орехи... Ну что я говорю? Не как орехи, а как гнилые абрикосы... И они потрескались, из них текло, и вонь распространялась на весь мир. Испугался, бедняга, прости его, господи! «Куда мне теперь идти? — сказал он. — Какая женщина ко мне подойдет? Лучше я вернусь обратно...»

Манольос слушал, весь дрожа. Протянув руку, он тронул Никольоса за колено и сделал ему знак: «Продолжай, мол!»

— Это старая история! — сказал Никольос и засмеялся. — Ее мне рассказывала моя бедная мать, добрый ей час! И смеялась она: слышь ты, безбожник, а сам монах! Вернулся он опять в монастырь, перепрыгнул снова через стену и скрылся в своей келье... На следующий день монахи увидели, что он распух, как барабан.

Манольос вновь тронул Никольоса, опять сделал ему знак.

— Что было потом, хочешь спросить? Да откуда мне знать, Манольос? Был я мал, всего не запомнил... Теперь бедняга протянул ноги, избавился от женщин! — закончил он и громко засмеялся.

Потом зевнул.

— Спать хочется, — сказал он. — Пойду-ка лягу на дворе; жарко тут, сдохнуть можно.

Жарко ему не было, он просто боялся спать в сарае вместе с Манольосом. Он встал.

— Я постелил и тебе. Спи, завтра будешь здоров.

Взял свою бурку, постелил на улице, положил камень вместо подушки; закрыв глаза, вспомнил Леньо, и захотелось ему рассердиться, но он очень устал. И, повернувшись на другой бок, он заснул.

Манольос подбросил дров в печурку: он боялся остаться один в темноте. Глядя на танцующий и посвистывающий огонь, он настороженно прислушивался через открытую дверь к ночным крикам, всхлипываньям сов, повизгиваниям маленьких зверюшек, грызших что-то во мраке; над его головой, по бревнам, с писком бегали мыши… А в себе самом он слышал настойчивый голос, который можно слышать только ночью, когда вокруг тишина и человек один.

Он встал, подошел к двери, посмотрел на небо. Спокойно простирался Млечный Путь, сияло созвездие Плеяд, искрились мириады звезд. И это безмолвное и радостное небо как будто спустилось и укрыло его. И когда Манольос вернулся в сарай и опять сел перед печкой, его охватили радость и спокойствие… Снова вспомнились ему слова Никольоса, сильнее забилось сердце.

«Христос мой, — прошептал он про себя, — может быть, это и есть чудо? Может быть, это ты простер свою руку надо мной, в то время когда я шел к пропасти и мог упасть в нее?»

Провел рукой по лицу, но теперь ему не было противно, не было страшно; благодарно ощупывал он распухшие щеки и потрескавшуюся кожу…

«Кто знает… кто знает…» — думал он, поглаживая свое больное лицо, — может быть, тебе я обязан своим спасением.

Успокоившись, он прислонился к стене. Жаркая истома исходила от печки, ему очень захотелось уснуть. Вспомнилось ему, что иногда, когда душа его блуждала в потемках, вещий сон приходил к нему ночью и указывал дорогу.

«Возможно, — подумал он, — бог и сегодня придет ко мне во сне и просветит меня».

Он закрыл глаза и быстро заснул…

Огонь в печурке погас, ночь прошла. Вдалеке начали петь петухи, когда Манольос, дрожа от утренней прохлады, открыл глаза. Ему ничего не снилось, но на сердце у него было спокойно… Он перекрестился, пошевелил губами, ему стало больно, как будто вновь открылась затянувшаяся рана, но сегодня он смог промолвить ясно: «Слава богу!»

Он встал и сел на своей любимой лавочке.

Солнце показалось на краю неба, красное, круглое, веселое. Оно снова с радостью оглядывало свои богатые владения; все оставалось таким же, каким было вчера при заходе, — тучные поля, зеленая гора Богоматери, острые скалы Саракины, блестящее круглое зеркало — озеро Войдомата — и его любимое село Ликовриси, с муравьями, которые бегают по его узким тропинкам и которых называют людьми. Посмотрело оно искоса, озарило лицо Манольоса, обогрело его…

— Слава богу… — опять прошептал Манольос, вытирая платком потрескавшееся лицо.

Так Манольос на своей горе то боролся с вдовой и Леньо, то бился над куском дерева, стараясь придать ему сходство с Христом, то сражался с невидимым врагом, — он сам не знал — с богом или дьяволом. А тем временем на Саракине отец Фотис наводил порядок. Он указал каждому, что нужно делать, — одним приказал копать и засевать небольшие участки земли между скалами; другим — строить; третьим — ходить на охоту и приносить зайчат, диких кроликов, куропаток, чтобы кормить народ. На три золотые монеты Яннакоса священник купил три овцы; кроме того, была у новоселов и овца вдовы — детишки теперь пили молоко… Позже он собирался взять древнюю чудотворную икону святого Георгия и пойти по селам и по монастырям просить помощи. «Все мы греки, — твердил он, — христиане, бессмертная нация, не пропадем!»

А в Ликоврисі капитан Фуртунас все еще стонал на своей постели, его разбитая голова заживала медленно, ага жалел его, часто посылал ему со своим сеизом новые лекарства и элексиры; наказывал поскорее выздороветь и снова приходить пьянствовать.

Старик Патриархеас совсем ослабел. Он кашлял, задыхался, и ему становилось все хуже, но, несмотря на это, он усаживался на кровати, набивал себе брюхо, блевал и снова жрал… И беспрерывно посылал к Катерине, просил ее прийти к нему и натереть его, а вдова обманывала его, говорила, что больна и что ей самой требуются натирания.

Поп Григорис продолжал ссориться со своей единственной дочерью Марьори. Видел он, что она тает словно свечка, и торопился выдать ее замуж за Михелиса, чтобы она успела подарить ему внука. Это было самое заветное его желание — дождаться внука, увидеть, что не прекратился род его. Только так поп Григорис надеялся победить Харона.

Панайотароса Гипсоеда охватила страшная тоска: уже три ночи кряду вдова не открывала ему двери. Эта святая Магдалина не хотела больше развлекаться с ним, думала совсем о другом, очень часто ходила в церковь и ставила свечки… Панайотарос пьянствовал, чтоб позабыть ее, каждый вечер возвращался домой в стельку пьяный, избивал свою жену и двоих дочерей, а потом растягивался во весь рост на дворе и храпел. А когда он, пьяный, шел домой, то деревенские ребятишки бежали за ним и дразнили: «Иуда!.. Иуда!..» И он кидался на детей, гнался за ними, но, споткнувшись, падал на мостовую.

А старик Ладас каждое утро беседовал со своей женой, которая сидела против него, вязала чулок, молчала и ничего не слышала…

— Опаздывает, Пенелопа, опаздывает этот растяпа Яннакос… Еще не подписал он долгового векселя на три золотые монеты. И не принес мне пока ни одной горсти сережек… Как ты думаешь, Пенелопа, возможно ли, чтобы у женщины, даже самой бедной, не было золотых вещей? Нет, нет, это невозможно! Бог этого не допустит… Вот увидишь, вернется Яннакос с золотыми вещами… Не беспокойся, Пенелопа, он вернется…

В ушах у старика Ладаса гудит, ему все кажется, что уже стучат в дверь, что уже слышен рев ослика. Бежит он босиком, открывает калитку, смотрит по сторонам — но Яннакоса нигде нет!

Яннакос уже заканчивал свое путешествие по селам, продавая расчески, нитки, зеркальца, жития святых, ситец и получая за это пшеницу, шерсть, цыплят, яйца; он торговал, но его мысли были далеко. Поэтому он правильно взвешивал и честно отмерял аршины… «Когда человек избавлен от грехов?» — спросили однажды мусульманского святого. «Когда он покупает и продает, — ответил святой, — а мысль его бродит по садам…» Мысли Яннакоса бродили по садам.

Время от времени он представлял себе, как его с криком и плачем встретит старик Ладас, вспоминал или свою сестру-ведьму, изводившую беднягу Костандиса, или Манольоса, который мучился на своей горе, стараясь совместить Христа и Леньо. Чтоб и волки были сыты, и овцы целы… Но все это приходило в голову и исчезало; постоянно же Яннакос думал о священнике Фотисе, о выжженной, враждебной горе, о людях, припавших к каменистой почве, от которой даже Харон не мог их оторвать.

Он задержался в кофейне последнего села, и владелец кофейни, кум Хироёргис, прозванный Кроликом, встретил его, радостно улыбаясь, помог разгрузить ослика, отвел его в конюшню и тут же вернулся угостить своего гостя, поболтать с ним… И вот вся деревушка собралась вокруг Яннакоса, торговца, который ходил из села в село по всей стране и всегда приносил новости. И о чем бы его ни спрашивали, он все знал, на все давал ответы.

— Ну, спрашивайте, ребята! — кричал владелец кофейни, — спрашивайте, а то завтра он уйдет! И заказывайте кофе.

Обступив торговца, они жадно расспрашивали его, старались узнать, каковы у него дела, что происходит в мире, спрашивали о великих державах, о большевиках, о войне, о землетрясениях… Они с интересом выслушивали ответы, и сердца у них замирали.

— Дядюшка Яннакос, что ты знаешь о греческих войсках, которые пришли и ушли, как молния? Что там происходит в греческих селах, откуда появились наши эвзоны, что там за резня, пожары, стоны? Мы тут в стороне, Ликоврисі и остальные окрестные села, очень редко сюда доходят новости, далекие рыдания здесь не слышны. Но ты, Яннакос, бродишь по белу свету, многое слышишь, расскажи нам об этом, удовлетвори наше любопытство! Наши сердца дрожат, как птицы.

И сердце Яннакоса трепетало; возникал в его мыслях отец Фотис и его село, которое сожгли турки, чтобы отомстить народу, чтобы истребить людей и разогнать их на все четыре стороны… От Измира до Афион Карахисара и еще дальше дымились в руинах христианские села, истреблялось греческое семя, всей нации грозила опасность…

Но Яннакосу было жалко слушателей, он не хотел портить им настроение.

— Не бойтесь, ребята, — отвечал он, — сколько тысячелетий живет Греция? Бессмертна она! Несколько сел, как я слышал, спалены, несколько человек убито; но вернутся опять эвзоны, отстроятся заново села, снова наплодим детей, снова заселим Анатолию! Кум, дай нам выпить, я угощаю!

— С тобой мое благословение, Яннакос! — крикнул ему какой-то старик, который сидел в углу, опершись подбородком на посох, и, разинув рот, впитывал каждое слово всезнающего торговца. — С тобой мое благословение, Яннакос! Если бы не было тебя у нас, мы бы жили, как слепые. Приходишь ты, дай бог тебе здоровья, и открываешь нам глаза.

Беседа еще продолжалась, когда в кофейню вошел Али-ага Суладзадес, старый архонт села. У него на поясе висела связка ключей от домов, которые он сдавал в аренду; кофейня Кролика тоже принадлежала ему. Он узнал о большом событии, о приезде Яннакоса, надел красные башмаки, взял с собой самый длинный чубук и пришел теперь повидать знаменитого торговца. Его мучило одно дело, а этот чертов грек мог бы кое-что объяснить.

Яннакос привстал, приложил руку к сердцу, к губам и к голове, почтительно поздоровался с ним. Конечно, это был самый хороший покупатель; у него был большой гарем, и его жены, дочери, внучки любили пряности, косметику, духи и сладости и — самое главное — не торговались. Привстал, поздоровался с ним и заказал для аги стаканчик кофе.

— Есть у меня, торговец, одна забота…

— Скажи, мой ага, и чем могу…

— Слушай, грек, что это такое, что называют Швейцарией?

Яннакос почесал голову; он и об этом слыхал, но очень мало.

— Почему ты спрашиваешь, Али-ага? — сказал он для того, чтобы выиграть время, — авось вспомнит!

— Потому что в Швейцарию отправился мой сын Хусейн — добрый ему путь! — чтобы учиться, говорит, на врача. И я хочу теперь ему послать бак из-под керосина с рисом и шпинатом, которые он очень любит, и бак угля для его наргиле. Но я не знаю, что такое Швейцария и куда все это ему послать.

При этих словах аги в голове Яннакоса прояснилось, и он все вспомнил.

— Швейцария, ага, это место на краю света, где производят молоко и часы…

— А врачей она не готовит? — спросил обеспокоенный ага.

— И врачей готовит, и врачей, ага, самых лучших в мире. И когда их увидит Харон, как бы вам это сказать, ага, чтоб в кофейне не запахло, когда их увидит Харон, он наложит в штаны.

— Будь здоров, грек, сердце теперь у меня на месте. Ну, а как быть с двумя баками?

— Сказать тебе по правде, ага, Швейцария уголек не пропустит к себе; но рис со шпинатом ты отдай мне, и я найду способ…

Яннакос уже придумал план: он отвезет рис со шпинатом на Саракину, и пусть там голодные поедят за здоровье Хусейна.

— Я сейчас же пойду принесу его! — сказал старик и поднялся.

У дверей кофейни он остановился, задумавшись; потом повернулся к Яннакосу:

— Ты мне не скажешь, какие расходы потребуются для того, чтоб все это дошло до Швейцарии?

— Расходы мои! — заявил Яннакос, поднимая руку. — Для твоей милости, Али-ага, ничего не жалко!

— Слушай, давай возьмем и сожрем все это? — предложил владелец кофейни, когда ага ушел.

— Боже сохрани! — запротестовал Яннакос. — Мы честно поступим, кум!

И повернулся к собравшимся.

— Извините меня, друзья, я смертельно устал после дороги, хочу спать. А завтра, даст бог, поговорим опять; вы меня спросите, что вас еще интересует, и дадите мне поручения и письма. И скажите вашим женам, что, как только услышат дудку, пусть идут покупать, что им нужно… Спокойной ночи.

Он прислонился к стене, вытянул поудобнее ноги и уснул.

Время близилось, вероятно, к полудню. Яннакос, успешно закончив свои дела в селах, направлялся к Ликоврисси. Ослик бежал весело, хотя теперь нес на спине целый бак риса со шпинатом; он радовался, мечтая о своей любимой конюшне, о полных яслях и корыте с прозрачной водой. Его сердце билось, как человеческое; он даже поднял хвост, чтобы зареветь. Но хозяин дернул его за хвост.

— Не торопись, Юсуфчик, направляйся на гору. Сперва зайдем к Манольосу.

Позавчера Яннакос накричал на него, наговорил ему сердитых слов, грубо с ним обошелся; теперь он жалел об этом, и ему очень хотелось увидеть Манольоса и попросить у него прощения.

— Я был прав, — прошептал он. — Пусть так, но Манольос очень застенчивый парень, даже перышко может его поранить, а я, осел, бил его топором!

Затем он вспомнил попа Григориса, старика Ладаса, Михелиса, вдову, все село и снова подумал о Манольосе.

— Я разговаривал с ним грубо, очень грубо… — прошептал он снова. — Я упустил из виду, что нас — четверо, что мы нечто вроде компаньонов, так сказать, и будем связаны весь этот год, но не ради денег, а ради рая!

Он улыбнулся своей прозорливости и призадумался.

«Тьфу, черт, — подумал он, — а может быть, деньги и рай это одно и то же? Не может быть! Нет, не может быть, потому что тогда бог и черт — прости, господи! — были бы одним и тем же!»

Он услышал за собой рев чужого осла. Повернул голову и увидел Христофиса, погонщика, верхом на осле выезжавшего из села. Старый сквернослов, любитель пошутить и посмеяться, он был трижды женат, наплодил кучу детей, но не помнил их совсем — одни умерли, другие разбежались по белу свету, — словом, избавился он от них. И теперь только и делал, что сам смеялся да высмеивал других.

Яннакос остановился, чтобы подождать его.

— Здравствуй, дядя Христофис, — сказал он. — Не окажешь ли мне услугу? Большую награду получишь!

— Ну-ка скажи, посмотрим! Мне надоело получать награды, Яннакос.

— Загляни ненадолго на Саракину, тебе как раз будет по пути, и передай этот бак из-под керосина попу Фотису. И если он тебя спросит, кто тебе передал, ты скажи — один грешник, больше ничего.

— А что в нем, Яннакос? Его же поднять нельзя, — сказал дед Христофис, наклоняясь.

— Рис со шпинатом!

И рассказал ему всю историю.

Дед Христофис расхохотался.

— Добра тебе желаю, Яннакос. Хорошо бы и богу подражать твоей доброте! Не бродили бы по миру голодные сироты и безутешные вдовы. Ну, так я пошел, чтобы поскорей накормить бедняков!

— Да ты не торопись! Меня не было несколько дней, какие новости в селе? Старина Ладас жив еще?

— Да не умирает, скряга! Много расходов, видишь ли, на похороны, невыгодно, но для грешника усатого, капитана Фуртунаса, считанные дни остались.

— Раки дешевле станет, — сказал Яннакос и улыбнулся.

— Обанкротятся парикмахеры, — в тон ему ответил дед Христофис.

— А поп Григорис, поп-архонт?

— Живет и здравствует, будь он проклят! И нашел, говорит, новое лекарство для женщин, неспособных рожать. Если употребить его, даже самая бесплодная женщина родит ребенка.

Оба расхохотались.

— Живи тысячу лет, дядя Христофис! Если ты умрешь, смех тоже исчезнет! Ну, а теперь до свиданья! Я куплю это лекарство, о котором ты говоришь, чтобы завалить окрестные села сыновьями и дочерьми.

— В добрый путь, Яннакос, и хорошей торговли!

Они расстались, но через некоторое время издалека снова послышался грохочущий, как колокол, голос деда Христофиса:

— Ну и безбожник! Лекарство это, негодяй, изобрел бог тысячи лет тому назад и отдал его Адаму!

И он так громко расхохотался, что эхо прокатилось по склону горы.

Манольос еще издалека заметил Яннакоса, поднимавшегося в гору со своим осликом. У него сжалось сердце, и он встал. «Манольос, — сказал он сам себе, — мучение начинается. Держись, брат!»

На минуту ему показалось, что лучше войти в сарай и спрятаться в самом темном углу — он не хотел показываться людям при ярком свете в таком виде. «Только сатана, — прошептал он, — только сатана может быть таким безобразным!» Его губы распухли, и он почти не мог говорить.

Яннакос поднимался в гору и тихо напевал… Старик Христофис очень развеселил его; еще он радовался тому, что увидит Манольоса и помирится с ним. Ссора тяготила его душу — он хотел успокоиться…

Манольос стоял, ярко освещенный полуденным солнцем, сердце его громко стучало. Ему вспомнились губы Христа, сжатые как бы от сильной боли — и он тоже со всей силой сжимал свои губы. «Привыкну, — подумал он, — вначале это трудно, но понемногу привыкну… Помоги мне, господи!»

Тихая песня Яннакоса звучала все ближе и ближе. И вдруг послышался радостный, торжественный призыв дудки. Яннакос остановился на скале и трубил, чтобы известить дорогого друга о своем приходе.

«Сейчас он покажется, — подумал Манольос, — сейчас он меня увидит! Держись, сердце!»

— Эй, Манольос, Манольос, — послышался радостный голос, — выходи!

— Здесь я! — ответил Манольос как можно более громким голосом — и вышел.

Поднял Яннакос глаза, распростер руки, но, увидев друга, остановился, раскрыв рот от неожиданности. Не веря своим глазам, протер их. Потом подошел поближе, пригляделся и закричал:

— Манольос, Манольос, что с тобой?

Ему захотелось заключить друга в объятия, но он испугался и отошел в сторону.

— Яннакос, — тихо промолвил Манольос, — если не можешь выдержать, возвращайся обратно.

Сказал и направился в кошару, чтобы Яннакос не видел его лица.

Привязав ослика к каменному дубу, Яннакос медленно пошел к кошаре. Манольос услышал его приближающиеся шаги.

— Яннакос, — повторил он снова, не поворачивая головы, — если не можешь вытерпеть, уходи обратно.

— Могу, могу… — ответил Яннакос, — могу, не уходи!

Манольос перешагнул порог сарая, закрыл окошко и забился в темный угол. «Я выдержал, — подумал он, — слава тебе, господи!» Яннакос задержался на пороге. Снял шапку, вытер пот. Некоторое время молчал.

— Что с тобой случилось, Манольос? — спросил он наконец, опустив глаза.

— Ничего, — ответил Манольос.

— Как ничего? — крикнул Яннакос. — Дьявол прилип к твоему лицу, Манольос, дьявол! Это не ты!

— Это я, — тихо ответил Манольос. — Никогда я не был таким настоящим.

Помолчал.

— Никогда! Никогда! — повторил он, вытирая платком лицо, с которого сочился гной.

— Дьявол, говорю, прилип к тебе! — снова крикнул Яннакос, борясь со своим страхом. — Я смотрю на тебя и боюсь… Вставай, садись на моего ослика, поедем в село.

— Что мне делать в селе? Мне и тут хорошо.

— Пойдешь к попу Григорису, он над тобой прочтет тайные молитвы и изгонит дьявола!

— Одна просьба у меня к тебе, Яннакос: никому ничего не говори.

— Я об этом скажу только попу, Манольос. А если тебе стыдно пойти в село, я попрошу его прийти сюда, пусть тут прочтет молитвы.

— Нет, нет! — испуганно закричал Манольос и вскочил. — Пусть останется эта болезнь на моем лице, Яннакос, я должен хворать…

— Я не понимаю, — крикнул Яннакос и привстал. — Почему ты должен?

— Чтобы спасти себя, Яннакос; иначе мне спасения нет… Ты так не смотри на меня, я не могу тебе объяснить.

— Это тайна?

— Только бог знает, — ответил Манольос, успокоившись, и снова уселся в углу. — Только бог и я; так надо.

— А если это дьявол? — грустно сказал Яннакос.

— Это дьявол, Яннакос, правильно ты говоришь. Дьявол во мне сидит; слава тебе, господи, иначе я пропал бы…

— Не понимаю, не понимаю! — снова крикнул Яннакос в отчаянии.

— И я не понимал, Яннакос, вначале… Но потом понял. Я был в отчаянье, теперь успокоился. И не только успокоился. Я воздеваю руки и славлю бога.

— Ты святой… — прошептал Яннакос, и внезапно его охватило чувство благоговения.

— Грешник я, большой грешник, — протестовал Манольос, — но бог милостив.

Они замолкли. Вдалеке звенели колокольчики стада, слышался лай собак. Солнце садилось, в сарай вползли голубые тени. Ослик, заскучавший без своего товарища, заревел негромко, просительно, призывно.

— А есть ты можешь? — тихо спросил Яннакос.

— Молоко пью через соломинку.

— У тебя ничего не болит?

— Ничего, ничего... Иди с богом, Яннакос, хватит! И дай мне слово, что никому ничего не скажешь... Я должен — слышишь, дорогой Яннакос? — должен здесь бороться совсем один.

— С дьяволом?

— С дьяволом.

— А если он тебя одолеет?

— Не одолеет, не бойся! Со мной бог.

— Ты святой... — снова прошептал Яннакос. — Тебе не нужна ничья помощь... Будь здоров, но знай, что я снова приду навестить тебя.

— Если ты можешь выдержать, Яннакос...

— Могу, могу... До свиданья!

На миг пришла ему в голову странная мысль: схватить руку Манольоса и поцеловать ее, но он удержался. Перешагнул порог, отвязал ослика, который радостно замахал хвостом, и, не оборачиваясь, направился вниз.

— Странная вещь этот мир, — бормотал он, спускаясь с горы, — очень странная вещь!.. Не можешь отличить бога от дьявола... Очень часто — прости меня, господи! — у них одно и то же лицо!

На следующий день, еще до рассвета, Манольос толкнул ногой Никольоса, сладко спавшего на дворе.

— Никольос, вставай! У меня просьба к тебе!

Испуганный пастушонок приподнял голову, открыл глаза, и белки их засверкали в утреннем полумраке.

— Чего ты хочешь? — рявкнул он, зевая.

— Проснись, вставай и умойся, потом я тебе скажу... Вставай, будь добр!

Подпасок поднялся, недовольно что-то бормоча, потянулся, так что обнажился его бронзовый живот. Его руки, грудь, ноги были покрыты черными блестящими волосами. От него пахло тимьяном и козлом.

— Перекрестись, — сказал ему Манольос. — Ты никогда не крестишься, Никольос, а сегодня нужно.

— Да брось, хозяин... — пробормотал Никольос.

Он снова потянулся так, что затрещали суставы. На горе, где он рос вместе с баранами, у него действительно никогда не появлялось желания перекреститься — не в церкви же он! К чему все это Никольосу? Ему хотелось быть здоровым, жениться, когда время придет, наплодить детей, владеть овцами и стареть, оставаясь крепким, сильным, как каменный дуб... Кресты и богоматери — все это для жителей полей.

Манольос сел на пороге и ждал, пока Никольос окончательно проснется и умоется. Сам он всю ночь не сомкнул глаз, в нем бог боролся с дьяволом. Под утро победил бог; тогда Манольос встал и толкнул Никольоса ногой.

— Ну вот! — сказал Никольос, руками приводя в порядок свои всклокоченные волосы, — я проснулся. Теперь скажи, чего тебе от меня надо?

— Никольос, — сказал Манольос тихо, — слушай меня внимательно. Не смотри на меня, если тебе страшно, смотри в другую сторону, но слушай внимательно, что я тебе скажу.

— Я слушаю, — сказал Никольос и отвернулся, чтоб не видеть своего старшего товарища.

— Ты спустишься в село и пойдешь в дом нашего уважаемого хозяина. Уже светает, калитка, наверно, открыта, и ты войдешь во двор. Во дворе пойдешь направо, в подвал, где находится ткацкий станок. Там ты встретишь мою невесту, Леньо.

— Леньо? — спросил Никольос и внезапно повернулся.

Его глаза заблестели.

— Ты встретишь Леньо и передашь ей… Слушай внимательно мои слова, Никольос, и запомни все хорошенько: «Привет от Манольоса; приходи, скажи ей, на гору; он хочет поговорить с тобой». Больше ничего. Передай это и сразу уходи… Понял?

— Понял, это пустяковое дело! Я пошел.

И уже шагнул, чтобы отправиться в село.

— Подожди, дикарь! — сказал ему Манольос и схватил его за руку. — Если тебя спросят, каковы мои дела, скажи ей: хороши! Только не говори ей, что я болен, — будь осторожен!

— Не беспокойся, хозяин, не беспокойся! Я ей скажу: хороши его дела! И сразу побегу.

— Ступай!

Никольос исчез.

Проснувшись, Леньо сварила мяту, прибавила туда немного рома и пошла отнести питье хозяину, старику Патриархеасу. Кругленькая, непричесанная, босая, поднималась она по каменной лестнице, напевая про себя, как щегол.

Старик архонт сидел на толстом матраце, смотрел в окно на крыши чужих домов, и мысли его все время вертелись около односельчан — он стучал в двери, входил, говорил им приветливые слова и отправлялся дальше. Потом поднимался на гору, проходил мимо чьих-то отар, приближался к Манольосу, и тогда закипал в нем гнев. «Представить только, чтоб этот проклятый работник поднял голову! Его душа, говорит… его душа еще не готова… Ах, негодяй, да если ты не женишься до конца апреля на Леньо, я выброшу тебя вон из моего дома! Отправляйся опять в свой монастырь, сиди там, как кастрат! Пропади ты пропадом, неблагодарный! Кто свел с ума моего сына? Он! Жалеет бедных, — люди, говорит, они, тоже люди, наши братья! Все это хорошо и свято, все это можно слушать в церкви, когда поп проповедует с амвона; но возвращаться домой, петушиная его голова, и претворять это в жизнь… да ведь нужно быть сумасшедшим!»

Дверь открылась, и вошла Леньо с мятой. Мысли старика Патриархеаса сразу отвлеклись от сына, и он стал думать об этом юном, игривом существе. Девушка, сладко потягиваясь, подавала ему мяту. Прищурив глаза, старик с удовлетворением и гордостью рассматривал ее едва прикрытую грудь, крепкие ноги, округлые колени… «Что мне с тобой делать, паршивка, — подумал он, — ведь как-никак ты моя дочь… Вот такой была и твоя мать в молодости — прости ее, господи! И однажды ночью…»

Архонт вздохнул.

— Как ты себя чувствуешь сегодня, хозяин? — спросила Леньо воркующим голосом. — Почему ты вздыхаешь?

— Да могу ли я не вздыхать, Леньо? Сын мой ненаглядный и Манольос, — они же меня угробят… Говорят, позавчера ты ходила к нему на гору, что же тебе сказал этот негодяй?

— Что он мог мне сказать, хозяин! — ответила Леньо, вздыхая, и присела на край кровати, у ног старика. — Словно какая-то русалка околдовала его… Говорил он, запинался, слов не мог найти… И вместо того, чтоб смотреть на меня как мужчина, то опускал глаза, то поднимал их к небу и вертел головой… Что тебе сказать, хозяин? Не можешь ли ты к нему сходить с попом Григорисом, прочесть какую-нибудь молитву? Не смейся, хозяин, Манольос болен!

Старый паралитик посмотрел на Леньо, которая покачивалась и краснела, и вздохнул.

— А ты его любишь? — спросил он и, громко прихлебывая, начал пить мятный настой.

— Как тебе сказать, хозяин? Ты мне его дал, я его и беру; если бы ты меня выдавал за другого, пошла бы и за другого. Все мужчины кажутся мне одинаковыми.

— И старики, Леньо? — спросил старик хозяин, и глаза его загорелись.

— Ну нет! — ответила резко и сердито девушка. — Только молодые.

— Примерно какого возраста? — настаивал старик.

— Пока они могут плодить детей, — без запинки ответила Леньо, словно все эти вопросы она давно уже разобрала по косточкам и теперь ей все было совершенно ясно.

— Да ты просто умница, Леньо! Вспомни мои слова, ты пойдешь далеко; ты знаешь, что тебе нужно.

Девушка засмеялась, встала, взяла пустой стакан и направилась к двери.

— У нас апрель месяц. А какое число сегодня? — спросил старик.

Леньо посчитала на пальцах: воскресенье, понедельник, вторник…

— Двадцать седьмое, — ответила она.

— Ну, хорошо! Три дня еще подождем, пока соизволит его величество Манольос дать нам ответ. Если он настолько с ума сошел, что откажется от такого лакомого куска, то не беспокойся, Леньо, я тебе найду мужа получше, настоящего, без души и всякой там чепухи — он наполнит твой двор детьми. Иди с богом. Думаю я сегодня встать, пойду в церковь, прогуляюсь немного по селу… Дай-ка мне одеться.

— Ну и старый паралитик, — бормотала Леньо, спускаясь по лестнице и посмеиваясь, будто ее щекотали. — Да он просто пожирал меня глазами… Ей-богу, не будь он моим отцом, я бы заставила этого скрягу повенчаться со мной, хотя он уже и не может плодить детей; невелика беда, смогут другие. Но дьявол все перевернул вверх ногами. Пусть так, но Манольос хороший!

В эту минуту калитка отворилась, и вошел Никольос. Он сильно раскраснелся, от его тела шел пар, и двор сразу наполнился козлиным запахом: лоснящийся, черный, он действительно был похож на козла, но одновременно напоминал и юного архангела. Увидела его Леньо и остановилась в испуге.

«Кто это? — прошептала она. — Если это пастушонок Никольос, то как он повзрослел, возмужал и как от него пахнет! У него и усы показались».

— Чего тебе надо? — крикнула она. — Ты — Никольос?

— Я Никольос! — ответил пастушонок ломающимся, как у молодого петуха, голосом.

— Да ведь ты стал настоящим мужчиной! Чего же ты хочешь?

— Манольос меня послал спозаранку — передать тебе кое-что; вот я и пришел.

— Манольос? — спросила Леньо, и ее сердце забилось.

Подошла к Никольосу.

— Не ори, — сказала она, — ты не на горе, говори потише. Так что он велел передать мне?

— Передай ей привет, наказывал он, и пусть навестит меня на горе. Он хочет с тобой поговорить.

— И это все? Хорошо, приду, передай ему… Постой, не уходи! А как его дела, Никольос?

— Хорошо, все хорошо! — крикнул Никольос и побежал к выходу, оставляя за собой острый козлиный запах.

Во дворе показался Михелис. Одетый по-господски в свой воскресный костюм, гладко выбритый, тщательно причесанный, он приготовился идти в церковь — послушать евангелие и повидать Марьори. Он стоял посреди двора, как орел. Леньо остановилась на минутку, полюбовалась им. «Вот таков, наверно, был и мой отец в молодости, — подумала она. — Вылитый святой Георгий!»

— Доброе утро, Леньо, — сказал Михелис, надев на голову шапку, которую держал на руках. — Я иду в церковь.

— В час добрый! — ответила Леньо насмешливо. — Иди прямо в церковь, сударь, и не сбейся с дороги.

— Ты зато не собьешься с дороги! Ты прямо к Манольосу побежишь, как мне кажется… — сказал Михелис, который заметил удалявшегося вестника. — Ты ведь тоже пойдешь на свидание, так что не жалуйся!

— Я и не жалуюсь. Кто тебе сказал, что я жалуюсь? — ответила Леньо сердито. — Мы тоже люди, хоть и слуги, а бог не оставляет нас безутешными. И если бы Манольос одевался так, как ты, сударь, он тоже стал бы архонтом.

— Ты права, Леньо, — ответил Михелис, выходя со двора, — ты права; только одежда нас и разделяет.

В эту минуту послышался колокольный звон.

— Я иду, Леньо, — сказал он. — Хорошие новости принеси нам с горы!

— А твоя милость от поповой дочери! — крикнула ему вслед Леньо, которая за словом в карман не лезла.

В церкви пахло свечами и ладаном; на иконостасе четко выделялись большие, написанные маслом иконы; стены от пола, вымощенного камнями, и до самого купола были покрыты изображениями святых и ангелов с пестрыми крыльями. Входил в эту древнюю византийскую церковь человек, и ему казалось, что он попадал в рай, где обитают фантастические птицы и высокие, в рост человека, цветы, а ангелы, как огромные пчелы, собирают мед, летая от цветка к цветку. Наверху, в центре купола, парил над головами людей суровый и грозный вседержитель.

Люди внизу гудели и тоже, подобно пчелам, бегали от иконы к иконе, молились, а затем молча застывали, слушая церковное пение. Впереди стояли мужчины, сзади — женщины. Около стола с подносами и свечками расположились старосты. Никто не знал, придет ли сегодня старик Патриархеас. Капитан Фуртунас прийти не сможет — всем было известно, что он мечется и стонет на своем ложе. Учитель пришел в церковь в очках и в белом воротничке; рядом с ним стоял старик Ладас, губы которого, казалось, источали все девять видов яда. Вчера вечером Яннакос принес ему плохие новости — оказывается, эти оборванцы три месяца бродили по дорогам и распродали все свои кольца, у них не осталось ничего, кроме пальцев. А зачем деду Ладасу нужны их пальцы? На что ему нужны уши без сережек? И он проклинал свою судьбу. «Несчастный я человек, — бормотал он, стоя у стола. — Ведь если бы разрушенное село находилось неподалеку от Ликовр,иси, тогда можно было бы успеть… А теперь что я выиграл от их разрушенного села? Ни шиша!»

Христиане входили в церковь, бросали деньги на поднос, брали свечки, крестились и проходили вперед, к иконам. Но мысли старика Ладаса были далеки от благочестивых дел… «Хорошо, что болван Яннакос подписал долговой вексель на три золотые монеты. Я бы на его месте…»

Не успел он закончить свои рассуждения, как кто-то огромный и тяжелый подошел и плюхнулся рядом с такой силой, что церковная скамья затрещала. Он повернулся раздраженно и увидел старика Патриархеаса — бледного, с отвислыми щеками, с мутными глазами, с желтыми пересохшими губами. «А все-таки еще не умирает архонтская свинья…» — подумал Ладас и поздоровался.

— Скорейшего выздоровления, архонт, — сказал он хмуро и погрузился опять в свои невеселые думы.

Показался Михелис, и церковь как будто озарилась. Он опоздал, потому что заходил к Марьори, ожидавшей его; она хотела поговорить с ним. В доме была только глухая старая нянька, преданная девушке.

— Запоздал ты… — сказала Марьори, стоявшая за дверью в ожидании.

Она тоже нарядилась, чтобы идти в церковь: надела свое лучшее платье, на шею нацепила красивое золотое ожерелье, доставшееся от матери, покрыла бледные щеки тонким слоем румян, которые ей принес тайком прошлой ночью Яннакос. Но глаза, окаймленные темными кругами, были красны, как будто она плакала. Она держала в руке платочек и время от времени прикладывала его к губам.

— Зачем ты меня позвала? — спросил Михелис с беспокойством. — Почему ты такая измученная, моя Марьори?

— Отец торопится, хочет, чтобы мы повенчались.

— Разве мы не договорились, моя Марьори? Не прошло и года с тех пор, как мать умерла, нельзя…

— Торопится… — повторила девушка вполголоса. — Каждый день ворчит, встает ночью, ходит взад и вперед, не спится ему.

— Но почему? Что с ним случилось, почему он так торопится?

— Не знаю, мой Михелис, не знаю… — пробормотала Марьори, и голос у нее задрожал.

Она прекрасно знала, почему торопился старик, но не могла признаться. Она чувствовала, что болезнь разъедает ее легкие, и понимала, что старик прав, следовало торопиться.

— Отец не любил моей матери, — сказал Михелис. — Была она старше его, рано постарела, ворчала на него… И она ему надоела, ему совсем не было ее жалко, когда она умерла; но теперь отцу неудобно нарушать обычай, ведь не прошло еще года, а он первый архонт села и должен подавать пример… Ты поняла, Марьори?

— Поняла я, поняла… Но мой отец торопится, говорю тебе, и кричит на меня… Я не могу больше!

Ей захотелось кашлянуть, но она удержалась; приложила платочек ко рту. В ладонях Михелиса дрожала ее худенькая влажная рука.

Михелис посмотрел на нее и вздрогнул. Она действительно будто истаяла; под прозрачной кожей, покрытой пушком, просвечивали кости; можно было ясно увидеть очертания черепа.

— Марьори моя… — прошептал он и прижал ее руки к своей груди, — Марьори моя…

Словно она уходила от него, и он старался ее удержать, словно она была горстью песка и ускользала.

— Михелис мой, — промолвила девушка, стараясь сдержать слезы, — Михелис мой, уходи! Отправляйся в церковь; приду и я скоро… Запоздали мы, иди, и пусть нам господь бог поможет!

Обняла его голову, прижала к своей груди и долго-долго держала так, дрожа как в лихорадке.

— Пусть господь бог нам поможет! — прошептала она снова, быстро вернулась в дом и почти без чувств упала на руки старухи няньки.

Михелис осторожно приоткрыл калитку и торопливо направился в церковь; его сердце сжалось, и к горлу подкатился комок.

В церкви будто посветлело, когда он вошел. Он остановился рядом со скамьей, где сидел его отец. Повернувшись, старик с гордостью посмотрел на него. «Вот таким и я был, — подумал он, — таким и я был когда-то… Подлая жизнь, проходишь ты, как сказка!»

Тем временем Леньо причесалась, надушила одеколоном волосы и грудь, накинула на себя желтый платок с красной бахромой, подаренный хозяином на пасху, и пошла улицей, выводившей к той тропинке, что вела к горе Богоматери.

Обедня уже закончилась. Празднично настроенные, одетые в воскресные костюмы, односельчане разбрелись по площади и прогуливались взад и вперед, а в кофеине Костандиса кое-кто уже выпивал и развлекался.

И ага сидел снова на своем балконе, курил наргиле, и справа опять стоял сеиз с трубой, а слева Юсуфчик жевал мастику и угощал своего хозяина раки. Щуря посоловевшие глаза, старик ага поглядывал вниз на площадь, заполненную сельскими жителями: так смотрит с высоты пастух на свое стадо, — снисходительно и ласково. Знал ага, что он — человек, а остальные — овцы; что он ест мясо, а другие —

траву. И разрешал им ага мирно пастись: пусть дают ему шерсть — одеться, и мясо — поесть.

Леньо поднималась в гору, и сердце ее пело; догадывалась она, для чего звал ее Манольос, — чтобы на этой неделе состоялась их свадьба, чтобы утолила она свою страсть и началась настоящая жизнь — днем с домашними хлопотами и приготовлением обеда, ночью — в объятиях Манольоса, а через девять месяцев — баюшки-баю… Тогда уж не будет она служанкой — станет женой и матерью…

Очень ей нравился Манольос: тихий, работящий, красивый, с белокурой бородой, с голубыми глазами, с нежным лицом, — он и впрямь походил на Христа. Летела ее душа, поднималась быстрее, чем сама она в гору, подходила к кошаре, носилась вокруг нее, садилась на плечи Манольоса, как прирученная куропатка — пестрая, толстенькая, с красными лапками, — и нежно щипала ему шею…

«Он, наверно, сейчас сидит на скале, где кончается тропинка, и ждет. Наверно, и его душа летит, как моя», — думала она.

И правда, Манольос сидел на скале и все время вытирал свое опухшее лицо, которое потрескалось еще больше и сочилось гноем.

«Жаль мне ее, бедняжку, жаль, — думал он, — но нужно… Я должен избавиться от всех искушений, чтоб очистилась моя душа, чтобы очистилась моя плоть и стал я достойным…»

Он прислушался, узнал ее быструю и мягкую походку, уловил в воздухе запах одеколона, и его ноздри затрепетали: он хорошо знал, что это запах Леньо.

«Идет, идет, — подумал он, — идет, вот она!»

Показался желтый платок, на минутку Леньо остановилась, приложила руку ко лбу — она узнала на скале своего жениха, который сидел, опустив голову, поджидая ее, и замедлила шаг.

— Вот она! — повторил снова Манольос, поднял голову, вскочил на ноги и застыл на месте.

Леньо нагнулась, притворяясь, что не заметила его, — для того, чтобы он с разбегу кинулся к ней и схватил за талию, словно помогая подняться… Так он обычно делал… Но сегодня Манольос стоял неподвижно.

— Манольос! — крикнула она ему, не в силах более сдерживаться.

Но Манольос не ответил и продолжал стоять на скале безмолвно и неподвижно.

Леньо подбежала, взглянула на него и закричала:

— Матерь божья!

И рухнула на землю.

Манольос наклонился и поднял ее, но она одной рукой закрывала свое лицо, чтоб не видеть его, а другой отталкивала, не разрешая дотронуться до себя.

— Уходи… Уходи! — кричала она пронзительным голосом. — Уходи!

— Ты посмотри на меня еще раз, Леньо, — говорил тихо Манольос, — посмотри на меня, чтоб тебе противно стало и могли мы избавиться…

— Нет, нет! — визжала несчастная девушка. — Уходи!

Манольос вернулся назад и сел на скале. Несколько минут оба молчали. Наконец Леньо промолвила:

— Что с тобой случилось? Ради бога, скажи, что с тобой случилось?

— Проказа… — спокойно ответил Манольос.

Леньо вздрогнула и отвернулась лицом к селу.

— Я уйду, — сказал она. — Ты поэтому меня позвал?

— Да, поэтому, — спокойно ответил Манольос. — Можешь ли ты теперь выйти за меня замуж? Не можешь. Можешь ли ты рожать от меня больных детей? Не можешь. Уходи!

Снова оба замолчали; потом послышался безудержный, безутешный плач девушки.

— До свиданья, Леньо! — сказал Манольос и повернулся, направляясь к кошаре.

Леньо не ответила. Вытерла желтым платком глаза, посмотрела кругом. Она не знала, что теперь будет, куда ей теперь идти. Манольос уже скрылся из глаз, и мир показался ей пустынным.

Солнце стояло в зените. Слышался лишь звон колокольчиков — это овцы брели отдохнуть под тенью огромного раскидистого дуба. Где-то заиграла свирель: ее печальный голос раздался в тишине, но тут же замолк.

«Проказа… проказа…» — повторяла про себя Леньо, и ее всю трясло. В полуденную жару она дрожала от холода.

Она не помнила, сколько времени пролежала на камнях… Ей казалось, что прошли тысячелетия, но прошло, наверно, всего несколько минут, потому что, когда она встала, чтоб уйти, солнце все еще неподвижно висело посредине неба.

Снова заиграла свирель, и ее то печальная, то радостная, призывная музыка звучала как песня одинокой души, которая больше не может вынести своего одиночества и то плачет, то смеется.

Ни о чем не думая, ничего не желая, Леньо направилась на зов этой далекой свирели. Шла печально и словно слышала в этом зове свое имя. Она была так одинока среди этих камней, под солнечными лучами… так одинока, что не могла больше выдержать этого одиночества! Она шла, звуки свирели становились все сильнее и все настойчивее влекли ее к себе… Леньо уже не могла сопротивляться им и шла.

И внезапно, на горной поляне, под тенью мощного, густолиственного каменного дуба, она увидела овец, которые, опустив головы, отдыхали в прохладной тени. И еще увидела она, как две овцы боролись друг с другом, а рядом с ними прыгал и плясал полуголый пастушонок. Он играл на длинной свирели, прижимая ее к губам…

Время от времени он отнимал свирель ото рта, издавал какие-то дикие выкрики, хлопал в ладоши и снова принимался еще настойчивее играть…

Леньо теперь стояла за спиной пастушонка затаив дыхание. У нее защемило в груди.

Никольос вдруг отбросил в сторону свирель, снял с себя оставшуюся одежду и, совсем голый, весь в поту, начал плясать…

Вены на шее Леньо вздулись, в глазах помутилось. В эту минуту Никольос, танцуя, повернулся, увидел девушку и набросился на нее…

Леньо не сопротивлялась.

ГЛАВА VI

— Дорогой ага, наш бедный капитан Фуртунас плохо себя чувствует! Кости на голове не хотят срастаться. Чего только мы ему не делали! Каких только лекарств, каких только эликсиров не давали ему! Приходил и поп Григорис, читал над ним молитвы, и цыганка к нему приходила, гадала на картах. Святому Пантелеймону-исцелителю мы поставили большую свечу. Дали мы ему, и он съел то, что нельзя назвать, — отняли у кота и мух. Хоть и говорят, что семь душ у нас, но ничто не спасет от смерти! Ни бог, ни дьявол не хотят, чтобы поправился умирающий капитан.

Эти горькие слова вырвались из уст тетушки Мандаленьи, и она тут же прикусила себе язык.

— Ухо хитреца — глухое, — пробормотала она и начала опять болтать. — Сегодня он позвал к себе Михелиса, сына архонта Патриархеаса, чтобы тот пришел и капитан смог бы продиктовать ему свое завещание. А сейчас я иду, ага, позвать попа Григориса, чтобы причастил несчастного. Поднял якорь наш капитан и собирается отплыть. Только что он меня подозвал и сказал: «Сделай мне одолжение, тетка Мандаленья. Ступай к аге и скажи ему: большой привет от капитана Фуртунаса Спаномарии. Поднял паруса он, уходит, до свидания!» И пришла я к тебе, дорогой ага, я, Мандаленья.

Ага, сонный, с опухшими глазами, с обвисшими щеками, босой, непричесанный, неумытый, сидел на диване и пил кофе, стараясь стряхнуть с себя сон. Слушал он тетушку Мандаленью с таким видом, будто прислушивался к шуму дождя. Когда та остановилась, ага печально пошевелил губами.

— А его разум как? — спросил он и зевнул:

— Хорошо работает, ага, как часы.

Ага снова замолчал. Ему лень было пошевелиться, и он снова зевнул.

— Боится? — спросил он, не переставая зевать.

— Ни чуточки, благословенный ага, ни чуточки! Говоришь ему о боге, смеется, говоришь ему о черте, опять смеется. Прости меня, господи, но ему наплевать и на того и на другого.

— Пьет?

Пьет, но немного…

— Хорошо! Когда я совсем проснусь, скажи ему — зайду попрощаться с ним. Приведу с собой и сеиза, — так и скажи, — чтоб потрубил на трубе; приведу и своего Юсуфчика, — так и передай, — и споет малыш ему амане, которое он любит, знаю я. Вот я выпью кофе, потом раки, выкурю трубку, затем придет Юсуфчик, потрет мне ноги, и я совсем проснусь… Тогда и приду… И еще слушай: пусть не спешит, скажи ему, пусть не умирает до моего прихода! Пусть меня дождется. Теперь иди!

Желтый, исхудалый, с высохшей кожей, обтягивающей кости, с головой, туго обвязанной широким красным лоскутом, пропитанным кровью, капитан лежал на боку, спиной к стене, — спокойный и бесстрашный. Его маленькие глаза блестели, подвижные, живые, как у той обезьяны, которую он видел однажды в Одессе.

Рядом с ним, на маленьком столике, лежала трубка и стояли стакан раки и гипсовая статуэтка, купленная им в былые времена в одном из далеких портов и изображавшая королеву Англии Викторию. «Представительная женщина, — решил он, — хорошо откормленная, с пышной грудью, мне она нравится…» — и купил ее. С тех пор никогда не расставался с ней. «Это моя жена, — любил повторять он, заливаясь громким хохотом, — и ничего, что у нее усы гуще, чем у меня!»

Капитан медленно обводит взглядом свое жилище — грязные стены, столбы, покрытые паутиной, пустые полки, длинный сундук, наполненный тряпками, старой обувью и инструментом, кувшин с водой на подносе, большую стеклянную бутыль раки в углу. Он задерживает свой взгляд на каждой из этих вещей и прощается с ними… На одну старую фотографию, что висела на стене напротив, он посмотрел растерянно. Это была большая фотография его затонувшего корабля — с распущенными парусами, с греческим знаменем на корме, с обнаженной сиреною на носу. И он, тридцатилетний капитан, стоял за рулем.

Мысленно он перенесся на свое судно: пароход отделился от засиженной мухами фотографии и вышел в открытое море. Но все словно окуталось густым туманом, и капитан Фуртунас смутно различал острова, морские берега, на пристанях — турок в красных фесках, женщин с обнаженной, как у сирен, грудью, портовые таверны, полные табачного дыма и чада от жареной камсы и печенки.

Все покрылось дымкой: и те радости, которые он некогда испытал, и бедствия, и раны, полученные им на войне 1897 года, в которой он добровольно принял участие со своим пароходом, перевозя боеприпасы и продовольствие в Грецию… Однажды, охваченный страстью, он чуть не сошел с ума от одной турчанки, но теперь даже не помнил, где это было, не помнил, как ее звали… В Константинополе или в Измире, в Айвали или в Александрии? Гульсум ли ее звали, или Фатиме, или Этине? — не помнит. Все окутал густой туман, и все исчезло, растаяло, как легкий иней… Из всей его жизни только один эпизод, словно озаренный лучами солнца, отчетливо вырисовывался в этом густом тумане: однажды в Батуме, в апреле, в день святого Георгия, он пошел со своими тремя друзьями в какой-то сад, где рос арабский камыш с большими красными цветами. Повязав головы белыми с бахромой полотенцами, они сели на прохладной гальке и начали есть, пить и негромко петь. Сияло солнце, пахло морем, и не было с ними ни одной женщины. Только друзья — все молодцы, одни белокурые, другие черноволосые. Одного из них звали Георгиосом, и он праздновал свои именины. И вот пока они ели, пили и тихонько пели, заморосил теплый, мелкий дождь, зашумели капли по большим листьям и покрылась брызгами белая галька в саду. И земля запахла так же, как море, и пришло трое армян с бузуки, зурной и бубном; они уселись под цветущим камышом и начали петь амане…

О, какая же это была радость, какая сладость! Жизнь трепетала в ладонях человека, как теплая влюбленная юная пташка…

Мучительно силился вспомнить еще что-нибудь капитан Фуртунас, но ничего больше не приходило ему в голову. Ничего! Вся его жизнь превратилась в дым и рассеялась; и только это путешествие и этот летний дождь в Батуме стояли как живые в его памяти.

— Неужели это все? — прошептал он. — Неужели только это и было в моей жизни? Мелкий дождь, три друга, арабский, камыш… И ничего больше я не запомнил! Я, который думал, что объехал весь свет!

Протянул он руку к столу, чтобы достать стакан с водкой, но в эту минуту открылась дверь и вошел ага: был он одет в парадную форму, в красные шаровары и гетры, за поясом торчали серебряные пистолеты. Он выкрасил усы черной краской и повесил через плечо красный платок, словно отправлялся на свадьбу. За ним шел Юсуфчик, беленький, пухлый, как хлеб, полусонный, как всегда что-то жующий, а позади них — страшный, угрюмый сеиз с трубой.

— Счастливого плавания, попутного ветра твоим парусам, капитан Фуртунас! — весело крикнул ага. — Сел на пароход и, говорят, уходишь?

— Распустил все паруса, ага! Подул попутный ветер, прощай!

— Куда же ты идешь, Спапомария? — спросил ага, улыбаясь, и присел на длинном сундуке. — Как же ты оставляешь этот мир? Подожди еще немного! Позавчера мне привезли раки, чистый спирт из черной шелковицы. А какой у нее запах! Подожди, сперва ее выпьем, потом уйдешь.

— Прощай, ага, все-таки я ухожу. Поднял я уже якорь, стал за руль и отплываю. Раки пей один.

— А куда же ты идешь? Ты знаешь, куда идешь?

— Будь я проклят, если знаю! Иду куда глаза глядят.

— А что же говорит ваша религия, грек?

— О-о-о! — сказал капитан, махнув рукой. — Если поверить моей религии, то я иду прямо к дьяволу!

Ага усмехнулся.

— А если говорить о моей религии, — сказал ага, — то я прямо в рай попаду. Вдоволь там плова, и женщин, и Юсуфчиков! Но неужели, капитан, обе религии нас обманывают? Жизнь — не прав ли я, мой Юсуфчик? — жизнь — это сон, а счастье — это раки. Пьем и забываемся. Крутимся мы как белки в колесе, и ты изображаешь грека, а я турецкого агу… Нет, лучше не будем в этом копаться, Спаномария, — по правде говоря, мне лень!

Ага повернулся к пухлому мальчугану.

— Встань, мой Юсуфчик, я заметил большую стеклянную бутыль там, в углу. Встань и угости нас!

Вошла старуха Мандаленья, нагнулась к уху капитана.

— Сейчас, капитан, придет поп со святыми дарами, причастит тебя — не пей раки.

— Какой там поп, ведьма? Замолчи! Достань посуду и угости нас!

Старуха что-то бормотала, руки ее дрожали, но все-таки она наполнила стаканы. Ага встал, подошел к постели и чокнулся с капитаном.

— Счастливого плавания, Спаномария!

— И за твое плавание, ага!

Оба добродушно засмеялись.

— Если бы наш Мохаммед, — сказал ага, вытирая усы, — если бы наш Мохаммед и ваш Христос пили раки и чокались, как мы с тобой, капитан, то они стали бы добрыми друзьями: не старались бы выколоть глаза друг другу... Но не пили они и ввергли мир в кровопролитие!.. Вот стали же мы друзьями, капитан? Мы ведь хорошо жили? Разве плохо мы прожили?

— Поп идет причастить меня, ага, — сказал капитан, у которого голова начала кружиться, а глаза уже закрывались. — Прощай!

— Постой, куда ж ты! Я тебе привел Юсуфчика, чтобы он спел перед твоим отплытием твое любимое амане. Без того не уходи... Эй, Юсуфчик, спой нам амане, будь добр!

Юсуфчик вынул изо рта мастику, приклеил ее к колену и с чувством приложил правую ладонь к щеке. Раскрыл уже было рот, чтобы спеть амане, но ага поднял руку.

— Постой, Юсуфчик! Пусть сперва сеиз протрубит.

Повернулся к сеизу.

— Открой дверь, — приказал он, — стань у порога и протруби как можно громче!

Сеиз открыл дверь, поднял трубу и затрубил, как трубач к наступлению.

— Хватит! — крикнул ага. — Теперь, мой Юсуфчик, спой наше амане!

Раздался чистый, страстный голос. Капитан слушал, и песня отзывалась в его груди сладостной болью. «Дунья табир, руйя табир...» Жизнь и сон — одно и то же, увы, увы! Никогда прежде капитан не чувствовал, что настоящая жизнь и сон одно и то же... Значит, до сих пор он спал и ему снилось, что он — тот самый капитан, который появлялся в гаванях Белого и Черного морей, участвовал в войне 1897 года, был греком и христианином, а сейчас умирает... Нет, не умирает... Он проснулся, сон кончился, наступает рассвет.

Он тихо протянул руку.

— Спасибо, ага, только ты понял мои страдания! До свидания, Юсуфчик! Пусть никогда не растает твой ротик, пусть станет он рубином на земле!

Ага расчувствовался и вытер глаза.

— Иди же, капитан, и если я тебя называл когда-нибудь Спаномарией, то это только из любви к тебе! Извини меня и — в добрый путь!

Он нагнулся и поцеловал капитана; их глаза наполнились слезами.

— Да и я тоже не знал, что так любил тебя, дорогой ага, — тихо сказал умирающий. — Прощай!

Так они расстались. На обратном пути ага повернулся к сеизу.

— Протруби еще раз погромче, пусть услышит капитан и утешится... Пусть услышит село, и пусть все соберутся похоронить его! Падает один из столпов села! И поторопимся, ребята, — добавил ага, видя, что небо покрылось прозрачными летними облаками и на землю упали первые капли дождя, — я в парадной форме.

И все трое почти побежали.

Михелис шел им навстречу, держа в руках бумагу и чернильницу.

— Как дела капитана, ага?

— Хорошо, он спокоен, он чувствует себя лучше, чем мы, живые!.. Но все-таки поторапливайся!

Старуха Мандаленья раскрыла настежь дверь. Она ждала попа со святыми таинствами, но вместо попа показался запыхавшийся Михелис.

— Не торопись, мой мальчик, — сказала ему старуха. — Он еще держится, семь душ у умирающего… Пожалуйста, входи!

Михелис вошел и закрыл за собой дверь.

Капитан в изнеможении закрыл глаза, кровь снова потекла по лицу и по простыням. Старуха подошла, вытерла кровь и нагнулась к уху капитана.

— Капитан, пришел Михелис с чернильницей, ободрись немного!

Капитан преодолел забытье, приподнял разбитую голову, приоткрыл глаза.

— Добро пожаловать, молодой архонт, — сказал он.

Снова закрыл глаза и уснул. Михелис сел на сундук, разложил рядом с собой бумаги и стал ждать.

— Хороший человек был, бедняга, — сказала тихо старуха и вытерла глаза и нос, по которым струились слезы. — Хороший был человек, хотя и вспыльчивый. И мой покойный муж…

И она принялась жаловаться, чтоб излить свою душу. Михелис закурил сигаретку. Он тоже страдал, но никому об этом не рассказывал… Он слушал старуху, а мысли его были далеко.

Залаяла собака в селе, встревоженная старуха вскочила на ноги.

— Проклятие! Увидела, наверно, приближающегося Харона и брешет!

Открыла дверь, нагнулась, схватила камень, швырнула на улицу и вернулась.

Капитан открыл глаза.

— Михелис, — крикнул он, — где же ты? Подойди, я уже не могу громко говорить! Возьми бумагу и пиши.

— Не беспокойся, капитан, — сказал Михелис, — некуда торопиться.

— Пиши, тебе говорят, и оставь утешения! Семь душ у меня, шесть уже улетели, остается только одна; она прыгает у меня на губах и тоже готова улететь. Поторапливайся, пока я еще жив.

Михелис подошел к изголовью кровати, держа в руках лист бумаги, обмакнул перо в чернила.

— Я слушаю, капитан, — сказал он.

— Во-первых, напиши, что мозги у меня работают как часы и что я православный христианин. Отца моего звали Феодорисом Кападаисом. Детей, собак не имею, не женился, слава тебе, господи. Были у меня деньги, все пропустил через желудок; были у меня поля, их тоже продал — и туда же. Точнее сказать, пропил, но это одно и то же. Был у меня и пароход, вот он там, на фотографии; разбился недалеко от Трапезунда и пошел ко дну. Имущество, которое сегодня у меня осталось, — вот оно!

И он показал на свои тряпки.

— Я раздам все односельчанам, чтоб помнили меня. Подойди, Мандаленья, поближе и называй одну вещь за другой, всего я не помню; а что забуду — твое. Значит, пиши, Михелис… Ты готов?

— Готов, капитан, готов!

— Стеклянную бутыль раки, вон ту, что стоит в углу, я оставляю аге, — пусть он всю выпьет за мое здоровье. У меня один золотой зуб — пусть его выдернут и передадут вдове Катерине, чтобы сделала из него серьги. Трубку мою с янтарным наконечником я дарю владельцу кофейни Костандису, и когда к нему придет какой-нибудь чужеземец, пусть он на чужбине почувствует себя как дома. Десяток килограммов ячменя я дарю ослику Яннакоса, пусть его накормит в тот вечер, когда ослик с восседающим на нем Христом будет входить в

Иерусалим… Немного денег, что остались в кошельке, пусть заберет поп Григорис, а то он и не похоронит, козлиная борода, и я провоняю. В сундуке, на котором ты сидишь, находится разное барахло, плащи, шапки старые, майки, капитанские сапоги, фонарик, компас и еще кое-какой инструмент — передайте это беднякам, которые живут в пещерах на Саракине; передайте им еще мои горшки и спиртовку, посуду, одежду, которая сейчас на мне, кофе, сахар, лук, бутылку с маслом, сыр и чашку с маслинами… все, все им; жаль мне этих бедняг!.. Ты все записал, Михелис?

— Подожди немного, допишу, не торопись, капитан.

— Тороплюсь я, боюсь не успеть! Пиши побыстрее. У меня есть еще книга «Тысяча и одна ночь». Перечитывал я ее каждое воскресенье; когда другие шли в церковь, коротал за нею время. Ее пусть заберет Костандис, владелец кофейни, и каждое воскресенье, когда после чтения евангелия будут приходить к нему односельчане, пусть кто-нибудь громко читает всем эту книгу, чтоб вы стали зрячими, горемыки! Я не отрицаю, евангелие — замечательная вещь, но и «Тысяча и одна ночь» не хуже. Записал, Михелис?

— Записал, капитан, говори, но не затрудняй себя.

— Ну-ка посмотри, Мандаленья, пройдись немного по дому, — не пропустил ли я какую-нибудь драгоценность?

— Твои туфли, капитан.

— Тьфу! Да, они истрепались, в мусорный ящик нужно их выкинуть! Нет, их я оставлю в наследство бедняге деду Ладасу. Приходя к нему, я всякий раз заставал его босым. Пусть заберет их, скряга, чтоб не простудился и не издох, а то, подумайте только, какая будет потеря! Ну-ка посмотри еще, Мандаленья!

— Фотография!

— А, ее я возьму с собой! Вы положите ее ко мне в гроб, вместе с рамкой и стеклом. И еще я захвачу с собой стакан из-под раки, хорошо он мне послужил, не оставлю я его. О! У нас еще эта статуэтка из гипса; ее пусть заберет Гипсоед; пусть съест и английскую королеву!

— Остается самое главное, — сказал Михелис, — дом.

— Его я оставляю старухе Мандаленье, которая относилась ко мне, как сестра. Достаточно я помучил ее, бедняжку, часто ругай ее; кажется, даже палкой побил ее однажды, — извини меня, Мандаленья, и не плачь. Или, может быть, ты плачешь от радости?

Он попытался улыбнуться, но не смог: ему было больно. Раны снова начали кровоточить.

— Вот и все мое имущество, — сказал он. — Допиши и дай мне бумагу, чтобы я поставил в конце свое имя.

— Михелис подал ему листок, старуха приподняла капитана, Михелис поддержал его руку, и тот расписался: капитан Якумис Кападаис, сын Феодориса.

Послышались псалмы.

— Идет поп со святыми дарами, — сказала старуха и пошла открыть двери.

— Делать ему нечего… — пробормотал капитан. — Ну, пусть уж заходит.

Первым вошел старый пономарь с зажженным фонарем, за ним шел поп Григорис в епитрахили, держа высоко святую чашу, покрытую красным бархатным лоскутом с золотой вышивкой.

С нами бог! — сказал звучным, торжественным голосом поп Григорис, перешагнув порог. — Оставьте нас одних.

Михелис и старуха Мандаленья перекрестились, поцеловали нону руки и вышли из комнаты, а за ними поспешил и пономарь. Все они остановились за дверьми и застыли в ожидании.

— Капитан Фуртунас, — сказал поп, подойдя к умирающему, — настала страшная минута предстать перед богом. Исповедуйся в своих грехах, чтобы душа была чистой. Говори!

— Что сказать тебе, отче, — ответил капитан мрачно, — разве я все помню? Бог сам составляет списки. Пусть же он вычеркнет то, что желает, а я только одно хотел бы подарить ему здесь на земле, только одно! Сомневаюсь, чтобы подобные вещи были на небесах.

Поп слушал с недовольным видом: тон капитана раздражал его.

— Только одно я подарил бы богу, — повторил капитан.

— Что? — спросил поп, нахмурив брови.

— Губку.

— И тебе не стыдно? — закричал поп. — Не дрожишь ты в эту страшную минуту, богохульник?

— Мы ведь муравьи, — спокойно продолжал капитан. — Подумаешь, велика важность, съели одним зернышком, одной дохлой мухой больше. Пусть этой губкой сотрет все наши грехи! Да что ему с нами возиться — с такой мелюзгой? Он же слон!

— Капитан, — строго сказал поп, — побойся бога! Ты, несчастный, перед его вратами, сейчас он откроет их, и ты его узришь. Неужели тебя не охватывает страх?

— Поп, — сказал капитан и заткнул руками уши, — я устал. Приходил ага и беседовал со мной; пришел Михелис и написал мое завещание; я даже тебе завещал — хорошо, что я вспомнил! — оставшиеся деньги, чтобы ты меня похоронил и не бросил смердеть. А теперь явилась и твоя милость с пугалом... Больше не могу. Тебе говорят, уйди добром.

Он повернулся к стене и закрыл глаза; дыхание стало тяжелым и прерывистым, послышался предсмертный хрип.

— Спокойной ночи! — успел проговорить капитан.

Поп накрыл святую чашу лоскутом красного бархата.

— Я не могу, — сказал он, — причастить тебя телом и кровью Христа; пусть бог меня простит!

— Спокойной ночи, — снова прошептал капитан, тяжело дыша.

Он пошевелился несколько раз на матраце, тихо зарычал, открыл рот, как будто ему не хватало воздуха, и простыни окрасились, кровью.

Поп перекрестил его.

— Пусть бог тебе простит, — пробормотал он. — Я не имею права на это.

Он открыл дверь и позвал старуху Мандаленью — прибрать покойника.

На следующий день, когда хоронили капитана, моросил мелкий дождь, как и в тот день святого Георгия в Батуме, когда он веселился со своими друзьями в саду на крупной гальке. Прозрачные тучки бежали по небу, печально звонил сельский колокол, сладко пахла ромашка на кладбище. Все жители села шли за процессией, а впереди шла плакальщица, старуха Мандаленья, с непокрытой головой и рвала на себе волосы. А когда все было кончено и каждый бросил горсть земли в могилу, все вернулись в кофейню и начали говорить о доброте и благородстве покойного.

Яннакос хотел привести своего ослика, чтоб и тот принял участие в похоронах, потому что от Михелиса он узнал о ячмене, завещанном капитаном. Но поп Григорис рассердился.

— А что, разве он не божье создание? — возразил Яннакос.

— У него нет бессмертной души, — ответил возмущенный поп Григорис.

— Если бы я был богом, — прошептал Яннакос, — я бы и осликов пропускал в рай.

— Рай не конюшня, а дом божий! — закричал поп и прогнал его.

— Я бы их пропустил в рай, — сердито бормотал Яннакос, следуя за процессией, — я бы пропустил своего Юсуфчика, но с одним условием: чтоб своим навозом он не пачкал небо.

И когда яма была уже засыпана и люди разошлись, Яннакос отвел в сторону Михелиса и Костандиса, ибо не мог больше один хранить тайну, и сказал, им:

— Я должен, братья, кое-что вам доверить, но пусть это будет нашей общей тайной — еще никто этого не знает… У Манольоса появилась страшная болезнь на лице. Он стал похож на осьминога, словно сатана прилепил ему на лицо морду из сырого мяса. Не знаю, ребята, что и сказать… Или Манольос святой и только теперь это стало ясно? Потому что такими болезнями хворают, насколько мне известно, только святые отшельники…

— Это наверняка от святости… — сказал Костандис. — Святой он, святой, а мы и не понимали этого столько лет…

— Слишком-то не фантазируй, Костандис, — заметил Михелис, огорченно слушая эти новости. — Подожди, мы сперва все обдумаем, спросим у какого-нибудь врача…

— Давайте, — предложил Яннакос, — в воскресенье после обеда поднимемся на гору и навестим его… Я припас подарок для него… — И он вынул из-за пазухи маленькую книжку в позолоченном переплете.

— Евангелие. Мне его прислал вчера вечером отец Фотис через старика Христофиса. Он хочет, чтобы мы прочли его, мы, четверо корзинщиков, — так он нас ласково называет из-за тех четырех корзин с продовольствием! Он получил и тот рис со шпинатом, о котором я вам говорил, его съели голодающие, и вот теперь он шлет нам свое благословение и это евангелие.

Они перешагивали через могилы, где покоились их предки. На могилах росла ромашка. Земля стала мягкой от дождя, пахло сыростью. Друзья остановились на минуту, вдыхая влажный, теплый воздух, пропитанный легким горьковатым ароматом ромашки.

Михелис вздохнул; мысли его вдруг перенеслись к невесте, к его Марьори. Он вспомнил ее исхудалое лицо, ее глаза, обведенные синевой, платочек, который она прижимала ко рту, сдерживая кашель.

Он вспомнил, что еще мальчишкой пришел как-то раз сюда со своим отцом, когда почему-то откапывали девочку. Он видел ее однажды в своем доме — хорошенькая, кудрявая толстушка, с голубыми глазами, она все время улыбалась… Михелис остановился рядом с отцом над могилой; могильщик лопатой выбрасывал землю и укладывал ее в кучу вокруг могилы. Он искал кости девочки. Ее отец стоял наверху с маленьким деревянным ящиком, чтоб сложить их туда. И вдруг могильщик сунул обе руки в землю и вынул грязный череп… Маленький Михелис начал плакать. Ведь это была голова той красивой девочки с кудрявыми волосами! Куда же делись ее глаза? Где же ее улыбающийся губы?

С тех пор прошло уже двадцать лет, а он все ещё не мог пройти через кладбище, не вспомнив об этой красивой девочке и ее черепе…

— Что с тобой случилось, почему ты вздыхаешь, Михелис? — спросил его Яннакос.

Но Михелис толкнул ворота с железным крестом над ними.

— Пошли — сказал он.

Они молча направились к селу. Позади послышались тяжелые шаги. Они обернулись.

— Панайотарос, — сказал Костандис. — И этот дикарь ходил на похороны.

— Узнал, наверно, — прибавил Яннакос, — что и он не забыт в завещании; теперь идет к дому капитана, чтобы забрать гипсовую статуэтку, английскую королеву, и съесть ее.

— Давайте подождем его и пойдем с ним вместе, — предложил Михелис. — Давайте подбодрим его немного.

Остановились. Но Панайотарос, не здороваясь с ними, ускорил шаг, чтобы перегнать их. С того дня, когда совет старост выбрал его изображать Иуду, — потому что, как ему сказали, у него рыжая борода, — он не мог больше смотреть в глаза тем, кто должен был изображать верных и святых апостолов.

«Ну и морды, — говорил он про себя, — и они будут изображать апостолов! Я гораздо лучше, чем они, хоть я и дикарь; ведь я больше их мучаюсь и в доме своем; и вне дома, и в самом себе… Я плачу, когда остаюсь один, а они плачут на людях… Я понимаю, что значит любовь, чувствую свой позор и плачу, а они, когда любят, чувствуют себя счастливыми и улыбаются… Противны они мне, пропади они пропадом! Один со своим осликом, другой со своей кофейней, третий с богатством и своей Марьори… А у меня ничего нет! Мне хочется сжечь свою мастерскую, выгнать на все четыре стороны жену и дочерей и убить женщину, которую я люблю. Кто же Иуда? Вот эти ловкачи и счастливчики или я?»

— Эй, Панайотарос! — крикнул ему Яннакос. — Ты что, считаешь ниже своего достоинства говорить с нами?

— Здравствуйте, лжеапостолы! — рявкнул Гипсоед. — Где же ваш Лжехристос?

— А ты все еще не можешь успокоиться? — сказал Костандис. — Это же игра, неужели ты до сих пор не понял?

— Игра это или не игра, — ответил седельщик, — а вы мне всадили нож в сердце. И жена называет меня Иудой, и дети на улицах меня дразнят, и женщины, когда я прохожу, испуганно закрывают двери. Вы меня и вправду превратите, будьте вы прокляты, в настоящего Иуду! Пусть грех будет на вашей душе!

— Люди тебя любят, — сказал Михелис, — не сердись! Вот и капитан, умирая, вспомнил тебя и оставил завещание…

— Гипс он оставил, английскую королеву, чтоб я ее съел, — вот как он сказал! Чтоб ему пусто было!

— Не бери на себя греха, — сказал Михелис, — его могила еще тепла. Возьми свои слова обратно.

— Чтоб ему пусто было! — снова рявкнул Панайотарос, и лицо его, изрытое оспой, вспыхнуло. — Оставьте меня в покое, говорю вам!

И пошел вперед, бормоча проклятья.

— С какой же стороны тронуть ежа, чтоб не уколоть себя? — спросил Яннакос. — Лучше с ним не связываться!

— Душа у него ранена, — сочувственно сказал Михелис.

— Да плюс к этому вдова, — добавил Костандис. — Да еще выпивки. Теперь он пойдет к себе домой, поколотит жену и дочерей. Все их запугивает, что выбросит на улицу.

— Вошел в него Иуда и обрабатывает его, — сказал Яннакос, — трудно будет ему избавиться от него. Боюсь я за Манольоса, дай бог, чтобы все обошлось благополучно!

— За Манольоса? — удивился Михелис.

— Мне кажется, вдова бегает за нашим Манольосом, — ответил Яннакос. — Позавчера я видел, как она разговаривала с ним у колодца. Об этом узнал Панайотарос и взбесился. «Я его убью! — кричит теперь в сердцах, когда напьется. — Я убью эту сволочь!» — и точит нож на камне.

— Тогда пойдемте сегодня же вечером навестить Манольоса. Ты меня встревожил, Яннакос!

— Пошли лучше сейчас! — предложил Яннакос. — Боюсь, как бы не опередил нас Панайотарос. Мне показалось, что он направился к горе Богоматери.

— Давайте свернем и побыстрее выйдем к тропинке, — сказал Костандис, — дело не терпит.

Они свернули и вышли на тропинку. Молча, торопливо шли вперед, как будто предчувствуя несчастье.

Они увидели Панайотароса: задумавшись, обхватив голову руками, он сидел на камне под горой. Он их не заметил, и они обошли его, не сказав ему ни слова.

Мелкий дождь прекратился; в разрывах туч то тут, то там виднелось чистое голубое небо. Солнце стояло еще высоко и, казалось, улыбалось, выходя из туч.

Послышался звон колокольчиков, и кто-то весело и задорно заиграл на свирели. Друзья прошли мимо стада. Никольос отнял от губ свирель и посмотрел на них.

— Эй, Никольос, — крикнул ему Михелис, — Манольос в кошаре?

— Не знаю, я его не видел. Сходите посмотрите!

— Как он себя чувствует, Никольос?

— Как рак в огне, — ответил пастушонок и начал хохотать. — Жарится и поет!

— В хорошем настроении этот дикий козленок! — воскликнул Яннакос. — Пошли!

Михелис засмеялся.

— Расскажу и я вам один секрет, — сказал он. — Вчера вечером Леньо обратилась к моему отцу. Черт рогатый, а не девушка! Она, наверно, где-то узнала о болезни Манольоса. «Я не выйду за Манольоса», — сказала старику прямо и определенно. «Но почему же, другого полюбила, что ли?» — «Да». — «А кого?» — «Никольоса, пастушонка!» — «Но ведь он безусый, незрелый мальчишка, что же ты с ним будешь делать? Разве он может плодить детей?» — «Может, может! — крикнула Леньо. — Он хороший, может, тебе говорю, он мне нравится!» И начала ласкаться, подлизываться к старику. «Ну ладно, — сказал старик, — выходи за него себе на здоровье!»

— Да она бы и за козла вышла, прости меня, господи! — сказал Яннакос.

— Избавился Манольос, слава тебе, боже! — добавил Костандис и вспомнил свою жену.

Они приблизились к кошаре, вошли в нее, — там не было ни души! Обошли кругом кошару, прошли между скалами, покричали — никого!

— Боже мой, — прошептал Яннакос, — а может быть, он покончил с собой?

— Что ты сказал? — спросил Михелис.

Но Яннакос сам испугался произнесенных слов.

— Ничего, — ответил он.

Снова молча пошли по тропинке. Солнце уже начинало заходить, и гора покрывалась тенями. Друзья свернули с дороги и прошли мимо заброшенной церкви, прижавшейся к скале. Старая, забытая людьми церковь… Только раз в году вспоминали о ней — восьмого ноября, в день трех святителей. Это был большой праздник. Люди, приходя сюда, зажигали свечки, и озарялись полустершиеся фрески, оживали крылья архангела Михаила, черные, с красными краями. Затем, после обедни, люди уходили, гасли свечи, меркли крылья ангелов, и снова церковь ждала людей целый год…

Друзья вошли туда. Пахло сыростью и землей, как в могиле. Большая свеча догорала перед иконой Христа… Прошли в алтарь, посмотрели — никого нет.

— Он наверняка приходил сюда, — сказал Яннакос, — и зажег эту свечу… Но потом…

— Да поможет ему бог, — прошептал Михелис.

Манольос действительно был в той церкви, зажег свечу и весь день простоял на коленях в полумраке, глядя на Христа; он хотел с ним поговорить, но робел и не находил нужных слов… А Христос смотрел на него с иконостаса, как будто тоже хотел поговорить с Манольосом, но, боясь испугать молящегося, молчал.

И так прошел весь день. Они провели его в молчании, стоя друг против друга, как двое влюбленных, сердца которых разрываются, а уста безмолвствуют.

Только вечером, незадолго до того как пришли три друга, Манольос поднялся, поцеловал руку Христа — обо всем они уже переговорили, больше не о чем было говорить, — открыл дверь и направился в село.

«Что мне нужно было сказать, я сказал, — думал он удовлетворенно. — Мы договорились, он дал мне свое благословение, и я иду!»

И Манольос спустился по тропинке, спокойный и радостный.

Он обвязал свое лицо широким платком, так что видны были только одни глаза. Когда он вошел в село, уже вечерело. Он шел переулками, шел быстро и никого не встретил. Остановившись у дома Катерины, он решительно поднял руку и постучался.

Через некоторое время во дворе послышались шаги вдовы.

— Кто там? — раздался из-за калитки ее нежный голос.

— Отвори, — ответил Манольос, и сердце его забилось.

— Кто там? — повторил тот же голос.

— Я, я, Манольос.

Дверь сразу открылась, и вдова протянула к нему руки.

— Это ты, мой Манольос? — радостно воскликнула она. — Чем объяснить такую милость? Входи.

Он вошел, калитка за ним закрылась, и ему стало страшно.

Манольос остановился и огляделся в полумраке — увидел два горшка с гвоздиками, под ногами поблескивала крупная галька. Сердце его сжалось.

— Почему у тебя перевязана голова? — спросила вдова. — Ты боишься, что тебя узнают? Тебе стыдно? Ну, входи, входи, Манольос, не бойся, я тебя не съем!

Манольос молча и неподвижно стоял посреди двора, украдкой посматривая на белевшее в полумраке лицо вдовы, на ее полные руки, на едва прикрытую грудь…

— Днем и ночью думаю я о тебе, Манольос, — заговорила вдова, — спать не могу. А если даже и засну, то ты снишься… Днем и ночью я тебя зову: «Приди! приди!» И вот сегодня ты пришел! Добро пожаловать, мой Манольос!

— Я пришел, чтобы ты избавилась: от меня, Катерина, — тихо сказал Манольос. — Чтобы больше не думала обо мне и не звала меня. Я пришел, чтобы стать тебе противным, Катерина, сестра моя.

Ты станешь мне противен, Манольос? — воскликнула вдова. — Но ведь другой надежды у меня нет! Только ты, пусть ты этого не знаешь, пусть ты этого не хочешь, пусть и я этого не хочу, но только ты мое спасение… Не пугайся, Манольос; это говорит с тобой не моя плоть, а душа! Потому что и у меня есть душа, Манольос.

— У тебя в доме горит лампа. Зайдем, посмотришь на меня.

— Пошли, — сказала вдова и смело взяла Манольоса за руку.

Они вошли. Кровать вдовы — широкая, красиво застеленная, занимала чуть ли не всю комнату; над кроватью висела икона богоматери, а перед ней — маленькая лампада из розового стекла. На высокой подставке горел трехглавый светильник.

— Теперь посмотрим, как ты это выдержишь, Катерина, — сказал Манольос и подошел к светильнику. — Подойди поближе и взгляни на меня.

И он медленно начал развязывать платок.

Показались опухшие, потрескавшиеся, посиневшие губы, щеки, покрытые язвами, из которых сочился густой, желтый гной, и, наконец, открылась вся голова, раздутая, как барабан, красная, как сырое мясо.

Вдова смотрела на него широко открытыми глазами… И вдруг зажмурилась, чтобы ничего не видеть, припала к Манольосу и зарыдала.

— Мой Манольос, мой Манольос, — бормотала она. — Любовь моя!

Манольос осторожно отстранил ее.

— Смотри же на меня! Смотри же! — твердил он. — Не плачь, не обнимай, смотри на меня!

— Любовь моя! Любовь моя? — кричала Катерина и не могла от него оторваться.

— Тебе не противно?

— Как же ты можешь быть мне противен, мой мальчик?

— Нужно, нужно, Катерина, сестра моя, чтоб ты избавилась… чтоб и я избавился.

— Не хочу я избавляться! Если я буду без тебя, Манольос, я пропала!

Манольос в отчаянье опустился на скамью, рядом с кроватью.

— Помоги мне, Катерина, — сказал он умоляющим голосом, — помоги, чтоб спасти и себя… И я о тебе думаю, но не хочу… Помоги мне не впасть в грех!

Побледнев, вдова прислонилась к стене. Она смотрела на Манольоса, и ее сердце замирало, как будто она слышала ночью крики своего погибающего ребенка…

— Что я должна сделать для тебя, мой мальчик? — прошептала она наконец. — Чего же ты хочешь?

Манольос молчал.

— Хочешь, чтоб я убила себя? — спросила вдова. — Хочешь убить себя, чтоб избавиться от меня?

— Нет, нет! — закричал испуганно Манольос. — Я не хочу, чтобы погибла твоя душа!

Он остановился, затем продолжал;

— Я хочу тебя спасти. Только так я спасу себя, сестра моя. Душа твоя преследует меня.

— Моя душа преследует тебя, Манольос? — воскликнула вдова, и ее сердце затрепетало. — Возьми ее и унеси куда хочешь. Ты вспомни Христа, ведь и он возложил на себя душу Магдалины!

— О Христе я и думаю! — крикнул Манольос с облегчением. — О нем я и думаю, сестра моя, думаю днем и ночью.

— Иди по его пути, мой Манольос. Как он спас Магдалину-блудницу? Ты знаешь, а я нет! Делай со мной что хочешь.

Манольос поднялся.

— Я ухожу. Ты сказала мне свое слово, сестра моя, и я успокоился.

— И ты, Манольос, сказал свое слово и успокоил меня; ты назвал меня сестрой своей…

Манольос обвязал свое лицо большим платком, так, что снова остались видны только глаза.

— До свидания, сестра моя, — сказал он. — Я еще приду.

Вдова взяла его за руку и повела через двор. По дороге Катерина сорвала в темноте несколько гвоздик.

— Возьми, — сказала она, — Христос с тобой, Манольос!

Она вложила ему в руку гвоздики. Потом открыла калитку и посмотрела: на улице — ни души.

— Я никому больше не открою калитки, — сказала вдова. — Я буду с радостью ждать, когда ты снова придешь!

Манольос перешагнул порог и исчез в ночной темноте.

ГЛАВА VII

Пришел май, установилась хорошая погода; на полях росли и наливались хлеба, в садах округлялись оливки, на виноградных кустах висели незрелые гроздья, а смоковницы перерабатывали ядовитое молоко своих неспелых плодов в сладкий мед. Все село уже пропахло чесноком, который в огромном количестве истребляли ликоврисийцы.

Старик Патриархеас снова начал обжираться, еще больше раздобрел, весь налился кровью, и Андонис-парикмахер уже делал ему кровопускание и ставил банки, чтоб облегчить сердце. И старик Ладас тоже потихоньку жевал чеснок, охваченный хозяйственными заботами: сколько масла, сколько вина, сколько хлеба соберет он в этом году, сколько человек ему должны, в каком размере и как он взыщет долги. Помнил старик и о трех золотых монетах, которые он отдал Яннакесу и уже наметил план — продать с молотка и забрать себе ослика торговца.

А обрученные терпеливо ждут. В мае не женятся; в июне же много работы на полях, можно ли думать о свадьбе! Потом, в следующем месяце, молотьба, а в августе собирают виноград, и приходится уже дожидаться сентября, когда заканчиваются все работы и урожай складывают в сараи. Вот тогда приходит поп и благословляет новые парочки, которым теперь уже не надо заботиться о будущем — ведь есть у них хлеб, масло и вино, чтобы радоваться жизни, сеять и рожать.

У попа Григориса много хлопот — ему непременно нужно повенчать Марьори, а Михелис пошел по дурному пути. Он и так никогда не отличался большим умом, а теперь его совсем одурачили Манольос и его друзья. Они пользуются его слабостью, и — на тебе! — он раздает тайком от отца муку и масло бедным, и время от времени этот проклятый осел Яннакоса — чтоб он издох, этот осел! — таскает новоселам Саракины корзины с продовольствием.

— С такими искалеченными мозгами, — бормотал поп Григорис, — этот дурак скоро раздаст все свое имущество. Что тогда будет с моей дочерью?

Но хуже всего то, что этот козлобородый поп с Саракины каждое воскресенье служит обедню в какой-то пещере, а затем проповедует, и к нему начинает ходить кое-кто из Ликовриси. Ходят слушать этого сумасшедшего попа-шарлатана…

— Каждое село — пчелиный улей, — бормотал поп Григорис, — а две матки в одном улье не могут ужиться; пусть убирается отсюда со своим роем и переселяется в другое место. Саракина — мой улей!

И на Саракину пришел май, но май голодный, с жалкой растительностью. Кое-где показались между камнями дикие цветы, зацвели кусты арники, и множество серо-зеленых ящериц выползало погреться на майском солнышке… Ни маслин, ни виноградников, ни садов; только голые, неприступные скалы да деревья, усеянные колючками и полные ненависти к людям; изредка попадется какое-нибудь чахлое, скрюченное от ветра дерево, с горькими плодами, в которых одни косточки, — одичалая маслина, одичалое персиковое дерево, одичалая груша…

Сегодня воскресенье, и пещера с полустершимися фресками освещена. Ожили изображения праведников и святых. Но время и сырость не пощадили их: у одних сохранились только лица, у других грудь, у третьих — ноги. А от большого изображения распятия остался только Христов лик позеленевший, заплесневелый, да еще часть креста с двумя бледными ногами, по которым струится кровь…

Мужчины и женщины заполнили с утра пещеру и все вместе пели псалмы, а потом вышли и сели на солнце, вокруг отца Фотиса. Он привык каждое воскресенье, после обедни, выступать перед своей паствой и ободрять ее. Сперва он здоровался с ними, говорил тому или другому что-нибудь приветливое, а затем начинал проповедовать слово божие и свое. Голос его звучал сначала тихо и спокойно, но постепенно становился все громче, и его взволнованные слова как-будто падали с высоты в человеческие души.

— Здравствуйте, дети мои! Мы еще живем и не падаем духом! — сказал он и сегодня, чтоб немного ободрить их.

И он говорил им то о чем-то неведомом, то о своей жизни, о том, что видел и что с ним случалось, то брал евангелие, открывал его на любой странице и, прочтя несколько строк, воодушевлялся. И перед разгоревшимися глазами изгнанников представали все семь небес, и лохмотья саракинцев превращались в крылья; люди забывали о голоде и словно куда-то летели.

— Самую большую правду мы называем сказкой, — начал отец Фотис. — Одну такую сказку я вам расскажу сегодня, дети мои, подойдите поближе. Эй вы, плачущие женщины, я и для вас говорю — подходите!

Женщины с детьми подошли и расселись вокруг него; мужчины стали за ними; старики, опираясь на палки, тоже прислушались.

— В некотором царстве, — начал поп Фотис, — вышли однажды два птицелова на ловлю и расставили свои сети; расставили, а на следующий день утром вернулись; и что они увидели, как думаете? — сети были полны диких голубей! Бедняжки в отчаянии хлопали крыльями и старались вырваться, но петли в сетях были маленькими и не позволяли им выскользнуть. И вот, обессилев, голуби упали на землю и ждали дальнейшего, дрожа от ужаса. «Да у них только кожа да кости, у подлых, — сказал один охотник. — Разве мы их продадим на базаре?» — «Давай лучше их хорошо покормим несколько дней, чтоб разжирели», — сказал второй. Насыпали они голубям зерна, налили им воды, и набросились голуби на зерно и стали пить. Только один не захотел есть и пить и ни к чему не притронулся. На следующий день им насыпали еще зерна... Голуби с каждым днем все больше и больше жирели, и только тот один все худел и худел и все силился пролезть через сетку. Так продолжалось до тех пор, пока не пришли охотники за голубями, чтобы отнести их на базар. Голубь, который ничего не ел, к тому времени настолько исхудал, что, собрав последние силы, проскользнул в отверстие сети — и улетел, свободный... Вот и вся сказка, дети мои. Все это я рассказал для вас: кто может ее объяснить? Вот вы, старики, как вы думаете? Пошевелите-ка мозгами!

Но старики молчали. Тогда вскочил великан-знаменосец.

— Ты имеешь в виду, отче, как мне кажется, наш голод; он поможет нам обрести свободу... Мы тоже, ты хочешь сказать, как тот голубь, который голодал... Но вот дальше я не понимаю... Ума не хватает, ты меня прости.

— Самое важное ты нашел, Лукас, да будет с тобой мое благословение, — сказал священник. — Я объясню вам, дети мои, недосказанное. В своем богатом селе мы обжирались, толстели, и душа наша обросла мясом. И вот безмятежность, безопасность и благополучие сделали жирной и ленивой нашу плоть и умертвили душу. Говорили мы: все идет хорошо, справедливость царит в мире, никто не голодает, никому не холодно, лучшего мира нет! А бог нас пожалел, послал турок, которые разорили нас, выгнали на все четыре стороны. Поступили с нами несправедливо, и тогда мы увидели, что мир полон несправедливости. Мы голодали и мерзли — и тут мы увидели, что существуют голод и холод, что рядом с голодающими, страдающими от холода людьми — мы это тоже увидели! — живут другие, которые пожирают горы еды. Печи у них всегда горят... Они видят голодных и раздетых и смеются. Голод расправил наши крылья, и мы вырвались из сетей несправедливости и благополучия. Теперь мы свободны! Мы можем теперь начать новую, более честную жизнь, слава господу!

Никто не сказал ни слова; старики покачивали головами, женщины тихо плакали, и только мужчины мужественно и прямо смотрели священнику в глаза.

И тогда знаменосец опять поднял голову.

— Отец мой, хорошо ты все это сказал! Бог нас пожалел и послал нам несчастье; точно так же хороший всадник бьет кнутом своего ленивого коня... Несчастье кнутом стегало народ, и открылись наши сердца, и мы стали свободны. Ну, а теперь, как одолеем мы несчастье? Вот что ты должен нам сказать. Ведь если мы его не одолеем, то оно нас одолеет, оно нас погубит, отче! — завопил он, и его глаза наполнились слезами, — вспомнил он своего сыночка Йоргоса, который умер в пути.

— Мы оседлаем несчастье, не бойся, дорогой Лукас! — ответил ему поп. — Оно будет работать на нас, и мы выйдем из беды, — увидишь. Труд, терпенье, любовь — вот наше оружие. Поверьте мне. Я закрываю глаза и вижу вокруг себя каменные дома, церковь с колокольней, двухэтажную школу с большим двором, где бегают ребятишки, а вокруг села — сады, виноградники, поля... Первый шаг уже сделан; мы нашли среди камней небольшие участки земли и засеяли их, бегущие ручьи мы собрали в одно русло, начали строиться... В богатом нижнем селе Ликовриси, Волчьем источнике, есть добрые люди, и они, эти люди, помнят о нас. Один дарит нам все свои деньги — вспомните о трех золотых монетах, — другой посылает корзины с продовольствием, а одна грешница пожертвовала нам свою овцу... Еще один грешник, который позавчера умер, перед смертью вспомнил о нас и оставил нам в наследство полный сундук добра, да простит бог его грешную душу! Пускаем мы корни, дети мои, врастаем в землю, и появятся всходы, будьте уверены!

— И начнется то же самое, дорогой батюшка! — крикнул молодой парень с серым от голода лицом, едва прикрытый каким-то тряпьем. — Опять то же самое, батюшка! Все то же самое, черт возьми! Ты разве не помнишь, что в нашем селе были богатые и бедные, что моя мать умерла с голодухи в то время, когда все село купалось в масле и вине и из печек соседи вынимали свежеиспеченный хлеб… Моя мать падала в обморок от этого запаха!.. Что же, значит, все пойдет по-старому, отче? Снова у нас будут богатые и бедные?

Отец Фотис опустил голову и некоторое время стоял, задумавшись.

— Петрос, — сказал он наконец, — ты добрый, но резкий, и ты мне нравишься. Я и сам днем и ночью спрашиваю бога о том же и прошу его просветить меня.

«Новых основ, — кричу я богу, — новых основ мы хотим, господи, для нашего нового села! Не хотим больше несправедливости, не хотим, чтобы люди голодали и холодали, — хотим, чтобы все были сыты, одеты, обуты! Неужели не можем мы, боже, установить справедливость на земле?»

— И что же тебе ответил бог? — громко спросил молодой парень.

— И вот понемногу на меня нисходит просветление. Несчастье — да будет оно благословенным! — теперь сделало нас всех равными. Все стали бедными; ни одна соседка, вынимая из печки хлеб, уже не погрешит, не дав его другой, голодающей. И вот настала пора, дети мои, когда то; что прежде было трудным, уже не гнетет! Освободились мы от чрезмерной сытости, и душа наша воспарила!

Священник повернулся к одному старику, который, опершись на палку, слушал, покачивая головой.

— Что, дед Харилаос, разве три месяца тому назад можно было отнять у тебя виноградники и оливковые деревья и раздать их бедным? Ты бы их отдал?

— Пусть господь бог меня простит, — ответил старик, — никогда! А разве твоя милость оторвала бы и раздала соседям свои руки, ноги, свои легкие? Вот так же и мне дороги были тогда оливковые деревья и виноградники.

— И ты, дед Павлис, тоже раскрыл бы свои сундуки и роздал бы бедным свои лиры? — продолжал поп.

Другой старик, стоявший напротив попа, нахмурился при этих словах, но ничего не ответил; он только тяжело вздохнул, вспомнив свои сундуки.

— Тот, у кого земля, — вдруг громко заговорил отец Фотис, — у кого земля и деревья, тот сам превращается в землю и в дерево, и душа его теряет свой божественный облик; у кого сундук, тот в сундук и превращается, несчастный Павлис! А ты, бедняга Харилаос, в землю превратился еще до своей смерти! Но — слава богу! — избавились мы от этого! Увидели наконец и вы, добрые хозяева, что значит быть раздетыми и голодными, почувствовали и вы горе бедного человека.

— Да, — вздохнул дед Павлис, — я почувствовал.

— Теперь мы все объединимся, — продолжал отец Фотис, — теперь не будет твоего и моего, не будет больше изгородей, сундуков и затворов; теперь все будем работать и все вместе будем есть! Каждый будет делать то, что умеет; каждый будет работать, сколько может; один будет рыболовом на озере Войдомата, другой — охотником, третий — земледельцем, четвертый будет пасти животных, которых послал нам бог. Все мы братья, одна семья, один отец у нас — бог!

— Пусть обновятся и очистятся наши души, — говорил далее священник, раскидывая руки в стороны, — построить новую жизнь очень трудно, помогите мне, братья! Труд, терпение, любовь и вера в бога! Какими были первые христиане? Собирались они в катакомбах, глубоко под землей, и закладывали фундамент новой жизни. Так и эти пещеры, ведущие в недра земли, являются нашими катакомбами, сюда мы принесли Христа. Мы познали несправедливость и теперь возродим равенство! Не бойся, сын мой Петрос, мы должны забыть о прошлом, пусть оно будет проклято! Помогите же мне, и сообща построим новый мир!

Взволнованные, все поднялись и окружили священника.

— Все вместе! — крикнул опять отец Фотис. — Все вместе! Вот наш новый девиз, и он нас спасет!

— Все вместе! — крикнули женщины, мужчины и подняли руки, как будто давая клятву.

Дед Харилаос перекрестился.

— Бедность, сделай мое сердце щедрым, — сказал он, и его глаза наполнились слезами, — не дай мне, господи, богатства, а то я снова стану дурным человеком!

— Не бойся, дед Харилаос, — сказал Петрос и улыбнулся, — не бойся, мы тебе не дадим разбогатеть!

Священник снял свою епитрахиль, свернул ее и отдал старухе, которую назначил церковной служительницей.

— Дети мои, — сказал он, — сегодня воскресенье, отдыхайте! Завтра снова начнется работа. Молодые, развлекайтесь! Займитесь играми! Мужчины! Соберитесь и поговорите о наших делах! Женщины, посидите все вместе, утешьте одна другую. Я же поднимусь на ту гору, что напротив; там наши добрые друзья-корзинщики ждут меня. До вечера, дети мои, да будет господь бог с вами!

Так сказал священник, взял свою палку и двинулся в путь.

Три апостола, Петр, Иаков и Иоанн, сели вокруг Манольоса, раскрыли маленькое евангелие, которое принес сегодня утром Яннакос, и собирались приступить к чтению.

Они уже привыкли к покрытому язвами лицу Манольоса. Первый страх прошел, и они могли теперь глядеть на него без отвращения и страха. Яннакос тайком от Манольоса попросил отца Фотиса прийти посмотреть их больного друга и сказать, что с ним. Священник обошел весь мир, много выстрадал; он знал все болезни и души людей и — как знать? — мог, пожалуй, найти лекарство… Может быть, Манольос и не нуждался в мазях и эликсирах; возможно, эта его внезапная болезнь имела какую-то особую причину; может статься, это была проделка дьявола, и тогда священник сумел бы изгнать нечистую силу.

И вот поднялись сегодня три товарища на гору, и каждый принес подарок больному другу: Яннакос — маленькое евангелие, Костандис — коробку лукума, Михелис — небольшую икону с изображением распятия. Это была старинная икона, память его матери, и изображала она распятого Христа, вокруг которого были нарисованы тысячи ласточек, — не ангелов, а ласточек. Они сидели на его руках, на верхушке креста, и, открыв клювики, как будто пели… Крест был изображен в виде цветущего миндального дерева. Среди розовых цветов и птичек улыбался лик распятого Христа, а у подножия креста одиноко сидела грешница Магдалина и вытирала распущенными волосами кровь, струившуюся по ногам Христа…

Манольос ждал друзей на лавочке у кошары. Он умылся, надел праздничную одежду и, держа в руках вырезанную им святую маску, рассматривал образ Христа. То смотрел ему прямо в лицо, то поворачивал вправо или влево, чтобы лучше видеть скорбь, боль и улыбку бога. Манольос взял подарки, поклонился евангелию и долго смотрел на распятие.

— Это не распятие, это весна, — прошептал он. Потом взглянул на женщину с распущенными волосами, сидевшую у ног Христа, и вздохнул.

Приложив губы к ногам Христа, он тут же испуганно отстранился: ему показалось, что он поцеловал белокурые волосы и голую шею блудницы.

Яннакос взял икону из рук Манольоса.

— Ну, Манольос, — сказал он, — вот тебе евангелие, читай.

— Что прочесть, Яннакос?

— Открывай где попало! А чего не поймем, над тем будем думать вместе, пока все не станет ясным…

Манольос взял евангелие, наклонился, поцеловал его и открыл.

— Во имя господа, — сказал он, — и начал медленно, по слогам, читать:

— «Увидев народ, он взошел на гору; и, когда сел, приступили к нему ученики его.

И он, отверзши уста свои, учил их, говоря: блаженны нищие духом, ибо их есть царство небесное».

— Это легко, — сказал радостно Яннакос. — Слава богу, я все тут понял. А ты, Костандис?

Но Костандису не все было ясно.

— Что значит «нищие духом»? — спросил он.

— Те, кто необразованные, — разъяснил Яннакос. — Те, которые не учились в больших школах, а думают, что все знают.

— Нет, не необразованные, — поправил Манольос. — И образованные могут быть такими, как дед Ладас… Здесь, наверно, подразумевается что-то другое. Как ты думаешь, Яннакос, и ты, Михелис?

— Нищие духом, — предположил Михелис, — это те, у кого разум неискушенный, простой, те, которые не мудрствуют, а верят всем сердцем… Мне так кажется, но лучше спросим у отца Фотиса.

— Дальше! — сказал Яннакос нетерпеливо. — Это понятно, давайте дальше!

Манольос снова начал читать:

— «Блаженны плачущие, ибо они утешатся».

— Это еще труднее, — сказал Яннакос, почесывая голову. — Что значит «утешатся»?

— Их утешат… — объяснил Костандис. — Но кто их утешит? Кто? Не понимаю.

— Я, кажется, почти понимаю это, — сказал Манольос. — Те, кто скорбят, то есть все те, кто мучаются и страдают, не должны падать духом; бог их утешит.

— Давайте и об этом спросим, — предложил Яннакос, который торопился. — Дальше!

— «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю».

— Это уже совсем ясно! — крикнул Яннакос. — Счастливы те, которые покорны, а это значит — невинны, добры, смиренны; они в конце концов победят, весь мир будет им принадлежать. Это значит, — что не войной, а любовью они завоюют мир. Долой войны! Все мы братья!

— А турки? — спросил Костандис, еще не вполне убежденный.

— И турки! — ответил взволнованный Яннакос. — И ага, и его Юсуфчик, и сеиз. Все!

— И те, которые разрушили село отца Фотиса? — недоверчиво спросил Костандис.

Яннакос снова почесал голову.

— Этого я не знаю, — сказал он. — Спросим его самого… Дальше!

— «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся».

— О! вскрикнули все. — Дай бог, чтоб мы узнали справедливость.

Возбужденный Яннакос поднялся.

— Блаженны, — крикнул он, — алчущие и жаждущие правды! Друзья, это как раз мы и есть, Христос обращается к нам четверым, алчущим и жаждущим справедливости… Мое сердце открылось, братья, как будто Христос обратил свой лик ко мне и заговорил со мной… Не падайте духом, друзья! Давай дальше, мой Манольос!

— «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут».

— Ты слышишь, старик Патриархеас! — снова вспылил Яннакос. — Ты слышишь эти слова, обжора? — Ты встречаешься с нами на улице и не здороваешься, потому что мы подали милостыню бедным — четыре корзины с продовольствием! А ты слышишь, поп Григорис, ты ведь взбесился и прогнал голодающих, лишь бы видеть свой стол заваленным всяким добром и свое брюхо набитым, — чтоб ты лопнул и засмердел на весь мир! Слушай и ты, дед Ладас. Скряга, ты даже своему ангелу не подашь воды! Привет тебе, Михелис! Ты так не похож на своего отца; ты войдешь в царство небесное вместе с четырьмя корзинами; ведь корзины были твоими, а не нашими... Дальше!

— «Блаженны чистые сердцем, ибо они бога узрят».

— Я снова не все понимаю, — сказал Костандис, — но общий смысл мне ясен; только это «узрят» меня смущает. Что должно обозначать это «узрят»?

— Увидят лик божий, дурень! — сказал Яннакос. — Все, у кого чистое сердце, увидят лик божий. Вот и все!

— Но когда и где ты все это выучил, Яннакос? — спросил смущенно Костандис. — Голова у тебя как у мудрого Соломона!

— Но я же не умом все это объясняю, а сердцем, — ответил Яннакос, — оно-то и есть мудрый Соломон! Дальше!

— «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески несправедливо злословить на меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так прежде гнали пророков, бывших прежде вас».

— Прочти еще раз, Манольос, — попросил Яннакос, — помедленнее, будь добр! Пусть бог меня простит, но тут немного запутано.

Манольос перечитал.

— Да нет, мне кажется, здесь все совершенно ясно, — сказал он. — Когда-нибудь старосты, богатые хозяева и их прислужники начнут преследовать нас всех четверых и выгонят нас, потому что мы будем проповедовать правду. Приведут они лжесвидетелей, чтобы те выступили против нас. Может быть, в нас будут швырять камнями, может быть, нас убьют, — разве не поступали так же и с пророками? Но мы должны радоваться от всего сердца, братья, потому что отдадим жизнь за Христа. Разве и он не отдал своей жизни за нас? Вот какой тут смысл.

— Ты прав, Манольос, — сказал Яннакос, и его глаза заискрились. — Я вижу попа Григориса, идущего впереди, как Кайафа, и деда Ладаса, следующего за ним с криком: «Убейте их! Убейте их! Они хотят раскрыть наши сундуки и раздать наши лиры!» А старику Патриархеасу — ты меня извини, Михелис, — велят изображать Пилата и говорить: «Я умываю руки, не вмешиваюсь, — убейте их!» Но в душе он будет радоваться, потому что ты пошел против его воли. Мы не давали ему спокойно жрать жареных поросят, ухаживать за служанками и звать вдову Катерину, чтобы та его растирала, потому что он якобы простудился... Эй, безбожники, скряги и лицемеры! Настанет день, придет божья справедливость!

Он стоял лицом к селу, в гневе угрожающе размахивая руками, но, случайно повернувшись, увидел перед собой отца Фотиса и сразу же умолк, словно язык проглотил.

Извини меня, отче, — сказал он робко, — но мы здесь читаем евангелие, и сердца наши распалились!

Отец Фотис приблизился украдкой. Четверо друзей, захваченные чтением, не заметили его, и он некоторое время слушал их, улыбаясь.

— В добрый путь, дети мои! — сказал он, шагнув к ним. — Пусть вам сопутствует господь!

Все радостно поднялись и дали ему место на лавочке. Но в этот момент священник посмотрел на Манольоса и вздрогнул.

— Что с тобой, сын мой? — спросил он. — Что случилось?

— Бог меня наказал, отче, — ответил Манольос и опустил голову. — Не смотри на меня, лучше обрати свой взор к евангелию и объясни нам. Мы ожидали твою милость, чтобы ты просветил нас, — мы люди необразованные, что мы можем понять?

— Наш разум, — сказал Костандис, — это неотесанная колода. Возьми и обтеши ее, отец мой!

— Мне вам помочь? — сказал отец Фотис. — Нужно, чтобы сюда пришли и послушали вас все мудрецы мира и поняли сами, бедняги, Христовы слова. Ты прав, Яннакос, не разумом читают евангелие, — разумом не очень-то много поймешь, — евангелие читается сердцем, оно и понимает все. Как-нибудь в воскресенье я тебя возьму, Яннакос, в нашу церковь, в катакомбы, чтобы ты нам объяснил слово божие. Не смейся, я правду тебе говорю.

Он опять повернулся к Манольосу.

— Все болезни, сын мой, исходят от души, она управляет телом. Твоя душа, наверно, больна, Манольос; ее-то и нужно вылечить! А тело, желая или не желая этого, пойдет за ней… Но давайте сперва поговорим. Для чего вы меня позвали? Чем я могу вам помочь? Разъясните мне… А потом, Манольос, мы с тобой поговорим и отдельно.

Отче, — ответил Михелис, — но мы ведь из-за болезни Манольоса и позвали тебя. Увидели, что какая-то страшная болезнь прилипла к его лицу, и подумали, что твоя милость, может быть, знает какие-нибудь заклинания, от которых сгинет нечистая сила…

— Многое мне непонятно, отче, — обратился к священнику и Яннакос. — Разве все не от бога? Почему же нужно было насылать болезнь непременно на Манольоса, а не на агу, или, скажем, на попа Григориса, или на деда Ладаса? Где же справедливость? Не понимаю!

Он повернулся к Манольосу.

— Почему и ты не кричишь? Почему не поднимаешь голову к богу и не спрашиваешь его? Только сидишь, скрестив руки, и, склонив голову, твердишь: «Бог меня наказал!» Но что ты сделал? Почему именно тебя он наказал? Встань, ты же не овца, ты человек, спрашивай! Вот это и есть человек — живое существо, которое поднимается и спрашивает!

Отец Фотис встал, протянул руку и прикрыл рот Яннакосу.

— О многом ты спрашиваешь, — сказал он, — слишком повышаешь свой голос, Яннакос, и зовешь бога, чтобы спустился он на землю, остановился перед тобой и дал тебе отчет! Кто же ты такой, что требуешь от бога спуститься на землю?

— Но я хочу понять… — боязливо пробормотал Яннакос.

— Ты бога понять хочешь, Яннакос? — в страхе спросил священник. — Но человек — это слепой червь у ног бога, и что может понять этот червь в бесконечном величии? И я, когда был молод, также кричал и спрашивал, когда не понимал. И мой наставник однажды на святой горе рассказал мне притчу — он часто притчи рассказывал, упокой, господи, душу его! Некогда, говорил он, далеко в пустыне было одно село, все его жители были слепы. И вот пришел в это село великий царь со своей армией; он сидел на огромном слоне. Слепые узнали об этом, они много слышали о слонах, и их охватило жгучее желание — пойти потрогать, пощупать их, чтобы иметь представление, что это такое. Пришли они (было их человек десять), стража их пропустила, вошли, поклонились царю, получили разрешение потрогать и пощупать слона. Один из них ощупал хобот, другой ногу, третий бока, а еще один — его поднимали на руках — ощупал ухо, а последнего посадили на спину слона и покатали… Радостные, они вернулись в село. Все слепые окружили их и нетерпеливо стали расспрашивать: что за страшный зверь слон? Первый ответил. «Слон — это огромная мощная труба, которая поднимается, вертится, и горе тому, кого она схватит!» Другой сказал: «Это какая-то волосатая стена, подобная крепости». Четвертый, который ощупывал ухо слона, молвил: «Ничего подобного, это совсем не стена; это — ковер из грубой шерсти; он шевелится». А последний крикнул: «Да какую же чепуху вы там мелете! Это огромная гора, которая путешествует».

Четверо друзей засмеялись.

— Мы и есть слепые, — сказал Яннакос. — Ты прав, отче, прости нас! Мы вертимся вокруг маленького пальца божьей ноги и говорим: бог — жестокий, бог — камень! А почему? Потому что не можем подняться выше.

— Мы не должны спрашивать, — сказал Михелис. — Наверно, бог что-то знает, раз он наказал Манольоса, но как же мы его увидим? Мы слепцы.

— Отец мой, — сказал Манольос, поднимая голову. — Мы, все четверо, в этом году связаны друг с другом неразрывно. Поэтому, мне кажется, будет правильно, если ты меня исповедуешь перед ними. Пусть они все узнают, за какую вину бог меня покарал и как я смогу вылечиться… Раз дьявол держится на моем лице, значит, я еще не раскаялся и бог меня не принимает…

— Ты прав, сын мой Манольос, — сказал священник. — Вот так поступали и первые христиане; они исповедовались перед всеми братьями, открывали свои грехи и все вместе находили путь к избавлению… Во имя господа бога, мы тебя слушаем, дорогой Манольос! Не забывай, что все мы грешники и что бог в эту минуту находится над нами и слушает тебя.

Манольос некоторое время сосредоточенно молчал, собираясь с мыслями. Перед ним прошла вся его жизнь — детство бедного сироты, которого с руганью и проклятиями воспитала его тетя Мандаленья, потом безмятежное отрочество в монастыре, поклоны в келье, монах Манасис, который рассказывал ему своим низким и приятным голосом об аскетах в Фиваиде, об апостолах на Генисаретском озере и о распятии Христа… какая же это была радость, какое царство небесное на земле! И вдруг, однажды утром, прибыл архонт Патриархеас со своими спутниками, и на монастырском дворе появился обоз, расстелили красные ковры, зазвучали радостные голоса…

Манольос поднял голову.

— Не знаю, отче, — сказал он, — с чего начать… Мысленно вижу всю свою жизнь… Помоги мне, отче, задавай вопросы. Спрашивайте и вы, братья!

— Не ищи начала, Манольос, — ответил ему отец Фотис, — нет начала, нет конца! Открой уста и скажи первое, что придет тебе на ум. Тогда ты увидишь, что слова — как черешни: одна тянется за другой и все вместе они образуют цепь… Закрой глаза, Манольос! Что ты видишь? Где ты находишься? Не думай, говори сразу!

— В доме попа Григориса. Там все старосты; большой совет принял решение и указал долг каждого в дни великой страстной недели, в том удивительном таинстве, которое разыграется в храме… Ко мне подходит поп Григорис, кладет руку мне на голову и благословляет меня: «Тебя, Манольос, бог выбрал, — говорит он мне. — Тебя бог избрал поднять тяжесть креста…» Сердце мое разорвалось на тысячу частей…

Манольос открыл глаза и заплакал; он вернулся к действительности.

— Сердце мое в ту минуту словно разорвалось на тысячу частей, — продолжал он. — Как будто это был флакончик с духами, который блудница Магдалина разбила у ног Христа, чтобы их омыть… С детства я отличался богатым воображением. Читая жития святых, я далеко уносился в мечтах. Я тоже хотел стать святым… И когда пошел в монастырь, только об одном и думал — о праведниках… Хотелось и мне отправиться в Фиваиду, и не есть, не пить, только творить чудеса. Вот видите, братья, с малых лет я грешил, дьявол поселился в моем сердце, и я загорелся. Мне хотелось творить чудеса — прости, господи! — чтобы прославиться! И когда я вышел из дома попа Григориса, в висках моих гудело, мне показалось, что село стало маленьким и я не помещался в нем, что я был уже не Манольос, работник старика Патриархеаса, неграмотный и недостойный, а избранник бога, перед которым великая задача: идти святыми местами по стопам Христа и уподобиться ему!

— Какая гордыня! — пробормотал Костандис. — И это ты, Манольос, такой тихий и скромный…

— Сын мой, Костандис, — сказал священник, — сердце Манольоса переполнено; дай ему излиться, а потом и ты выскажешь свое мнение.

— Вы меня простите, братья, — сказал Манольос, — в душе у меня сидел дьявол… Я стыжусь того, что говорю, но я исповедуюсь и должен все высказать, бог меня слушает.

— Говори, говори, Манольос, — сказал священник. — Не стесняйся. Сердце человека — яма, наполненная змеями, лягушками и свиньями. Освободи же свое сердце, чтоб тебе легче стало.

Манольос приободрился.

— Я пыжился, как индюк, ходил взад и вперед и повторял тщеславно: «Бог избрал тебя, Манольос, тебя!» Но однажды, спасибо тебе, Яннакос…

Он схватил руку Яннакоса и хотел ее поцеловать, но Яннакос неожиданно отдернул ее.

— Что с тобой, Манольос? Ты хочешь поцеловать мою руку?

— Да, Яннакос, — сказал Манольос, — потому что ты открыл мне глаза… И увидел я, что я — лицемер и обманщик. Помнишь, Яннакос, ты встретил меня около дома капитана и сказал, — спасибо тебе: «Обманщик! Обманщик! Ты хочешь быть подобным Христу, а сам собираешься жениться… И после распятия Леньо принесет тебе теплую воду, и ты умоешься; она принесет тебе чистое белье, ты переоденешься и ляжешь с ней, после распятия, на кровать!»

— Прости меня, Манольос! — закричал Яннакос и упал в объятия своего друга. — Ты не знаешь, какой демон в тот день сидел во мне…

Когда-нибудь и я вам исповедуюсь, и вы схватитесь за голову. Священник знает...

— Позвольте ему сказать, братья, пусть он выскажет все, чтобы облегчить душу, — сказал отец Фотис и попросил Яннакоса сесть. — Продолжай, Манольос! Тебе уже стало немного легче, ты чувствуешь это?

— Чем больше говорю, отче, тем легче мне становится... Исповедь — это важное дело, очень важное! Теперь я набрался смелости и выложу все, все!

— Мы слушаем тебя, сын мой, — сказал священник.

Он дотронулся до плеча Манольоса, как будто хотел передать ему часть своей силы.

— Говори, сын мой!

— Когда Яннакос в ту нашу встречу так обнажил мое сердце, я содрогнулся: передо мной была пропасть, и я остановился. «Тебе не стыдно, Манольос, — сказал он мне тогда, — ты думаешь, что распятие — это игра? Думаешь обмануть бога и людей? Любишь Леньо, мечтаешь спать с ней и хочешь изображать Христа? Позор тебе, обманщик! Прими решение, лицемер!» И с той минуты я принял решение: не жениться! Не трогать женщину! Остаться чистым!

Яннакос опять не сдержался.

— Я правильно сказал, Манольос, ты святой! — закричал он.

— Подожди, подожди, — возразил Манольос, — услышишь и схватишься за голову! Еще я не дошел до самого большого греха... Я принял решение насчет Леньо, я поссорился с моим хозяином и решил подняться на гору, в уединение, подальше от искушений. Там, наверху, говорил я, на чистом воздухе я предам себя Христу... И вот в ту минуту, когда я вышел на тропинку и чувствовал себя уже совсем избавленным, у колодца святого Василия, недалеко от села, меня ждало искушение...

Манольос вздохнул, вытер платком лицо, которое снова начало сочиться. Он долго молчал, и его руки дрожали.

— Мужайся, Манольос, — сказал священник, — я еще больший грешник, чем ты! Когда-нибудь и я исповедуюсь перед вами, и волосы у вас встанут дыбом. Я, которого вы перед собой видите, запятнал свои руки человеческой кровью, дьявол оседлал меня как-то раз... Я был тогда молод, кровь моя кипела. Я был пастухом и спустился в село отпраздновать пасху со своими товарищами. Я нес на плечах ягненка, чтоб зажарить его на вертеле. Был полдень, цвели деревья, земля благоухала. Мы все, крестьяне, расселись на траве, зажгли костры и вертели пасхальных ягнят над огнем. Для начала мы уже зажарили на углях печенку, выпили, и сердца наши разгорячились. Ягненок изжарился, мы положили его на траву, я взял длинный нож, отточил его и собирался разделить жаркое на части. И как раз в эту минуту нашло на меня искушение, и я закричал: «Эх, если б попался мне сейчас какой-нибудь поп, я бы его зарезал!» Сам дьявол, говорю вам, подсказал мне эти слова, потому что сам я был поповским сыном и уважал попов, — завидев какого-нибудь попа на дороге, я подбегал поцеловать у него руку, — а это я сказал так, в шутку, ибо мы выпили и у меня было хорошее настроение. Но какой-то пьяный из соседней компании, услышав это, засмеялся и закричал мне: «Ну вот, сзади тебя стоит поп. Сдержи свое слово, если ты мужчина!» Я обернулся, увидел попа, бросился на него и зарезал.

Отец Фотис перекрестился и замолчал; молчали и все остальные, охваченные ужасом. Каждый заглянул внутрь себя, увидел свою душу и содрогнулся. Сколько убийств, сколько недостойных и позорных поступков перемешалось там, но ты притворяешься честным, потому что боишься! Твои жестокие страсти остаются всю жизнь скрытыми, неудовлетворенными; они отравляют твою кровь, но ты сдерживаешься, обманываешь людей и умираешь добродетельным и уважаемым человеком. Внешне ты как будто и не сделал в своей жизни ничего плохого, но бога ведь не обманешь!

— Я хуже тебя, отче, — произнес наконец Михелис сдавленным голосом, прерывая молчание. — Когда мой отец заболевает, я чувствую сатанинскую безмятежность; какой-то дьявол внутри меня поднимается и танцует, потому что мой отец мне надоел... Мне кажется, что он стоит передо мной как помеха, и мне не терпится, — хочу, чтобы он умер. Чтобы умер человек, который родил меня и которого я люблю! Я не знаю, какая душа у преступника, но душа честного, доброго человека — это ад. Ад, который вмещает всех демонов. И мы называем хорошими людьми и хорошими христианами тех, кто сдерживается, скрывает своих демонов в душе и не дает им выскочить наружу — совершать дурные поступки, красть, убивать... Но все мы в глубине души — прости мне, господи! — бесчестные люди, воры, убийцы!

Разрыдался и Яннакос — он тоже заглянул в себя и ужаснулся. Но священник поднял руку.

— Дети мои, — сказал он, — придет когда-нибудь и наша очередь исповедоваться, но сейчас очередь Манольоса. Затворите ваши сердца, а его сердце уже раскрыто, пусть он закончит… Говори же, Манольос, — ты видел, слышал? Мы хуже тебя, я, поп, и Михелис — добрый, сострадательный Михелис, честь вашего села!

Манольос вытер глаза, полные слез, и, осмелев, продолжал:

— Искушение, братья, поджидало меня у колодца и улыбалось мне: это была вдова Катерина, блудница нашего села. Ее губы были накрашены, шея голая, я видел ее разделенные ложбинкой груди… Кровь бросилась мне в голову, я потерял рассудок. Она говорила со мной, просила меня, я страстно желал наброситься на нее, но боялся людей, боялся бога и прошел мимо… Я убежал от нее, но унес с собой ее образ, он остался у меня в голове, в крови, — днем и ночью я думал только о ней. Я делал вид, что думаю о Христе, — ложь, ложь, я думал о ней! И однажды вечером я не выдержал, умылся, причесался и пошел по тропинке вниз с горы, пошел к вдове. Я говорил себе: иду, чтобы спасти ее душу; иду, чтобы поговорить с ней и вернуть ее на путь божий… Ложь, ложь! Я шел, чтобы поспать с ней. И тогда…

Манольос снова остановился. Он прерывисто дышал. Все обернулись и посмотрели на него с сочувствием. Манольос как бы таял у них на глазах, с его распухшего лица капля за каплей, стекала мутная жижа и застывала на усах и бороде.

— И тогда пришло спасение… — дополнил священник, схватив руку Манольоса и поглаживая ее своей ладонью. — Я понял, понял, Манольос, я увидел тайную тропу, которую избрал Христос, чтобы спасти тебя. Великое чудо, братья! Кто может предсказать, какими странными, неожиданными путями приходит спасение к нам… Тогда вдруг ты почувствовал, что твое лицо распухло, стало комом омерзительного мяса, превратилось в сплошную рану, из которой сочится гной… Это не дьявол, Манольос, прилип к тебе, — это бог наложил на тебя маску, чтобы спасти тебя. Бог пожалел тебя!

— Не понимаю, не понимаю, — прошептал Костандис.

— И я тоже, я тоже… — прошептали остальные друзья.

Только Манольос молча вздыхал.

Поп Фотис гладил руку Манольоса, как будто хотел сделать его боль менее мучительной.

— Ты шагал, Манольос, к пропасти, ты уже находился у ее края, а бог прилепил к твоему лицу эту страшную маску, и ты остановился. Ты шел согрешить, поспать с вдовой, но с таким лицом мог ли ты взглянуть на нее? И как бы она посмотрела на тебя? Тебе стало стыдно, и ты пошел обратно. Вернулся — и спас себя!

Закрыв лицо большим платком, Манольос молчал. Время от времени его грудь вздрагивала от сдерживаемых рыданий. Он прошептал: «Слава тебе, господи!» — и снова умолк.

Трое друзей склонили головы. Они со страхом почувствовали, что бог следит за ними, как лев; иногда мы ощущаем его дыхание, слышим его рычание, видим в темноте его сверкающие глаза…

Священник как будто прочел их мысли.

— Один глаз, дети мои, находится в нас самих, — сказал он, — и следит за нами днем и ночью; одно ухо находится в наших сердцах и слышит все; это — бог.

Тут Михелис крикнул:

— И как бог еще оставляет нас живыми на этой земле? Почему он не уничтожит нас, чтобы очистился мир?

— Потому, Михелис, — сказал священник, — что бог похож на гончара: он работает с глиной.

Но у Яннакоса не хватило терпения.

— Слова хороши, отче, — сказал он, — но перед нами больной. Не можешь ли ты возложить на него свою руку и прочесть какую-нибудь молитву? Может быть, мы сообща попросим бога, чтобы он явил свое милосердие?

— Манольос, — ответил отец Фотис, — не нуждается ни в молитвах, ни в заклинаниях, ни в амулетах. И молитвы других не вылечат его.

Внутри его днем и ночью, медленно и неустанно зреет его спасение. Вы видели, дети мои, как прячется зимой червяк в коконе? Он становится уродливым, грубым, омертвелым. Но внутри, в темноте, медленно готовится его освобождение. Постепенно под безобразным саваном образуются нежный пушок, блестящие глаза и крылья. И однажды, весенним утром, он прорывает свой саван и выходит в виде бабочки; точно так же в нас самих созревает спасение... Ободрись же, Манольос, продолжай идти этой дорогой, в твоем распухшем лице твое спасение, — верь в это!

— До каких же пор, до каких же пор, отче? — спросил Манольос, подняв голову и умоляюще смотря на отца Фотиса.

— Ты торопишься, Манольос?

— Нет, — ответил пристыженный Манольос. — Бог знает, чего и когда он хочет.

— Бог никогда не торопится, — сказал священник. — Он неподвижен, он видит будущее, как будто это уже прошлое, он трудится в вечности. Оставь бога в покое, пусть он работает в тишине. Не поднимай головы и не спрашивай; каждый вопрос — это грех.

Солнце стояло уже высоко в небе, ярко освещая всех пятерых. За это время они стали близкими людьми и смотрели теперь друг на друга с нежной любовью.

За горой послышалась свирель Никольоса, по-прежнему радостная, нетерпеливая, полная страсти.

— Никольос... — сказал Михелис и улыбнулся. — Он тоже изливает свою душу.

Все прислушались. Пастушеская песня рассказывала, смеялась, танцевала в горячем воздухе. Бабочка, белая, с розовыми пятнами, покружилась над людьми и села на седые волосы отца Фотиса. Она пошевелила крыльями, засунула свой хоботок в седины, как будто приняла их за расцветшие кусты, потом вспорхнула, поднялась высоко и исчезла в солнечных лучах.

Опять послышался голос Манольоса:

— Отче, братья, простите меня, и бог пусть мне простит! Мне стало легко, с моего сердца как будто снят тяжелый камень. Я все увидел, спасибо тебе, отче, — я все понял, все принимаю! Эта болезнь мне представляется теперь крестом, и я его несу, поднимаясь на гору. Я теперь знаю, что после распятия наступает воскрешение, и я с готовностью поднимаю свой крест! Помогите мне и вы, товарищи, чтоб я не упал!

— Все вместе! — крикнул поп и поднялся. — Сегодня утром я говорил со своими на горе; ведь и мы идем вверх, мы тоже несем тяжелый крест, спотыкаемся, мучаемся, спешим... Я говорил с ними, призывал их: все вместе! Только этот призыв, говорил я им, спасет нас! Все вместе! Все вместе, и мы будем спасены!

— А как же тогда быть с болью, болезнью, с грехами? — спросил Яннакос.

— Все эти черви, — сказал священник, — тоже могут стать бабочками.

И он произнес слова, которые только что читали четыре друга:

— «Блаженны плачущие, ибо они утешатся».

Костандис обрадовался; священник как бы объяснил ему непонятные слова.

— Что означает, батюшка, слово «утешатся»? — спросил он.

— Они утешатся, ибо найдут лекарство от своей боли. Счастливы те, которые страдают, потому что только они почувствуют, как велико и отрадно милосердие бога, в то время как те, которые не страдают, никогда не узнают этого небесного успокоения. Таким божественным даром является боль... Ты слышишь, Манольос?

Но Манольос обессиленно опустил голову на плечо Михелиса, закрыл глаза и спокойно уснул. Товарищи осторожно подняли его, положили на соломенный матрац и на цыпочках вышли из сарая.

— С этим сном опустилась на него небесная благодать и укрыла его, — сказал священник. — Оставим его сейчас, дети мои, на милость бога. Пошли!

Они вышли на тропинку один за другим и молча начали спускаться. Впереди шел священник с непокрытой головой, седые волосы спадали ему на плечи.

Было далеко за полдень, когда Манольос проснулся и, открыв глаза, увидел, что в полумраке у его изголовья сидит, скрестив ноги, и смотрит на него Панайотарос. Взгляд его покрасневших глаз был неподвижен, от него сильно пахло вином.

— Добро пожаловать, брат Панайотарос, — сказал Манольос и улыбнулся.

Но Панайотарос не отвечал; склонив над Манольосом свою тяжелую рыжую голову, он неотступно смотрел на него. Нижняя губа отвисла, обнажились большие, острые, желтые зубы.

— Я тебе зачем-нибудь нужен? — спросил Манольос и вздрогнул: ему показалось, что он видит дурной сон.

Панайотарос как бы с трудом открыл рот — голос его звучал грубо, язык заплетался.

— Целый час я сижу здесь и смотрю на тебя, — сказал он, заикаясь.

— Я тебе нужен, брат мой? — снова спросил Манольос. — Почему ты так на меня смотришь?

— Я не могу иначе на тебя смотреть, — гневно и жалобно воскликнул Панайотарос. — Не могу.

И через некоторое время добавил:

— Ты погубишь меня, Манольос!

— Я? — удивился Манольос и сел на матраце. — Я? Что я тебе сделал?

— Ты, проклятый, сделал все плохое, что только может один человек сделать другому! Ты отнял у меня, несчастного, все хорошее, что у меня было! Я больше не могу! Я пришел и принес тебе подарок… Ждал, пока ты проснешься, чтоб отдать его тебе. На, возьми!

Он сунул руку за пазуху, вынул длинный нож с широким лезвием и положил его Манольосу на колено.

— Возьми его, — процедил он сквозь зубы. — Будь ты проклят и убей меня, заверши дело, которое начал! Большую награду ты получишь. Убей меня!

— Панайотарос, брат мой, — закричал Манольос, — что я тебе сделал, зачем ты так говоришь со мной? Почему я должен тебя убить?..

И он хотел взять его за руку, по Панайотарос возмущенно оттолкнул его.

— Не трогай меня! — закричал Панайотарос. — Оставь при себе свои слащавые слова, мне противно их слушать! Убей меня! Кончай, говорю тебе, дело, которое начал! Зачем мне теперь жить? Убей меня!

Манольос разразился плачем.

— Что я тебе сделал, брат Панайотарос? — прошептал он снова.

— У меня есть люди, — ответил Панайотарос, — они следят за Катериной, куда бы она ни пошла. Одна старуха, ее соседка, которой я плачу, днем и ночью подглядывает за Катериной в дверную щелку. Она видела, как позавчера, ночью, ты тайком вошел к ней в дом и полтора часа провел у нее. И с этой ночи Катерина больше не открывает мне дверей. Не желает, чтоб я попадался ей на глаза, а сама, как рассказывает мне старуха, сидит дома и плачет… О ком она плачет? Из-за кого отказывается есть и пить? Из-за кого теперь не открывает мне своей двери? Из-за тебя, из-за тебя, проклятый! Из-за тебя, на которого человеку взглянуть противно! Я узнал, до чего ты дошел, и обрадовался. Я говорил себе: наконец-то я избавился от этого негодяя, который корчил из себя святого. Увидит Катерина, каким он стал уродом, и разлюбит его. Тогда и я от него избавлюсь. Но ты не постеснялся, пошел с такой рожей к ней домой и пробыл там полтора часа. Чем ты ее околдовал? Вместо того чтобы возненавидеть, она полюбила тебя еще сильнее и теперь от горя убивается и повторяет твое имя, прокаженный! Каждый день я избиваю до полусмерти свою жену, но не нахожу облегчения; я мучаю своих дочерей, но не успокаиваюсь.

Я закрыл свою мастерскую, пьянствую, шатаюсь по дорогам, детишки бегают за мной и дразнят меня словом, которое для меня словно нож в сердце… Ты знаешь, что это за слово… знаешь! Будь проклят тот час, когда этот козлобородый поп позвал меня в свой дом! С того дня я стал погибшим человеком! Пропала моя голова, я не могу больше терпеть, и вот я принес тебе сегодня нож. Встань, Манольос, и, если ты мужчина, убей меня! Я целую тебе руку, убей меня, и тогда я отдохну.

Манольос уронил голову на колени и разрыдался.

«Что я могу сделать? — думал он. — Как я могу спасти эту дикую душу, которая запуталась в своей большой любви и не может, не хочет спастись?»

— Перестань, шут! — закричал в бешенстве Панайотарос. — Бери нож, говорю тебе, не бойся, я хорошо наточил его, вот моя шея! Убей меня!

И он вытянул свою толстую бычью шею перед Манольосом.

— Почему же ты не убьешь меня? — спросил Манольос.

— Что я этим выиграю? — безнадежно ответил Панайотарос. — Ведь горе мое станет сильнее, — я навсегда потеряю Катерину. А вот если ты убьешь меня, я спасусь, и мы оба попадем в ад.

Сказав это, он сам неожиданно заплакал.

Он плакал навзрыд и весь трясся, голова его раскачивалась перед Манольосом.

Манольос бросился к нему — Панайотарос не успел даже отклониться, — обнял его и, плача, заговорил:

— Прости меня, брат Панайотарос, прости меня. Я больше никогда не увижу ее, больше не переступлю ее порога. Я скоро умру, и ты спасешься. Клянусь тебе, я умру! Разве ты не видишь, до чего я дошел? Я гнию заживо и скоро умру, не плачь, брат мой!

Панайотарос мычал, как теленок. Но вдруг резким движением сбросил с себя руки Манольоса, вскочил и, спотыкаясь, сделал два шага к двери. Хотел перешагнуть порог, но оступился и рухнул во весь рост на пол.

Манольос бросился к нему, желая поднять его, но тот уже сам поднялся и, пошатываясь, так как еще не протрезвел, не переставая стонать, стал спускаться с горы.

По дороге, еще на горе, он встретил Никольоса с отарой. Панайотарос набросился на овец, стал швырять в них камни. Испуганные овцы разбежались.

— Эй, эй, — закричал Никольос в ярости. — Не тронь овец!

Но Панайотарос, не обращая на него внимания, продолжал швырять камни и, громко бранясь, гонял овец.

— А ну, взять его! — приказал тогда пастушонок двум своим собакам, которые вертелись рядом, высунув языки.

Овчарки набросились на Панайотароса, а тот, опершись спиной о скалу, поднимал с земли огромные камни и отбивался ими. Собаки лаяли и кидались на него, он тоже спьяна начал лаять и бросаться на них, но колени у него подгибались, он падал, вставал и снова падал. Разъяренные собаки наскакивали на него, одна схватила его за ногу и не отпускала, другая подпрыгнула и укусила его в подбородок — борода Панайотароса окрасилась кровью.

— Взять его, взять его! — злобно кричал Никольос.

Услышав крики и лай, Манольос побежал защитить пьяного, а пастушонок смотрел, смеялся и кричал:

— Оставь их, хозяин, оставь их, пусть разорвут его!

Манольос закричал на собак, отогнал их палкой, потом хотел помочь Панайотаросу, но тот уже успел убежать и спускался по склону, по-прежнему неистово бранясь.

Никольос поднялся на высокий камень, сложил руки рупором и крикнул:

— Иуда!.. Иуда!..

Эхо разнесло эти слова по скалам.

— Замолчи! — крикнул ему Манольос. — Разве тебе его не жалко?

— Иуда! — снова прокричал Никольос и кинул вслед удалявшемуся Панайотаросу большой камень.

Ночь уже спустилась на поля, захватила подножье горы и поднималась вверх. Мир погружался в темноту. Собаки, прерывисто дыша, улеглись у ног Никольоса и зализывали свои раны. Огромный баран Дасос стоял, позвякивая колокольчиком, и ждал, когда соберутся вокруг него овцы, чтобы отправиться в кошару.

Манольос вошел в сарай, прикрыл подушкой окоченевшие ноги, потом повесил на стену над своим матрацем икону с изображением распятия.

— Господи, — прошептал он, — коснись своей рукой его сердца и исцели его! Он тяжко страдает, а ты всемогущ, — прекрати же его муки и утешь его!

ГЛАВА VIII

Прошло несколько дней после «недели исповеди» — так назвали ее позднее, когда Манольоса уже не было в живых, — после того дня, когда он раскрыл и излил свое сердце перед друзьями.

Земля и солнце трудились на славу, начали созревать хлеба, отцвели колосья, зерно делалось твердым, поля покрылись маками. Маленькие птички-певуньи таскали соломинки, волосы, комочки глины и строили свои гнезда. Самки, растопырив крылья, высиживали птенцов, а напротив них на ветках сидели самцы и ободряюще щебетали.

Иногда шел освежающий дождь, затем вновь появлялось солнце, разгоняло тучи и продолжало выполнять свою извечную работу — помогать птицам и людям.

Старик Патриархеас ел, пил и ворчал: то на Леньо — в нее словно бес вселился, так она рвалась замуж, и, забросив все домашние дела, каждую свободную минуту бегала в горы, — то на своего сына, который, как хилый старец или отъявленный бездельник, проводил целые дни за чтением.

— Пусть читают монахи, — сердился старик, — и учителя, а сын архонта должен любить вкусно поесть, должен понимать толк в старых винах и уметь соблазнять чужих жен. Михелис, ты позоришь наш род!

Михелис изредка навещал свою невесту Марьори, возвращался от нее печальный и молчаливый, и тогда старик в отчаянии качал головой. «Мой отец, — думал он, — бывало, садился на лошадь, уезжал то в одно, то в другое село, где у него были подруги, и привязывал поводья к ручке двери. Если муж любовницы видел лошадь отца, то сворачивал с дороги и ждал, пока уйдет мой отец. У меня тоже были подруги, я ходил к ним тайком, ночью, как вор, и весело проводил у них время. А у этого — невеста, но, прости меня, боже, сдается мне, что он едва осмеливается дотронуться до ее руки! Как же не вянуть ей, бедняжке, как ей не стать чахоточной? Ведь женщина подобна цветку базилика — она вянет, если ее не поливать... Пришел в упадок род Патриархеасов, выдохся, все идет к черту!»

Старик Ладас часто останавливал Яннакоса на улице и говорил ему:

— Яннакос, верни мне три лиры, верни с процентами, иначе я продам, несчастный, твоего ослика — знай это! Я и так бедный человек, а ты хочешь меня разорить!

У попа Григориса дела шли плохо: много прошло времени, но не было ни венчаний, ни крестин, никто из односельчан не умер.

Гробовщик выходил из дому и, прикрыв рукой глаза от солнца, смотрел в сторону села, но никто не шел к нему; он прислушивался —

никто не пел псалмов!

— Хоть бы кого-нибудь черт прибрал, — бормотал он, — а то умрут мои дети с голоду!

А вдова, запершись в своем доме, никому не открывала дверей. Панайотарос часто бродил около, вдрызг пьяный, выкрикивая угрозы; здоровые парни изнывали от скуки, не знали, куда девать силы, и начали уже крутиться вокруг честных женщин.

— Будь проклята эта вдова! — роптали те, у кого были красивые жены. — Притворяется порядочной, и мы не можем отойти от своих домов — все чаще и чаще эти парни поют любовные песни под нашими окнами. Честь села в опасности!

Каждый день, к вечеру, собирались усталые односельчане в кофейне Костандиса. Они целый день трудились на земле, черпали воду, поливали огороды и баштаны и теперь курили наргиле, изредка бросали короткую фразу и снова замолкали. В селе не было ни одного дурачка, чтобы дразнить его и смеяться над ним; не было даже какой-нибудь певчей птицы, вроде сороки или дрозда, чтобы, слушая ее свист, похожий на человеческий, можно было коротать время. Все одно и то же… Все сделались серьезными, и Панайотарос, который иногда являлся во хмелю, уже не развлекал их, потому что он совсем озверел и, едва кто-нибудь принимался дразнить его, хватал камни и швырял их в насмешника. Позавчера он разбил очки учителю, сидевшему в кофейне, влепив камень ему прямо между бровями.

Иногда ага заставлял женщин танцевать под амане, потому что у него было печальное и тоскливое настроение. Но что за танец по принуждению? Им быстро надоедало танцевать, они уходили, а посетители кофейни снова брались за наргиле, и в кофейне воцарялась прежняя скука. Случалось, что пьяный ломал себе ногу или кто-нибудь ловил вора на баштане. Тогда на минуту поднимался крик, но тут же угасал, и снова все погружалось в прежнюю тишину.

И вот однажды утром по селу неожиданно разнеслась страшная весть: Юсуфчика нашли убитым в его постели!

Старая служанка аги, Марфа, рано утром тайком ускользнула из дому и, дрожа, пошла навестить старуху Мандаленью.

— Пропало наше село! — сказала она ей, когда они вдвоем заперлись в комнате. — Пропало, Мандаленья! Юсуфчика убили!

— Кто же это сделал, дорогая Марфа? Известие, которое ты мне принесла, подобно огню! И этот огонь спалит нас всех! Кто же мог это сделать?

— Ночью никто не входил в дом; в доме находились только ага, Юсуфчик, сеиз и я, больше никого не было! Скажи христианам, пусть они остерегаются, и если кто из них может уйти из села, пусть уходит, пусть уходит! У меня есть одно подозрение, но я не уверена, поэтому молчу!

Сказала — и исчезла; сгорбившись, заковыляла она к дому аги и больше не выходила оттуда.

А старуха Мандаленья накинула на себя черный платок, побежала от двери к двери и с тайной, необъяснимой радостью распространяла страшное известие. Мужчины оставили свои дела и собрались в кофейне в ожидании дальнейших событий. В раздумье смотрели они на балкон аги, но там все было закрыто — и двери и окна. Только время от времени доносились оттуда дикие крики, выстрелы, звон разбитого стекла, а потом снова наступала тишина.

Встревоженные старосты и старики собрались у попа Григориса. Сердце архонта Патриархеаса чуть не разрывалось от ужаса.

— Если не найдется убийца, — говорил он, шепелявя больше, чем обычно, — если не найдется убийца, мы погибли! Он отправит нас всех на каторгу! А если он напьется, то может нас и повесить!

— Наложит на всех штраф, чтобы искупить преступление, — вздохнул старик Ладас.

— Закроет церковь и школу и будет истреблять наше племя, — сказал учитель.

Поп Григорис ходил взад и вперед по двору, нервно перебирая четки. Он чувствовал, как стягивается на его шее веревка, видел на виселице уже все село.

«На мне лежит ответственность, — думал он. — Бог мне доверил души моих односельчан. Возьми моих овец, повелел он мне, и паси их. Непременно нужно найти убийцу!»

Он перебрал всех, одного за другим, строя разные предположения: кто бы мог убить этого проклятого турчонка? Но ни на ком не остановился. И все-таки, без всякого сомнения, убийцей мог быть только христианин! В селе всего три турка, — ага, сеиз и Юсуфчик. Все остальные — христиане! Беда, убийца — христианин! Село погибнет!

Примчался запыхавшийся Костандис.

— Ага бегает по дому с пистолетом, стреляет и разбивает все, что попадается под руку, — табуретки, бутылки, горшки, а потом садится рядом с убитым Юсуфчиком и ревет... Мне это сказала горбунья Марфа.

Дверь опять открылась — вошел Яннакос.

— Сеиз вышел на балкон и трубит.

Потом появился еще кто-то.

— Он послал своего глашатая пройти по селу; теперь тот стоит на площади и кричит.

— А что он кричит?

— Ума не приложу, отче. Краешком уха я услышал какие-то имена, но какие, не понял...

— Пошел ты к черту! — пробормотал старик Патриархеас, и вены у него на шее так вздулись, что казалось, вот-вот разорвутся.

— Пусть кто-нибудь пойдет и узнает, — предложил поп Григорис. — Будь добр, пойди ты, Яннакос.

Но в эту минуту голос глашатая послышался совсем близко... Все побежали к двери, приоткрыли ее. Глашатай остановился на перекрестке улиц, откашлялся, стукнул палкой о камни и поднял голову. Раздался его зычный, напевный и монотонный голос, и люди со страхом застыли на порогах своих домов, слегка приоткрыв двери.

— Эй, односельчане, эй, райя! Слушайте внимательно! Приказ аги! Поп Григорис, старосты Патриархеас и Ладас, учитель Хаджи-Николис и седельщик Панайотарос, которого называют Гипсоедом и Иудой, — все вы должны немедленно явиться к аге! Остальная райя должна сидеть у себя дома и ждать. Никто не должен находиться в кофейне или на улице! Эй, райя, эй, односельчане, я кончил! Я все сказал!

Костандис поддержал старика Патриархеаса, чтоб тот не упал, помог ему сесть на лавочке, а Марьори подбежала и принялась обмахивать его. Старик Ладас прислонился к стене смертельно бледный, широко открыв рот, словно ему не хватало воздуха. Яннакос пожалел его и подошел к нему.

— Успокойся, Ладас! У тебя есть какое-нибудь поручение ко мне?

Старик Ладас растерянно посмотрел на него.

— Кто это такой? Ты, Яннакос? — спрашивал он, и слюни текли у него изо рта.

— Да, это я, Яннакос, бродячий торговец! Я тебя спрашиваю, есть ли у тебя какое-нибудь поручение?

Глаза старика Ладаса оживились.

— Несчастный, — закричал он, — верни мне три лиры, или я тебя уничтожу.

Тем временем поп Ион Григорис вошел в свою комнату, надел на шею серебряный крест с изображением распятия на одной стороне и воскресения Христа — на другой, взял посох с ручкой из слоновой кости и перекрестился перед иконой.

— Христос мой, — прошептал он, — в эту трудную минуту помоги мне, помоги христианам! Будь милосерден к нашему селу! Не дай мне унизить себя!

Он поклонился иконе и снова посмотрел на спокойное, ласковое лицо Христа.

— Христос мой, — повторил он, — не дай мне унизить себя!

Он снова перекрестился и вышел во двор.

— Пошли, братья, — сказал он спокойным и торжественным голосом. — Вперед, старик Патриархеас, не забывай, что ты архонт! Ведь архонт не тот, кто ест и пьет лучше остальных, а тот, кто в час опасности идет во главе своего народа и защищает его. Покажи теперь свое архонтское достоинство, иди впереди! И ты, старик Ладас, будь добр, не позорь наше село! Не вздумай плакать перед агой, будь смелым! Мы не виновны, но если суждено умереть, чтоб спасти село, мы с радостью примем смерть! Я люблю земную жизнь, но еще больше — загробную; мы находимся на пороге — позади земля, впереди небеса, пусть решает всемогущий! О тебе, Хаджи-Николис, я ничего не могу сказать! Ты столько лет рассказывал детям о героях Греции и мучениках христианства, и вот тебе представляется случай вспомнить их славу и показать на деле, как ее добывают! Пусть ученики твои не увидят тебя бледным и дрожащим. Стой перед смертью, как герой и мученик! Готовы ли вы, братья?

— Готовы, — ответил старик Патриархеас и с трудом поднялся. — Не беспокойся, отче, тело мое страшится, но душа тверда. Я не опозорю нашего села!

Поп Григорис еще раз оглядел своих товарищей.

— У деда Ладаса развязался пояс, — сказал он, — с него штаны спадут. Яннакос, стяни-ка ему пояс потуже, чтобы он нас не осрамил.

Яннакос подошел, затянул пояс старику Ладасу, а тот во время этой операции стоял, подняв руки, и, как ребенок, разрешал за собой ухаживать.

— Вытри ему еще рот, Яннакос, у него слюни текут, — приказал поп Григорис. — Прощай, моя Марьори!

— Пошли, — сказал Хаджи-Николис, — мы главы села, все люди на нас смотрят. Во имя бога и Греции!

Перекрестившись, они перешагнули порог. Впереди шел поп, за ним трое старост, позади Яннакос и Костандис.

— Слушай, Костандис, почему ага позвал к себе и несчастного Панайотароса? Какое отношение он имеет к старостам?

— Его видели, говорят, вчера в полночь. Он вертелся около дома аги, был чертовски пьян и грозил…

— Но при чем здесь Юсуфчик? Он же гоняется не за ним, а за вдовой?

— Что тебе сказать, Яннакос? Ага взбесился, сам не знает, что делает. Его служанка Марфа твердит, будто ага хочет сесть верхом на лошадь, скакать по селу и убивать всех встречных! Спаси и помилуй нас, господи!

Двери домов приоткрывались, и люди смотрели на старост, медленно шествующих к дому аги. Все крестились, как будто проходила похоронная процессия.

— Пусть старостам теперь зачтется все то, что они съели, все то, что они сделали в жизни, — сказал один старик. — Они расплачиваются за все и искупают свои грехи.

Старосты шли не торопясь, как будто прощались со всеми. Время от времени поп Григорис поворачивал голову к дверям или к окнам.

— Не бойтесь, христиане, — говорил он. — Велик наш господь!

Несчастный Ладас почти повис на руке старика Патриархеаса.

— Архонт, — твердил он плаксиво, — иди со мной рядом, поддерживай меня.

Старик архонт нагнулся к нему.

— Ты боишься? — спросил он.

— Боюсь, — ответил Ладас умирающим голосом.

— Я тоже боюсь, — сказал архонт, — но делаю вид, что не боюсь, — таков мой долг.

Старый скряга покачал головой, но ничего не ответил.

Старосты теперь проходили мимо дворика вдовы. Катерина открыла калитку и хотела им сказать: «Не падайте духом, архонты! Не падайте духом!» — но не осмелилась.

Никто не посмотрел на нее; все даже ускорили шаг, как будто проходили по смрадному переулку, — еще немного — и заткнули бы носы.

Только Яннакос и Костандис приостановились.

— Добрый день, Катерина, — сказал Костандис. — Ты слышала глашатая? Уходи в дом!

— Ты Панайотароса видела? — тихо спросил Яннакос. — Ага и его позвал к себе.

— Давно я его не видела, сосед, — ответила вдова, — но, наверно, где-то здесь крутится, потому что только сейчас я слышала его голос, — он ругался с сеизом, который приходил за ним.

— Ну, уходи к себе, — повторил Костандис, — и запрись.

И они отправились дальше. На площади показался Михелис. Он подбежал к отцу.

— Михелис, — сказал старик, не останавливаясь, — до свиданья!

— Не расстраивайся, отец! — ответил сын и поцеловал ему руку.

Поп Григорис повернул голову.

— Михелис, — сказал он, — и вы, остальные, отправляйтесь домой! Мы сейчас входим в логово льва, но вместе с нами входит и бог. Не бойтесь!

Ворота дома аги были открыты настежь.

— С нами господь бог! — сказал поп, перекрестился и перешагнул порог. За ним последовали остальные старосты. Старик Ладас споткнулся, но его поддержал архонт Патриархеас.

Большой двор, вымощенный плитами, между которыми кое-где росла трава, был пуст. Слева, из маленькой двери конюшни, высунулась лошадиная морда; лохматая собака, лежавшая на навозной куче, подняла голову, тявкнула недовольно, но не встала, поленилась.

На пороге дома показался сеиз. Был он бледен, его правый глаз косил, нижняя челюсть дрожала; он не успел еще сегодня вычернить свои усы, и в них проглядывали седые жесткие волоски. Словно в большой праздник, был он одет в парадную форму, на его широком красном кушаке висела сабля.

Заметив их, он нахмурил брови.

— Снимайте обувь, гяуры, — заревел он. — Ага ждет вас.

Подошла горбатая старуха Марфа, помогла старостам снять туфли и поставила их в один ряд у порога.

— Смелее, мои архонты, — сказала она им вслед. — Смелее!

Поддерживая друг друга, они поднялись по узкой деревянной лестнице, вошли в комнату и остановились. Окна были плотно закрыты, и вначале они ничего не увидели, но почувствовали, что где-то в глубине прячется зверь, что зверь этот неотступно следит за ними, вот-вот прянет.

Старик Ладас прижался к архонту Патриархеасу и дрожал от страха.

Поп Григорис сделал шаг, потом другой, глазами отыскивая агу. В комнате пахло раки, дымом и нечистым человеческим дыханием.

Вдруг справа, из глубины комнаты, раздался страшный хриплый голос:

— Гяуры!

Все повернулись на звук голоса и увидели агу, закутанного, лежащего на огромной подушке. Он упирался ногами в стену, на поясе у него поблескивали большие серебряные пистолеты. Перед ним стояла высокая бутылка раки.

— Дорогой ага, — тихо сказал поп, — мы к твоим услугам.

— Гяуры! — снова заревел ага. — Сюда, сеиз!

Сеиз рванулся от дверей, где ожидал приказаний, и остановился около аги.

— Саблю наголо — и жди!

— Дорогой ага… — повторил поп.

Но ага не дал ему договорить.

— Гяуры! — крикнул он, — один из вас вонзил свои когти в мое сердце. Юсуфчика моего…

Но голос его прервался: слезы душили агу.

Он вытер глаза, наполнил стакан раки и выпил его залпом. Потом тяжело вздохнул, грохнул стаканом об стену, разбив его вдребезги.

— Кто же убил моего мальчика? — гаркнул ага. — Здесь только гяуры живут, значит, гяур его и убил! Не ты ли, пьяница Панайотарос?

Из дальнего угла послышался глухой рев. Все повернули головы и в полумраке увидели Панайотароса, привязанного к кольцу в стене. Наверно, ему разбили голову, — учитель, который стоял сзади других, увидел кровь, стекавшую с головы и шеи Панайотароса.

Ага снова повернулся к старостам.

— Я вас запру в темнице, — заревел он, — и каждое утро буду по одному вешать на платане! Пока не найдете убийцу! Я повешу сперва вас, главарей, потом всех остальных мужчин, а под конец повешу и женщин — уничтожу все село! Пока вы не найдете убийцу! Ты слышишь, козлобородый? Какой вред вам сделал мой Юсуфчик? Хоть когда-нибудь он тронул кого? Хоть когда-нибудь он сказал вам плохое слово? Сидел он на балконе, жевал мастику и пел. Гяуры, разве он причинил кому-нибудь из вас зло? Почему вы отняли его у меня?

— Дорогой ага, — начал опять поп Григорис, — клянусь всемогущим…

— Замолчи! Я выдерну по волоску твою бороду! Тебя я не повешу, бык, а посажу на кол! Что же плохого сделал вам мой Юсуфчик?

И он снова заплакал.

— Дорогой ага, — сказал старик Патриархеас, устыдившись, что священник один принимает на себя всю бурю, — дорогой ага, я всегда, и ты это знаешь, был верным…

— Замолчи, свинья! — заорал ага. — Тебя, старый осел, не выдержит веревка, так я возьму заржавевший нож и буду колоть тебя целую неделю, чтоб успокоить зуд в руках! Знаю я, гяур, что не ты его убил! Меня приводит в бешенство одна мысль: вы живы, а мой Юсуфчик лежит вон там, в соседней комнате, мертвый… Я встану и подпалю село с четырех сторон, чтоб сжечь всех вас, будьте вы прокляты!

Разъяренный ага вскочил на ноги.

— Кто там прячется за тобой, Патриархеас? Пусть покажется!

— Это я, ага, — пробормотал старик Ладас, у которого сразу подогнулись колени.

— А! А! — заревел ага, — я устрою царские похороны моему Юсуфчику! Из Стамбула я привезу имамов, чтобы пели ему псалмы, в Измире закажу факелы и благоухающий гроб из кипарисового дерева… А для этого мне нужны деньги, много денег… Я открою твои сундуки, скряга, и заберу у тебя все лиры!.. Для кого, думаешь, столько лет ты их копил? Для моего Юсуфчика!

Старик Ладас повалился на пол.

— Пожалей меня, ага, — захныкал он, — лучше убей меня, чтоб глаза мои не увидели такого зла!

Но ага уже повернулся к Хаджи-Николису.

— Эй, твоя милость, учитель, ты собираешь детей и учишь их — поэтому у тебя я оторву язык и швырну его моей собаке! Вы не имеете права жить, когда мой Юсуфчик мертв! Этого не вынесет мое сердце, сердечный приступ убьет меня! Сеиз, подай мне кнут!

Сеиз быстро снял с гвоздя кнут и подал его аге.

— Открой одно окно, чтоб я мог видеть их морды.

Ага в ярости поднял кнут. При свете, хлынувшем из окна, все увидели осунувшееся, постаревшее, изборожденное морщинами лицо измученного аги. В течение нескольких часов скорбь неузнаваемо изменила его. Усы поседели и повисли, закрывая ему рот, ага кусал их и в отчаянии рыдал.

Размахивая кнутом, ага начал избивать старост. Он хлестал их по рукам, по лицу, по груди. Ладас, едва успевший подняться, тут же снова упал на пол, и ага топтал старика ногами, потом вскочил на него и бил беспощадно, то плача, то визжа, то смеясь.

Слезы текли из глаз архонта Патриархеаса, но он молчал, стиснув зубы. Учитель прислонился к стене, подняв голову; кровь текла у него с висков и подбородка. А поп, стоя в середине с крестом в руках, принимал удары и шептал: «Христос мой, Христос мой, не дай мне унизиться!»

Ага шипел, кидался на них, бешено избивал, наконец устал и отшвырнул кнут.

— В темницу! — закричал он. — На каторгу! Завтра заработает виселица!

Он подошел к Панайотаросу и плюнул в него.

— В темницу! — снова выкрикнул он. — И виселица начнет работать с него, с Гипсоеда!

Повернулся к сеизу.

— Принеси мне моего Юсуфчика… — сказал он, задыхаясь.

Сеиз открыл дверь. Было слышно, как он тащит железную кроватку, в которой рано утром нашли плававшего в крови пухленького турчонка.

Ага припал к нему с рыданием и начал целовать его.

Сеиз отвязал от кольца Панайотароса, схватил с пола кнут, принялся размахивать им в воздухе с криком:

— В темницу, гяуры!

И вытолкал всех пятерых на лестницу.

Тем временем все село было охвачено ужасом. Опустели улицы, закрылись мастерские. Спрятавшись в своих домах, райя прислушивалась к тишине и дрожала от страха. Иногда какая-нибудь тень скользила от двери к двери и приносила известия: «Старосты еще не вышли из комнаты… Там крики и выстрелы…» Потом появлялась другая тень: «Старост погнали в тюрьму… Сеиз спустился на площадь, принес веревку и мыло и оставил это все под платаном…» А еще через некоторое время третья тень сообщала: «Ага угрожает, что если не найдется убийца, то он, ага, подожжет село со всех сторон и всех нас уничтожит!»

— Пропали! Пропали! — визжали женщины и обнимали своих детей.

А мужчины, опустив голову, проклинали тот день, когда они стали райей.

Только Пенелопа сидела во дворе под виноградным кустом и спокойно, будто неживая, вязала носок. Она услышала, что арестовали мужа, что ага хочет повесить его на платане, а село превратить в землю Мадиам… Она на минуту склонила голову, подумала безразлично: «Ну вот, кончено и с ним…» и продолжала лихорадочно вязать носки для мужа.

А Яннакос сидел в конюшне и разговаривал со своим осликом.

— А что ты думаешь, мой Юсуфчик? Плохи наши дела, совсем плохи, как я посмотрю… Ага, говорят, хочет подпалить село, а вместе с ним и тебя, мой Юсуфчик. Ну, а ты что думаешь? Не удрать ли нам с тобой вечерком? Детей, собак у нас нет, что нас держит? Или, может быть, нехорошо покидать односельчан в опасности? Что твоя милость скажет, мой Юсуфчик? Кроме тебя, у меня ведь никого нет, с кем бы я мог посоветоваться. Тебе я доверяю свои заботы. Что твоя милость на это скажет, мой Юсуфчик?

Но ослик уткнулся мордой в ясли и спокойно жевал, слушая голос своего хозяина, похожий на журчанье воды… Ему казалось, что хозяин говорил ласковые слова, и он радостно помахивал хвостом.

К вечеру начали робко открываться двери и на улице показались любопытные. Первым открыл дверь Михелис и направился к дому попа навестить свою невесту. Пошел и Костандис открыть свою кофейню, но, вкладывая ключ в замочную скважину, он заметил стоящую под платаном табуретку, а на ней какие-то вещи. Издалека он не мог разобрать, что это такое, а когда подошел, то сразу отскочил в страхе: веревка и мыло! Он снова повесил на пояс ключ и, крадучись, перебегая от одной стены к другой, вернулся домой.

Обычно в часы, когда сгущаются тени и в воздухе веет прохладой, ага любил сидеть на балконе, скрестив ноги, рядом с Юсуфчиком, который угощал его раки и разжигал ему трубку. Но сегодня вечером все двери и окна плотно закрыты, балкон пуст, а ага горько рыдает, — как лжива, обманчива его любимая песня: «Жизнь и сон — одно и то же…» Ага держит на руках мертвое тельце. «Это не сон, — думает он, — это не сон, будь все проклято; это правда!» И ага рыдает…

А сеиз вытирает свои заплаканные косые глаза, ходит взад и вперед, тоже повторяет тихим голосом: «Юсуфчик мой…» — и дрожит: как бы не услышал хозяин. Минутами злоба переполняет его. Тогда он хватает кнут, спускается в «темницу», в подвал дома, в бешенстве накидывается на узников и начинает их бить, рыча, как и его ага…

Потом, немного успокоившись, поднимается наверх и ходит вокруг железной кроватки. Однажды, видя, что ага лежит, совершенно одурев от боли и от вини, сеиз нагнулся над нежным тельцем мальчика и страстно поцеловал Юсуфчика в рот, жадно укусил его побледневшие, хрустящие губы, еще пахнувшие мастикой — и тоже свалился на пол…

А в подвале поп Григорис привстал и толкнул Панайотароса.

— Проклятый Иуда, — сказал он ему, — может быть, и вправду ты убил Юсуфчика? Тогда признайся, и мы избавимся от страшной опасности, и спасется наше село… Признайся, и я благословлю тебя и отпущу все твои грехи.

— Да пошли вы все к черту! — заревел Гипсоед и вытер кровь, капавшую с его разбитой головы. — Пусть идет к черту все село, чтоб вы все сгорели, и я вместе с вами, и чтоб все кончилось!

— Ты его убил, проклятый! — пробормотал Патриархеас и прислонился к стене, переводя дыхание. — Ты, ты, Иуда!

— Все вы сволочи! — снова заорал седельщик. — Да на что он мне был нужен?

Замолчал, но тут же вскипел и крикнул опять:

— Вы сами меня убили, будьте вы прокляты! Вы, вот этот козлобородый поп, и вы, старосты, и ты, учитель! Вы и подлая вдова, которая перестала открывать мне дверь. Вы, все вы!

Он не мог успокоиться, ему не терпелось высказать все, что наболело у него на душе.

— Иуду из меня хотели сделать, Иудой я и сделался! — зарычал он.

— Признайся, что ты его убил, и Христос тебя простит, Панайотарос, — настаивал поп, смягчая свой голос. — До сих пор все души односельчан были на моей совести, теперь они на твоей, Панайотарос! Поднимись же наверх и признайся, чтобы спасти всех нас!

Гипсоед насмешливо расхохотался.

— Да, теперь, когда я все понял, клянусь адом, я бы хотел быть его убийцей и потащить вас с собою в самую преисподнюю! Но другой — пусть будет свята его рука, — другой меня опередил! А то как было бы хорошо! Архонты, попы, скряги, учителя — все вместе со мной!

Старик Ладас приподнял свою удлиненную голову, в кровь исполосованную кнутом.

— Да, признайся, Панайотарос, — запищал он, — и я отдам тебе три золотые лиры. Я продам ослика Яннакоса, потому что он мне их должен, — продам и дам их тебе... Слышишь?

Панайотарос вытянул руку, сделал дулю и показал ее старику.

— Вот тебе, скряга, вот тебе три лиры!

В это время открылась дверь подвала, и показался ага.

— Гяуры! — загремел он. — С завтрашнего дня начинает работать виселица. Уже приготовлены под платаном веревка, мыло и табуретка. Завтра среда. Я начинаю с малого. Сперва повешу Панайотароса Гипсоеда; в четверг тебя, старый скряга; в пятницу — твою милость, учитель; в субботу — твою милость, старый осел Патриархеас; в воскресенье, во время вашей обедни, тебя, козлобородый поп! Вас пятеро, и я приготовил пять петель в тени платана — по одной для каждой шеи. Это будет первая партия. Потом я прикажу схватить еще пятерых, кто под руку подвернется, потом еще, еще и еще, пока не найдется убийца. И положу я под платаном своего Юсуфчика; я его не похороню, не закрою ему очей, — пусть он вас видит, и пусть радуется его душа!

Выкрикнув свои угрозы, он вышел, в бешенстве хлопнув дверью, за которой его ждал сеиз с кнутом в руке.

— Сеиз, — сказал ему ага, — ты тоже, бедняга, плачешь!.. Вытри глаза. Стыдно, чтоб видели гяуры, как мы плачем. И пойди поищи Яннакоса, бродячего торговца. Передай ему, пусть сбегает в Большое Село и купит для меня самого дорогого ароматного ладана, свеч, факелов, черного муслина и конфет и все это принесет мне завтра рано утром... И моток толстой веревки, потому что очень уж тяжелы козлобородый поп и этот кабан Патриархеас... Ступай!

Но Яннакос уже удрал, и напрасно стучал сеиз в его двери. Яннакоса не было дома — он пошел на гору, чтобы встретиться там с Манольосом и известить его обо всем, да так и не вернулся в село, чтобы не попасть в лапы аги.

Манольос уже подоил овец и поставил котел с молоком на огонь. Никольос взбалтывал мешалкой молоко и тихо напевал.

— Что с тобой, Никольос, ты поешь и прыгаешь, как козел, словно тебе мало места на горе? — спрашивал иногда Манольос, которого радовали веселый нрав и ловкость пастушонка.

— Эх, Манольос, — отвечал подросток, — ты забываешь, что мне пятнадцать лет! Вот потому, хозяин, мне и тесно в этом мире.

Однако эти слова не мешали Никольосу отлично чувствовать себя в объятиях Леньо, когда она приходила к нему на гору. В такие минуты он уже никуда не стремился. Леньо вполне устраивала его.

Молоко кипело, а Манольос сидел у печки и при свете огня перелистывал и изучал свое маленькое евангелие... Другой радости у него не было. Часто он не мог объяснить себе значения отдельных слов, но сердцем понимал все, и самые главные мысли из евангелия освежали его, как холодная ключевая вода, и придавали ему уверенность в своих силах.

Как будто крылья выросли — так легко стало у него на душе! Словно впервые встретился он с Христом, словно впервые услышал его голос! В первый раз он увидел, что Христос смотрит на него и говорит ему тихо, призывно: «Следуй за мной!» И Манольос, недавно познавший счастье, молча шел за Христом то по свежей траве Галилеи, то по песчаным берегам Генисаретского озера, то по острым камням Иудеи... А вечером он ложился под оливковым деревом и смотрел сквозь его серебристые листья, как мигают звезды, как голубеет ночное небо, чувствовал, как прозрачен и легок воздух, как хорошо пахнет земля!

Позавчера он вместе с Христом ходил на чью-то свадьбу в небольшое соседнее село Кану. Христос вошел в дом, словно жених, и все обрадовались, когда увидели его, все зарделись, как невесты. Поклонились невеста и жених, приглашенные расселись за столами и начали есть и пить. Христос поднял стакан, поздравил молодоженов, сказал несколько очень простых слов, но молодожены почувствовали, что их свадьба — святое таинство, что женщина и мужчина — это два столпа, которые поддерживают землю и не дают ей упасть… Пир был в разгаре, когда вдруг кончилось вино. Богоматерь повернулась к своему сыну и сказала: «Сын мой, вино кончилось…» Проснулись силы, дремавшие в Христовой груди; в первый раз он собирался протянуть руку, повелевая природе изменить свою сущность. Как орленок, робко расправляющий сильные крылья в первом своем полете, медленно поднялся Христос, вышел во двор, наклонился над шестью ямами с водой… И озарил их Христов лик, и, окруженная его сиянием, вода превратилась в вино… Христос повернул голову к Манольосу, который вышел за ним во двор, и улыбнулся ему…

В другой раз, вспомнил Манольос, было очень жарко, тысячи людей собрались на берегах озера, а Христос вошел в лодку. Манольос тоже вошел вместе с ним, впитывая всей душой его добрые слова, подобные зернам пшеницы… Сеятель вышел сеять свое зерно… И чувствовал Манольос, что в сердце его, как в плодородной почве, прорастают брошенные в нее зерна, появляются первые всходы, превращаются в зрелые колосья, а колосья — в огромный хлебный каравай с глубоко вырезанным на нем большим крестом.

А как-то раз шли они спелой нивой. Был полдень, им захотелось есть, и Христос протянул руку, сорвал колос. То же сделал и один из учеников, а за ним и Манольос. И все остальные стали рвать колосья и есть их. Как сладка была эта зеленая пшеница, полная молока, как насыщались его тело и душа! И над ними щебетали ласточки, и тоже летели за Христом, как ученики, чьи ноги были обвиты скромными полевыми цветами. Так и шли они и были богаче, чем сам царь Соломон.

Однажды какой-то фарисей пригласил их к себе домой. Манольос остановился у порога и стал смотреть. С каким презрительным снисхождением принял фарисей Христа в своем господском доме! Он не обмыл ему ног, не умастил благовониями его волос, не дал ему целования… И вот в то время, когда они молча ели, в воздухе вдруг заблагоухало, и в комнату вошла какая-то женщина с обнаженной грудью, с золотистыми волосами. В руках она держала алебастровый сосуд с драгоценным маслом. Манольос вздрогнул, увидев ее… Кто эта женщина? Где-то он уже видел ее, но не помнит, где? А женщина, опустившись на колени перед Христом, разбила сосуд с миррой, вылила его на святые ноги, а потом распустила свои волосы и, плача, вытерла ими ноги Христа… И Христос наклонился, возложил руку на ее белокурую голову и сказал мягким голосом: «Прощаю тебе, сестра моя, все грехи твои, потому что ты горячо полюбила…»

Манольос закрыл маленькое евангелие, радость переполнила его сердце. Он посмотрел вокруг себя: огонь еще весело горел, но в лачуге уже стало темно. Никольос ходил взад и вперед и, тихо напевая, готовил ужин.

Сердце Манольоса было полно нежности и счастья; он больше не мог таить его в себе, он жаждал им поделиться с людьми. Страстное желание зародилось в его душе: ему захотелось встать и проповедовать слово божие камням, овцам, людям.

— Эй, Никольос, — крикнул он, — оставь ужин, сядь около меня. Хочу, чтоб ты услышал слово божие, чтоб и ты стал человеком, а то ведь ты совсем дикарь.

Пастушонок повернул голову, взглянул на Манольоса и засмеялся.

— Да не хочу я, Манольос, оставь меня, мне и так хорошо… Или, может быть, ты хочешь, чтобы у меня испортилось настроение?

— Я тебе почитаю евангелие, ты должен понять его сладость…

— Почитаешь, когда я захвораю. Мне и так хорошо… Я накрыл на стол, давай ужинать.

— Мне есть не хочется, ешь один, — сказал Манольос, снова раскрыл евангелие, наклонился к пламени и прочитал:

— «Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за мною;

ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее;

какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?»

Манольос почувствовал смысл этих слов евангелия. Он закрыл глаза — с одной стороны душа, с другой — весь мир, и душа стоит дороже. Зачем бояться смерти, зачем преклоняться перед сильными мира сего, зачем дрожать, страшась потерять земную жизнь? Душа твоя бессмертна, чего же ты боишься? Ее-то и нужно спасти!

Яннакос давно уже стоял у порога и смотрел в глубь лачуги, но никто его не замечал. Никольос сидел к нему спиной и был занят едой. Он ел и ел, набираясь сил, — скоро придет Леньо, кто знает, может, даже сегодня, и нужно быть сильным, чтобы бороться с ней. А Манольос закрыл глаза и, казалось, испытывал величайшее блаженство…

«Да, он пребывает в раю, — подумал Яннакос, — если я с ним не заговорю, он никогда оттуда не выйдет. Дай-ка я заговорю!»

— Эй, Манольос, — крикнул он, перешагнув порог. — Эй, Манольос, добрый вечер!

Манольос вздрогнул, испугавшись звука человеческого голоса.

— Кто там? — спросил он, с трудом открывая глаза.

— Уже забыл мой голос, Манольос? Я, Яннакос!

— Извини меня, Яннакос! Я был очень далеко, не узнал тебя. Какими судьбами тебя занесло к нам в такое время?

— Беда, Манольос! Ты находишься в раю, я же, прости меня, несу тебе известия из ада.

— Из села?

— Из села. Сегодня утром нашли Юсуфчика убитого, ага взбесился, схватил Григориса, всех старост и Панайотароса и бросил их в подвал, а с завтрашнего дня начнет их вешать. Петли уже приготовлены на ветвях платана, завтра ага начнет с бедняги Панайотароса… А потом, говорит, повесит и всех остальных; грозится уничтожить все село, если не отыщется убийца. Плач стоит в селе. Мы как в ловушке! Пропали наши головы! Я пришел тебе сказать, Манольос, чтоб ты не спускался в село, а то и тебя схватят. Тебе тут хорошо, ты в безопасности!

В глазах Манольоса зажегся странный свет. «Вот удобный случай, — подумал он, — вот удобный случай убедиться, есть ли у тебя бессмертная душа!»

Но он не показал своей радости. Он прислушивался к прерывающемуся голосу друга, голосу, в котором звучало отчаяние, а сам неотступно повторял про себя: «Вот подходящий случай, вот он! Если я его пропущу, я погиб!»

— Ты ужинал, Яннакос? — спросил он.

— Нет, Манольос, но я не хочу есть.

— Я тоже не хотел, но теперь проголодался. Мы поедим, поговорим, и ты останешься здесь, переночуешь у нас. А завтра, когда господь пошлет нам утро, посмотрим!

Яннакос удивленно посмотрел на друга.

— Как ты можешь говорить так спокойно, Манольос? Неужели ты ничего не понял? Наше село в опасности!

— Я знаю убийцу, — ответил Манольос, — не бойся, село не погибнет.

— Ты знаешь убийцу? — вытаращил глаза Яннакос. — Откуда ты его знаешь? Кто он, кто?

— Не торопись, — сказал Манольос улыбаясь, — ну что ты торопишься? Завтра обо всем узнаешь, потерпи немного. Теперь мы поужинаем, поговорим и ляжем спать. Все будет хорошо, с божьей помощью! Эй, Никольос, освободи нам место, мы тоже проголодались!

Уселись, поджав под себя ноги, перекрестились и набросились на еду. Время от времени Яннакос с недоумением посматривал на Манольоса: на его распухшем, обезображенном лице глаза светились спокойно и радостно.

«Ничего не понимаю… ничего не понимаю!» — думал Яннакос.

Тишина тяготила его, и он заговорил.

— Как ты проводишь время в таком уединении, Манольос? — спросил он.

— Я не одинок, — ответил Манольос, показывая на евангелие. — Со мной Христос.

— А болезнь?

Слова застали Манольоса врасплох; он о ней забыл.

— Какая болезнь? А, да, грешен я, Яннакос! Не оставляет она меня. Наверно, зло еще сидит во мне, пусть бог сжалится надо мной!

— Ну, я вас покидаю, — сказал Никольос, вытирая губы. — Луна сегодня такая, что не спится, пойду прогуляюсь.

Взял посох и ушел, насвистывая.

— Яннакос, — сказал Манольос, — завтра нам нужно встать пораньше, ложись спать. Здесь, в уединении, сон крепкий, я это знаю. Бог чаще говорит со спящими, чем с бодрствующими.

Для того чтоб было прохладнее, они расстелили большой ковер прямо во дворе и легли. В воздухе пахло тимьяном, изредка слышались какие-то ночные голоса, подчеркивающие царящую кругом тишину, взошла ущербная луна.

— Я беспокоюсь о несчастном Панайотаросе, который не может заснуть сегодня.

— И я, — тихо сказал Манольос. — Он меня больше всех заботит.

— И я о нем больше всех думаю, а почему?

— Потому что он погубил себя из-за большой любви, Яннакос! У него сильная, но грешная душа. Он запутался в страстях, озверел, рвется, чтобы освободиться, но, увы, запутывается еще больше… Он избивает людей, пьянствует, бранится, чтобы забыться и облегчить душу, но тем еще больше отягощает ее и опускается на самое дно… Если бы он любил меньше… не меньше, — тут же поправился Манольос, — если бы он любил больше, может статься, и спас бы себя…

— Клянусь головою, что не он убил Юсуфчика, — сказал Яннакос, которому хотелось поговорить. — Да скажи наконец, Манольос, кто его убил? Скажи, чтоб я успокоился. Неужто и впрямь Панайотарос?

— Спи, Яннакос, спи! Нет, не он.

— Слава тебе, господи! — сказал Яннакос удовлетворенно и закрыл глаза.

Манольос тоже закрыл глаза, ему хотелось поскорее остаться наедине с собою. В последнее время ему нравилось даже днем закрывать глаза; казалось, что так он яснее видит свою душу.

В последнее время он часто вспоминал слова одного монаха. Как-то однажды к отцу Манасису пришел схимник и пробыл у него целый день; он только на минуту открывал глаза, а затем снова быстро их закрывал. «Открой глаза, отче, — сказал ему Манасис, — открой их, чтоб увидеть чудные творения бога». — «Я закрываю свои глаза, — ответил ему схимник, — и тогда вижу того, кто создал эти творения».

Точно так же теперь и Манольос закрывал глаза, чтобы видеть Христа и слышать его голос. Он прочитывал какой-нибудь стих из евангелия, а потом закрывал глаза и словно продолжал куда-то идти. В нежном сумраке он ясно различал Христа, одетого в белое… За ним двигались его ученики, — и он, Манольос, тайком шел последним в этом шествии.

— Завтра у нас много работы, — прошептал он, закрывая глаза, — трудной работы, помоги мне, Христос! Помоги, Христос! — вздохнул он снова, как будто умолял, как будто призывал в ночи Христа.

И Христос пришел. Когда на рассвете Манольос проснулся и перекрестился, у него в голове сверкнул последний сон — яркий, как утренняя звезда. Будто шагал он по берегу какого-то голубого озера; он торопился, раздвигал камыши и кусты и шел вперед. Но пока он шел, камыши и кусты превращались в тысячи мужчин и женщин, следовавших за ним. Подул ветер, и тогда все, начали кричать: «Убейте его! Убейте его!»

Он пробовал уйти. Но кто-то сильной рукой схватил его за плечо, и чей-то голос произнес: «Веруешь?» — «Верую, господи!» — ответил Манольос, и ветер тут же прекратился, а мужчины и женщины снова превратились в камыши. И перед ним возник огромный, раскидистый платан, на котором щебетали ласточки, а на одном суку висело чье-то тело и, как колокол, раскачивалось в воздухе. Манольос вздрогнул и сделал движение, будто хотел уйти, но тот же голос снова произнес: «Иди, не останавливайся!»

Он закричал и проснулся. «Иди, не останавливайся — это и есть глас божий!» — подумал он.

Манольос вскочил, умылся, причесался, надел свой лучший костюм, положил евангелие за пазуху и затормошил Яннакоса.

— Эй, Яннакос, — закричал он ему радостно, — проснись, лодырь!

Яннакос открыл глаза и залюбовался своим другом.

— Ты вырядился, как жених, Манольос, — сказал он, — глаза твои блестят. Какой хороший сон приснился тебе?

— Пошли, — сказал Манольос, — не будем терять времени, подумай, в каком страхе сейчас Панайотарос, подумай, в каком страхе сейчас наше село! Пошли скорее!

ГЛАВА IX

Какая великая радость — проснуться утром с мыслью, что ты принял важное решение. Манольос спускался с горы с удивительной легкостью, почти летел, не касаясь земли, — ему казалось, что архангелы раскрыли свои крылья и несут его от скалы — к скале, как маленькое, гонимое нежным ветерком облако.

За ним, задыхаясь, спешил Яннакос, но не мог догнать его.

— Мне кажется, у тебя крылья появились, Манольос! — кричал он. — Подожди немного, а то мне не угнаться за тобой!

А Манольос действительно чувствовал крылья под ногами и не мог замедлить свой полет. Разве мог он сказать крыльям: остановитесь, подождем Яннакоса!

— Хочу, но не могу, Яннакос, — крикнул он ему, — я тороплюсь!..

Такое же ощущение появилось у него еще тогда, когда он, закрывая глаза, следовал в своих грезах за Христом, дабы сеять доброе слово или в каменистую, или бесплодную почву, когда он летел, следуя за Христом из Генисарета в Иудею, когда он проходил с верными друзьями небольшие любимые селенья — Капернаум, Кану, Магдалу, Назарет, Самарию, когда посещал дорогие ему окрестности Иерусалима — Вифанию, Вифлеем, Вифавару, Иерихон, Эммаус... Вот так и сегодня летел Манольос... Словно шел по стопам Христа, спускаясь в Ликовриси... И все более невесомым становилось его тело, и он чувствовал, что по лицу пробегают мурашки и с него как будто спадает чешуя. Он чувствовал, что кожа становится мягкой и нежной, как сердцевина камыша!

Манольос замер в испуге; сердце его дрожало. Чья-то спокойная, ласковая, как горный утренний ветерок, рука коснулась его лица и погладила его.

Он уже был уверен, но еще не осмеливался ощупать лицо, чтобы больше не сомневаться.

«Чудо! Чудо!» — думал он и весь дрожал.

Подошел запыхавшийся Яннакос, поднял глаза, посмотрел на Манольоса и закричал:

— Дорогой Манольос, дорогой Манольос! — и бросился в его объятия.

Манольос провел рукой по лицу, жадно ощупывая его пальцами: дикое мясо растаяло, как воск, опухоль спала, лицо опять стало человеческим.

— Слава тебе, господи... — прошептал Манольос и перекрестился. — Слава тебе, господи! Бог простил мои грехи...

— Манольос, дорогой, — крикнул Яннакос, и губы его задрожали, — дай мне поцеловать твою руку... Ты победил искушение, твоя душа очистилась, с лица исчезло клеймо сатаны!

Яннакос протянул свою грубую руку и долго молча гладил лицо друга.

— Пошли! — сказал Манольос. — Нельзя терять времени!

Солнце взошло, уже весело пели петухи и лаяли собаки, но поля внизу еще тонули в прозрачном тумане. Вскоре друзья увидели Ликовриси.

Манольос повернулся к своему товарищу.

— Яннакос, — сказал он, — что бы я ни делал, что бы я ни говорил в селе, ты не удивляйся и не протестуй. Знай, что это не я говорю, а Христос, который повелевает мне; я просто выполняю его приказ. Ты понял, дорогой Яннакос?

— А что ты сделаешь? Что ты скажешь? — спросил Яннакос с беспокойством.

Ему вдруг показалось, что друг его прощается с ним.

— Я же тебе говорю, — скажу то, что велит Христос! Ничего больше! Я и сам толком еще не знаю, но я уверен, дорогой Яннакос, что слова придут ко мне... Ты передай Михелису и Костандису, чтоб они не поднимали шума...

— Что ты сделаешь? Что ты скажешь? — снова спросил испуганный Яннакос и остановился.

Манольос заговорил:

— «Иди! Не останавливайся!» — сказал мне Христос ночью, когда я спал. Иди и ты, дорогой Яннакос, не останавливайся. И не сомневайся! Разве ты не видел сейчас, как исчезло клеймо сатаны с моего лица? А почему, как ты думаешь? Потому что, по велению Христа, я рано утром отправился в путь; и не хныкал, а радостно бежал вперед. А ты мне кричишь: «Остановись!» Как же я могу остановиться, милый Яннакос? Христос идет вперед большими шагами.

Но Яннакос лишь покачал головой.

— Я тебе доверяю, Манольос, — сказал он. — Я своими глазами видел чудо на твоем лице. Но себе я не доверяю. Если ты сделаешь что-нибудь такое, что не под силу смертному человеку, я заору! Я завоплю, дорогой Манольос! Я человек, и, если что-нибудь с тобой случится, я тебя не оставлю, я буду драться!

— А если это веленье бога?

— Я буду драться, — повторил Яннакос, — и пусть бог меня простит!

— Давай лучше совсем не будем говорить! — сказал Манольос. — Лучше пойдем молча!

Они ускорили шаг и быстро дошли до села. Навстречу им выбежал Костандис.

— Братья! — закричал он, увидев их. — Куда вы идете? Вернитесь обратно! Я сейчас шел вас предупредить, чтоб вы не спускались; ужасное дело готовится сегодня в селе!

— Как Панайотарос? — спросил Манольос.

— Его петля уже на суку платана. Сеиз сегодня утром протрубил в свою трубу и приказал всем жителям села, мужчинам и женщинам, собраться на площади у платана, чтобы они посмотрели и ужас вселился в их сердца.

— Пошли назад! — крикнул испуганно Яннакос и повернулся к горе. — Пойдем с нами, Костандис!

— У меня жена и дети, я их не оставлю; но вы, во имя господа бога, идите обратно! Возвращайтесь!

— Мы, — сказал Манольос, продолжая шагать, — мы пойдем вперед, во имя господа бога! Пойдем, Яннакос, не бойся! Кто-то идет впереди и зовет нас. Разве ты не видишь?

Костандис только сейчас заметил, что лицо Манольоса опять стало чистым и красивым.

— Дорогой Манольос, — закричал он, — как же свершилось это чудо?

— Так, как свершаются все чудеса, — ответил Манольос улыбаясь, — спокойно, просто, тогда, когда никто не ожидает этого… Не будем терять времени, братья, — пошли!

Он взял за руку Костандиса и вместе с ним быстро зашагал к селу. За ними шел Яннакос, что-то бормоча себе под нос.

— Костандис, милый, — убеждал Манольос, — не бойся! Село не погибнет. Я знаю убийцу и потому так тороплюсь.

— Кто он? Кто? — радостно крикнул Костандис. — Бог тебе открыл во сне? Кто он?

— Не спрашивай, не останавливайся, шагай! — сказал Манольос, и голос его звучал одновременно повелительно и ласково.

Все трое ускорили шаг и через несколько минут ворвались в село, словно три быстроногих коня.

Громко и тревожно пела труба сеиза, открывались двери, выходили люди. Испуганные женщины и мужчины крестились и бежали на площадь.

— Мужайтесь, братья! — крикнул им Яннакос. — Бог велик!

— Пошел к черту, дурак! — гаркнул на бегу какой-то старик, державший за руку своего внука. — Если бог велик, то пусть он накажет убийцу!

Дед Христофис, проходя мимо них, крикнул:

— Юсуфчика несут к платану — с зажженными факелами, облитого мускатной миррой, осыпанного конфетами. Овдовел ага и совсем лишился рассудка.

Христиане большими группами и в одиночку торопливо бежали к платану.

Михелис издалека увидел своих друзей и направился к ним. Он был бледен и печален, но, взглянув на лицо Манольоса, радостно вскрикнул и обнял друга.

— Манольос, ты выздоровел, выздоровел! Слава тебе господи!

— Как Панайотарос? — спросил Манольос.

— Сейчас его приведут. Его сильно избили, у него уже нет сил сопротивляться…

Они подошли к площади. Солнце стояло высоко, заливая село ярким светом; веял тихий ветерок, и старый платан радостно шумел молодой листвой. Поднимали глаза старики и с ужасом смотрели на него: сколько раз и прежде, просыпаясь поутру, они видели на его ветвях качающиеся тела христиан, повешенных только за то, что они возвышали свой голос, требуя свободы.

Раздался грозный окрик сеиза:

— Дорогу, дорогу, гяуры!

Огромный, он шел впереди, прокладывая путь в толпе; за ним двое носильщиков тащили железную кровать с убитым турчонком; розы и жасмин покрывали его с головы до ног, и только бледное с искусанными губами лицо, обрамленное кудрявыми волосами, оставалось открытым. У изголовья кровати стоял дар аги убитому — глиняная вазочка с хиосской мастикой, чтобы он жевал ее и после смерти…

Со связанными сзади руками, с разбитой головой, с кровоподтеками от ударов кнута, еле передвигая ноги, плелся Панайотарос. Только глаза его еще жили, и он с ненавистью смотрел по сторонам на односельчан.

— Неужели тебе не жалко женщин и детей? — крикнул ему кто-то. — Признайся!

Разозленный Панайотарос остановился.

— А меня кто пожалеет? — прорычал он.

Он подошел к платану, прислонился к корявому стволу дерева и старался плечом вытереть пот, градом катившийся по его лицу.

Тем временем носильщики поставили кроватку с Юсуфчиком в тени платана, зажгли две большие свечи у его ног и пролили душистую мирру в таз с раскаленными углями.

Манольос и его товарищи пробились через толпу и остановились у самого платана, рядом с убитым мальчиком. На минутку Панайотарос повернул голову и посмотрел на них. Его глаза покраснели, он несколько раз дернул руками, как будто хотел освободиться от веревок, и сделал шаг вперед.

— Будь ты проклят, Манольос! — завопил он и, обессилев, снова прислонился к платану.

— Утешься, брат! — ответил ему Манольос. — Надейся на бога.

Панайотарос хотел опять что-то сказать, но в эту минуту растворились ворота дома аги и толпа издала крик ужаса, пронесшийся подобно ветру:

— Ага!

В суконных шароварах, расшитых серебром, подпоясанный широким красным кушаком, на котором висели серебряные пистолеты и кинжал с черной рукояткой, без шапки, с распухшими от слез глазами, ага шел, тяжело ступая, стараясь не упасть и не уронить своего достоинства. Греки уставились на него, и ему было стыдно, что он пьян и не может твердо держаться на ногах, что все видят его страдания. Он смотрел на всех исподлобья, как бык, воспаленными глазами. Изредка он поднимал правую руку, выдергивал отдельные волоски из выкрашенных тушью усов и отбрасывал их в сторону. Он шел, оставляя за собою острый запах мускусных духов.

Остановившись под платаном, он даже не взглянул на труп Юсуфчика, боясь снова разрыдаться. Сеиз схватил Панайотароса, повалил его у ног аги и придавил к земле.

Ага поднял руку, и послышался его голос — разбитый, совсем хриплый:

— Гяуры! Ежедневно я буду вешать одного из вас, пока вы не выдадите убийцу. Все село пройдет через этот платан! На одной чаше весов мой Юсуфчик, на другой — весь мир! Я перевешаю вас, гяуры!

Чем больше говорил ага, тем больше свирепел, топая ногами о землю, как норовистый конь. Он злобно смотрел на мужчин и женщин, ему хотелось как можно скорее всех уничтожить. От него валил пар. Он наклонился, начал топтать Панайотароса; на губах аги выступила желтая пена.

— Подлый гяур, — орал он, — это ты его убил? Ты убил моего Юсуфчика?

Панайотарос молчал.

Ага вспотел, устал и повернулся к сеизу.

— Вешай его! — приказал он.

Но в эту минуту послышался голос:

— Постойте! Погодите! Я знаю убийцу!

Сеиз убрал руку с шеи Панайотароса, толпа радостно зашумела, все обернулись на голос; ага тоже повернул голову.

— Кто это сказал? — крикнул он. — Пусть покажется!

Манольос спокойно вышел вперед и остановился перед агой. Сеиз тоже шагнул вперед, насторожился, его нижняя челюсть задрожала, лицо посерело.

— Ты знаешь убийцу? — спросил ага, схватив Манольоса за руку и бешено тряся его.

— Да, я знаю убийцу.

— Кто он?

— Я.

Толпа зашумела еще радостней, женщины начали креститься, лица прояснились — село спасено!

— Замолчите, гяуры! — крикнул ага, поднимая кнут.

Яннакос замахал руками, закричал: «Неправда! Неправда!» Костандис и Михелис старались пробиться к аге. Они тоже кричали, но толпа заглушила их голоса.

— Молчите! Молчите! Он его убил, не говорите ничего, — мы спасены!

Сеиз ухмыльнулся, ринулся вперед, чтобы схватить Манольоса и накинуть ему на шею петлю, но ага оттолкнул слугу в сторону, подошел и посмотрел Манольосу прямо в глаза.

— Ты, гяур? — вскричал он.

— Да.

— Ты его убил?

— Я же сказал, — вешай меня! Освободи Панайотароса, он невиновен.

Панайотарос вытаращенными глазами смотрел на Манольоса. Ничего не понимая, он то открывал, то закрывал рот и не мог вымолвить ни слова… Неужели Манольос убийца? «Нет! Нет! — отвечал он самому себе. — Этого не может быть! А что, если он делает это ради моего спасения, будь он проклят?»

— Я не хочу! — закричал он и забился на земле.

Сеиз схватил кнут.

— Замолчи, гуяр!

Ага совершенно протрезвел и испытующе смотрел на Манольоса, стараясь понять его.

— Почему же? Что он тебе сделал?

— Дьявол меня подстрекал, и я убил, хотя мальчик ничего мне не сделал, ага! Когда я спал, я услышал чье-то повеление: «Убей его!» В полночь я спустился в село и убил его. Больше меня не спрашивай, вешай меня!

Приготовив петлю, сеиз кинулся к Манольосу и схватил его за руку.

В толпе раздался чей-то пронзительный, отчаянный крик:

— Он невиновен, ага, не верь! Он невиновен! Невиновен! Невиновен!

— Замолчи, подлая! — закричали все вокруг, и женщины бросились к Катерине, чтобы заткнуть ей рот.

— Да ведь он делает это ради спасения села! — продолжала кричать вдова. — Неужели вам его не жалко?

Но женщины уже швырнули ее на землю и топтали ногами.

— Манольос мой! Манольос мой! — кричала вдова, пытаясь вырваться.

— Он невиновен, невиновен! Невиновен! — закричали тогда и трое друзей, которым удалось наконец пробиться к аге.

— Ага, — сказал Михелис, — я головой ручаюсь, что этот человек не убийца… Он наш пастух, святой человек, — не трогай его!

Слушая крики, ага смотрел на Манольоса, на своего Юсуфчика. Он был в бешенстве, не зная, на что решиться. Все спуталось. У него кружилась голова. «Кто он — убийца или, может быть, сумасшедший? — думал ага, смотря на Манольоса. — А может, святой? Шайтан меня возьми, я ничего не могу понять!»

Ага разъярился, рассвирепел. Повернувшись к сеизу, показал рукой на Манольоса.

— В темницу его! А завтра я приму решение!

Потом повернулся к толпе.

— Будьте вы прокляты, гяуры! Прочь с моих глаз!

Толпа расходилась, испуганная и радостная. Соседи и соседки собирались кучками и славили бога за то, что нашелся убийца.

— Ты веришь, что это сделал Манольос? — говорил один другому. — Но ведь он святой человек…

— Не ломай себе голову, сосед! Он, не он, какое нам дело? Хватит того, что он признался; его повесят, а мы спасемся! Остальное все чепуха. Бог его простит!

— Но ради чего он это делает? Не понимаю! Ведь он, конечно, не убийца, или, во всяком случае, не сам он его убил.

— А, ты не знаешь Манольоса? Он странный человек, немного не от мира сего! Делает это, говорят, чтобы спасти село… Ты слышишь? Пожертвовать собой, чтобы спасти других! Будь у него хоть капелька ума, разве он поступил бы так? Никогда! Поэтому оставь его, пусть погибает!

Трое друзей собрались в доме Михелиса. Яннакос бил себя по голове кулаками.

— Я виноват, я! Я наивный дурак. Я не должен был разрешать ему спускаться в село. Я не должен был говорить ему о случившемся… Но разве я мог знать, что так получится?

— Он святой… — прошептал Михелис. — Он жертвует своей жизнью, чтобы выручить село из беды…

— Мы должны спасти его! — сказал Костандис в отчаянье. — Должны… должны!

— Если б у меня хватило сил поступить так, как поступил Манольос, я бы не хотел, чтобы меня спасли, — сказал Михелис. — Вы видели, как сияли его глаза? Как светилось его лицо, спокойное и счастливое? Он уже в раю, зачем же спускать его на землю? Дай бог, чтобы и мы были с ним вместе!

— Но мы можем это сделать! — взволнованно воскликнул Яннакос. — Сейчас же пойдем все трое и скажем аге, что это мы ночью, втроем, пробрались в его дом и убили Юсуфчика. И пусть нас всех вешают подряд на платане; так все вместе и войдем в рай!

Михелис покачал головой.

— У меня нет сил для этого, Яннакос, — сказал он. — Как же я оставлю Марьори?

— И я не могу, — сказал Костандис. — У меня жена и дети.

«И я тоже, — подумал Яннакос, — у меня ослик, как же его оставить?»

Но он ничего не сказал.

Тем временем в подвале старосты, прислонившись к стене, ожидали решения своей участи. Сюда, в подвал, где они находились, не доходили гул и крики внешнего мира. Через единственное, высоко расположенное, оконце едва проникал слабый, мертвенный свет.

— Есть хочется… — вздохнул старик Патриархеас.

— Все мы хотим есть и пить, — сказал поп Григорис. — Бог с нами в этой львиной яме, надейтесь на него.

— Сейчас, наверно, вешают беднягу Панайотароса, — сказал учитель. — Завтра наша очередь. Давайте будем мужчинами, победим голод, жажду и страх.

Он повернулся к своему соседу.

— Будь терпелив, дед Ладас, — сказал учитель, — теперь ты видишь, что я был прав, когда столько раз говорил тебе: «Для чего ты так гонишься за богатством, дед Ладас? Ведь ни один из твоих сундуков с золотом не попадет с тобой в могилу. Сделай какое-нибудь доброе дело; оно предстанет вместе с тобой перед богом и защитит тебя». Что ты теперь скажешь? Ты не передумал?

Старик Ладас вздохнул; потом, повернув к учителю свое исхудалое, поблекшее лицо, посмотрел на него с ненавистью, но не сказал ни слова.

— Завтра твоя очередь, дед Ладас, — сказал поп Григорис, — ты предстанешь перед богом, поэтому ты должен исповедаться. Склони голову, вспомни, какие хорошие поступки ты совершил за свою жизнь, вспомни, что ты сделал плохого, и проси прощения у бога. Еще есть время.

— Я никому не делал плохого, — пробормотал устало старик Ладас, — и добра тоже никому не делал, никого я не убил, я невиновен.

— Ты никому не сделал зла, дед Ладас? — крикнул Патриархеас. — Теперь, когда мы стоим на краю могилы, я обо всем расскажу. Не могу больше терпеть! Ты говоришь, никому не сделал зла? А кто продал дом вдовы Анезины? А сиротки, которые бродят по улицам? Да и свою собственную дочь, Аргирулу, разве ты не отправил на тот свет? Ты, ты, и все из-за своей скупости! Теперь иди к богу, отчитайся перед ним!

Старик Ладас вскипел, резко отодвинулся от стены.

— Осел обвинил петуха, что у него голова не варит! — запищал старик. — У тебя еще хватает наглости обвинять других! А если и я начну предавать гласности твои пакости, несчастный? Что делал ты в этом мире, архонтская свинья? Ты обжирался до пресыщения, ты поглощал бочки раки, бесчестил женщин, расплодил в нашем селе и всех окрестных деревнях своих незаконнорожденных детей… Всю жизнь ты бездельничал, был заодно с турками, рабски преклонялся перед ними и все время преподносил им подарки… Старосты, епископы, попы — все они заодно с турками… Да и свою жену, которая была святой женщиной, разве не ты убил? Не могла она вынести твоего распутства. Это ты ее отправил на тот свет!

Патриархеас бросился на старика Ладаса и начал его душить, но остальные разняли их.

Старик Ладас был взбешен. Всю жизнь он держал язык за зубами, молчал, притворялся глупцом, униженно кланялся, лгал, чтобы быть в хороших отношениях с сильными мира сего. Но теперь, перед смертью, он не мог больше сдерживаться. Он хотел все высказать, излить всю свою злость, отомстить им, — пусть не думают, что они лучше его! Поэтому он все им выскажет — на что они ему нужны теперь?

Он повернул голову к попу.

— А твоя милость, святой Онуфрий, желающий меня исповедать, — заверещал Ладас, — с каким лицом, скажи мне, предстанешь ты перед богом? Ходишь взад и вперед по селу, чванишься, как петух, пожираешь горы продуктов, а если придет какой-нибудь бедняк в ту пору, когда ты набиваешь свое брюхо, и постучит в твою дверь, — ты, иезуит, говоришь ему елейным голосом: «Пусть господь бог тебе поможет, брат мой, и я голодаю!» — а в это время по твоей козлиной бороде течет жир! И беда тому несчастному бедняку, который умрет и не оставит денег на погребение, — ты его не похоронишь, пусть себе гниет! Твоя ладонь всегда раскрыта, ты продаешь Христа всегда с большой прибылью. Столько-то стоит освящение, столько-то крестины, столько-то чтение молитв, столько-то венчание — ты изобрел таксу, святотатец, и приклеил ее на двери рая, ты стоишь у входа и выпрашиваешь: «Плати, райя, плати, иначе не войдешь!» И вот, пожалуйста, эта морда хочет теперь исповедовать старика Ладаса, святого человека, который всю свою жизнь голодал и только изредка разрешал себе выпить стаканчик вина, дрожал, ходил босой, голодный, как настоящий апостол… Да это я тебя должен исповедать, скотина!

Поп Григорис слушал, с притворным смирением опустив голову. Но внутри у него все клокотало; ему хотелось наброситься на этого тощего старика, сдавить его костлявое горло, чтобы он больше не кричал, проклятый. Ишь, подлюга, сколько в нем яда! Вот что думал про себя этот скряга столько лет, а теперь изливает свою душу и выгораживает себя!

— Говори, говори, Ладас, — промолвил поп, притворно вздыхая, — Христос больше терпел, чем я, грешный. Его бранили, на него клеветали, его били кнутом, его распяли, но он молчал… А я вымолвлю ли слово? Говори, говори, дорогой Ладас!

Старик Ладас собирался было снова раскрыть рот и воздать попу должное, но тут вмешался учитель:

— Позор, братья, — крикнул он. — Несколько часов отделяют нас от смерти, и, вместо того чтобы обратить свои души к господу богу, мы погрязли в земных страстях… Замолчи, дед Ладас, наговорил ты достаточно, облегчил себя! И вы, братья, замолчите, нет предела грехам человеческим!

Старик Ладас захихикал:

— Несчастный учитель, — сказал он, — что о тебе сказать? Все твои дела, хорошие и плохие, равны; разума у тебя не хватает; мало хорошего, мало плохого смог ты натворить! Хотел ты, бедняга, большое зло сотворить, да не смог. Никчемны дела, никчемна и душа твоя! Ты продавал по сходной цене аспидные дощечки, грифели, карандаши, резинки, книжечки, тетради… Тоже мне учитель! Торговался и пустословил, бросался громкими словами… Но ты в них верил, пусть же все это зачтется тебе!

Ладас торопился высказаться до конца, чтоб облегчить свою душу. Он повернул голову к остальным.

— Что головы повесили? — пищал он, и его глаза метали искры. — Все время разгребая землю, курица засоряет себе глаза… Что же, теперь засоряйте и вы себе глаза! Обливайте друг друга грязью!

Поп Григорис поднял голову и сделал знак Патриархеасу: «Не вступай с ним в разговор!» И старый архонт сдержал свой гнев и промолчал.

Учитель вскочил, услышав приближающиеся шаги.

— Идут… — пробормотал он, и его сердце бешено заколотилось.

Поп Григорис повернулся к старику Ладасу, простер руку, чтобы благословить его.

Да простит тебе господь бог, брат мой, — произнес поп торжественным голосом, — да простит тебе бог за все, что ты говорил. Твоя душа излила всю грязь и успокоилась. Сам того не желая, несчастный, ты исповедался. Пусть тебя господь бог простит за все плохое, что ты натворил за свою жизнь! Поднимайся, дед Ладас, твоя очередь подошла!

Но старик Ладас повалился на землю и разрыдался.

Послышались ругательства, крики, топот. Дверь распахнулась, сеиз с силой втолкнул Панайотароса и Манольоса, и они кубарем скатились в подвал, ударившись о стену. Дверь снова захлопнулась.

— Манольос, — закричал Патриархеас, — а тебе что здесь надо? Почему тебя притащили сюда?

— Панайотарос, — сказал учитель, — ты еще жив? Тебя не повесили? Слава богу!

— Жив, будь проклят этот час! — прорычал Панайотарос, устраиваясь в углу.

Старик Ладас приподнял голову, уставился на Панайотароса и протянул руку, чтобы потрогать его.

— Ты жив? Почему тебя не повесили? Ага передумал? Передумал? — спрашивал он, и его сердце отчаянно билось.

Но никто ему не ответил.

— Ложись, Манольос, — сказал поп Григорис. — Переведи дух…

— Говори, Манольос, — приказал архонт. — Мы не можем ждать! Нашелся убийца?

— Нашелся, — ответил Манольос.

— Кто он? Кто? Кто? — бросились к нему все четверо.

— Я! — ответил Манольос.

— Ты?

Они отошли в сторону и, раскрыв рты, смотрели на Манольоса. Несколько минут длилось молчание.

— Этого не может быть! — крикнул наконец старый архонт, перед мысленным взором которого прошла вся жизнь Манольоса. — Этого быть не может! Нет! Нет! Ни в коем случае!

Я тоже не могу согласиться, — сказал учитель. — Зачем тебе его убивать? И вообще, способен ли ты, Манольос, убить человека? Нет, не способен!

Только поп Григорис молча смотрел на Манольоса.

— Почему ты не отвечаешь, Манольос? — спросил Патриархеас.

— Что же мне ответить, архонт? — сказал Манольос, вытирая вспотевшее лицо. — Я его убил, больше мне нечего сказать. Разве этого мало?

— Хватит! — воскликнул старик Ладас. — Хватит, Манольос, сын мой! Нашелся убийца, а мы-то сокрушались! Есть бог!

Манольос подполз к тому месту, куда падал слабый свет из окошка, вынул из-за пазухи маленькое евангелие, открыл его наугад и начал читать, не обращая внимания на остальных… Скрываясь между апостолами, он вошел в лодку вместе с Христом, и они поплыли далеко по Генисаретскому озеру; поднялся сильный ветер… Христос устал говорить с людьми, прилег на носу лодки на сети и уснул… Но северный ветер все усиливался, он дул с гор Галаада и поднимал на озере волны, которые обрушивались на рыбачью лодку.

Ученики побледнели от страха.

— Погибнем! — шептали они. — Погибнем! Давайте разбудим учителя!

Но никто не осмеливался прервать святой сон. Подошел Петр, нагнулся, увидел при свете молнии лицо Христа — он улыбался, счастливый, безмятежный…

— Разбуди его! Разбуди его! — кричали теснившиеся в лодке ученики.

Петр осмелел, протянул руку, коснулся плеча Христа.

— Учитель! — сказал он ему. — Проснись, мы погибаем!

Христос открыл глаза, посмотрел на дрожащих апостолов, покачал головой и с горечью прошептал:

— Столько времени я пребываю с вами, а вы еще не поверили?

Он вздохнул, стал на носу лодки и поднял руку к небу.

— Остановись! сказал он ему.

Затем простер руку над разбушевавшимся озером.

— Уймись!

И тут же стих ветер, успокоилось озеро, все вокруг прояснилось, и мир как будто заулыбался…

Манольос встряхнул головой, посмотрел на пятерых узников, и его голубые глаза засияли — счастливо, безмятежно, как воды Генисаретского озера.

Старик Ладас теперь словно ожил; он поднялся на ноги и ходил по подвалу, размахивая руками.

— Нашелся убийца, слава тебе господи, мы спасены! Несчастный Манольос, мне тебя жаль! Ты был бедным пастухом, и ты еще очень молод, ты не успел насладиться прелестью жизни, — и теперь умрешь. Но как хорошо, что ты признался и что я буду спасен!

Он замолчал, искоса посмотрел на старост, и гримаса исказила его лицо.

«Как же помириться, — подумал он, — как же помириться теперь, когда я спасен, с этим козлобородым и с этим грешником Патриархеасом, которого я назвал архонтской свиньей? На учителя мне, конечно, начхать. А вот с другими я поторопился, попал впросак, теперь уж поздно! Ну да и то хорошо, что жив останусь!»

Старик Патриархеас смотрел на Манольоса, увлеченного чтением евангелия, и какая-то смутная тревога проникала к нему в душу. Он наклонился к сидевшему рядом попу.

— Отче, — сказал он тихо, — мне пришло в голову…

Поп Григорис понял и сухо кашлянул.

— Не копайся в этом, архонт. Пусть бог вершит свою волю…

— Но если Манольос невиновен и сделал это ради спасения села? Неужели мы покинем его? Разве это не грех? Ты берешь на себя этот грех?

— Господь милостив, — сказал поп, — он простит меня.

— Господь, возможно, тебя простит, отче, а люди?

— Когда у меня все в порядке с богом, — кичливо ответил поп, — людей я не боюсь.

— Значит…

Учитель, который подошел и слушал их, вмешался в разговор:

— Не нужно слишком копаться, — сказал он, — оставим это господу богу… Он знает! А потом не следует забывать, что Манольос этим поступком спасает свою душу. Разве этого мало?

— Это вовсе не мало! — подтвердил поп. — Он теряет преходящую жизнь и выигрывает вечную… Это примерно то же, что дать медную копейку и получить в обмен миллион золотых лир… Будьте спокойны, Манольос знает, что делает!

— По правде говоря, он хитрец… — сказал учитель и посмотрел, улыбаясь, на Манольоса, который поднял от евангелия свое сияющее лицо.

В дверях показался сеиз. Подбежав к Манольосу, он грубо схватил его.

— Проснись, гяур, — крикнул сеиз, — тебя зовет ага.

— Во имя господа бога, — прошептал Манольос, перекрестился и пошел за диким анатолийцем.

Ага сидел в комнате, поджав под себя ноги, и курил длинную трубку. Рядом лежал Юсуфчик. Был полдень, стояла страшная жара, труп Юсуфчика начал уже разлагаться. Сгорбившись, в комнату бесшумно проскользнула служанка Марфа с охапкой свежих роз, жасмина, жимолости; она бросила все это на разлагающееся тело и торопливо ушла, не в силах выдержать зловония…

Но ага ничего не чувствовал в своем горе и задумчиво курил трубку. Он выглядел теперь еще более усталым и каким-то отрешенным. «Так суждено, — подумал он утром, — так суждено», — и как-то сразу смягчился. Он словно переложил грех с людей на бога и успокоился. Кто может пойти против воли божьей? Так хотелось богу, так он повелел! Все, что делается на земле, делается по его велению, — склони голову и молчи… Им было предначертано, что ликоврисийский ага встретит Юсуфчика в Измире; им же было предначертано и то, что кто-то убьет Юсуфчика; им же было установлено, что убийца найдется… Все предопределено…

Увидев входящего Манольоса, он положил трубку на соломенный мат, на котором сидел, подогнув ноги.

— Слушай, что я тебе скажу, Манольос, — начал он спокойно.

Повернул голову к сеизу.

— Ты мне не нужен, выйди и стань за дверью.

Снова посмотрел на Манольоса.

— Мне снилось, что не ты убил моего Юсуфчика… Молчи, гяур, дай мне сказать! Ты делаешь это для того, чтобы спасти село; ты, наверно, сумасшедший или святой — впрочем, это твое дело… Успокойся, будет так, как тебе хочется, я тебя повешу. Но вот что мне хотелось бы знать, Манольос: Ведь правда, что не ты убил моего Юсуфчика?

Манольос пожалел агу: никогда он не видел такой скорби. Ага перестал быть бешеным зверем, горе сделало его человеком. На минуту он заколебался, но скоро пришел в себя и поднял голову.

— Ага, — сказал он, — дьявол меня подстрекал, так было суждено, — я убил.

Ага прислонился к стене и закрыл глаза. «Аллах, аллах, — прошептал он, — жизнь — это сон, осиротел я…»

Он открыл глаза, хлопнул в ладоши, вызывая сеиза.

— Убери его! — сказал он. — Вечером, в час заката, повесь его на платане.

А в это время три товарища, Михелис, Костандис и Яннакос, ходили по селу, стучали в двери и заклинали односельчан не допустить, чтобы погиб невинный человек.

— Невиновен Манольос, невиновен, невиновен! Это он делает ради спасения нашего села! — кричал Яннакос.

— Чего же вы хотите от нас? — возразил какой-то старик. — Чтобы мы пошли и сказали аге, что Манольос не убийца? А потом? Ага начнет вешать всех людей подряд, уничтожит село, и вместо одного погибнут тысячи невиновных… Справедливо ли это? Выгодно ли? Не лучше ли, чтобы погиб один вместо тысяч? Тем более что он сам этого хочет? Оставьте его, дети мои, пусть умрет ради нашего спасения, а потом мы нарисуем его на иконе, зажжем свечу и будем молиться перед ним, как перед святым. Но пусть сперва умрет.

А один многодетный ликоврисиец спросил Михелиса:

— Скажи мне, молодой архонт, дети у тебя есть?

— Нет.

— Тогда тебе не положено говорить. Оставь нас!

А какая-то старуха, укачивавшая на коленях своего внука, посмотрела на Яннакоса и промолвила:

— Да что ты чепуху мелешь, Яннакос? Пусть тысячи Манольосов умрут, лишь бы мой внук остался жив!

— Это дикие звери, волки и лисы, — пробормотал Яннакос, вытирая глаза.

— Это не звери, Яннакос, — ответил ему Михелис, — это люди… Пойдем отсюда, мы напрасно потеряли время. Пусть свершится то, что угодно господу богу.

— Тебе жалко своего отца, — сказал рассерженный Яннакос. — Ведь так спасется твой старик.

Михелис повернул голову; слезы стояли в его глазах.

— Ты меня извини, Михелис, — сказал Яннакос, — я уж и сам не знаю, что говорю.

Подходя к площади, они увидели Катерину, умытую, наряженную; она быстро шла прямо на них, как королевский фрегат, распустивший все паруса.

— Куда ты собралась, Катерина? — спросил ее Яннакос.

— Эх вы, трусы, неужели вы так и оставите Манольоса, чтоб он пропал? — воскликнула вдова, и ее большие глаза наполнились слезами. — Я его не оставлю! Иду к аге!

— Как? — крикнул Костандис. — А для чего он тебе? Опять будешь пачкаться с ним? Вспомнила прошлое?

— Катерина, ты с ума сошла от горя, — сказал Яннакос. — Но иди, сделай, что можешь… Христос с тобой!

— Ага разгневан, он тебя убьет, несчастная, иди лучше домой… — сказал Костандис и тут же устыдился своих слов.

— На что мне теперь жизнь? Я хочу спасти Манольоса! — сказала вдова и величаво проплыла мимо мужчин.

— Она лучше нас всех; — прошептал Михелис, глядя на нее. Высоко подняв голову, вдова исчезла в доме аги.

Было жарко и душно; тяжелый запах роз и начавшего уже разлагаться трупа наполнял комнату… Ага спал, прислонив голову к железной кроватке, и улыбался во сне. Ему снилось, наверное, что все происшедшее — дурной сон и что сейчас он, ага, проснется и снова окажется на балконе… А рядом Юсуфчик будет наливать раки в стакан…

По балкону взад и вперед ходили два голубя; они щипались и ворковали; ага слышал их во сне и улыбался. На дворе не закрыли в колонке воду, и она текла с легким журчанием. Лежавшая на камнях собака тяжело дышала, высунув язык. Черный жирный кот укрылся в тени, и оттуда беспокойно поблескивали его зеленые глаза.

Катерина быстро перебежала двор, опасаясь, как бы ее не заметил сеиз или не залаяла собака. Но сеиза не было видно, а собака, понюхав, узнала ее и дружелюбно помахала хвостом. Вдова задержала дыхание, почувствовав доносившийся из дома странный, неприятный запах, вызывающий тошноту, — зловоние, осквернявшее воздух… Она хорошо знала все закоулки дома: не раз Марфа тайно открывала ей дверь, не раз приходилось ей проскальзывать сюда, когда ага был еще совсем одинок… Он тогда еще не побывал в Измире, еще не встретил в турецком поселке Юсуфчика, сидевшего посреди кофейни на скамье с перламутровым рисунком и певшего амане… С ума сошел тогда ага, и с той поры некогда ему было думать о Катерине! Сеиз часто напоминал ему о вдове, но ага только смеялся в ответ. «Слушай, сеиз, — сказал он как-то, — рассказывают, что один паша пригласил к себе друга выпить раки. Он приготовил ему и закуску — чашку маслин и чашку черной икры. Друг закусывал все время икрой и не притронулся к маслинам. „Ешь и маслины, бей-отец“, — сказал ему паша. „Да икра уж больно хороша, паша-хозяин“, — ответил друг. Ну что, понял, сеиз? Хорош и мой Юсуфчик». Сеиз прикусил язык и с того дня больше не заикался о вдове.

Катерина пробежала по двору, вошла в дом и в страхе остановилась. Большое зеркало, диваны, разрисованные скамьи, тяжелую медную жаровню, стол — все ага разломал, расшвырял и изрешетил пулями. «То же самое, наверное, делал и Панайотарос из-за меня…» — подумала вдова и похолодела от ужаса. Вдруг она услышала чьи-то шаги и спряталась за сломанным диваном. На пороге показался сеиз — настоящее привидение. Щеки у него впали, глаза сделались какими-то пустыми, изо рта капала слюна. Он остановился на минуту, посмотрел кругом, ничего не видя, вздохнул, потом, шатаясь, вышел во двор, лег там рядом с собакой и заплакал.

Вдова перекрестилась.

— Милосердный Христос! — прошептала она. — Только ты понимаешь женщину и прощаешь ей все, что бы она ни сделала. Я готова предстать перед тобой.

Она пришла сюда умытая, в чистом белье, в своем лучшем платье, надушив волосы…

— Милосердный Христос! — снова прошептала она. — Я готова…

— Катерина, ты чего тут ищешь? Сейчас же иди к себе домой, несчастная!

Вдова повернулась и увидела непричесанную, заспанную Марфу, которая направлялась в комнату аги с огромной охапкой цветов в руках.

— Марфа, я хочу видеть агу, — сказала вдова.

— Юсуфчик еще не остыл, а ты осмеливаешься… Он из тебя фарш сделает, несчастная!

— Марфа, я хочу видеть агу… — повторила вдова. — Я хочу сообщить ему важную тайну — я знаю убийцу!

Старуха служанка захихикала:

— Манольос? — спросила она ехидно.

— Нет, другой… Узнаешь — и в ужас придешь.

Служанка положила цветы на лестнице, подошла к вдове и приподнялась на своих тоненьких ножках.

— Кто? Кто? — спросила она визгливым голосом, и ее глаза заблестели. — Ты о нем подумала? И я тоже, я тоже!

— Кто? О ком ты? — спросила вдруг вдова.

Старуха внимательно посмотрела на нее, покачала головой, нагнулась и подняла цветы.

— Ничего, — сказала она, — ничего не случилось… Пойду положу эти цветы на него, будь от проклят, а то начал уже вонять!

Она с отвращением сплюнула; неожиданно прорвалась ее злость.

— Ты полна червей, красотка моя, — сказала она, — полна червей и я! Чего же ты кичишься? Все мы одинаковые.

Тут раздался громкий стук в дверь изнутри, затем послышался свирепый голос:

— Кто там внизу, Марфа? С кем ты разговариваешь, горбатая? Замолчи!

Старуха съежилась; вдова быстро направилась к лестнице.

— Это я, дорогой ага, Катерина!

— Убирайся отсюда, сука!

Но вдова начала торопливо подниматься по лестнице, держась ближе к стене.

— Ах ты, безумная, — запищала ей вслед старуха, — безумная, не боишься?

Вдова пожала плечами и продолжала идти; через мгновение она была уже в комнате аги.

— Прости меня, ага, прости меня! — закричала вдова и повалилась перед ним на пол.

Взбешенный ага ударил ее ногой и вскочил, чтобы сбросить гостью с лестницы, но вдова, лежа на полу, вцепилась в перила и кричала:

— Ага мой, выслушай меня, не могла я больше держать это в тайне, пришла и вот лежу перед тобой! Ага мой, это я его убила!

— Ты, подлая? Ты, гулящая? — зарычал ага, отыскивая глазами свой ятаган.

— Я, мой ага, я, грешница, я его убила! Из-за любви, из-за ревности! Ревновала с того дня, когда нога его ступила в твой дом и ты перестал смотреть на меня, перестал посылать за мной Марфу. Я плакала, ждала… Днем и ночью стояла за своей дверью и ждала… Никого! Ничего!.. У тебя был Юсуфчик, а обо мне ты и не вспоминал. И вот моя любовь и моя ревность свели меня с ума, и вчера, в полночь, я взяла свечу…

Она подползла к ногам аги и обняла их.

— Ага мой, — закричала она, — ага мой, убей меня! Для чего мне жизнь? Убей меня!

Обводя взглядом стены, ага искал свой ятаган. Дом закачался в его помутневших глазах, и он ничего не видел. Вдова вдруг вынула из-за пазухи нож.

— Вот этим ножом я его убила…

Она стала на колени и протянула ему нож.

— Вот этим ножом… — повторила вдова и подняла шею.

Глаза аги налились кровью. Он повернулся и увидел своего Юсуфчика, распростертого на кровати, бледного, с открытыми глазами, с раскрытым ртом. Большие черно-голубые мухи уже копошились на его губах и в носу.

Ага посмотрел прямо перед собой и увидел вдову. Кинулся к ней, схватил нож, который она ему протягивала, высоко поднял его и быстро вонзил по самую рукоять ей в сердце. Потом пнул ее ногой, и тело вдовы покатилось по лестнице.

ГЛАВА X

Кровь вдовы опьянила агу, разум его совсем помутился, он жаждал еще крови. В нем проснулся древний инстинкт, захотелось ему убивать всех подряд — и людей, и животных, чтобы рядом с его любимым неподвижным мальчуганом валялись трупы. Он все еще сжимал нож в руке, до локтя обрызганной кровью.

Он позвал сеиза:

— Спустись в подвал за Манольосом и отведи его к платану. Заиграй в трубу, чтоб собрались гяуры и полюбовались… Отнеси к платану и моего Юсуфчика, чтобы и он посмотрел… Повесим Манольоса, хоть он не убийца! И принеси мне кнут; я сам спущусь вниз и переломаю кое-кому кости. Чтоб мне полегчало! Может быть, я даже повешу сегодня всех пятерых, виновны они или нет! Всех перевешаю! Зачем гяурам жить, если мой Юсуфчик лежит убитый? Ступай!

Его глаза снова наполнились слезами, он повернулся и положил на тело Юсуфчика, среди роз и жасмина, окровавленный нож.

— Возьми его с собой, мой Юсуфчик, — пробормотал он.

Ага сел на пол, прислонился к железной кроватке и закурил. Он закрыл глаза. Перед ним замелькали поля, горы и села: он мысленно вновь проделал путь из Ликовриси в Измир. То он ехал в повозке, то на мулах, а то на чертовой машине, которую привезли европейцы, будь они прокляты! И вот однажды утром случилось чудо! Дворцы, базары, мечети, людские толпы, музыка, сады, море — все вдруг исчезло! Осталась лишь одна кофейня с распахнутыми настежь дверями. Было жарко, хотя солнце уже заходило и в кофейне на соломенных циновках сидели умытые, пестро одетые аги, с подкрашенными тушью усами. Взобравшись по высокой лестнице, вошел ликоврисийский ага — и что же он видит? Юсуфчика, поющего: «Дунья табир, руйя табир, аман, аман!» И сразу исчезла кофейня, аги, циновки и наргиле. От всего Измира остались лишь он да Юсуфчик; один из них упал на колени и умолял, а другой, кокетничая и извиваясь всем телом, жевал мастику…

Вошел сеиз, принес кнут и положил его на колени хозяина. Ага опустил глаза, взглянул из-под тяжелых век на слугу, но не пошевелился. Куда идти? Зачем расставаться с тем городом у самого моря, где он сейчас находится? Зачем расставаться со своим Юсуфчиком? Он снова закрыл глаза и мысленно вернулся в Измир.

На улице послышалось громкое пение трубы сеиза. Солнце садилось, но жара не спадала, беззащитные листья сохли под его палящими лучами.

Одна за другой открывались двери, выходили на звук трубы жители села и собирались вокруг платана. Одни угрюмо молчали, другие в раздражении ходили взад и вперед и обсуждали, кто убил Юсуфчика: Манольос или не Манольос, преступник он или нет.

— В тихом омуте черти водятся! — говорил один, покачивая головой. — Мне Манольос всегда казался подозрительным… То он с вдовой, то с Юсуфчиком… тьфу, пропади он пропадом!

Прибежал, запыхавшись, старик пономарь; он принес страшное известие и был этим очень доволен.

— Проходил я мимо дома аги; увидел во дворе старую горбатую Марфу, которая билась в рыданиях: «Что с тобой?» — спрашиваю ее. «Убили вдову!» — «Кто убил?» — «Ага. Зарезал ее, как ягненка, и сбросил с лестницы. Позови христиан, пусть подберут ее… она тоже была христианкой, бедняжка, пусть похоронят ее!»

— Похоронить ее? Вот еще! — хихикая, сказал какой-то бледный крестьянин с нездоровым цветом лица. — Пошла она к черту!

Солнце опускалось за горизонт. Маленькие птички кружились над платаном; они хотели заночевать на нем, но увидели множество людей, собравшихся под деревом, услышали гвалт и испугались. Обеспокоенные, летали они вокруг платана и ждали, когда разойдется людское сборище и они смогут возвратиться в свои гнезда.

Стало слышно, как заскрипели тяжелые ворота в доме аги. Все повернули головы, и единый вздох прокатился, как волна, по толпе. Показался Манольос, спокойный, улыбающийся, со связанными сзади руками; по его лицу струилась кровь. Он остановился на минуту, как будто хотел поздороваться с односельчанами, но за ним вышел свирепый сеиз и сильно ударил его кнутом. Манольос молча перешагнул порог.

За ним два носильщика несли железную кроватку, на которой лежал разлагающийся труп Юсуфчика, усыпанный цветами.

Манольос шел спокойно и внимательно, словно прощаясь, смотрел на людей, на дома, на деревья, на далекие спелые хлеба, золотившиеся в лучах заходящего солнца. «Слава богу, — думал он, — хороший урожай будет в этом году, будут сыты бедняки!»

Вдруг он увидел у платана трех своих друзей, которые, плача, смотрели на него. Манольос улыбнулся, кивнул им головой, здороваясь, потом замедлил шаг, поглядел на своих односельчан и крикнул:

— Земляки, я ухожу, всего вам хорошего!

Обратился к товарищам.

— Братья, — крикнул он, — Михелис, Яннакос, Костандис, я ухожу, будьте счастливы!

— Невиновен! Невиновен! Невиновен! — воскликнули разом трое друзей прерывающимися голосами.

— Неужели нет у вас совести? — крикнул Яннакос своим землякам, которые удивленно смотрели на него. — Почему, бессовестные, не падете на колени, не поклонитесь ему? Ради нас он умирает, ради спасения села, неужели вы этого не понимаете? Он, как Христос, берет на свою душу все наши грехи! Братья…

Но он не успел закончить фразу. Сеиз бросился к нему, и кнут дважды обвился вокруг шеи Яннакоса.

В воротах показался ага. Все замолчали. Толпа расступилась и дала ему пройти. Он шел мрачный, опустив глаза в землю.

Подошел к платану, остановился и, не поворачивая головы, даже не взглянув на Манольоса, протянул руку к сеизу и приказал:

— Вешай его!

Свирепый анатолиец кинулся на Манольоса и схватил его за горло.

Но в эту минуту послышался пронзительный, испуганный и радостный голос:

— Ага! Ага!

С трудом переводя дух, бежала старая Марфа, держа в руках узел с одеждой. Сеиз побледнел, отпустил петлю, за которую уже взялся рукой; его нижняя челюсть задрожала, он прислонился к стволу платана. А горбатая старуха бросилась к ногам аги.

— Ага, — визжала она, — смотри, смотри!

Она развернула узел и бросила на землю к ногам аги безрукавку, короткие штаны и обмотки с запекшейся кровью. Ага наклонился.

— Чья это одежда? — спросил он.

— Сеиза! — ответила старуха Марфа. — Сеиза!

Ага повернул голову и посмотрел на сеиза; тот прижался к стволу платана. Крестьяне стояли затаив дыхание.

Одним прыжком ага оказался около сеиза, пнул его ногой и заревел:

— Али Мухтар!

Сеиз, свернувшись клубком на земле, закрыл лицо своими волосатыми ручищами.

— Пощади! — промычал он, как теленок.

Три товарища подошли поближе, и сердца у них бились так, что казалось, вот-вот разорвутся. Толпа зашевелилась, окружила агу, сеиза и горбатую Марфу. Яннакос незаметно подошел к Манольосу, развязал его, схватил его руку и поцеловал ее.

Ага поднял голову, увидел сияющие радостью лица крестьян и поднял кнут.

— Гяуры! — крикнул он. — Уходите! Убирайтесь отсюда, а то уничтожу всех!

Он, как слепой, метнулся к толпе и начал избивать кнутом женщин, мужчин, детей.

Площадь сразу опустела; все стремглав бросились к своим домам, давя друг друга, и только самые храбрые спрятались за углами домов и выглядывали оттуда. Друзья схватили Манольоса, отбежали вместе с ним, прижались к стене крайнего дома и стали смотреть, что будет дальше.

— Так это ты? Это ты его убил?! — ревел ага, брызгая слюной и топча сеиза ногами.

Он выхватил ятаган из ножен, но тут же вложил его обратно, наклонился, схватил подвернувшийся камень и принялся бить им сеиза по голове, — он словно растерялся, словно не знал, какую казнь выбрать для убийцы.

А тем временем старуха Марфа подбирала и увязывала принесенную ею одежду, подпрыгивала от радости, будто в танце, потом снова развязывала и связывала тряпье, опять раскладывала его на земле, чтобы была видна кровь.

И все время говорила, повторяя одно и то же, одни и те же слова:

— Я слышала, дорогой ага, как он поднимался по лестнице ночью… Я слышала и тоненький-тоненький голосок, так кричит птица, когда ее режут, мой ага… Но как же я могла говорить, несчастная?.. Но теперь вот я нашла одежду!

И горбунья снова разворачивала тряпье, раскладывала его на земле и показывала кровь…

Но аге надоело это кривлянье. Он ударил ее ногой в бок, старуха закричала пронзительным голосом и, хромая, побежала к дому аги, свалилась там на пороге и, как хищная птица, издали смотрела своими колючими глазами на агу и сеиза.

— Теперь выкалывайте себе глаза, кастраты! — бормотала она. — Я нашла то, что искала, я добилась того, чего хотела! Теперь плевать мне на вас!

Устав, ага уселся, скрестив ноги, и заставил сеиза сесть таким же образом против него, лицом к лицу, нос к носу. Долго они так сидели вдвоем, не шелохнувшись. Солнце уже зашло, маленькие птички расхрабрились и, увидев, что толпа исчезла, вернулись к гнездам своих предков на старом платане.

Крестьяне посмелее выглядывали из-за углов; четверо товарищей, прижавшись к стене, тоже смотрели затаив дыхание. Они чувствовали, что сейчас произойдет что-то страшное.

— Мне жалко беднягу сеиза, — прошептал Манольос.

— Богу его не жалко, — ответил Яннакос. — Молчи!

Ага вдруг стремительно вскочил и зарычал, как лев:

— Встань, собака!

Сеиз тоже вскочил — сразу же, одним прыжком. Ага вытащил ятаган, взмахнул им раз, другой, третий — отрубил ему нос, уши и отшвырнул в сторону. Страшный анатолиец не пошевелился, не вскрикнул. Он стоял, как дерево, которому подрезают ветки; кровь лилась на землю и смешивалась с пылью.

Потом ага поднял кнут.

— Беги! — заревел он.

Сеиз, спотыкаясь, начал бегать вокруг платана.

— Стой! — снова заревел ага.

Свирепый анатолиец страшно завыл и упал на колени. Ага схватил его, повалил на землю, накинул ему на шею петлю, толкнул скамью ногой — и сеиз, весь в крови, закачался в воздухе, как колокол.

Ага вытер рукою свое вспотевшее лицо и перемазал его кровью. Потом снова уселся на землю, скрестив ноги, и долго-долго, тяжело дыша и мыча, как буйвол, смотрел на сеиза. И когда насытилась его душа, он тихо встал и, не оборачиваясь, не смотря ни на сеиза, ни на Юсуфчика, побрел, шатаясь, к себе домой, думая, что его никто не видит. Войдя во двор, он толкнул ногой ворота, чтоб закрыть их, но поскользнулся и с грохотом рухнул на плиты двора.

— Что там наверху, в мире, творится? — спрашивал в эту минуту архонт Патриархеас своих товарищей.

Они сидели на полу, опершись затылками о стену, и ждали дальнейшего, глядя на дверь.

— Я тебе скажу, архонт, — ответил старик Ладас, которому хотелось вновь наладить отношения и снова примазаться к сильным, — Манольос, прости его господи, висит теперь в петле. Справедливо, несправедливо — какое нам дело? Главное, мы спасены. Вот сейчас появится сеиз и скажет нам: «Вон, гяуры, убирайтесь домой!» Даст каждому из нас пинка, и мы снова выйдем на белый свет, вернемся к своим трудам. И все, что мы тут говорили, дорогой архонт и милый отец Григорис, да растает, как соль в воде!

«Я выколю тебе глаза, паршивый старик!» — подумал поп Григорис, но, вспомнив, что он христианин и священник, придал своему лицу слащавое выражение, смягчил голос и ответил:

— Главное, дед Ладас, спастись с божьей помощью, а все остальное забудется! Все мы люди, нам пришлось перенести тяжкие испытания, мы наговорили лишних слов, но я все уже забыл.

— А я никогда не забуду, что ты назвал меня архонтской свиньей, — жалобно заметил старик Патриархеас.

Ему запало в сердце это прозвище, потому что очень уж метко было сказано.

— Разве я говорил такое, архонт? — сказал старик Ладас с удивлением. — Беру свои слова обратно! Я, бедняга, чуть с ума не сошел от страха, не знал, что говорю. Я хотел сказать — архонт, а сказал — архонтская свинья.

Панайотарос поднял свою разбитую голову.

— Пропадите вы все пропадом, трусы! — закричал он. — Каждый из вас боится другого, и один другому противен, но как же вам в этом признаться! Вы хотите ладить между собой, паразиты, чтобы грабить бедняков! Но я, хоть и ничтожный, не боюсь вас, попы, архимандриты, архонты, старосты, учителя! Плюю на вас!

Учитель раскрыл рот, чтобы как-то разрядить обстановку, но в это время открылась дверь и показалась старуха Марфа. Было видно, как сияли ее глаза в полутьме.

— Какие новости, Марфа, ты принесла нам с того света? — крикнул архонт и приподнялся.

— Если не наполните мою ладонь золотом, — отвечала она, — не скажу ни слова...

— Ведьма ты, — захныкал старик Ладас, — тебе нас не жалко? Мы бедные люди, ты хочешь из нас кровь высосать?

— Хорошие или плохие новости ты принесла нам? — спросил поп Григорис. — Вот что ты нам прежде всего скажи.

— Ни слова не скажу тебе, дорогой отче! Разве твоя святость не протягивает сперва руку, а потом начинает «Господи помилуй»? Почему же я должна поступать иначе? Будьте добры, раскройте ваши кошельки, архонты!

Старик Патриархеас первым раскрыл свой кошелек, вынул одну золотую лиру и повернулся к попу.

— Отче мой, — сказал он, — тебя архонтским попом называют, — не скупись! Пусть расстегнет свой пояс и твоя милость, дед Ладас, что называешь меня архонтской свиньей; деньги для тебя что кровь, и не плохо было бы отнять у тебя немного крови, а то может случиться с тобой, несчастным, сердечный припадок! Учитель, дай и ты, что можешь, ведь ты беден! Давайте кончать. Старуха принесла нам хорошие новости, разве вы не видите, как сияют ее глаза?

Поп и учитель раскрыли свои кошельки, а старик Ладас вздохнул.

— А нельзя ли мне задолжать тебе, тетушка Марфа? — спросил он умоляюще. — Я тебе оставлю расписку.

— Ну и скряга! Неужели твоя жизнь не стоит одной лиры? — сказала старуха. — Наберись храбрости, раскрой кошелек, а то и впрямь как бы ни хватил тебя удар.

Потом обернулась к Панайотаросу.

— С тебя, несчастный Гипсоед, — сказала она хихикая, — ни гроша мне не надо. Вдова и так тебе ничего не оставила.

— Замолчи, паршивая старуха! — заревел Панайотарос. — Постой, вот я с твоего горба сниму мерку. Сделаю тебе седло поудобнее, чтоб не давило, ведьма!

— Не гневайся, несчастный Гипсоед, у меня есть и для тебя новость: ты исцелен! Исцелен, грешный любовник! Вдова Катерина отправилась на тот свет!

Панайотарос вытаращил глаза, хотел что-то сказать, но какой-то комок застрял у него в горле.

— Ее только что убил ага! Вонзил ей нож в сердце, и отправилась она к черту!

Панайотарос рухнул на пол и начал биться головой о стену. Он ревел, как зверь, и звал вдову. Стоя у порога, горбатая старуха дразнила несчастного:

— Кто велел ей быть красивой? Кто велел ей быть бесчестной? Кто велел ей пойти к аге? Так ей и надо! Он вонзил ей нож в сердце и сбросил с лестницы!

Но Панайотарос не слушал ее. Он кусал свои руки, раскинув их, словно обнимая плиты пола, и звал вдову.

Тем временем старик Патриархеас собрал со всех деньги и наполнил ими ладонь старухи Марфы. И тогда язык у нее развязался, и она им все подробно рассказала. Она говорила и говорила, смеялась, подпрыгивала, изображала агу, сеиза, завывала и хихикала... Поп Григорис перекрестился.

— Пошли, — сказал он, — да будет благословенно имя господне! Вошли мы сюда простыми людьми, выходим героями и мучениками за веру Христову!

— Пошли! — сказал архонт. — Дешево отделались.

— Целую лиру мне стоила вся эта возня, — закричал старик Ладас. — Вот мы выйдем отсюда, тогда я за все отомщу. В первую очередь подлецу Яннакосу. Заберу у него ослика!

Поп Григорис перешагнул порог.

— Завтра, братья, — сказал он, — мы должны справить тайный молебен. Мы вели себя как подобает мужчинам и христианам, мы вышли победителями из страшного испытания, — да будет благословенно имя господне!

— Я заставлю детей, — сказал учитель, — написать сочинение об идеях, мучениях и героизме греческого народа.

Впереди всех, с гордо поднятой головой, стоял поп Григорис и чванился, как козел, вожак стада; за ним — старик Патриархеас, грязный и голодный, потом учитель — такой же гордый, как и поп, ибо проявил героизм и не опозорил своих предков; последним стоял старик Ладас. Он придерживал свои штаны, потому что пояс оборвался и они спадали.

— Эй, Гипсоед! — крикнула горбатая старуха, стоявшая у двери с ключом в руках. — Убирайся! Овдовел ты, несчастный, ага тоже овдовел, — ступай составь ему компанию.

— Пусть сперва выйдут эти важные ослы, — пробормотал седельщик, — я уйду один.

Он сжал кулаки и поднялся.

— Попы, архимандриты, архонты, старосты, учителя — плюю на всех вас!

— Иуда! — не выдержав, бросил ему в лицо поп Григорис и поспешно шагнул к двери.

Панайотарос рванулся было вперед, чтобы схватить его за бороду, но поп успел выскочить и уже шагал по двору. За ним бегом поспешали остальные его товарищи.

Наступил вечер, улицы опустели, крестьяне собрались в своих домах; они ужинали, выпивали больше, чем обычно, отмечая сегодняшний день. Манольос, сеиз, вдова, ага, Юсуфчик, старуха Марфа — эти имена склонялись на все лады в домах. Всюду царило оживление, теперь было о чем поговорить старикам, было о чем посплетничать женщинам, было что послушать и запомнить детям...

Старик Патриархеас сидел за накрытым столом. Он уже умылся, сменил белье, привел себя в порядок, а Леньо бегала по дому взад-вперед, толстенькая, краснощекая, в хорошем настроении. Она уже сварила курицу, приготовила суп с яйцами и лимоном, чтоб старик пришел в себя. Михелис сидел напротив отца и смотрел, с каким волчьим аппетитом тот поглощает еду, обливаясь потом, торопясь восстановить свои подорванные силы...

Он слушал, как старик говорил, смеялся, жевал — и глядел на него с недоумением. «И это мой отец, — думал он, — вот это и есть мой отец...»

— Дешево мы отделались, — говорил архонт с набитым ртом. — Теперь, когда я повидал Харона, Михелис, я понял, что такое жизнь... Не нужно терять времени, сын мой, нужно есть, пить, веселиться, чтобы успеть... Подумай только, если бы я не спасся, кто бы ел эту курицу!

А Михелис смотрел на него молча и думал: «Это и есть мой отец… Это и есть мой отец…»

И поп Григорис тоже блаженствовал, сидя у себя во дворе, в тени виноградных лоз. Он тоже ел и пил. Веял приятный летний ветерок, сладко пахло базиликом и жасмином; кот, мурлыча, терся о ноги хозяина. А Марьори стояла с кувшином вина в руке и угощала своего отца; и от радости слезы катились по ее бледным щекам.

Архонтский поп пил, ел и бахвалился:

— Ни на секунду я не испугался. Я вел себя как вожак, как достойный представитель бога в Ликоврисн. Я храбро говорил с агой, я защищал христианство, в тюрьме держался твердо и стойко и был готов встретить смерть… Ты должна, моя Марьори, гордиться своим отцом…

И старик Ладас сидел на лавочке у себя во дворике, босой, без пояса, жевал, как всегда, ячменный хлеб, изредка бросая в рот маслину, и подробно рассказывал своей жене Пенелопе, что он делал, что с ним делали, что он говорил, что ему говорили и во сколько обошлась ему вся эта история…

Он тяжело вздохнул и, обозлившись, вошел в дом. Открыл ящичек, вынул расписки и поднес их к лампе. Поплевал на пальцы и начал перелистывать — кто и сколько ему должен, когда заканчивается срок и какая прибыль получается. Остался доволен подсчетами и ухмыльнулся.

— Завтра утром, Пенелопа, я за все отомщу. Я вырвался прямо из пасти Харона и теперь, когда я спасен, не дам поблажки никому. Я тебе должен, ты меня уничтожь, ты мне должен, я тебя уничтожу, — нужно торопиться! Что скажет твоя милость, Пенелопа?

Но его жена, давно ко всему безразличная, смотрела пустыми глазами на спицы и исступленно вязала. Как будто и она встретилась со смертью и торопилась закончить чулок. Не забеспокоилась она, когда исчез ее муж, не порадовалась она, когда он вернулся и начал снова ходить взад-вперед по двору, придерживая штаны, почесываясь и без умолку тараторя. Разговоры при лампах продолжались до полуночи. Потом постепенно свет гас то в одном, то в другом окне, село погрузилось в сон и захрапело.

Михелис рано расстался с друзьями, — он торопился домой, чтоб повидаться со своим стариком.

— Пошли ко мне, поужинаем вместе, — предложил Костандис своим двум товарищам. — Отпразднуем, дорогой Манольос, твое воскресение!

Жена Костандиса сегодня вечером была в хорошем настроении. Она не нахмурилась, когда увидела их, а, засучив рукава, развела огонь и приготовила ужин. Накрыла на стол, принесла вина и кувшин холодной колодезной воды.

— Ни с кем не сравнить твою сестру, — сказал Костандис потихоньку Яннакосу, — ни с кем не сравнить ее в хозяйственности, когда она в хорошем настроении; ни с кем не сравнить ее и тогда, когда она в гневе. Слава тебе, господи, счастливы мы сегодня вечером!

— Добро пожаловать, братья! — сказала громко хозяйка.

— Рады и мы тебя видеть! — ответили проголодавшиеся гости и принялись за еду.

Хозяйка не отходила от стола, ухаживала за ними.

Яннакос и Костандис подняли полные стаканы и чокнулись с Манольосом.

— Христос воскрес! — воскликнули оба, глядя с нежностью на Манольоса.

Манольос не разговаривал, не улыбался, хотя в душе был рад, что остался жив. Он пил и ел, сидя со своими товарищами, наслаждаясь вечерним прохладным ветерком, обвевавшим его вспотевшую голову… Но сегодня вечером ему хотелось быть в другом месте — и какая-то глубокая, неземная печаль отражалась на его лице.

— Не огорчайся, Манольос, — сказал ему Яннакос, — рай хорош, я ничего против него не имею, но и земля тоже хороша… Разве ты встретишь Костандиса и Яннакоса в раю? — прибавил он улыбаясь. — Ведь мы с тобой, дорогой Костандис, если судить по нашим делам, попадем в ад, правда не на самое дно, а чуть повыше!

Все трое рассмеялись и снова наполнили стаканы.

— Мне жаль несчастную вдову, — сказал Костандис негромко, чтобы не услышала жена. — Жалко ее красоты!

— Кто знает, — добавил Яннакос, — может быть, сейчас, когда мы тут разговариваем, вдова Катерина находится в раю. Подумайте только, вместе с Марией Магдалиной! Прогуливаются они обе, обнявшись, по вечнозеленой траве, посматривают вниз, на землю, и смеются…

— А может быть, и вздыхают, Яннакос? Ведь обе они очень любили этот мир, — сказал Костандис. — А ты как думаешь, дорогой Манольос?

— Я завидую вдове, — ответил Манольос. — Я ей завидую, но не жалею ее. Зачем ее жалеть? Конечно, она сейчас прогуливается по раю вместе с ангелами и не вздыхает об этом мире и не смеется над ним. Она его совсем позабыла. Этот мир исчез для нее так же, как исчезла с моего лица проказа.

Жена Костандиса услышала эти слова и в первый раз обернулась, чтобы посмотреть на лицо Манольоса, — говорили, что оно распухло от проказы, но теперь оно было гладкое и чистое! Хотела спросить его, как случилось это чудо, но мужчины беседовали, а она сегодня вечером была в хорошем настроении и не хотела вмешиваться в их разговор. И только, когда речь зашла о вдове, сердито что-то буркнула про себя и злобно ощерилась, будто готовясь укусить, но сдержалась.

— А что ты, Манольос, скажешь о несчастном сензе? — спросил Костандис. — Хоть он был и злой, как собака, в душе я пожалел его.

— Был бы он христианин, — ответил Манольос, — он раскаялся бы. Кто знает, дорогой Костандис, бог, возможно, возложил бы свою длань на его голову и сказал бы ему: «Да простится грех твой, ибо ты сильно любил».

— Но если бы было так, как ты говоришь, — крикнул Яннакос, — то рай превратился бы в притон для преступников!

— Рай и существует для грешников… — прошептал Манольос.

— Давайте выпьем за здоровье сеиза! — сказал Костандис, который был уже слегка навеселе. — Давайте выпьем за здоровье аги, погубившего несчастную вдову, потому что и он сильно любил! Давайте выпьем и за Юсуфчика, несправедливо убитого! Он-то чем провинился? Жевал мастику и пел амане!.. Разве он что-нибудь худое делал?

— А если даже что-нибудь и делал, — заметил Яннакос, давясь от смеха, — пусть и то пойдет ему на пользу!

Костандис в ужасе сделал знак и глазами показал на свою жену, которая притворялась, будто смотрит в открытое окно на звезды. Яннакос понял и прикрыл рот рукой.

— Только за здоровье деда Ладаса не заставляйте меня пить и за здоровье попа Григориса! — заявил Костандис. — Это дикие звери.

— Эх, доброе у тебя вино, дорогой Костандис! — крикнул Яннакос, который порядком опьянел, — поэтому я выпью и за их здоровье.

Он наполнил стакан.

— За здоровье деда Ладаса! Чтоб пусто ему было! — и выпил залпом.

Потом снова налил.

— За здоровье попа Григориса! Чтоб пусто ему было! — и осушил и этот стакан.

— Есть ли еще какой-нибудь грешник, чтоб я мог упомянуть и его?

Вино лилось рекой, сердца раскрывались, и в них вселялись радость и любовь.

«И Христос как вино, — подумал Манольос. — Точно так же и он делает необъятными сердца людей, и тогда умещается в них весь мир; точно так же он открывает врата рая, чтобы вошли туда все грешники…»

И он гордился своими друзьями, которые обнимались и хохотали.

— А Панайотарос? — . крикнул Яннакос. — Мы Иуду забыли! За его здоровье, отче Иаков!

— За его здоровье, апостол Петр! — ответил Костандис, и все снова осушили стаканы.

Жена Костандиса повернула голову; она поняла, что они собираются выпить все ее вино, и это привело ее в ярость.

— Ты много пьешь, Костандис! — сказала она строгим голосом.

Костандис съежился.

— Ладно, — сказал он, — не сердись, жена, принеси нам еще кувшин с водой, чтоб освежиться.

Жена пошла к колодцу, а Костандис приложил палец к губам.

— Будьте осторожны, бедняги, — прошептал он, — будьте осторожны, она начинает сердиться!

— Давай лучше уйдем, — сказал Яннакос, — давай уйдем, чтоб тебе не попало…

— Нет, ребята, сидите, только тихо. Мы выпьем воды за ее здоровье. Может быть, и смягчится она, — не знаешь ты женщин.

Жена вошла с кувшином; взяла стаканы из-под вина, сполоснула их и наполнила холодной водой. Мужчины подняли стаканы с водой и чокнулись.

— За твое здоровье, сестренка, — сказал Яннакос, — пусть бог освежит твою душу, как ты нас сегодня освежила! Лучшей сестры, чем ты, и лучшей жены нет в мире! Куда бы ни пошел и где бы ни был Костандис, всегда и везде он говорит о твоих прелестях!

— За твое здоровье, жена! — робко произнес Костандис. — Лучше, ей-богу, с тобой быть в аду, чем одному — в раю! — и подмигнул своим товарищам.

— За твое здоровье, хозяйка, — сказал Манольос. — Ты нас извини, большой вечер сегодня, село наше спасено! Пусть бог вознаградит тебя за хлопоты, что мы тебе доставили.

Друзья допили воду, и теперь им не было жарко. Костандис вынул портсигар и предложил товарищам сигареты. Потом все поднялись, вышли во двор и сели на лавочке. Хозяйка, бормоча что-то про себя, начала убирать стол.

Воздух был почти неподвижен; с поля доносился запах спелых хлебов; от фруктовых деревьев, росших во дворе, пахло инжиром.

Кто-то остановился у ворот и постучал; Костандис встал, встревоженный.

— Костандис, открой! Это я, Михелис!

Костандис с радостью открыл дверь. Вошел ночной гость, Михелис.

— Я оставил своего старика, — сказал он. — Он наелся, напился и уснул. Вот я и пришел.

Он сел на лавочку. Вокруг царило сладостное безмолвие, он не хотел его нарушать и молчал.

Прислонившись головой к стене, Манольос смотрел на звезды, и свет их озарял его. И вдруг в ночной тишине раздался его спокойный голос:

— Человек замышляет одно, а бог решает другое; он не дал мне сегодня умереть и покинуть вас, братья. Кто знает, какая у бога цель? Наверно, мы еще не кончили свой путь на земле, нужно еще много трудиться, чтобы спасти душу. И вот сегодня вечером, братья, я принял решение.

Сказал и умолк; затем поднял свои глаза к звездной реке Иордану, которая раскинулась над ним.

Яннакос и Костандис начали трезветь. Вино, шумевшее у них в голове, теперь струилось по всему телу, вливая в них бодрость. Михелис тронул колено Манольоса, как будто хотел сказать ему: «И я с тобой!»

Они были совсем одни в ночном мраке. Ласково обвевал их ветерок, звезды сверкали над ними, слабо освещая их лица; они с трудом различали друг друга в темноте.

Манольос ободрился и начал снова рассказывать:

— Когда я был еще послушником в монастыре (до того, как явился архонт Патриархеас и забрал меня в мир), монах Манасис — дай бог ему здоровья, если он жив, и освяти господь его кости, если он умер! — рассказал мне однажды случай, который, как он мне говорил, произошел с его другом, тоже монахом. Много лет я не вспоминал этого рассказа, но сегодня, бог знает почему, вспомнил, и он не выходит у меня из головы… Вы не хотите спать? — спросил он, обрывая свою речь, потому что его друзья молчали и нельзя было в темноте видеть их лиц.

— Ради бога! — крикнул Костандис, словно испугался. — Почему ты спрашиваешь, Манольос?

— Никогда наша душа так не бодрствовала, Манольос, — добавил и Яннакос. — Не мучай нас, говори!

— У того монаха, друга моего учителя, было одно страстное желание в жизни: чтобы господь бог удостоил его пойти к гробу господню и поклониться ему. Он бродил поэтому по селам, просил милостыню, и спустя много лет, стариком уже, собрал тридцать золотых лир — столько, сколько нужно было на путешествие. Тогда он помолился, взял разрешение у игумена и отправился в путь. Сразу же за вратами монастыря он увидел человека в лохмотьях, бледного, печального, который, нагнувшись, собирал траву. Человек услышал стук палки монаха о камни и поднял голову.

— Куда ты собрался, дедушка? — спросил он.

— Гробу господню, брат мой, поклониться. Обойду троекратно вокруг святого гроба и поклонюсь.

— Сколько у тебя денег?

— Тридцать лир.

— Отдай мне эти тридцать лир, у меня жена и дети голодные. Отдай их мне, обойди три раза вокруг меня, а потом стань на колени и поклонись.

Монах вынул свой кошелек с тридцатью золотыми, отдал их бедному, обошел трижды вокруг него, потом стал на колени и поклонился. Затем он вернулся в монастырь…

Манольос опустил голову и замолчал. Три друга молча слушали его, и на сердце у них становилось тревожно.

Манольос поднял голову.

— Позже я узнал, — продолжал он, — что этим монахом, который так хотел побывать у гроба господня, был сам мой учитель, отец Манасис; но из скромности он не признался мне в этом. И вот сегодня, спустя столько лет, я понял, кто был тот бедняк, которого встретил Манасис у монастыря.

Голос Манольоса задрожал, и он умолк. Друзья пододвинулись к нему поближе.

— Кто же это был? — спросили они с нетерпением.

Некоторое время Манольос словно не решался ответить, но наконец спокойно, как спелый плод, который падает в саду ночью, пало его слово:

— Христос.

Все вздрогнули. Будто вдруг перед ними показался в ночной тьме бездомный Христос, печальный, преследуемый людьми, бедно одетый, с окровавленными от долгого пути ногами. Они с ужасом чувствовали его невидимое присутствие, и несколько минут никто не мог вымолвить ни слова. Да и что они могли сказать? Куда пойти? Кому говорить? Они никого не видели вокруг, и в то же время эта промелькнувшая перед ними фигура казалась им не менее реальной, чем они сами.

Первым прервал молчание Яннакос. Вглядевшись в ночной мрак, он крикнул:

— Кто там? Как будто кто-то постучал в дверь? Кто там? — повторил он снова, протянув руку.

Листья фигового дерева зашелестели, ночь снова наполнилась запахом хлебов, жимолости, спелого инжира. И четверо друзей, глубоко вдыхая этот запах, почувствовали в себе присутствие кого-то незримого. Все вспомнили, что в детстве, когда сердца их были еще невинны, то же Невидимое входило в них в страстной четверг, во время причащения.

— Манольос! — сказал Михелис и хотел обнять своего друга, но сдержался. — Манольос, с сегодняшнего дня, с того часа, как я увидел тебя выходящим из ворот аги со связанными руками, когда ты спокойно, радостно шел принести себя в жертву, чтобы спасти село, я почувствовал какое-то дуновение и увидел какое-то странное сияние вокруг тебя, — как будто ты стал выше, стройнее, как будто ты превратился в пламя! В ту самую минуту я и принял решение: пойду за тобой всюду, куда ты меня поведешь. Что ты прикажешь, то и сделаю.

Он умолк на мгновение в нерешительности, но тут же добавил тихо, но твердо:

— Теперь, когда я видел, как ел мой отец, как он пил и пошел спать, я понял, что связан больше с тобой, Манольос, чем с ним! Я больше его не слушаюсь, — слушаюсь только тебя.

Яннакос и Костандис тоже хотели что-то сказать, но не смогли и разрыдались.

Показалась на пороге жена Костандиса, услышала их плач, покачала головой и вернулась в комнату. Манольос взял руку Михелиса и крепко сжал ее в своих руках.

— Брат мой, — сказал он, — ты лучше меня, ты невиннее, ты ближе к Христу, чем я. Тебя не мучают дьявольские голоса, и ты проще и увереннее находишь свой путь. Ты достигаешь одним спокойным, легким шагом того, чего я столько лет пытался достичь в муках, но так и не достиг. Твое самопожертвование вдвойне дорого, потому что, у тебя архонтский дом, и отец твой архонт, и богатство у тебя, и имя; у меня же ничего нет. Я жертвую богу самым малым и еще мучаюсь, чтобы принести даже эту ничтожную жертву. Как и у моего учителя Манасиса, у меня, бездельника, тоже были большие планы: тесно мне стало в кошаре, тесно мне стало в селе, я страстно желал взойти на большой корабль и отправиться на край света, чтобы там найти свое спасение. Мне казалось, что гроб господень находится очень далеко, на краю света, и я презирал тот клочок земли, который мне послал бог… Но теперь я понял. Христос находится везде, он бродит вокруг нашего села, стучится в наши двери, стоит и просит милостыни у наших сердец. Беден, голоден, бездомен Христос в этом богатом большом селе, где живут и царствуют аги, Ладасы, попы Григорисы! Он беден, и у него голодные дети. Он просит милостыню, стучится в двери и сердца, а его гонят от двери к двери, от сердца к сердцу.

Манольос встал, и лицо его словно засияло в темноте.

— Братья, — воскликнул он, — мы найдем его, мы откроем ему наши двери и сердца. Раньше я его не видел, не слышал; теперь я его вижу и слышу. Позавчера ночью, когда Яннакос поднялся на гору и нашел меня в моем уединении, я ясно слышал голос Христа. Он окликнул меня, назвав по имени, и тогда я спустился в село. Я думал, он позвал меня, чтобы я отдал свою жизнь за других; но, оказывается, он позвал меня не для этого. Теперь я знаю, для чего он звал меня, и я уже принял решение.

Чей-то голос, как будто Костандиса, послышался в темноте:

— Какое решение, Манольос?

— Какое решение? — повторил Манольос и некоторое время напряженно о чем-то думал. — Как мне это выразить словами? Не могу. Мне кажется, только на деле я смогу это показать, если бог захочет. Братья, я принял решение совершенно изменить всю свою жизнь, забыть свое прошлое и искать Христа на дорогах. Я пойду впереди него с трубой, словно его сеиз, и я буду вещать. О чем я буду вещать, не знаю. И мне это все равно, ведь что бы я ни сказал, моими устами будет говорить Христос. Вот какое решение я принял, братья.

Он умолк. Наступила тишина, только шелестела густая листва фиговых деревьев. Но вскоре все заговорили, посыпались вопросы.

— А мы, я, например, со своим осликом, со своими галантерейными товарами, со своими ничтожными делами? — спросил Яннакос.

— А я, со своей женой и детьми, со своей кофейней? — спросил Костандис.

— А я не спрашиваю, — сказал Михелис. — Я тоже принял решение. Сегодня, еще до того как я пришел сюда, чтобы встретиться с вами, я решил оставить отцовский дом.

Манольос ничего не ответил. В бледном свете звезд он едва различал обращенные к нему лица Яннакоса и Костандиса. Друзья задавали ему вопросы и ожидали на них ответа. Что им ответить? Как мог он за них принять решение и изменить всю их жизнь? Для каждого настанет час освобождения; каждый должен сам принять решение.

— Братья! — произнес он наконец. — Каждое решение человека похоже на плод дерева. Медленно, терпеливо плод впитывает в себя солнце, дождь, воздух, созревает и падает. Потерпите, братья, не спрашивайте никого. И для вас пробьет благословенный час — и тогда вы не будете спрашивать, а сами спокойно, не терзаясь, оставите жену, детей, родителей, торговлю, расстанетесь со всеми маленькими жемчужинами и встретитесь с Большой Жемчужиной — Христом.

— Ты нам указываешь путь, Манольос, — сказал Яннакос. — Я пойду с тобой.

— Не торопись, дорогой Яннакос, — отозвался Манольос и пожал руку своего нетерпеливого друга. — Предоставьте мне пока одному бороться и страдать.

— Никуда ты не пойдешь! — вырвалось у Костандиса, и он протянул руку, как будто хотел удержать Манольоса. — Ты нас не оставишь!

— Куда я пойду, Костандис? Разве ты уже забыл, где встретился мой учитель с гробом господним? Тот, кто борется и страдает на одном клочке земли, тот борется и страдает на всей земле. Я буду с вами вместе всегда! Здесь в Ликовриси, на горе и на наших землях. Здесь мое гумно, сюда послал меня бог, он велел мне оставаться здесь и сражаться. Здесь для меня гроб господен.

Жена Костандиса снова показалась на пороге и что-то пробормотала. Манольос поднялся и посмотрел на звезды.

— Братья мои, наверно, уже полночь. Я должен подняться на гору, в кошару. До свиданья, я ухожу.

— Мы тоже пойдем, — добавил Яннакос. — Моя сестра, кажется, хочет спать.

— Да, уже поздняя ночь! — ответила та.

Попрощались с хозяйкой дома, стараясь добрыми словами немного ее успокоить; они жалели Костандиса, которого оставляли совершенно беззащитного в ее когтях.

— В добрый путь, ребята, — сказал Костандис, провожая их до порот. — Да будет Христос с вами!

— Дай бог, чтобы тебе не попало, бедняга Костандис, — шепнул ему Яннакос, когда уже закрывались ворота.

Было тихо и по-весеннему свежо; село спало глубоким сном; где-то далеко тявкала собака. Звезды, как мечи, нависли над тремя друзьями.

Всю дорогу они молчали. О чем было говорить? Обо всем уже переговорили.

Расставшись с друзьями, Манольос быстрым, легким шагом, как будто его снова поддерживали ангельские крылья, поднялся на свою гору.

ГЛАВА XI

Пока люди, запутавшись в своих страстях, убивали сами или пока их убивали, пока они избивали или сами подвергались избиениям, пока они стремились вознестись до небес, хлебные колосья спокойно и уверенно созревали, наливались соками и все чаще склоняли свои головки к земле, ожидая жатвы.

Девушки, повязав головы белыми платками, чтоб не опалило солнце, взяли в руки серпы и рано утром отправились на поля. Они уже успели позабыть об опасности, которая пронеслась над селом. Они смеялись и краснели, разговаривая о вдове, и принимали строгий вид, вспоминая сеиза, которого на следующее утро после казни увидели на платане, полуголого и изуродованного. Дул ветер, и страшный труп с высунутым синим языком, поскрипывая веревкой, раскачивался, как колокол.

Но зато их лица прояснялись, когда речь заходила о Манольосе. Их матери, которых ага прогнал с площади, без конца рассказывали, как этот юноша вышел из ворот дома аги, гордый, белокурый, красивый, как архангел. Зря, оказывается, говорили злые языки, будто его лицо распухло от проказы! Ложь это была; конечно, ложь, ибо лицо его, подобно солнцу, сияло совершенной красотой!

Девушки подошли к спелым хлебам и начали ловко работать серпами, словно гнались за кем-то и, догнав, обнимали. Набрав в охапку много колосьев, они оставляли за собой снопы. Кудахтали при этом и насмехались над парнями своего села, без умолку болтали об их недостатках. Тот немного горбат, у того ноги кривые, а третий — заика… И больше всех доставалось как раз тому, к кому втайне они были неравнодушны.

Жена Панайотароса с двумя дочерьми, Пелагеей и Хрисулой, тоже вышла жать на свое маленькое поле. Эта рано постаревшая несчастная женщина со страдальчески вытянутым лицом, напоминавшим изображения на иконах, повязавшись по-вдовьи черной косынкой, устало и молча шла впереди дочерей. Зачем она родилась на свет? Что плохого сделала она богу? За что он так ее мучает? И что плохого сделал ее муж? За что стал он горьким пьяницей, блудным сыном, посмешищем села? Когда-то это был честный, неразговорчивый парень, работяга; проходя мимо ее дверей, он дрожал и не смел даже глаз поднять, чтобы посмотреть на нее! Она была доброй молодой хозяйкой, он — бедняком. И вот однажды его позвал к себе ее покойный отец. «Панайотарос! — сказал он ему, — ты мне нравишься. Ты бедный, но работящий и честный человек. Я знаю, ты любишь мою дочь; возьми же ее с моего благословения!» И он на ней женился, и все шло хорошо до того проклятого дня, когда встретилась ему вдова!

— Будь она проклята! — бормотала жена Панайотароса. — Эта сука меня погубила… Господи, слышишь ли ты честных женщин? Услышь меня, — отправь ее в ад, и пусть она жарится там вместе с Иудой!

Но едва она произнесла это имя, как тут же вздрогнула. Выходило, она молилась богу, чтобы тот не разлучал ее мужа с вдовой даже в аду. Она остановилась в испуге.

За нею шли ее дочери, полные, смуглые, краснощекие, с густым черным пушком на щеках и верхней губе, пахнущие потом. Они о чем-то сплетничали и посмеивались.

— Опять что-то вспомнила старуха. Смотри, остановилась как вкопанная! — сказала младшая сестра, Хрисула.

— Об заклад готова побиться, что она опять вспомнила вдову! — сказала Пелагея и снова засмеялась.

Мимо озабоченно проковылял босой, сгорбленный старик Ладас. Повернув голову, он посмотрел на них; а они уже подошли к своему маленькому полю и сняли с плеч серпы.

— Это и все ваше поле, больше у вас ничего нет? — спросил он старуху мать.

— Только это, дед Ладас; остальную землю мы продали, расстались с ней… — ответила, вздохнув, старуха.

Ладас окинул взглядом поле, мысленно его обмерил, подсчитал, сколько зерна оно даст, покачал маленькой лысой головой и отправился дальше. В его ушах еще шипели, словно гадюки, ругательства Панайотароса. Каждый день он их вспоминал и каждый день давал себе клятву забрать его поле, чтобы у того остались только виноградники: «Я тебе покажу, бесстыжий, что такое совесть и кто такой Ладас».

Он отправился дальше, останавливаясь возле каждого клочка земли и подсчитывая про себя, каковы доходы у крестьян. Каждое лето он ходил на поля, смотрел как собирают виноград и маслины. Его голова была похожа на приходную книгу, где он записывал, сколько примерно зерна, вина и оливок собирает каждый земляк, и сможет ли он прокормить свою семью в течение года, или же нужда заставит его просить взаймы… И прикидывал Ладас, можно ли дать взаймы, сколько и какой процент взять с каждого.

Так было каждый год. А в этом году старик Ладас начал свою проверку с еще большей жадностью, чем всегда. С того самого дня, как он вырвался из пасти Харона, у него появилось непреодолимое желание прибрать к своим рукам побольше полей, виноградников, оливковых садов, набить сундуки лирами доверху, преуспеть во всем. И он решил еще туже затянуть пояс, почти вовсе не есть (со вчерашнего дня он отказался и от маслин), не пить ничего, кроме воды божьей, не одеваться и не делать никаких ненужных расходов. «Времени мало, Пенелопа, — говорил он своей давным-давно безразличной ко всему, угасшей супруге, — каждую минуту мы можем умереть, нужно торопиться. Что скажет на это твоя милость, Пенелопа?»

— Неужели ты все хочешь прибрать к своим рукам, Ладас? Что со всем этим добром ты сделаешь? Что ты возьмешь с собой? Лоскут ткани на саван! Оставь в покое бедняков, дай им поесть досыта.

Разозленный скряга повернулся и увидел перед собой толстого, краснощекого архонта Патриархеаса в широкополой соломенной шляпе с белой вуалью, закрывающей шею. Шляпа предохраняла старика от солнечного удара. Он пришел на свои поля, чтобы понаблюдать за работой жниц и полюбоваться на их выставленные зады и полуобнаженные груди, покрытые капельками пота. Время от времени он отпускал какое-нибудь словечко, развлекая их и сам развлекаясь этим.

Старик Ладас посмотрел на него, задыхаясь от злости, но промолчал.

Архонт Патриархеас надрывался от смеха, глядя на худое, голодное лицо старикашки скряги и на рваные короткие брючишки, которые болтались на его тощих ногах.

— Мне кажется, очень метко назвал тебя этот медведь Гипсоед, когда мы были в подвале, — напомнил Патриархеас, чтобы немного подразнить старика.

— Да и твою милость, мне кажется, он хорошенько разобрал по косточкам, — прошипел Ладас. — Или ты уж позабыл?

— Это насчет архонтской свиньи ты хочешь сказать? Что тебе ответить, брат! Чем больше я думаю об этом, тем больше убеждаюсь, что метко стреляет подлец!.. Поверишь ли, дорогой, с той минуты, когда я вышел из подвала, у меня появился дьявольский аппетит: все ем и ем, Леньо не успевает резать для меня кур, Никольос не успевает таскать с горы молоденьких ягнят и сыр, садовник — фрукты и разную зелень... Не могу насытиться, дорогой Ладас, да и не хочу! Иной раз прополощу горло раствором, что дал мне поп Григорис — пошли, боже, ему здоровья, он тоже не дурак пожрать! — тогда все выблевываю, освобождаю желудок и снова начинаю есть. Понял?

— Понял, — ответил старик Ладас и сплюнул. — Черви высовывают свои головки из земли, — любуются, глядя, как ты толстеешь, жиреешь, и шепчут: «Эх, какой пир будет!» Ты толстеешь, я худею, а черт нас обоих заберет!..

Сказав это, Ладас снова сплюнул и отправился дальше.

В то время как христиане и христианки убирали урожай со своих полей, ага, запершись у себя дома, ничего не ел, не пил. Он то расхаживал по комнате, мертвецки пьяный, и раз так упал, споткнувшись, что чуть не сломал себе шею, то сидел, скрестив ноги на подушке, курил трубку, размышляя о бренности всего земного, и с увлечением следил за колечками дыма, поднимающимися из его трубки и медленно тающими в воздухе. Но однажды утром ага все-таки встал, оделся и позвал к себе старуху горбунью.

— Оседлай лошадь, положи в сумку хлеба, мяса и бутылку раки. Поеду в Большое Село, сяду там на дьявольскую машину и направлюсь в Измир. Следи за домом, чтоб никто сюда не заходил и чтоб никто не узнал о моем отъезде; иначе, несчастная, когда вернусь, я и тебе отрублю нос, уши и горб! Слышишь?

— Слышу, дорогой ага, слышу, поезжай, да пошлет тебе господь удачу! — ответила старуха Марфа.

А про себя захихикала: «Едет снова поискать какого-нибудь Юсуфчика в Измире, будь он и все они прокляты!»

Глубокой ночью, чтоб никто его не увидел, ага сел на лошадь и тайком выехал из села.

— И как только моя глупая башка не могла додуматься до этого столько дней! Вот тебе! — пробормотал он и сам себе показал дулю.

Через несколько дней жатва закончилась, крестьяне заскирдовали хлеба и начали молотить, веять, таскать урожай в дома. Панайотарос отвез весь свой урожай на мельницу, смолол его, привез муку домой, велел жене и дочерям замесить тесто, а потом достал пистолет, стал посреди двора и принялся стрелять в воздух. Было известно, что ага уехал, и теперь никого не боялся Панайотарос. Вот он и вытащил пистолет из-под балки, где хранил его, и начал стрелять, крича жене и дочерям:

— Вон! Вон! Уходите! Отправляйтесь ко всем чертям! Я хочу остаться один!

Прибежали соседки, пали к его ногам, умоляли его успокоиться. Жена и дочери плакали. Но он все больше и больше свирепел и орал: «Вон! Вон!» Схватил их за волосы, вышвырнул из дома, запер двери на ключ, достал большую бутылку раки из шкафа, колбасу, которую купил на закуску, разложил вокруг себя горячие лепешки и улегся, полуголый, под оливковым деревом посреди двора.

Он ел, пил, время от времени хватался за пистолет и стрелял, потом валился на спину, делал руками и ногами непристойные жесты. «Это тебе, подлое, — кричал он небу, — тебе, подлое!» И снова жрал и пил.

Несколько дней и ночей слышали соседи, как он ревел и стрелял в воздух, а иногда начинал петь. Но понемногу его голос охрип, выстрелы почти прекратились. Через щель в воротах соседи подсмотрели — он был совсем голый, его рыжая борода стала серой от блевотины, он лежал навзничь, делал те же непристойные жесты, обращаясь к небесам, и через силу хрипел: «Вот тебе, подлое! Вот тебе, подлое!»

А однажды днем все стихло. Утром щелкнул один-единственный выстрел, затем некоторое время раздавались стоны и, наконец, наступила гробовая тишина. Соседи собрались перед его воротами и заглянули в щель; Панайотарос лежал неподвижно, уткнувшись лицом в блевотину, а вокруг были разбросаны остатки пищи.

— Давайте взломаем ворота! — предложил парикмахер Андонис. — Если он умер, то начнет гнить, и пойдет зараза по всему селу.

— Спросим сперва попа Григориса, — предложил пономарь и побежал к попу.

— Взломайте ворота, он, должно быть, отдал душу сатане, похороните его, а я вмешиваться не собираюсь! — заявил пришедший поп Григорис, который никак не мог забыть того, что Гипсоед наговорил ему в подвале.

Прибежали жена и дочери пьяницы, взломали ворота. Подняли Панайотароса из нечистот. Был он смертельно бледен и так исхудал, что от него остались кожа да кости. Вероятно, он валялся на битом стекле, так как сплошь был покрыт ранами. Но он еще дышал. Жена вымыла его, как моют коней, — дочери таскали колодезную воду и лили ее на отца ведрами. Постепенно он пришел в себя, приоткрыл глаза, увидел вокруг женщин и снова разъярился.

— Вон! Вон! — заорал он, пытаясь найти пистолет.

Но тут же бессильно повалился на землю.

Его подняли, втащили в дом, положили на койку. Парикмахер Андонис предложил пустить ему кровь, но соседки не разрешили.

— Какую кровь ты хочешь у него взять, Андонис? Он и так как свеча... Давайте лучше позовем старуху Мандаленью, она заговорит злых духов, что овладели им.

Какой-то подросток побежал сломя голову к знахарке.

Одна соседка предложила приготовить ему кислое питье, другая — положить на живот горячий кирпич, а какая-то старуха сказала, что все вместе должны плюнуть на него несколько раз — это испугает дьявола, и он уйдет.

Но пока они решали, бодрая старуха Мандаленья уже спешила со своими лекарствами. Были у нее три мешочка — в одном из них, белом, находились разные пахучие травы; во втором, черном, — всякие порошки и флакончики; в третьем, голубом, — черные бобы, осколки зеленого стекла, комочки смолы, большой кусок от святого креста, цветы с церковной плащаницы и косточка летучей мыши.

Она наклонилась, внимательно посмотрела на Панайотароса, покачала головой и отозвала в сторону его жену.

— Ты достаточно мучилась, дорогая, — тихо сказала старуха, — у меня душа болит за тебя... Он, дочка, не человек, а зверь; теперь он на минуту потерял свою силу и успокоился, но как только выздоровеет, начнет творить то же самое и даже хуже, — таким вот был и мой покойный муж, но, слава господу, черт его забрал... Я хочу доверить тебе одну тайну, но ты поклянись, что сохранишь ее, — даже бог не должен об этом слышать!

— Клянусь тебе! — ответила несчастная женщина, задрожав.

— Смотри сюда, — сказала ей старуха и указала на черный мешочек. — Тут у меня есть один чудесный порошок; если дашь это ему, то через несколько дней он спокойно, без боли, окачурится. Что ты скажешь? Избавишься, несчастная! И он тоже избавится от грехов.

— Ради бога, не говори больше! — крикнула бедная женщина.

— Как хочешь, — сказала старуха и пожала плечами. — О твоем благополучии думаю, но если ты не хочешь…

Сунула старуха свой черный мешочек за пазуху, вытащила второй, белый, с лекарствами и начала лечить. Заварила какие-то травы, напоила больного, достала масло и благовония, размешала все это с перцем и натерла отощавшее тело. Ей напомнили о кирпиче — взяла она горячий кирпич и положила ему на живот. Потом достала из голубого мешочка смолу, подогрела ее и намалевала крест на пороге у ворот. Наконец выгнала всех из комнаты, заперла дверь, подошла к Панайотаросу, плюнула в него трижды и погрозила ему кулаком.

— Пошел к черту, Иуда!

Потом вышла из комнаты.

— Не трогайте его, — сказала Мандаленья. — Я прочла над ним молитву; через три дня он будет здоров.

В награду она получила вдоволь хлеба, хранившегося во дворе, и длинную колбасу, висевшую на оливковом дереве. Старуха перекрестилась и ушла.

«Мужчины — дикие звери, будь они прокляты! — болтала старуха сама с собой, шагая по дороге. — Эх, разрешили бы мне, дала бы им всем подряд известные мне порошки и отправила бы всех к черту!»

Когда она вставляла ключ в замочную скважину, мимо торопливо прошел хмурый Яннакос со своим осликом.

— Эй, эй, погоди! — крикнула: ему старуха. — Дай мне посмотреть на тебя, Яннакос! Что творится с моим ненаглядным племянником? Неужели вам его не жалко? Сбили его с толку, и теперь он сидит в одиночестве на горе и, говорят, читает евангелие… Слыханное ли дело! Евангелие… вместо того чтобы детей с Леньо плодить…

— Вот за это и спасибо ему, тетя Мандаленья! — сердито ответил Яннакос. — И нет никого, кто бы пал на землю и поцеловал ему ноги! Пропадите вы пропадом, старики, старухи, старые обезьяны!

Но старуха, перешагнувшая уже было порог, одним прыжком снова очутилась на улице.

— Вот заболеешь когда-нибудь, — крикнула она ему, — и попадешь в мои лапы! Тогда я тебе отомщу!

Потом, хихикая, закрыла за собой дверь.

Но некогда было Яннакосу возвращаться и начинать с ней ссору. Его мысли были на Саракине, откуда он только что пришел, совершенно расстроенный. Построили там уже несколько домиков, но не хватало леса для крыш. Дети, бледные, худые, сидели у входа в пещеры, забыв об играх; серьезные, задумчивые, как старики, смотрели они вниз, на поля, казавшиеся издали такими крохотными, на девушек-жниц в косынках. Кое-кто из здешних женщин собирал травы, Другие разводили костры, но не было у них ни масла, ни хлеба, ни маслин, — ели они только малосъедобную зелень. Мужчины разошлись по ближним деревням в поисках работы, а поп Фотис взял евангелие и, как нищий, бродил по селам с мешком, прося милостыню для своих людей.

— Как у вас дела, дядя? — спросил Яннакос одного старика, который черпал воду из углубления в скале и поливал грядку, устроенную на небольшом клочке земли. — Как вы поживаете в новой деревне?

— Слава богу, — ответил старик, — еще живы.

— Дети, вижу, худенькие; ножки у них стали как тростинки.

— Ну, они еще наберутся сил, не беспокойся! Кое-кто умрет, но ничего, родятся другие, дай им бог здоровья! Людское семя бессмертно! Дети у тебя есть?

— Нет!

— Почему? Чего же ты ждешь? Давай плоди. Слава богу, женщин всегда много, плоди детей… Подбрось-ка хворосту в костер!

Яннакос отошел в сторону. Некоторые узнали его, подошли поздороваться. Женщины окружили ослика и жадно смотрели на полные корзины. Маленькая девочка протянула руку, дотронулась до красной ленточки, полюбовалась ею, поласкала ее пальчиками, потом вздохнула и снова положила на место… Смуглая женщина с большим животом взяла из корзины расческу из белой кости, долго смотрела на нее, не желая расстаться с ней. Ее глаза жадно бегали от расчески к Яннакосу. Разум у нее помутился; ей казалось, что она уже стащила эту гребенку, что убежала с ней, никем не замеченная, и что теперь сидит она у пещеры и спокойно расчесывает на солнце свои волосы.

Яннакос разговаривал с мужчинами, но время от времени бросал быстрый взгляд на женщин, окруживших ослика: их руки алчно рылись в корзинах, затем устало опускались, ничего не взяв. Вдруг Яннакос вскочил на ноги. Его глаза загорелись от радости. Он отцепил от пояса дудку и потрубил; потом, приложив руки ко рту, начал выкрикивать:

— Расчески, ленты, зеркальца, нитки, иголки, щипцы, фланель! Выбирайте и берите, хозяйки! Денег не хочу, на том свете вы мне за все заплатите!

Женщины заволновались, хотели тут же наброситься на корзины, но еще сдерживались.

— Шутит, — сказала одна, — только опозоримся. Прочь руки!

— Да нет, он не шутит, говорю я вам! — сказала смуглая женщина и побежала к себе, унося расческу.

А девочка снова сунула ручонку в корзину и схватила красную ленточку.

— Я тоже пошла! — крикнула девочка и запрыгала, как козленок, с камня на камень.

Яннакос смотрел и смеялся; потом поднялся на камень.

— Очищайте корзины смелее, дорогие хозяйки! Правду вам говорю, — денег не хочу, на том свете мне заплатите! Я вам доверяю!

Тогда женщины набросились на корзины, не выбирая, хватали первое, что попадало под руку, радостно визжали и убегали. Обе корзины опустели почти мгновенно.

— Ты что, дурак или святой? Что ты, брат Яннакос? — спросил его какой-то старикашка.

— Я торговец, — ответил Яннакос улыбаясь. — Бог мне заплатит с процентами.

— Я слышал, сын мой, что и наши деды давали взаймы и договаривались, что им заплатят на том свете, — но они верили в бога…

— И я верю, — сказал Яннакос.

Он взял ослика за уздечку.

— До свиданья, — сказал он.

У подножья Саракины, еще до того как его окликнула старуха Мандаленья, Яннакос встретил Никольоса. Тот, с ягненком на плечах, торопился в село.

— Эй, Никольос! — крикнул ему Яннакос. — Как поживает Манольос?

Никольос обернулся и засмеялся.

— Читает, — ответил он, — читает, несчастный, и размышляет… Я несу ягненка хозяину, я женюсь!

Он вертелся, поднимая пыль, начал даже танцевать с ягненком ни плечах. Его загорелое лицо блестело на солнце, как бронза, его белые зубы сверкали. Перестав танцевать, он крикнул:

— Женюсь, земляк, на Леньо! Ты что-нибудь слышал о Леньо? — И снова захохотал. — Сказать тебе одну пословицу, Яннакос?

— Ну, говори, Никольос, вижу настроение у тебя хорошее.

— Пока Мелетис книжки читал, Григорис не зевал — у Мелетиса жену забрал!

И он так засмеялся, что от его смеха задрожал воздух.

И действительно, Манольос днем и ночью читал евангелие и размышлял. Он читал, склонившись над священными текстами, трудился в поте лица своего, чтобы вникнуть в каждое слово, понять его истинный смысл. Вначале все слова казались ему крепкими орешками, и он должен был разбивать их, чтобы добраться до сладкого ядра, но постепенно в ответ на его терпение и любовь слова становились податливыми, легкими и сами раскрывались, согретые его горячим дыханием.

И вдруг все показалось ему очень простым, а сам Христос — добрым словом, предназначенным для бедных, темных людей на земле. И Манольос шаг за шагом, не спотыкаясь, следовал за Христом с той самой минуты, когда тот родился в Вифлееме и пришли к нему пастухи — вместе с ними был и Манольос — и начали петь «Осанну» вокруг яслей… И шел с ним Манольос вплоть до великого солнечного дня воскресения, когда Христос восстал из своего гроба и вошел в сердце Манольоса.

Он достал кусок дерева с вырезанным ликом Христа и начал долбить дерево сзади, чтобы сделать маску. Занимаясь резьбой, он вспомнил, что, когда, еще мальчиком, жил в монастыре, к ним приехал, чтобы отпраздновать пасху вместе с монахами, какой-то ученый-богослов из Константинополя. В страстную субботу, утром, он поднялся на амвон, держа под мышкой ворох толстых книг в золотых переплетах, и обратился к простым монахам с речью, пересыпая ее непонятными греческими словами. Битых два часа объяснял он таинство воскресения… До сих пор монахи считали Христа очень простым, понятным и никогда не спрашивали себя, как и что. Воскресение Христа, по их мнению, было так же неизбежно, как неизбежен после ночи восход солнца. И вот теперь этот ученый-богослов запутал их своей пышной ученой премудростью… И отец Манасис, вернувшись в свою келью, сказал Манольосу:

— Пусть бог меня простит, сын мой, но сегодня впервые я не почувствовал воскресшего Христа.

Манольос примерял вырезанную им деревянную маску к своему лицу, чтобы проверить, хорошо ли она держится. Однажды Никольос застал его с маской на лице и начал громко смеяться.

— Манольос, ты впадаешь в детство, мне кажется, ты играешь с этой маской, вот и все!

Манольос улыбнулся.

— Нет, не играю, — сказал он и замолчал.

Никольос уже несколько дней вертелся около Манольоса, хотел с ним поговорить, но слова застревали в горле у пастушонка. Сегодня он наконец решился, подошел, уселся рядом со своим хозяином, наклонился, посмотрел на вырезанную деревянную маску, но мысли его блуждали далеко. Наконец он толкнул коленом Манольоса.

— Манольос, эй, Манольос! — позвал он громко, словно тот находился на противоположной горе и нужно было кричать.

— Говори, Никольос, но не кричи, говори тихо, я слышу.

— Я тебе скажу кое-что, только ты не сердись, слышишь?

— Не буду сердиться, Никольос, говори и не толкай меня коленом, — больно.

— Я женюсь на Леньо! — крикнул Никольос и крепко сжал свой тяжелый пастушеский посох, готовясь убить Манольоса, если тот кинется на него.

Манольос улыбнулся.

— Я знаю, — сказал он.

Никольос вытаращил глаза.

— Ты знаешь? — спросил он. — Ты это знаешь и не бросаешься на меня? Я бы, клянусь хлебом, которым питаюсь, я бы убил тебя!

— Я поздравляю вас обоих; будьте здоровы, счастливы, живите до старости, плодите детей, чтобы выросли они хорошими людьми.

— Это как-то не укладывается у меня в голове, — пробормотал Никольос задумчиво. — Ты не убьешь меня?

Манольос протянул руку и обнял пастушонка.

— Да неужели же ты меня не убьешь? — снова повторил Никольос с беспокойством.

— Нет, нет, дорогой Никольос, я не убью тебя, — сказал Манольос и снова улыбнулся.

Никольос вдруг испуганно вскочил, взглянув на Манольоса, который опять занялся своей маской.

«Он болен, несчастный, винтик какой-то у него развинтился, уйду-ка я лучше», — мелькнуло у него в голове. Он отбежал в сторону, сунул пальцы в рот и засвистел; к нему подбежали овчарки, подошли овцы. Никольос снова находился среди знакомых ему животных, к которым он привык; те его тоже знали. Он успокоился...

На минуту в мыслях Манольоса промелькнула Леньо — полненькая, мягкая, задорная, как две капли воды похожая на Никольоса. Положив на колени маску, он задумался.

«Желаю им всего доброго, — прошептал он. — Они пошли по той дороге, которую указал бог на земле людям. Я же хочу пойти по иному пути — без жены, без детей, без радости; я отказываюсь от мира сего, отряхаю со своих ног прах земной... Прав ли я? Христос был прав, но он бог. И не будет ли это высокомерием, если человек захочет пойти по стопам бога?»

Он не мог найти ответа. В критические минуты своей жизни он никогда не спрашивал, а уверенно шел вперед. Он никогда не чувствовал себя таким уверенным и таким искренне счастливым, как в тот день, когда его связали и повели вешать. Но в обычные дни, когда он не испытывал душевного подъема, его мучили многие вопросы. Он робел и терялся.

Позавчера он ходил на Саракину, хотел встретиться там с отцом Фотисом и попросить у него поддержки. Может быть, тот тоже переживал душевную тревогу и протянул бы ему руку помощи? Но он не застал старика, тот ходил по окрестным деревням, просил милостыню. Поэтому Манольос вернулся в свое уединение, снова взялся за евангелие, и теперь оно должно было ответить ему на все его вопросы.

Он открыл маленькое евангелие, как открывают в жаркий день дверь, выходящую на море, и с головой окунулся в священные тексты. Он сразу позабыл о мучивших его вопросах; они как бы вылетели у него из головы, — его сердце само давало на все ответы.

Он вскочил на ноги, раз-другой прошелся резцом по обратной стороне маски Христа, подогнал ее к своему лицу, — маска была ему в самый раз.

— Слава тебе, господи! — сказал он. — Работа закончена.

Он поклонился маске, пошел в сарай и повесил ее там на стене, рядом со старинной иконой, изображавшей сцену распятия и ласточек, летающих вокруг креста.

В этом году на сельском празднике не будет задорной вдовы Катерины... Каждый год в этот день она умывалась с вечера, намазывала свои волосы лавровым маслом, чистила зубы ореховыми листьями, надевала на шею ожерелье из голубых камней, которое защищало ее от злого глаза, и поднималась на гору к церкви пророка Ильи. Поднималась одна, никто не подходил к ней, и она у всех на виду преклоняла колена перед иконой огненного пророка. И грозный пророк сурово смотрел на нее, но он не мог выйти из красок и серебряных пластинок, в которые заключили его верующие, — вдова знала это и безбоязненно прикладывалась к нему своими алыми губами.

Но теперь вдова покоилась под землей. Все исчезло — волосы, губы, щеки, шелк. Только зубы оставались белыми под землей и, наверно, блестели, как белая галька на морском берегу.

И Панайотарос тоже не пошел в этом году на сельский праздник. Он все еще лежал в постели и беспрерывно ругался. Но его две дочери тайком вышли за ворота и направились к церкви, смуглые, толстенькие, с густым пушком на верхней губе и потными, пахнущими мускусом подмышками. Они походили на диких зверей, которым вдруг стало тесно в клетке, и вот, выйдя на улицу, они бросали жадные, умоляющие взгляды направо и налево, отыскивая самца. Будь они коровами, замычали бы жалобно; будь они львицами — заревели бы ночью, и всколыхнулся бы лес; будь они кошками — катались бы по земле или мяукали на крышах; но они были девушками и поэтому опускали глаза, когда проходил мимо какой-нибудь юноша, и только хихикали ему вслед, потешаясь над ним:

— Смотри, бедняга совсем горбатый; а у этого какие некрасивые ноги, а вон тот — молодец!

И они злились на молодца, потому что тот проходил и не кидался на них, не бросал их на камни.

Поднимался к церкви и парикмахер Андонис. Был он небрит, потому что было у него много работы и сам он не успел побриться. Он очень любил праздник пророка Ильи, ибо все односельчане, прежде чем отправиться в церковь, брились в его, Андониса, парикмахерской, а потом, когда возвращались в село, кое-кто из пьяных валился на сырую землю, да так и засыпал, а назавтра торопился позвать Андониса, чтобы тот поставил банки и тем выбил из тела хворь. Это приносило ему самый большой доход. Правда, как мы уже знаем, он рвал также и зубы, но у подлецов односельчан зубы были здоровые, крепкие, они ломали твердый как камень миндаль, а изредка, коли и впрямь заболевал какой-нибудь зуб, крестьяне сами — и какие только черти им это посоветовали! — обвязывали его шпагатом, тянули — и зуб вылетал; потом выпивали большой стакан раки и, как прежде, дробили крепкий миндаль на закуску.

Трое наших друзей медленно шагали по дороге, спокойно разговаривали и понемногу отстали от всех, Сперва Яннакос и Михелис шли рядом с попом Григорисом. Один из них следил за своим осликом, на котором сидела Марьори, время от времени обращавшаяся к животному с нежными словами: пусть знает, что хозяин рядом и не скучает; а другому хотелось побыть со своей Марьори. Он смотрел на свою невесту с молчаливой страстью, втайне предвкушая будущее счастье, и любовался ее нежной застенчивостью и благородным видом, а та пристально рассматривала его породистое чистое лицо, черные кудрявые волосы и стройную фигуру. Так при ярком свете дня, в шумной толпе, поднимавшейся на гору, они забыли обо всем на свете и мысленно, словно это уже происходило сейчас, видели себя в объятиях друг друга.

Глаза Марьори мечтательно смотрели вперед, — перед ней вставала другая Марьори, та, что держала у своей груди ребенка и кормила его.

— Дорогой пророк Илья, — шептала она, смотря на суровую вершину горы, — я обращаюсь к твоей милости. Сделай так, чтобы я держала на руках сына!

За ними шел Костандис со своим семейством; впереди ехала на муле жена, а позади нее сидели двое сынишек. Следом молча шагал сам Костандис. О чем было им говорить — обо всем уже говорили тысячу раз, то в мирной беседе, то в ссорах. Жена часто еще вспыхивала, часто еще ссорилась, но он уже сложил оружие и вошел в царствие небесное, как он выражался, — в молчание.

Понемногу три друга, страстно желавшие оторваться от других и остаться вместе, позабыли о своих заботах и теперь спокойно шагали позади всех.

— Где Манольос? Разве он не с вами? — спросил Костандис. — Разве он не придет на праздник?

— Вчера после обеда я ходил к нему в кошару, но не застал его, — сказал Михелис. — Я позвал Никольоса. «Еще рано утром Манольос пошел в церковь пророка Ильи, — сказал он мне, — понес туда кувшин с маслом и охапку лавровых ветвей, но пока не вернулся. Он нездоров, и, вспомни мои слова, хозяин, наверно, скоро совсем с ума сойдет, он уже немного свихнулся. Я ему признался, что забрал у него Леньо, и он меня не убил. Сегодня читает, Поет псалмы, но завтра начнет кидаться камнями».

Три друга рассмеялись.

— Правда, — сказал Яннакос, — Манольос теперь не тот, что был! Поверите ли, братья, тому, что я вам скажу? Может быть, меня обманули глаза, может быть… но однажды ночью, когда он сидел на лавочке, прислонившись головой к стене, я увидел вокруг его чела какое-то странное сияние, какой-то круглый сверкающий венец, как у святых на иконах… Вы этому верите?

— Я верю, — сказал Михелис.

— Я тоже, — добавил Костандис.

И они замолчали.

Теперь ясно виднелась церковь, чистенькая, только что выбеленная, зажатая между двумя огромными скалами. Точно так же изображали на иконах и грозного пророка, — между двумя горами, которые поднимались справа и слева, словно два огромных крыла. Нависшие над его высоким убежищем скалы как бы превратились в крылья и поднимали его, пророка, в небеса.

Почти рядом с церковью стояла древняя часовня, готовая вот-вот развалиться. В давние времена в ней обитал какой-то святой отшельник; в келье еще сохранилась полусгнившая скамья, на которой он сиживал, а на стене, на гвозде, висели его четки и черный матерчатый крестик. Около кельи находилась могила с железным крестом и плитой, на которой было написано чье-то имя, но его уже нельзя было разобрать.

Обычно старик пономарь поднимался на гору еще до рассвета, чтоб убрать церковь, зажечь лампадки и украсить помещение лавровыми ветками. Но сегодня, открыв дверь, он застыл в ужасе.

— Господи помилуй! Господи помилуй! — бормотал он и без передышки крестился. Вся церковь блистала чистотой, все было вымыто, вычищено, подсвечники натерты, лампады наполнены маслом, а икона украшена лавровыми ветками. Кто-то зажег свечи, воскурил ладан, и вся церковь благоухала.

Пономарь вытер с лица лот и долго не осмеливался войти в церковь. Он боялся, что там находится ангел, скрывающийся в алтаре. Однажды утром, собираясь привести в порядок церковь, он увидел архангела Михаила с левой стороны купола. Архангел слегка пошевелил крыльями, пономарь упал без чувств и с той поры уже не хотел видеть ангелов; чудеса его пугали. «Будь они прокляты», — бормотал пономарь и теперь. Он уселся на пороге и время от времени поворачивал голову, бросая испуганный взгляд на алтарь. Но время шло, ангел не показывался, и проголодавшийся пономарь расхрабрился. Он развязал котомку, достал кусок хлеба и сыр, чтобы поесть, но еда стала ему поперек горла, и он не мог проглотить ни куска. Тогда он взял фляжку с вином, отпил несколько глотков, пришел в себя, прочистил горло и начал потихоньку жевать. А когда поел и выпил, то окончательно осмелел и, перекрестившись, вошел в церковь. Он поклонился, помолился пророку Илье, потом не без страха открыл святые врата алтаря и заглянул туда. Никого нет!

— Слава тебе, господи, — сказал он, — ангел пришел, убрал и ушел. Я спасен!

И пономарь начал без нужды подметать, мыть, чистить подсвечники, расставлять подносы на столе, чтобы как-то убить время. Старик пономарь любил эту церковь, она была связана со всей его жизнью. Некогда церковь была разрушена, и его покойный отец дал обет пророку Илье, что отстроит ее, если выздоровеет его только что родившийся единственный сын, а это и был будущий пономарь. Мальчик выздоровел, и его старый отец сдержал слово.

Пономарь вспомнил прошлое и вздохнул.

Большое будущее ему предсказывали, когда он родился! А родился он семьдесят пять лет назад, в страстную пятницу, в полдень, в час, когда распинали Христа. Бабка предсказала, что мальчик станет митрополитом, и с тех пор его отец, добрый христианин и хороший хозяин, имел в жизни одну цель: дать образование своему единственному сыну, чтобы он мог выполнить свое великое назначение. Все шло хорошо; будущему митрополиту легко давалась наука, он был смышленым и богобоязненным мальчиком, закончил отлично гимназию в Большом Селе и готовился поступить в главное богословское училище в Халки. Но вот однажды вечером в пустынном переулке предстал пред ним дьявол, а имя его было Кирьякула. Маленького роста, очень смуглая, с полной грудью, выпиравшей из-под кофточки, с тремя большими родинками над верхней губой. Ей было двенадцать лет. Несчастный будущий митрополит растерялся: у него закружилась голова, он пошел за ней; три родинки над верхней губой окончательно свели его с ума. Напрасно бедный отец плакал, заклинал его, чтоб он не сворачивал с дороги, предначертанной ему богом. Будущий митрополит заявил, что ему нужна только она и никто другой и что он покончит с собой, если на ней не женится.

— Слава тебе, господи, — нередко говорил он впоследствии, находя в этом утешение, — слава тебе, господи, я стал пономарем, с дороги все же не сбился.

Так он размышлял о сегодняшнем происшествии и предавался воспоминаниям о давно прошедшем. А время шло, солнце заходило, И пономарь, сидя на пороге, с удовольствием глядел на приближающуюся праздничную процессию, которая поднималась по тропинке в гору. Ему казалось, что это он сам устраивал праздник и его друзья шли к нему в дом с поздравлениями.

Он ясно различил крики ослов, гул людских голосов, вскочил ни ноги, схватил веревку и начал звонить в маленький колокол.

Первым показался поп Григорис на своем муле. Пономарь побежал, чтобы встретить священника и помочь ему сойти с седла.

— Ты подмел, убрал церковь, вычистил подсвечники? — спросил поп, прежде чем спуститься с седла.

— Все в порядке, отче, — скромно ответил неудавшийся митрополит. Он решил не рассказывать о чуде, ибо не хотел ни с кем делить славу.

— Ты поставил подносы на стол, как я тебе велел? Мы договорились, что будут три подноса: один для меня, другой для святого, а третий — для свечей.

— Все в порядке, дорогой отче, — снова раздался смиренный голос.

Тем временем подходили и остальные верующие, входили в церковь, оставляли на столе для святого колосья и виноградные грозди. А затем вынимали свои кошельки, и каждый оставлял деньги, сколько мог, на двух подносах, покупал свечки, подходил с благоговением к иконе и клал поклоны грозному пророку. Тот был изображен во весь рост на огненной колеснице, запряженной четверкой ярко-красных коней, на краю какой-то пропасти. Сам он тоже был одет в ярко-красную одежду, из головы его вырывалось пламя; колесница уже оторвалась от земли и висела в воздухе. Какой-то праведник лежал на земле среди камней, прикрыв глаза ладонью от солнца, и с ужасом смотрел на возносящегося святого.

— Это солнце! — прошептала восторженно одна из женщин. — Это солнце!

— Это святой Илья, не бери на себя греха, дорогая Марьори, — сказала другая.

— Это одно и то же, — добавила третья. — Бейте поклоны, скорее закончим обедню.

Солнце уже зашло, но звезды еще не появились, — свет отчаянно боролся с тьмой. Он поднимался на гору, чтоб ускользнуть от тьмы, но ночь тоже поднималась за ним, преследовала свет, перебегала с одного камня на другой, — и так до последнего оплота, до белой церкви пророка Ильи, на вершине горы. И вдруг, как бы обессилев, свет исчез где-то за краем неба.

В это время пришли на праздник и беженцы, жители Саракины, бедные, оборванные, с запавшими от голода щеками. Отец Фотис шел впереди с железным монашеским посохом в руке. Они вошли последними в церковь, у них нечего было положить на подносы. С пустыми руками они направились к святому и поклонились ему.

— Прости нас, грозный пророк, — прошептал отец Фотис, глядя на святого, — и ты был беден, как и мы; ты тоже ходил в лохмотьях, как и мы; ничего у тебя не было, кроме этого великого пламени. Одна искорка твоего пламени горит и в нас, в беженцах Саракины! Прими наш привет!

Они поклонились, вышли на улицу и расселись на камнях, позади сытых и довольных ликоврисийцев.

— Вы простите моих земляков, сказал пристыженный Михелис. — У них котомки полные.

— Бог их простит, — сурово ответил поп Фотис, — бог, а не я.

И умолк, но глаза его метали молнии. Он вернулся сегодня утром с пустым мешком — никто не подал ему милостыни. И теперь, смотря со скалы вниз, на скошенные поля, он действительно был похож на пламенного пророка Илью.

— Эта земля — их собственность, — добавил отец Фотис, — и пусть она их радует. Пусть господь позволит нам заслужить небеса.

И больше не сказал ни слова.

Участники праздника расстелили свои разноцветные ковры вокруг церкви, развязали битком набитые котомки и замололи челюстями. Поднимались вверх фляжки, вино, булькая, лилось в глотки. Вскоре уединенная обитель наполнилась беспорядочным шумом людских голосов, смехом, криками.

Кое-где среди камней зажглись огоньки. Они озарили возбужденные женские лица, девичьи шеи, закрученные усы. Висящий на церковной стене большой трехфитильный светильник освещал толстые щеки, тройной подбородок архонта Патриархеаса, его раздвоенную белоснежную бороду и жующие острые зубы; два луча света время от времени падали на худенькие ловкие руки Марьори, которые резали жареного ягненка и ухаживали за неутомимо работающими челюстями старика.

Но вот один за другим погасли светильники, поползли тени, окутав окружавшие святое место скалы, и уже ничего нельзя было различить. Были слышны только смех и хихиканье, а затем настала беспокойная тишина. Люди сближались тайком, между камнями, как скорпионы, отмечая таким образом праздник огненного пророка.

Бог послал утро, показалось солнце на пламенной колеснице, похожее на своего тезку, пророка. Люди вскакивали, потягивались, позевывали, покашливали, протирали глаза и пили кофе, чтобы стряхнуть с себя сон. Небольшой колокол зазвонил торопливо и радостно, и нежный серебристый звон словно вода полился по склонам горы вниз, на поля.

Опираясь на пастушеский посох, среди скал показался Манольос, безмятежный и веселый. Огляделся вокруг, увидел своих товарищей, стоявших на утесе и с беспокойством смотревших в сторону его кошары. Он обрадовался, пробрался к ним через праздничную толпу, подошел, раскинул руки, обнял радостно кричавших друзей.

— Мы ждали тебя всю ночь, — сказал Яннакос, — почему ты не пришел? Ты же нам обещал…

— Все ли готовы? — спросил Манольос.

Товарищи удивились:

— Готовы? К чему?

— Душа должна быть взволнована, — сказал Манольос улыбаясь, — спина избита, уста должны кричать.

— Ты что-то задумал? — спросил Яннакос и схватил руку друга. — На жизнь и на смерть — вместе с тобой!

— Я-то ничего не задумал, — ответил Манольос, — но, может быть, что-нибудь задумал бог, мы должны быть готовы.

Он смотрел вокруг себя.

— Мне нравится, — сказал он, — эта вершина и этот пророк, которому конем служило пламя и который одним прыжком оставил землю… И даже земляки мне нравятся сегодня, так как они умыты, разодеты и глаза их сияют. Сегодня они готовы быстро воспламениться и начать бойню. Готовы ли мы?

Но со стороны алтаря послышался громкий голос попа Григориса, началась обедня, и друзья замолчали.

Тот, кто мог, вошел в маленькую церковь, остальные стояли на камнях. Из дверей и из окон церкви лилась мелодия — нежная, страстная, словно отзвук душ далеких предков.

Обедня кончилась, все вышли на улицу. Бледный учитель поднялся на уступ и хрипловатым голосом начал хвалебную речь в честь пророка. Очень быстро, немного резко, но смело, он перешел к восхвалению греческой нации, объединил пророка Илью с Аполлоном, заговорил о бессмертном разуме греков, которые некогда вступили в бой и разгромили темные силы варваров. Наконец очень ловко он перешел к туркам, на минуту замялся, но вдруг словно сбросил узду, почувствовал себя свободным и запел национальный гимн.

Началось всеобщее смятение, у людей взыграла кровь, и, охваченные страстным порывом, они запели вместе с учителем греческие строфы: «Здравствуй, гордая Свобода! Острый меч в твоих руках…»

Пророк Илья представился Манольосу клефтом и партизаном в горах, обутым в башмаки и вооруженным самопалом.

Манольос наклонился к своим друзьям.

— Вы готовы?

— Да! — ответили все трое. — Во славу бога, стань впереди!

Они еще толком не знали, что хотел этим сказать Манольос, к чему они должны быть готовы, но каждый чувствовал в глубине души, что готов на все.

Учитель наконец кончил петь и сошел с камня в страшном возбуждении; глаза старика Патриархеаса наполнились слезами, а поп Григорис простирал руки, благословляя паству, которая выполнила свой долг перед богом и могла теперь есть и пить.

В эту минуту Манольос подошел к попу Григорису, поцеловал ему руку и попросил разрешения выступить.

Едва празднично настроенные односельчане увидели Манольоса, они сразу же заволновались, вспомнили, что этот белокурый юноша недавно хотел отдать свою жизнь, чтобы спасти их. Радостный многоголосый гул приветствовал его.

Но поп Григорис нахмурил брови.

— Что ты хочешь сказать? — спросил он его. — Сумеешь ли ты выступить? О чем?

— О Христе, — ответил Манольос.

— О Христе? — смущенно переспросил поп. — Но это же мое дело!

— Христос велел мне выступить, — настаивал Манольос.

— А не посоветовал ли он тебе, что говорить? — саркастически заметил поп Григорис.

— Нет, но он мне посоветует, как только я раскрою уста.

Михелис сделал шаг вперед.

— Дорогой отче, — сказал он, — Манольос хочет выступить перед земляками. Мы все, односельчане, просим тебя: разреши ему! Когда все село было в опасности, Манольос готов был отдать свою жизнь, чтобы спасти остальных. Он имеет право выступить.

— Разреши ему, отче, — сказал тогда и старик Патриархеас. — Он хороший человек.

— Он хочет говорить о том, чего сам не знает, — возразил поп Григорис.

— Это не имеет значения, — вмешался тогда Яннакос. — Твоя святость все знает и просветит его.

— Пусть выступит! Пусть выступит! — крикнул Костандис.

Люди осмелели. Вскочил мясник Димитрос, поднялись парикмахер Андонис, дед Христофис, захлопали в ладоши, закричали: «Пусть выступит! Пусть выступит!»

Поп Григорис раздраженно пожал плечами.

— Хорошо! Хорошо! — сказал он. — Не галдите!

Он неохотно положил руку на голову Манольоса.

— Пусть бог тебя просветит, — сказал он. — Говори!

И скрестил руки на груди, приготовившись слушать.

Манольос сделал шаг вперед и остановился посреди толпы. Яннакос и Костандис быстро подкатили камень, и Манольос стал на него. Односельчане, мужчины и женщины, окружили пастуха. Подошел и священник Фотис со своими. Слегка наклонив голову, он поздоровался с попом Григорисом, но тот сделал вид, что ничего не заметил.

Манольос повернулся лицом к востоку, перекрестился и заговорил:

— Братья, я хочу рассказать вам о Христе. Только вы меня извините, я малограмотный и не умею красиво складывать свои слова. Но позавчера, на заходе солнца, Когда я сидел у своей кошары, пришел Христос и сел рядом со мной на лавочке, тихо, просто, как садится какой-нибудь сосед. В руке он держал пустой мешок. Он вздохнул и уронил мешок на землю. Ноги Христа были в пыли, из ран от гвоздей сочилась кровь. «Ты меня любишь?» — спросил он меня скорбным голосом. «Христос мой, — ответил я ему, — прикажи, и я умру за тебя».

Он покачал головой, улыбнулся, но ничего не сказал. Некоторое время мы сидели молча; я не осмеливался заговорить. Но затем решился.

«Ты устал, Христос, — сказал я ему, — ноги у тебя в пыли и в крови. Откуда ты идешь?» — «Брожу по селам, — ответил он мне, — был я и в Ликоврисі. Дети мои голодают. Нес я с собою этот мешок, чтобы наполнить его подаянием, но вот смотри, я возвращаюсь с пустым мешком. Устал я…»

Он замолчал. Мы оба смотрели на заходившее солнце. И вдруг снова раздался его голос, полный скорби и жалобы: «Что же ты сидишь, если говоришь, что любишь меня? Что же ты сидишь, спокойно и безмятежно скрестив руки? Ты ешь, пьешь, читаешь с удовольствием мои слова, плачешь, когда читаешь о моем распятии, а потом ложишься на лавку и спокойно спишь. И тебе не стыдно? Так-то ты меня любишь? Любовь ли это? Встань!»

Я вскочил и пал к его ногам. «Господи, — крикнул я, — грешен, жду твоего приказа». — «Возьми свой пастушеский посох, иди к людям, не робей и беседуй с ними». — «Что же я им скажу, господи? Я малограмотный, бедный, робкий. При виде собравшихся людей я теряюсь и ухожу. А ты меня посылаешь говорить с ними; что же я им скажу?» — «Пойди и скажи им, что я голодаю, что я стучусь в двери, протягиваю им руки и прошу: „Помогите, христиане!“»

Поп Григорис обеспокоенно зашевелился. Старик Патриархеас зевнул и посмотрел вокруг себя; он проголодался и теперь размышлял, удобно ли уйти. Старик Ладас подошел к попу.

— Плохо для нас кончится эта болтовня, — пробормотал он, — скажи ему, чтоб замолчал.

Но люди слушали затаив дыхание. Они уже начали волноваться, их понемногу охватывал какой-то странный ужас. Будто они и впрямь видели, как босой Христос стучится в двери и просит милостыню, а они кричат ему из-за закрытых дверей: «Пусть бог тебе поможет!» — и гонят прочь... Не так ли приходил еще позавчера, босой, с пустым мешком за плечами, поп Фотис, которого они прогнали?

Манольос перевел дыхание; капли пота выступили у него на лбу. Он обвел глазами присутствующих, долго всматривался в лица своих земляков — одного за другим перебрал их всех, и было столько скорби и столько горя в его благородном лице, что односельчане совсем смутились. Одна старуха перекрестилась.

— Помяни меня, господи, — прошептала она соседке, — да это разве Манольос, пастух старика Патриархеаса, племянник тетки Мандаленьи? Быть может — прости меня, господи! — это сам Христос, который спустился снова на землю ради наших грехов? Что ты думаешь об этом, соседка?

— Молчи, Персефона, молчи! Он снова открывает рот, опять будет говорить.

Манольос простер свои руки к слушателям.

— Братья мои, — крикнул он, — сестры, мужчины и женщины Ликовриси! Я пришел не по собственной воле. Как бы осмелился я, скромный, бедный пастух, говорить и давать советы богатым хозяевам, великим старостам, вообще старшим? Я не по собственной воле пришел — меня прислал Христос, То, что он мне велел вам сказать, то я и говорю: «Голодаю! — кричит Христос. — Помогите, христиане!» Кто помогает бедному, тот помогает богу. Позавчера один из наших земляков пошел к беженцам Саракины. Они голодают, им не во что одеться, не на чем спать. Он привез туда все свое имущество и крикнул: «Приходите, братья, возьмите разделите все, что у меня есть! Денег мне не нужно, но я не дарю вам, а даю в долг — бог заплатит мне на том свете!»

Старик Ладас не выдержал. Задыхаясь от злости, он сделал знак попу Григорису, чтобы тот заткнул рот пастуху, но поп молчал. Тогда Ладас вмешался сам.

— Значит, так, — заверещал он. — Твоя милость советует, чтоб мы роздали все то, что заработали своим потом, и согласились на договор, по которому нам заплатят на том свете? Ну и мозги у тебя, ими только стены штукатурить! Я тебе замечу, голубчик, ты, наверно, толком не понял, что тебе говорил Христос. Так что извини уж меня. Не сули журавля в небе, дай синицу в руки! Вот так-то!

— Не мешай ему говорить, дед Ладас, — крикнул Яннакос. — Ты слышал, кто его послал! Христос говорит его языком!

— Это ты, Яннакос, орешь? рассерженно ответил дед Ладас. — Не беспокойся, мы с тобой рассчитаемся!

Учитель попробовал уладить вспыхнувшую ссору:

— Да, Манольос, ты говоришь хорошие, святые слова, но в жизни так не бывает. Ты витаешь в облаках. Мы не боги, мы — люди; значит, нужно нас людскою меркой и мерить.

— Эту мерку я и беру, учитель, — ответил Манольос, — этим и меряю. Разве все вы, приехавшие на праздник, не христиане? Кто христианин, тот верит в потусторонний мир. А что значит тот свет? Я думаю, что все наши земные дела будут взвешены в том мире. За плохие дела мы будем наказаны, за хорошие нас вознаградят. Кто поможет своим братьям здесь, в преходящей жизни, тот получит в награду вечную жизнь. Поэтому, дед Ладас, лучше журавль в небе, чем синица в руке.

— С твоим умом далеко не пойдешь! — пропищал скряга и злобно захихикал.

— Что же нам делать? — закричали некоторые богобоязненные крестьяне. — Что тебе повелел Христос? Говори яснее, чтобы и мы поняли, а тогда посмотрим.

— Только не советуй нам все разделить, — крикнул какой-то крепкий старик. — Так дело не пойдет. Говори коротко и ясно!

— Закончилась жатва, — продолжал Манольос. — Слава богу, хороший урожай в этом году! Послезавтра закончится сбор винограда, а потом начнем сбор маслин. Поэтому слушайте голос Христа, который звучит во мне и который разрывает мое сердце: односельчане-ликоврисийцы, сюда, к вам, пришли гонимые братья. Перед ними зима, умрут они от голода, от холода, от горя… Раскрывает свои списки господь, смотрит на ликоврисийцев и пишет под именем каждого дату, и сколько у него чего было, и сколько отдал он бедным. Допустим, он пишет: Анастаскос Ладас, сын Михаила, такого-то числа у него было столько-то, отдал столько-то; заплатим ему с такими-то процентами при втором пришествии.

Старик Ладас снова саркастически захихикал:

— Не пойдет! Больно долго ждать придется!

— Вот, учитель, — продолжал Манольос, — то человеческое мерило, которого ты требуешь: каждый хозяин, после сбора своего урожая, выделит из него десятую часть и отдаст ее, как мы тут говорили, богу. Давайте будем помогать нашим братьям на Саракине год-два, пока они не станут на ноги. И вот еще: у нас много свободных участков, у нас столько пустырей, столько земли, что зачастую мы оставляем ее необработанной. А разве это не грех перед богом? Давайте же отдадим саракинцам эти участки, пусть они их обрабатывают, пусть засевают, а потом разделим все пополам, и село наше еще больше разбогатеет, и станут сытыми эти голодающие. Горе тому ликоврисийцу, который ест досыта и не думает о детях Саракины. Тот, кто умирает с голоду на нашем дворе, тяжким грехом висит на шее каждого из нас и погружает нас в смолу. Сколько нас тут, в Ликоврисе? Две тысячи? В две тысячи трупов превращается каждый умирающий с голоду на Саракине и висит, словно ожерелье, на нашей шее! Украшенные этим ожерельем, мы предстанем послезавтра перед господом.

Содрогнулись ликоврисийцы. Некоторые из них невольно провели рукой по шее, словно отыскивая что-то. Наиболее впечатлительные увидели в воздухе две тысячи ликоврисийцев, тянущихся гуськом навстречу дню второго пришествия; на шее у каждого, как бусы, висело по десять, пятнадцать, двадцать трупов; и ангелы, сопровождавшие их, зажимали носы от смрада.

Парикмахер Андонис, у которого мало было и земли и виноградников, крикнул:

— Согласны! Бери, Манольос, блокнот и пиши: я, Андонис Яннидис, сын Фрасивула, парикмахер села Ликовриси, обещаю выделить десятую часть своего урожая братьям на Саракине. Я даю в долг богу. Пиши, Манольос, пусть и бог тоже запишет, — я доверяю!

Послышалось несколько голосов, поднялись руки.

— И я! И я! Пиши, Манольос!

У многих на глазах показались слезы; Но другие смотрели на Манольоса с беспокойством и страхом, а некоторые даже с ненавистью. Старику Патриархеасу удалось ускользнуть. Устроившись за каким-то камнем, он открыл сумку и разложил на лимонных листьях жареного поросенка, оставшегося от вчерашнего ужина.

— Плохи дела у Манольоса, — пробормотал он с полным ртом. — Скоро в него начнут швырять тухлыми яйцами.

А в это время поп Григорис уже гневно поднял руку. Его брови шевелились. Казалось, если тронуть их пальцем, то из них посыплются искры.

— Эй, земляки! — крикнул он. — Остановитесь! Как бы вы еще не хлебнули горя с этим пройдохой! Будьте осторожны! На четырех основах держится мир. Первые три — вера, отчизна и честь, а четвертая великая основа — собственность. Не трогайте ее! Бог делит добро согласно своим, нам неизвестным законам; одно правосудие у бога, другое — у людей. Бог сотворил богатых и бедных, и беда тому, кто попытается нарушить этот порядок: тем он нарушает веление бога! Эй, Манольос, я виноват, что разрешил тебе выступить, — спустись на землю! Ступай пасти овец! Вот место, данное тебе богом, и не появляйся там, где тебя не ждут. Все, что ты нам наговорил, идет против веления бога. Он правит, и что бы ни творилось на земле, творится потому, что он этого хочет!

Он разгорячился, повернулся к попу Фотису, который все время стоял неподвижно и слушал, опустив голову.

— Эй ты, Фотис, — крикнул он, — хорошо мы жили до сих пор в нашем селе, порядок и согласие царили у нас. Черт знает откуда явился ты со своими беженцами, и с того дня пропало наше спокойствие. Без конца жалобы, скандалы, воровство! Бедняки подняли голову, богатые потеряли сон. Но не беспокойся, приедет ага, совет старост падет к его ногам, чтоб он вас выгнал, и тогда у нас снова станет спокойно. Уходите в другое место, где бог к вам будет добрее, а здесь он далеко от вас. Вот что я хотел сказать!

Отец Фотис поднял голову.

— Брат мой, — сказал он спокойно, — ты прав. Все, что творится на земле, творится потому, что бог этого хочет. Манольос высказал все, что было у него на душе, потому что бог этого захотел. Иным сердцам стало больно, они поняли наше горе, у других глаза наполнились слезами, а третьи открыли нам свои амбары и сделали это тоже потому, что так захотел бог. Если же мы принесли вашему селу беспокойство, как сказала твоя милость, то и это произошло по воле божьей. Когда вода слишком застаивается, она становится грязью; так и слишком успокоившаяся душа погружается в грязь. Дай бог, чтобы мы были тем ветром, который поднимает бурю и обновляет воды!

Он повернулся к ликоврисийцам.

— Братья мои, мы тоже были когда-то хорошими хозяевами, а теперь дошли до нищеты. Я обошел много деревень, я стучал во все двери подряд, но вернулся к своим людям с пустыми руками. О себе я не беспокоюсь, пусть я умру! Я не беспокоюсь о стариках, они прожили свой век, пусть умрут! Но мне жаль детей; каждый день кто-нибудь из них умирает от голода, а те, которые еще живы, не могут стоять на ногах. А чего им не хватает? Корки хлеба, капельки масла, какой-нибудь одежды. Если бы у них были те объедки, что вы бросаете собакам и в мусорные ящики, они смогли бы прожить! Ради этих детей я и прошу милостыню; ради них я протягиваю руку и говорю; «Подайте милостыню, христиане!»

Отец Фотис снова опустил голову и замолчал. Лицо его было желтым как воск, глаза казались громадными, руки, скрещенные на груди, были так худы, что под прозрачной кожей просвечивали кости.

Теперь со всех сторон слышались рыдания. Марьори вытирала слезы украдкой. Чья-то молодая жена сняла со своей шеи золотые медальоны и спрятала их, — ей стало стыдно, как будто она их украла. В заплывшем жиром мяснике Димитросе проснулся прежний богобоязненный монах, и он крикнул:

— В воскресенье я зарежу для села другого жирного теленка, а теперь пойду и раздам этого на Саракине! Стыдно нам объедаться, в то время как наши братья голодают.

Воодушевился и парикмахер Андонис.

— Я пойду в субботу вечером на Саракину и побрею всех бесплатно; больные зубы у всех тоже вырву бесплатно!

Заволновался и учитель и, преодолев свой страх, закричал:

— У меня есть буквари, учебники для детей, грифельные доски, грифели и карта Великой Греции; все это я передаю общине Саракины.

— Дурак ты несчастный! — пробормотал старик Ладас и возмущенно сплюнул.

Поп Григорис повернулся, грозно посмотрел на своего брата, но ничего не сказал.

Манольос спустился с камня, подошел к отцу Фотису и поцеловал ему руку.

— Отче мой, — сказал он громко, — ты видишь, не нужно отчаиваться. Христос еще живет, он еще ходит по земле, — его увидели некоторые сердца и открыли ему дверь. Утешься!

Подошли и трое друзей. За ними робко приблизились мясник Димитрос, парикмахер Андонис, неуверенно подошли и другие жители села и с ними испуганный, но решительный учитель.

Отец Фотис увидел их и перекрестился.

— Пошли, дети мои, — сказал он, — у нас тоже есть в старой святой пещере своя часовня. Пошли все вместе, возблагодарим бога; великий день сегодня, забилось человеческое сердце.

Он повернулся к крестьянам, начавшим уже развязывать свои котомки, вынимать мясо и вино.

— До свиданья, ликоврисийцы, доброго аппетита! Твое благословение, поп Григорис.

— Мое проклятие вам, бунтовщики! — заорал архонтский поп. — Все, идущие с тобой, безбожники! Да будут они прокляты!

— Бог, — ответил спокойно священник-оборванец, — бог, который отделяет овец от козлищ, пусть судит! На него только мы и уповаем.

Так он сказал и указал худым перстом на небо.

ГЛАВА XII

Отец Фотис и четверо друзей сидели перед обжитой пещерой на каменных лавках, обтесанных еще древними христианами, которые прятались в этих горных убежищах, преследуемые иноверцами. Вечерело, гора пахла чабрецом и тимьяном, ночь казалась прозрачно-голубой. Было тихо, и только изредка раздавался случайный крик ночной птицы, гоняющейся за мышами, улитками, гусеницами или изнемогающей от любви. И звезды сегодня совсем низко висели над землей.

Некоторое время все пятеро хранили молчание. Весь день они беседовали со своими преследуемыми братьями, ходили от пещеры к пещере и удивлялись, как могли жить тут люди, словно кроты. И отец Фотис, неутомимый, преисполненный доброты, давал советы, ободрял, призывал Христа спуститься на Саракину, посмотреть, сравнить с Ликоврисии и сказать свое слово.

И теперь, грустные и усталые, сидели они на каменных лавках и вглядывались в ночную тьму. Все чувствовали какое-то странное волнение. Как будто их изгнали из мира и они тайком прибежали сюда, в пещеру, и вступили в какой-то заговор.

Против чего они вступили в заговор? Они не знали. Что они могли сделать, эти пять человек с бесхитростными сердцами, что они способны были разрушить? Какой новый мир построить? Но казалось, воздух теплел вокруг этих душ, устремившихся друг к другу, словно стрелы.

— Хорошая ночь сегодня, — заговорил наконец Яннакос, чтобы скрыть свое волнение.

Его голос так неожиданно прозвучал в ночной тишине, что они вздрогнули, будто очнувшись от глубокого сна.

Души их снова замкнулись. Единство распалось. Каждый опять стал самим собой.

Костандис набрался смелости и заговорил:

— Отче, уже скоро четыре месяца, как нас пригласил совет старост, чтобы распределить роли и указать, что мы будем делать, когда начнем разыгрывать святое таинство на церковной паперти. До сих пор другие заботы сбивали нас с пути, мы позабыли о нашей цели, а уже пришло время готовиться… Но как? Что мы должны сделать? Твоя святость, наверно, знает.

Отец Фотис ответил не сразу, мысли его витали где-то очень далеко. Наконец он очнулся, вспомнил о своих друзьях и, услышав вопрос, улыбнулся.

— Что вам делать? спросил он. — То, что и до сих пор делали, ничего больше. Лучше подготовиться к страстям и распятию Христа нельзя.

— Но что же мы делаем? Мы ведь ничего не делаем, отче, — горестно возразил Михелис.

— Ты забываешь о корзинах, дорогой Михелис, — сказал священник и ласково пожал руку сыну архонта. — Ты, Яннакос, тоже забываешь, что еще позавчера ты созвал бедных, чтобы раздать им свои товары, и улыбался, глядя, как это происходит. И ты, Костандис, оставляешь свою работу, выходишь вперед и поднимаешь голос против несправедливости, ты, простой человек, который до вчерашнего дня был только скромным владельцем кофейни, а теперь готов в любую минуту умереть за христианскую веру. А Манольос, который принял на свои плечи все грехи народа и готов был погибнуть ради спасения села? И даже Панайотарос — разве нужно делать что-нибудь большее, чтобы готовиться к трудному, страшному долгу Иуды? Вы готовитесь, дети мои, готовитесь и сами об этом не подозреваете. И это единственный путь для вас.

Снова все замолчали. Манольос вздохнул и загляделся на большую звезду, которая улыбалась и танцевала в небе. Пастух хорошо знал эту звезду и любил ее. Сколько раз, когда он был еще совсем юным пастушонком, она его обманывала, притворяясь утренней звездой, и он выгонял овец на пастбище! «Правильно ее называют обманщицей», — подумал Манольос, продолжая смотреть на нее, как на своего старого, веселого товарища.

Костандис опустил голову, им вдруг овладела глубокая печаль. Ему показалось, что он ничего, ничего не сделал, что он отстал от всех и даже Иуда перегнал его.

Яннакос тоже качал головой в отчаянии.

«Ничего, ничего я не сделал, — думал он. — Дать деньги, подарить свои товары — все это ничего не стоит. Вот если бы я отдал своего Юсуфчика, это можно было бы назвать жертвой! То-то оно и есть, дорогой Яннакос, — сможешь ли ты это сделать? Все остальное — чепуха!»

А мысли отца Фотиса опять улетели далеко, блуждали по старым знакомым местам, чтобы затем вновь вернуться сюда, на пустынную гору, которую называли Саракиной и где на фоне скалы в тусклом свете звезд он различал четыре любимые лица.

Послышался негромкий, серьезный и в то же время ласковый голос отца Фотиса:

— Дети мои, иногда душа человека представляется мне ночным цветком. Весь день она скрыта от всех, а когда нисходит ночь, она оживает и раскрывается. Вот и сейчас, сидя рядом с вами в ночной темноте, я чувствую, что душа моя раскрывается. Однажды, когда мы были на горе у Манольоса, я дал вам обещание — вы помните? — когда-нибудь рассказать о своей жизни, ибо мне стыдно, что вы наклоняетесь и целуете мне руку, не зная, кому ее целуете.

— И наши души сегодня вечером раскрылись, отче, — сказал взволнованно Манольос, — мы слушаем.

— На берегу Мраморного моря, напротив Константинополя, есть деревня, — начал поп Фотис медленно, как будто рассказывал сказку. — Да, там, на берегу моря, находится небольшая красивая деревня, вся в садах, и называют ее Артаки. Там я родился. Мой отец был священником — строгим, малоречивым, суровым, похожим на праведников, нарисованных на стенах в старых церквах. Священником был мой отец, священником был и мой дед, и из меня хотели сделать священника. Но в душе у меня было другое: я мечтал о путешествиях и торговле, мечтал наполнить сундуки золотом, накупить винтовок, вооружить людей и освободить Артаки от турок. Как видите, мои мысли были мятежными. Но я боялся своего отца, никого другого в своей жизни я так не страшился. Боялся, а потому прилежно ходил в школу и был лучшим учеником, но не от любви к учению, а от страха. И когда я уже закончил школу в Артаки, моя покойная мать — святая женщина! — приготовила мне чемодан, положила туда белье, икону с изображением крещения Христа, сухари, лесные орехи, изюм, сухой инжир, обсыпанный кунжутом, и послала меня в Константинополь в богословское училище. Но где уж мне было набраться терпения и любви к богу, чтобы засесть за богословие! Я был бунтовщиком по натуре, я бегал по городу как бесноватый и пялил глаза на его красоты. И только одно было у меня на уме: когда же освободятся от турка наши священные земли и воды… И вот вспыхнула проклятая война тысяча восемьсот девяносто седьмого года. Все во мне загорелось. Настало время, решил я, гнать турка до Красной Яблони! Мне удалось взойти на корабль и причалить к греческой гавани. Оделся я, как повстанец, взял ружье, подпоясался патронташем, обулся в башмаки и пошел воевать с турком!

Отец Фотис вздохнул. Горько и насмешливо зазвучал его голос:

— Отправились семеро разбойников, чтобы воскресить империю. Да будь оно проклято, это государство, из-за него погибнет нация, — сказал он и снова замолчал.

Потом махнул рукой, словно стараясь избавиться от воспоминаний об этом национальном позоре, и продолжал:

— Итак, вернемся к моим легкомысленным поступкам. Греция — бессмертна, она может поступить необдуманно, ведь у нее впереди время, которое все сгладит. Но ведь я червь, живущий один день. Короче говоря, однажды, когда я бродил по Пирею в дырявых башмаках, с пустым желудком, сморщенным, как пузырь, из которого выпустили воздух, и искал какого-нибудь пароходика, чтобы вернуться обратно в Артаки, я увидел — до сих пор они у меня перед глазами, — как сходили с одного суденышка еврейские семьи, изгнанные из города Волоса. Если мне, выходцу из поповского рода, приходилось видеть евреев, я сразу же вспоминал о том, что они распяли Христа. И в этот раз кровь бросилась мне в голову. Весь день я проболтался в порту, издеваясь над евреями. Огромные горбатые носы, редкие рыжие бороды, мутные глаза, длинные зеленые сюртуки; они галдели, толкались, отпихивали друг друга, чтобы выйти первыми. Вдруг раздался душераздирающий крик: молодая еврейка поскользнулась, упала в море и начала тонуть; никто не бросился спасать ее, Я не выдержал: она ведь тоже человек, подумал я, хоть она и еврейка, но у нее тоже есть душа. Я бросился в море в чем был, схватил ее за волосы и вытащил на берег. К спасенной подбежали женщины и принялись растирать ее, чтобы привести в чувство, а я встал на самом солнцепеке, чтобы быстрее высушить одежду, и смотрел на еврейку. Она были рыжеволосая, с горбатым носом, с изрытым оспой лицом. Но когда оно открыла свои большие зелено-голубые глаза и посмотрела на меня и ей сказали, что мне она обязана своею жизнью, я почувствовал, что погибаю: как будто я сам упал в зелено-голубое море и начал тонуть.

У священника оборвался голос, и он покачал головой.

— Мир полон тайн, — сказал он, помолчав. — Человек не может понять божьих помыслов, до того они таинственны и непостижимы; спасение и гибель приходят столь неожиданно, что мы никогда не можем знать, какой путь ведет в ад и какой в рай. Мне показалось, что я совершил хороший поступок, спас человека, но с той самой минуты я пошел прямо в ад.

До тех пор я не грешил с женщиной. Вы моложе меня, и мне стыдно говорить вам о своем плотском грехе. Скажу только: я согрешил с этой девушкой, и с той поры мир для меня изменился; вода, вино, хлеб, день, ночь как бы приобрели новое значение, бог исчез; и вместе с богом исчезли и мой отец, и моя мать, и добродетель, и надежда. Один мой земляк увидел, до чего я докатился, поехал к моему отцу и обо всем ему рассказал. Мой старик послал мне письмо, всего четыре строки: «Если ты согрешишь с этой еврейкой, будешь проклят — и никогда больше не являйся мне на глаза!» Мы читали вместе с еврейкой это письмо и умирали от смеха.

И однажды, — я об этом уже вам говорил, — мы пошли в одну деревушку, где у нас были друзья, чтобы отпраздновать воскресение Христа. Вместе со мной была и еврейка. Мы ели и пили в саду; я схватил нож, чтобы разрезать жареного ягненка, и, дурачась, крикнул: «Если бы я увидел перед собой попа, я б его зарезал!» — «Вот один стоит за тобой!» — крикнул мне кто-то из соседней компании. Я повернулся и действительно увидел какого-то попа… Кинулся на него и зарезал. Почему? Потому что со мной была моя еврейка и я постеснялся оказаться в ее глазах пустомелей.

Меня бросили в тюрьму. Девушка приходила каждый день. Она стирала мне белье, приносила еду, папиросы, через решетку ласкала мое лицо, волосы и плакала. Она плакала, таяла, сохла с каждым днем… Однажды она не пришла, не пришла и на другой день, и на третий… Я увидел сон: вдалеке шла богоматерь в черной одежде; сначала была она маленькая-маленькая, но, приближаясь ко мне, становилась все больше и больше. Ее губы шевелились, она что-то шептала, но была еще очень далеко, и я не слышал ее слов. Я прислушался, голос ее понемногу делался громче, богоматерь все время увеличивалась, наконец остановилась передо мной, и я расслышал ясно: «Умрет… умрет… Умерла! Умрет… умрет… Умерла!» Я вскочил на ноги и все понял.

Была глубокая ночь, шел дождь. Я вышел во двор, разум у меня помутился, я не знал, что делать, я потерял представление о пределах человеческой силы. Я был уверен, что одним прыжком смогу перепрыгнуть через стену тюрьмы и убежать; был уверен, что пройду перед часовым и он меня не увидит, а если увидит и будет стрелять, то не попадет… От отчаянья и любви я сходил с ума. Много дней подряд я исследовал стену, на которую рискнул бы взобраться только какой-нибудь сумасшедший или отчаянный человек. Однажды, укрытый ночной тьмой, я подошел к стене и, цепляясь за уступы, начал карабкаться вверх, как дикая кошка. Если бы это было днем, то я бы испугался; но, как я вам уже говорил, во мне появилась какая-то нечеловеческая сила, я перелез через стену и бросился на землю. Шел проливной дождь, никто меня не заметил, и я пустился бежать.

На рассвете я добрался до ее дома, постучал в калитку, но разве можно было что-нибудь услышать в такую ужасную погоду! Я перепрыгнул через забор, прошел по двору, быстро поднялся по лестнице и вошел в в комнату. Тихо позвал ее. Молчание! Я зажег спичку; на кровати лежала моя возлюбленная, бледная, с перекошенным ртом, с пеной на губах… В эту ночь она приняла яд — не могла больше выдержать разлуки…

Отец Фотис вскочил на ноги, со страхом осмотрелся, словно хотел куда-то бежать. Потом снова сел, обессиленный, будто вернулся из далекого путешествия. Он долго молчал.

— Ну, а дальше, дорогой отче? — спросили четверо друзей затаив дыхание.

— Я кончил свой рассказ, — сказал поп.

— Что же было дальше? — спросил Манольос. — Когда ты пошел по божьей дороге?

— Душа человека — таинственный мир! Любовь вывела меня на божью дорогу, а страдания — да будут они благословенны! — вернули меня богу, Я поехал на Афон. Вначале уединение пошло мне на пользу — моя душа понемногу успокаивалась, но затем меня стали преследовать видения: мне мерещились еврейки, я слышал их радостный смех и плач; больше я не мог вынести, поклонился игумену, он благословил меня, и я ушел. Шел я долго, долго и наконец добрел до одной деревушки. Там внутренний голос приказал мне остановиться — и я остановился. Женился, принял сан священника. Мне захотелось познать страдания, чтобы забыться, и я их познал: напали болезни на мою семью, умерла моя жена, умерли дети, и снова я предстал перед господом богом одинокий и измученный. Потом пришли греки, а за ними турки… Остальное вы знаете. Слава тебе, господи!

Четыре друга поклонились и поцеловали руку мученика.

— Я устал, — прошептал отец Фотис и глубоко вздохнул, — устал… Я снова пережил всю свою жизнь. Сколько страдания, сколько печали, как горек земной мед! Боже мой, думаю я иной раз, каким мучением была бы наша жизнь, если б не существовало великой надежды — царства небесного!

Все молчали. Отец Фотис встал, посмотрел на восток и перекрестился. Начало светать.

Старик Патриархеас всю ночь просидел на кровати, ожидая, что вот-вот откроются ворота и через двор пройдет его сын… Ждал, прислушиваясь к шагам на улице, вставал, подходил к окну, но никого не было! Курил, бросал папиросу, но тут же снова закуривал и опять тяжело падал на кровать. Под утро он заснул и увидел во сне, как ястреб ринулся к нему во двор и схватил белого петуха, которого старик очень любил и держал для выведения новой породы. Ястреб вцепился в петуха когтями и поднялся с ним в небо, а петух запел, запел радостно, как будто приветствуя рассвет…

Патриархеас в ужасе вздрогнул, и мурашки пробежали у него по спине.

— Будь проклята эта птица! — пробормотал он и перекрестился.

Он похлопал в ладоши и позвал Леньо. Она пришла, еще сонная, полуодетая, непричесанная, смешно моргая глазами; и когда она шла, ее грудь прыгала, словно хотела выскочить из белой сорочки.

— Явился Михелис? Где он бродит целую ночь? Где он спал?

— Он еще не приходил, хозяин! Я заглядывала в его комнату, — никого нет, и кровать не смята.

Затем добавила с усмешкой:

— Вдова умерла, — бог знает где теперь ночуют юноши нашего села!

— Когда явится, передай ему, что он мне нужен… Не уходи! Что с тобой случилось вчера на празднике, куда ты исчезла с моих глаз?

Леньо покраснела, захихикала, но не ответила.

— Бесстыдница! Неужели не можешь потерпеть несколько дней? Мы же договорились: послезавтра, в воскресенье, будет твоя свадьба. Наконец спадет с моих плеч большая забота; ты, несчастная, успокоишься, а Никольос пускай запутывается… Ты слышишь, что я тебе говорю? Глаза у тебя затуманились, не скажешь ли мне, сумасшедшая, где бродят твои мысли?

Леньо ласково улыбнулась.

— В горах, — ответила она.

И правда, ее мысли были в горах, у большого каменного дуба… Она прибежала с Саракины раскрасневшаяся, вспотевшая от ходьбы. Никольос заблеял как баран, едва только увидел ее, молча, как дикарь, схватил ее за шею и повалил на землю… Подошел Дасос, вожак стада, понюхал ее, узнал, тоже заблеял, как и его хозяин, и остался стоять рядом с ними, облизываясь… Тут Леньо услышала сердитый голос старика хозяина и вздрогнула:

— Где твой разум, ненасытная? Я тебе говорю, а ты не слушаешь! Твои мысли еще в горах?

— К твоим услугам, хозяин, — ответила Леньо, мысленно возвращаясь с горы. — Ты меня извини, я не слыхала.

— Повторяю тебе, приготовь мне крепкий сладкий кофе. Голова кружится, я нездоров… А может быть, это от голода…

Леньо уже перешагнула порог и спускалась по ступенькам, постукивая каблуками.

Старик закрыл глаза и снова вспомнил сон… «Что должен обозначать ястреб? — пробормотал он. — Не понимаю! Пусть бог осенит своим благословением мой дом!»

Солнце уже поднялось высоко, в селе послышались голоса людей, блеянье овец, крики ослов. Люди и животные начинали работу и приветствовали новый день.

Леньо принесла крепкий сладкий кофе. Старик архонт уселся у окна и начал потягивать маленькими глотками чудесный напиток. Мысли его прояснялись; он пил и курил, не отрывая глаз от ворот. В задумчивости покручивал усы и вздыхал. Он вспыхнул как порох от слов попа Григориса, когда тот сказал, что пока Патриархеас лакомился поросенком, Манольос произносил бунтарские речи, проповедовал землякам, будто Христос велит каждому из селян отдать десятую часть своего урожая оборванцам на Саракине. И несколько дураков поверили этому. Вмешался этот негодяй поп Фотис, который строит из себя праведника, и разделил село на две части: на бездельников и хозяев. «И самое худшее: первым из тех, кто пошел с ними, был твой сын Михелис! Этот проклятый Манольос, эта тихая заводь, поднял теперь свое знамя, увлек за собой твоего сына, а козлобородый их всех учит! Да поможет тебе бог!»

— Да, но если я сам не побеспокоюсь о себе, — пробормотал старик Патриархеас, — бог и не пошевелится. Да как же ему усмотреть за всем миром? Здесь в Ликоврисси я сам наведу порядок и в первую очередь оттаскаю за уши своего ненаглядного сына, а потом этого кривоногого теленка — Манольоса, эту очковую змею!

В эту минуту открылись ворота, и, оглядываясь по сторонам, вошел Михелис.

Патриархеас вскочил на ноги, высунулся из окна и крикнул:

— С добрым утром, молодец! Сделай одолжение, пройди наверх, чтоб мы тоже немножко посмотрели на тебя!

«Будь осторожен, Михелис, — подумал юноша, — это твой отец, не нужно ему грубить!»

— Иду, отец, — ответил он.

Он поднялся по каменной лестнице и поздоровался со стариком. Но тот даже не повернулся к нему; он изо всех сил старался разозлиться. До этой минуты он был страшно сердит на сына, но вот он увидел, как тот, крадучись, входит в дом, и на сердце у него потеплело: ведь и сам он точно так же возвращался в молодости от своих подружек в этот же дом — дом своего отца; точно так же переходил двор и поднимался по лестнице, прыгая через две ступеньки. «Таким и я был, — подумал он, — но я бродил по ночам потому, что гулял с чужими женами, а он потому, что разговаривал со своими друзьями о боге. Но ведь это тоже увлечение, молод он, все пройдет…» Так он размышлял, и в душе его происходила борьба. Он стоял спиной к сыну, пытаясь разозлиться. Но, видя, что злость не приходит, и сердясь из-за этого на самого себя, он резко повернулся и заорал на сына:

— Что это еще за новости я узнал? Постыдился бы! Неужели ты не считаешься со своим положением? Ты забываешь, чей ты сын и внук?

Старик с радостью почувствовал, что стоило ему только заговорить, как его сразу же охватил гнев. И он громко выкрикнул:

— Я запрещаю тебе впредь видеться с Манольосом!

Михелис медлил с ответом, снова и снова повторял про себя: «Это твой отец, потерпи; силен не тот, кто сердится, а тот, кто сдерживается. Будь сдержан!»

— Почему не отвечаешь? Где ты шлялся всю ночь? На Саракине, да? С козлобородым оборванцем и сумасшедшим Манольосом? С батраком? Вот так компания! До чего ты дошел, несчастный!

— Отец! — спокойно ответил сын. — Не оскорбляй людей, более достойных, чем мы…

Теперь старик архонт разозлился уже всерьез; он даже подпрыгнул.

— Что ты сказал? Да ты совсем рехнулся! Более достойных, чем мы? Оборванец поп и наш слуга?

— Этот оборванец поп, как ты его называешь, — святой. Все архонты Патриархеасы не достойны развязать шнурки на его сандальях.

Старик отшвырнул папиросу, кровь бросилась ему в голову.

— А если говорить о Манольосе, — продолжал Михелис спокойно и безжалостно, — то ты ведь прекрасно знаешь, что когда все вы, старосты, попы, учителя, дрожали, сжавшись в комок, в подвале и беспокоились только о своих шкурах, вместо того чтобы побеспокоиться о спасении села, что являлось вашим долгом, — Манольос, батрак, встал и сказал, чтобы спасти народ: «Я убил турчонка, казните меня!» Кто показал себя в критическую минуту истинным архонтом села? Истинным духовным вождем села? Твоя милость, архонт Патриархеас, или, может быть, его святость поп Григорис? Нет, нет и нет! Манольос!

Старику стало плохо, и он рухнул навзничь на кровать, раскинув руки, ловя воздух широко открытым ртом.

Михелис замолчал. Ему стало стыдно, что он забыл о советах, которые давал сам себе. Сам того не желая, он грубо разговаривал со своим отцом. Он подошел к нему и поправил подушки.

— Тебе что-нибудь нужно, отец? — спросил он. — Не хочешь ли ты, чтобы Леньо приготовила лимонад?

— И ты таков же, как твоя мать, — пробормотал старик, — на языке мед, а в сердце лед.

На глазах Михелиса навернулись слезы. Словно в густом тумане, перед ним вдруг возник образ матери: бледной, худой, измученной и покорной, но полной достоинства женщины. «Матушка!» — прошептал Михелис, глядя на неожиданно явившуюся тень. Но прошелестел ветер, мелькнул свет, и образ исчез.

— О чем ты думаешь? — спросил старик.

— О матери, — ответил сын, — о моей матери. Как ты ее мучил, отец.

— Я мужчина, — ответил старик раздраженно, — поэтому и мучаю женщин. Так им и нужно. Но где тебе понять! У тебя еще на губах молоко не обсохло.

— Дай бог, чтоб никогда не обсыхало на моих губах то молоко, о котором ты говоришь.

И вновь встала между ними, теперь уже грозная, мать: глядя на сына, она покачала головой, простерла над ним свою руку, будто благословляя его, будто говоря: «Выше голову, сын мой, не бойся его, как я боялась; за все, о чем я не осмеливалась ему сказать, отомсти ему. Отомсти за свою мать, Михелис, и прими мое благословение!»

Теперь вражда обрела крепкие корни. Сын прислонился к окну и ждал.

Старик поднялся, вздыхая, и подошел к окну.

— Слушай! — сказал он.

— Слушаю! — ответил сын и посмотрел ему прямо в глаза.

— Я принял решение, вот оно: выбирай меня или Манольоса! Или ты оставишь Манольоса и его компанию, или уйдешь из моего дома.

— Я уйду из твоего дома, — ответил Михелис.

Старик с ужасом посмотрел на сына.

— Ты предпочитаешь нашего слугу мне, твоему отцу? — крикнул он.

— Я предпочитаю не Манольоса, нет, — при чем тут Манольос? Я выбираю Христа; ведь ты сам, того ни ведая, спросил меня именно об этом — и я отвечаю тебе.

Старик замолчал, походил взад-вперед по комнате и опять остановился перед сыном.

— Чего же ты от меня хочешь? — спросил он жалобно.

— Ничего мне не нужно выбирать, я уже выбрал. Я не виноват.

Старик снова тяжело рухнул на кровать. Сжал обеими руками голову; сердце его разрывалось от горя.

— Уходи, — пробормотал он через минуту, — уходи, и чтоб я тебя больше не видел!

Сын повернулся, увидел отца, обхватившего руками голову, и ему стало жаль старика. Но в ушах его звучал безжалостный голос: «Уходи!»

— Отец, — сказал он, — я ухожу. Ты благословишь меня?

— Нет, — ответил старик, — не могу.

Михелис поднялся и направился к двери. Отец хотел было крикнуть: «Сын мой!» — но счел для себя позорным не выдержать характера.

Сын открыл дверь и еще раз повернулся к отцу.

— Отец, — сказал он, — до свидания!

И перешагнул порог.

Когда крики наверху прекратились, Леньо поднялась потихоньку по лестнице, приложила свое любопытное ухо к замочной скважине и услышала скрип кровати, тяжкое хрипение и вздохи.

— Старик спит, и ему снится ужасный сон, — прошептала она. — Грызня закончилась; к полудню он встанет и у него проснется аппетит. Пойду-ка я зарежу опять курицу… Ну и брюхо! Не успеваю готовить на него! Кладет, кладет туда и никак не наполнит! Прямо прорва какая-то!

Она спустилась по лестнице и пошла в курятник выбрать курицу. Большой белый петух с красным гребнем, с широкой грудью стоял посреди курятника, а вокруг него клевали зерно и кудахтали куры. Леньо подождала немного, глядя на него. Ей страстно захотелось, чтобы белый петух прыгнул на какую-нибудь курицу, а затем, растопырив крылья, кичливый, важный, начал бы прогуливаться около нее и победно горланить. Много лет уже это служило ей развлечением; она смотрела на кур, краснела до ушей и чувствовала, что тоже кудахчет и что какой-то сильный, горячий мужчина обнимает ее. Но кто же этот мужчина? Вначале, когда она была еще маленькой, этот невидимый мужчина не имел определенного образа, был как бы безликим; потом на время он обрел облик Манольоса; позднее Никольоса; и вот уже несколько месяцев этот образ оставался неизменным.

Мысленно она выбрала уже старую пушистую курицу. Но едва она протянула руку, чтобы схватить ее, как та закудахтала, и на нее, хлопая крыльями, бросился петух. Леньо облизала пересохшие губы и с бьющимся сердцем смотрела на эту молниеносную любовь. Когда все было кончено, Леньо из жалости выбрала другую курицу.

К полудню она приготовила обед, заправила суп желтком и ждала, когда спустится хозяин. Он запаздывал.

— Вечно опаздывает, — бормотала Леньо. — А может, богу душу отдал?

Леньо забеспокоилась.

— Боже мой, только бы продержался до воскресного вечера, до ужина в понедельник, иначе как же быть со свадьбой? Мне больше не выдержать!

Она снова поднялась наверх, тихонько открыла дверь и заглянула в комнату. Архонт лежал на кровати, уставившись в потолок широко раскрытыми глазами. Он не шевелился и уже не вздыхал. Леньо испугалась и вошла в комнату.

— Хозяин, — позвала она, — я заправила суп желтком, иди есть!

Старик посмотрел на нее.

— Не хочу есть, — сказал он, — я нездоров, Леньо; позови попа Григориса.

Старик приподнялся, и Леньо вскрикнула; лицо его посинело и покрылось красными пятнами.

— Да замолчи ты, я ведь не умираю, я хочу с ним поговорить! Михелис внизу?

— Нет, он сходил в свою комнату, сменил белье, надел рабочий костюм, взял узелок и ушел.

— Ничего не говорил?

— Ничего.

— Пусть сходит кто-нибудь на гору и позовет Манольоса, будь он проклят! И чтобы этот дьявол собрался сразу и пришел ко мне до захода солнца! Слышишь? Иди!

— И ты не поешь?

Старик подумал немного:

— А что ты приготовила?

— Сварила твою любимую курицу.

— Положи в суп побольше лимона, я приду.

Обрадовавшись, Леньо не сбежала, а скатилась по лестнице.

«Он наверняка доживет до понедельника! Не нравится, правда, мне его лицо, позову-ка я Андониса, чтобы поставил ему банки, а то еще и впрямь умрет.»

А в это время Михелис поднимался на гору с узелком в руках. Манольоса он не застал в кошаре и сел на лавочке. Тени становились короче, наступал полдень. На противоположной горе, залитой отвесно падавшими лучами солнца, маленькая церковь пророка Ильи совсем не была видна.

Михелис закрыл глаза. Он был сильно расстроен и в то же время счастлив, словно избавился от страшной болезни. «Все кончено, — шептал он, — и все начинается; ты открыл мне дорогу, Христос, помоги же мне дойти до конца, — я знаю, ты стоишь в конце пути и ждешь меня».

Он развязал узелок и вынул большое, переплетенное в толстую свиную кожу евангелие, украшенное серебряными цепочками, — наследство матери. Михелис наудачу вложил в книгу лавровый лист, раскрыл и прочел:

«Кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня; и кто любит сына или дочь более, нежели меня, не достоин меня;

и кто не берет креста своего и не следует за мною, тот не достоин меня».

Не первый раз читал он и перечитывал эти слова Христа, пытаясь их понять; жестокими и бесчеловечными казались они ему вначале. «Неужели не существует, — думал он, — дороги более ровной, более подходящей для человеческого сердца? Почему мы должны кровью оплачивать наше спасение? Почему так мешают отец и мать? Неужели нельзя любить их и одновременно приближаться к богу? Почему необходимо уничтожать корни, привязывающие нас к земле, чтобы подняться на небо?»

Михелис спрашивал и переспрашивал себя и не мог найти ответа. Но уже он чувствовал, что на душе у него становится легче, что он начинает кое-что понимать… С позавчерашнего вечера его сердце как бы витало между небом и землей…

После полудня пришел Манольос и очень удивился, увидев своего друга на горе в такое необычное время.

— Я ушел из отцовского дома, — сказал Михелис. — Старик заставил меня выбирать. Я выбрал путь Христа. Рад тебя видеть, Манольос!

— Путь трудный, дорогой Михелис, — задумчиво заметил Манольос. — Трудный для богатых. Добро пожаловать!

Он накрыл на стол. Они сели, поели немного, и Михелис рассказал о том, что у него произошло с отцом, и о своем решении.

— Я не мог больше, Манольос! Я слишком легко жил в этом лживом и несправедливом мире; я шел по неверной дороге, но теперь я больше не могу, мне стало стыдно.

— Добро пожаловать, — повторил Манольос. — Дорога каменистая, подъем крутой, вначале ноги покрываются ранами, дорогой Михелис, но понемногу тебе начнет казаться, что у ног твоих вырастают крылья, что как будто не сам ты поднимаешься, а тебя несут ангелы.

Он встал, взял свой пастушеский посох.

— Твой отец, — сказал он, — приказал мне явиться к нему; я, кажется, знаю, чего он хочет. До свидания!

— Господь да будет с тобой!

Во дворе архонтского дома Леньо, засучив рукава, стояла на коленях и, раскрасневшись от усердия, чистила медную посуду, которую старик архонт дал ей в приданое. Леньо работала и пела; ее голос доносился до горы, и Никольос, стоя под развесистым каменным дубом и повернувшись лицом к селу, напряженно прислушивался к ее песне. Потом, охваченный страстью, он схватил длинную свирель и заиграл в ответ… Их голоса встретились над крышами домов, и старухи, услышав любовные песни, молились, молодые женщины смеялись, девчонки вздыхали.

На тропинке показался Манольос, услышал пение Леньо и усмехнулся.

«Леньо — зверь, — подумал он, — дикий зверь, но мальчик приручит ее».

Леньо подняла раскрасневшееся лицо и посмотрела на Манольоса, переступавшего порог.

— Здравствуй, Леньо, — сказал бывший жених. — Вижу, готовишься. В добрый час!

— Тебе также! — насмешливо ответила Леньо. — Пусть тебя хорошая невеста украдет! Давай пошевеливайся, хозяин ждет тебя, — ни пуха ни пера, горемыка!

И запела еще более страстно. Очень уж хотелось ей показать своему бывшему жениху, что она не нуждается в нем, что нашла лучшего — пусть он лопнет от злости!

Старик Патриархеас ждал Манольоса и, переваривая съеденную курицу, курил сигареты одну за другой. Был он бос, но для тепла накинул на себя длинный архонтский халат. Его лицо посинело, вены на шее вздулись. Он ходил взад и вперед, пыхтел, отдувался, курил и время от времени бессильно падал на кровать.

— Я виноват… я виноват… — повторял он. — Я, который пожалел его и вытащил из монастыря, где он жил монахом, словно кастрат. Хотел из него человека сделать. Так мне и нужно. Змею пригрел на своей груди… Да, прав был скряга Ладас! Сколько раз говорил он мне об этом, а я еще смеялся над ним: «Зло делаешь — тебя боятся и уважают; добро делаешь — тебе же и попадает!» Пожалуй, теперь мне попало!

Вдруг пение Леньо вызвало у него приступ ярости.

— Ну и похотливая самка! Хоть бы поскорее вышла замуж и успокоилась, а то все село взбаламутит своей песней, — пробормотал Патриархеас и подошел к окну, чтобы прикрикнуть на певунью.

Но в это время открылась дверь и показался Манольос. Старик вздрогнул, глаза у него заблестели.

— Заходи в комнату! — заорал он, с силой захлопнув за ним дверь.

Прижав Манольоса к стене, он ударил его.

— Это и есть твоя благодарность? — кричал архонт. — Я тебя принял в свой дом, а ты его поджег! Нам было хорошо до тебя, спокойно было в доме, спокойно было и в нашем селе, но вот пришла твоя милость, лжепророк, и все пошло вверх дном… Почему? Какое ты имел право вылезать вперед, спасать наше село? Это моя забота! Зачем ты всюду суешься и нарушаешь порядок? Сказать тебе? Ты прикинулся святым, чтобы поверили в тебя дураки, чтобы ты мог прославиться, а потом подняться на гору в праздник пророка Ильи и объявить революцию!

— Революцию?! — сказал Манольос с удивлением.

— А что же означали твои бесстыжие слова, которые ты говорил нам там, на горе, чтоб мы помогали оборванцам, чтоб все стали равными, ибо, видишь ли, все мы братья! Чтобы мы отдали пришельцам наши земли! Да откуда у тебя такие мысли? Это наши земли, наследие наших предков, это наша кровь! Значит, нужно отдать им нашу плоть, чтоб они ее съели? Какой вздор ты плел!

И в гневе он тряс Манольоса за ворот рубахи.

— Что же, мы сделаем Россию из нашего села? Россию, где все пожирают друг друга, где хозяева и слуги сравнялись, где вошь озверела и — прости меня, господи! — стала величиной с черепаху? Является твоя милость и тащит эту вошь на мою кровать, чтоб она меня сожрала?

Как будто и впрямь увидев эту вошь, Патриархеас вздрогнул и повернулся к своему батраку:

— Не́когда — ты не слыхал об этом, петушиная твоя голова? — желудок взбунтовался, влез в голову и начал командовать. И потекло, значит, дерьмо человеку в ноздри, в рот, в глаза, и человек задохнулся. Поэтому не нарушайте божьих порядков; желудок пусть остается на своем месте, а голова на своем. Пусть голова командует. Я — голова!

Он метался взад-вперед, как зверь в клетке, колотил кулаком по стенам, плевал на пол.

— Чтоб не было, говоришь, богатых! Но если богатых не будет, кто же будет давать милостыню бедным? Об этом ты подумал? У кого же будет работать твоя тетка Мандаленья? У кого будет служить твоя милость?

Он разозлился еще больше.

— Грязные, вшивые бездельники, — кричал он, — у вас нет ни пяди земли, а кричите: «Мы братья!» А почему? Чтобы мы делились с вами по-братски, чтобы вы получили половину нашей земли… Кто вбил тебе в голову эту чепуху, негодяй?

— Христос! — ответил Манольос.

— Дурак ты, вот что! Какой там Христос? Это ваш Христос, а не мой! Вы сотворили по своему подобию большевистского Христа — голодного, грязного бунтовщика, вложили ему в уста нужные вам слова, а теперь поднимаете его, как хоругвь, и вопите: «У нас у всех один и тот же отец, поэтому давайте разделим собственность! Все мы братья, поэтому давайте сообща есть жареного поросенка!» Э, нет, не видать вам его!

Он выбросил сигарету в окно, плюнул во двор, подошел к Манольосу и снова схватил его за ворот.

— Убирайся немедленно из моего дома! — крикнул он ему. — Сегодня же, сейчас же! Ступай к этим оборванцам, к твоим братьям, — делите чесотку, вшей и царствие небесное!

В то время как он произносил эти слова, открылась дверь и вошел дородный, похожий на архимандрита, поп Григорис.

— Архонт, — сказал он, — извини меня, я опоздал, потому что Марьори нездорова.

Он повернулся, увидел Манольоса и нахмурился.

— Отче, дорогой, — сказал старик Патриархеас, — тут мир рушится, все перевернулось вверх дном! Видишь, вот Манольос собирается поджечь весь мир. Такое же знамя поднял и мой ненаглядный сын — сегодня утром он объявил мне: «Я ухожу из твоего дома, оставляю тебя, старик Патриархеас, — я выбираю путь Христа». Как будто я шел по пути антихриста! Светопреставление! Я рад, что ты здесь, отче, мы наведем порядок.

Поп Григорис поднял руку, указывая на Манольоса.

— Он виноват! — сказал поп. — Он разжигает село, он забивает головы людей нелепыми притязаниями! Что плел ты на празднике, бездельник! Ноги замахнулись на голову!

— Я повторял Христовы слова, — ответил Манольос. — Чтобы люди помогали бедным: у кого две рубашки, пусть одну отдаст — ведь все мы братья! Больше ничего.

Поп Григорис задыхался от гнева, но считал унизительным для себя вести беседу с каким-то батраком. Он обратился к старику архонту:

— Это опасный человек! Во что бы то ни стало ты должен его прогнать! Мы должны выгнать его из села, чтобы он не распространял заразы! Он свел с ума и твоего сына! Влияние его растет, когда-нибудь он съест и нас. Гнать его! Он не пастух и не овца — он волк!

Манольос отошел от стены, прижал руку к груди и сказал:

— До свидания, архонты и владыки! Я ухожу.

— Божье проклятие тебе! — воскликнул поп, поднимая руку.

— Проклятие старостам и попам, — ответил Манольос. — Вы, попы, распяли Христа! Если бы он вновь спустился на землю, вы бы распяли его снова. Прощайте!

Он спокойно направился к двери, открыл ее, потом еще раз обернулся.

— Прощайте! — повторил он и легко начал спускаться по лестнице, опять почувствовав, что его несут ангелы.

ГЛАВА XIII

Когда Манольос подошел к горе, уже смеркалось. Небо затянулось облаками, подул прохладный восточный ветер, первые крупные капли дождя упали на руки и лицо Манольоса и на раскаленную землю. Манольос обрадовался; он так же томился жаждой, как томились ею поля и горы, он словно слился с ними воедино и кружился вместе со всем земным шаром.

— Чудесен этот мир! — говорил сам себе Манольос, поднимаясь на гору. — Когда я открываю глаза, я вижу горы, облака и стену приближающегося дождя; когда закрываю, вижу бога, который сотворил горы, облака и дождь. Повсюду, в ночном мраке и при свете дня, нас осеняет божья милость!

Вырвавшись из сетей мелочных, но всесильных забот, он сразу же забыл и архонтов и попов и, отрешившись от всех земных радостей и печалей, пребывал теперь в мире самой большой радости и самой великой печали, в мире, где, скорее, нет ни радости, ни печали — в вечном покое...

Завтра рано утром ему предстояла разлука с его любимой горой: хозяин, которому он так верно служил, прогонял его. Ему придется вскинуть на плечи свой тощий узелок, взять пастушеский посох и отправиться одному в опасный путь по крутым склонам. Но, несмотря на это, ноги его танцевали и душа пела.

Дождевые капли падали все чаще, вдалеке слышались гулкие раскаты грома. Манольос ускорил шаг. В спину ему дул попутный ветер, подгоняя его, и он радовался, чувствуя, что у ветра, как и у человека, тоже есть руки, грудь, дыхание!

Издалека он заметил освещенное окошко кошары. «В этот час, — подумал он, — Никольос уже подоил овец, поужинал и, наверно, улегся спать. Значит, это Михелис зажег свет!» При мысли о своем преданном друге сердце Манольоса забилось сильнее.

— Он не выдержит, — прошептал Манольос, — он привык жить по-господски, без забот, привык к хорошей еде, к мягкой постели, к домашнему теплу и безопасности. Лучше бы ему вернуться домой! Независимо от его воли, богатство тяжелым бременем лежит у него на душе, оно мешает ей быть свободной. К тому же у него есть еще Марьори, которая притягивает его к земле...

И он вспомнил жестокие, но верные слова Христа: «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные ушки, нежели богатому войти в царствие небесное...»

Он застал Михелиса в кошаре. Тот сидел перед горящей печкой и пристально смотрел на огонь.

— Добрый вечер доброму гостю, — радостно сказал Манольос и вытер вспотевшее лицо и волосы. — Завтра утром я прощаюсь с этой печкой и ухожу — твой отец выгоняет меня!

Он уселся на полу перед огнем и начал спокойно рассказывать об ярости старика архонта, о том, как тот бранился и как прогнал его. Рассказал он и о проклятиях попа.

— Все произошло так, — заметил он, заканчивая рассказ, — как я и ожидал, как и должно было произойти. Жаловаться мне не на что, отец твой должен был меня прогнать, поп должен был меня проклясть, и я должен уйти.

— Куда же ты теперь пойдешь? — спросил Михелис, с беспокойством и любовью сжимая руку товарища.

— Ночь мне даст совет, бог часто приходит к нам, когда мы спим, и указывает дорогу. Я ничего еще не решил. Бог явится и укажет. Я спокоен.

— Помнишь, — начал Михелис, — однажды вечером во дворе Костандиса я сказал тебе: куда ты пойдешь, Манольос, туда пойду и я. То же самое я повторяю и сейчас.

— Не торопись, не торопись, Михелис. Ночь — святое дело, завтра посмотрим.

За день они оба устали и теперь легли спать. Дождь усилился. Через открытое окошко в сарай струилась прохлада и первобытная сладостная мощь матери-земли, принимающей в свои объятия небо. Пахло горными сухими травами, ветер доносил издалека смолистый запах сосны, от влажной почвы поднимались испарения. Манольос, как и любой комок земли, ощущал приток свежих сил.

Был ли это ответ бога? Не сам ли он спустился к нему теплым дождем? Манольос принимал бога, радуясь всем своим существом. Ночные птицы с намокшими крыльями, укрывшись под скалами и в дуплах деревьев, также славили бога своим пением.

Михелис прислушивался к шуму дождя, вдыхал запах влажной земли, но его мысли опять заняла Марьори, и его взволнованная душа летела низко над омытой дождем землей. В последнюю их встречу Марьори была бледной, совсем обессилевшей; кашляла, прижимая к губам платок. Теперь она брала не белый платок, а красный — чтобы не была заметна кровь. «Михелис, дорогой, — сказала она ему, — я вижу, отец собирается отвезти меня в Большое Село к врачам, нездорова я...»

Михелис вдыхал запах земли, и его сердце забилось сильнее. «Мое сердце еще привязано к земле, — прошептал он, — оно еще привязано к земле...»

Мало-помалу под шум ночного дождя оба заснули. А утром, открыв глаза, увидели, что улыбается помолодевшая гора, что белоснежные облака, как клубки шерсти, плывут по небу, а на кустах еще блестят и дрожат капли ночного дождя.

Манольос снял со стены подаренную ему Михелисом икону с изображением распятия Христа и вьющихся вокруг креста ласточек, взял деревянную маску Христа, увязал все это вместе со своей одеждой и положил узелок на лавочку.

Михелис смотрел на него и ничего не говорил. Потом они молча пили молоко. Наконец Манольос поднялся, окинул медленным прощальным взглядом кошару, скамью, склоны, всю гору. Потом взял в углу пастушеский посох. Тогда поднялся и Михелис.

— Ты все решил, Манольос? Уходишь? Куда же ты идешь?

— До свидания, дорогой Михелис.

— Куда же ты идешь?

— На Саракину, — буду делить с ними голод.

— А мне можно пойти с тобой?

— Пока нет. Потерпи немного. У тебя отец, невеста, а у меня никого нет, мне легче. «Если кто приходит ко мне, и не возненавидит отца своего, и матери, и жены, и детей, тот не может быть моим учеником». Но отрешилась ли твоя душа от этой земли, от отца, от жены? Нет еще! Поэтому потерпи — пробьет и твой час, не торопись! Этот час приходит бесшумно, как куропатка.

— Не вернусь я в отцовский дом.

— Хорошо, не возвращайся, оставайся здесь, между Саракиной и Ликовриси, до тех пор пока не придет эта куропатка, пока не наступит твой час. До свидания!

Он протянул Михелису руку, а тот встал и горячо обнял его.

— Манольос, дорогой, — сказал он, — я скоро приду навестить тебя, клянусь тебе! До свидания!

Взяв в левую руку узелок, Манольос перекрестился и отправился в путь. Снова почувствовал он, что у него за спиной словно выросли ангельские крылья, и теперь он не шел, а будто летел со скалы на скалу. Розовела в первых лучах солнца часовня пророка Ильи, втиснутая в скалы на вершине горы. Она вся сверкала и улыбалась и в то же время стояла строго, неприступно, как крепость. И, подняв свой посох, Манольос радостным криком приветствовал ее, словно сокол, завидевший свое гнездо.

Старик Патриархеас ждал возвращения сына день, два, три, потом послал родственников разыскать его и поговорить с ним, затем учителя и, наконец, позвал Яннакоса:

— Яннакос, сделай мне одолжение, разыщи моего сына, поговори с ним. Вы все одна компания, и мысли у вас одинаковые, может быть, тебя он послушается.

Яннакос покачал головой.

— Мне кажется, дела обстоят так, что скоро и я поднимусь в горы, — ответил он. — Пошли кого-нибудь другого.

Панайотарос тоже пришел повидаться с архонтом.

— Архонт, я точно знаю, что Манольос обосновался на Саракине. Он собирает оборванцев, выступает перед ними, подстрекает их, кричит, что все голодные имеют право грабить сытых, — и, запомни мои слова, как только они здорово проголодаются, придут в село, словно голодные волки, и разорят его.

Он замолчал, как будто не решаясь еще что-то сказать, перевел дух и, осмотревшись вокруг, наклонился к старику.

— У меня зародилось подозрение, архонт, — сказал он тихо.

— Говори, Панайотарос, я тебя слушаю. Ты никого не любишь, поэтому у тебя зоркий глаз. Говори!

— Манольос — большевик!

— Большевик? — спросил архонт и почесал голову. — Что это значит?

— Это значит — хватай всю жратву, что под руку попадет, и воруй, чтобы разбогатеть! Это такая банда, которая бродит по всему миру в последнее время.

— И ты думаешь?..

— Безусловно! У них свои люди в каждой стране, в каждой деревне — вплоть до самых отдаленных уголков, Пойдешь в пустыню, встретишь их, поедешь на необитаемые острова, и там найдешь их; под любым камнем, если поднимешь его, можешь наткнуться на них. А в Ликоврись, значит, послали Манольоса…

— Да что ты говоришь, Панайотарос? Ты динамит под меня подкладываешь, вот-вот взорвусь я! Говори яснее!

— Да и впрямь, как не взорваться! Ловко они работают, черти. Ты видел Манольоса? Он прикидывается святым Онуфрием. Говорит, ему разонравилось вино. Он не врет, не гуляет с женщинами, а последнее время все держит в руках маленькое евангелие и едва увидит кого, сразу же начинает перелистывать книгу, делая вид, будто читает ее. Одно лицемерие! А тогда, помнишь, когда он хотел, чтобы его повесили, — знаешь, что я узнал? Послушай и содрогнись! Он договорился со старухой Марфой, которая нашла окровавленную одежду сеиза, чтобы она показала ее только в последнюю минуту. А для чего? Для того, чтобы односельчане увидели, будто он готов отдать свою жизнь ради спасения села, чтобы тем самым завоевать себе доброе имя, а затем, получив приказ из Москвы, поднять народ на бунт и перерезать всех архонтов и старост…

Старик Патриархеас упал в кресло и схватился за голову.

— Господи помилуй, — прошептал он, — помилуй меня, господи, конец света приходит.

Потом он вскочил на ноги, глаза его почти вылезли из орбит.

— Но тогда мой сын…? — сказал он, и рот его перекосился.

— Манольос запутал его, архонт, вскружил ему голову. Сам того не понимая, Михелис стал большевиком. Разве ты не видел, что он ушел из твоего дома и пошел на гору к Манольосу? Еще немного — вот увидишь! — пойдет туда и Яннакос, затем оставит свой дом Костандис и тоже уйдет с ними… Это как заразная болезнь, архонт, один передает ее другому. И Андонис, парикмахер, вот-вот заразится ею, и толстяк Димитрос, мясник, и — веришь ли — учитель тоже…

— Что ты говоришь, Панайотарос? Действительно, это конец света… Пойду к попу Григорису, надо навести порядок…

— А если говорить о попе Фотисе и об этих голодранцах, которых он водит за собой, — так их прямо из Москвы послали в Ликовриси. Рассказывают, что их, мол, турок разорил, что они-де жертвовали собой ради отчизны… Ерунда! Я тебе говорю, их послала Москва! Манольос написал им, дал им знать — здесь, мол, в Ликовриси есть хлеб, много разного добра, приезжайте — и ограбим их! Есть тут один дурак архонт, он не станет противиться. Поэтому-то так быстро и спелся Манольос с попом Фотисом, стали сразу друзьями, подмигнули друг другу — и договорились. Поэтому, позавчера, когда ты его выгнал, куда он пошел? Прямо на Саракину! Ясное дело, архонт!

Старик Патриархеас походил взад-вперед по комнате, подумал минутку и решительно произнес:

— Ступай скажи попу Григорису, что мне необходимо видеть его сегодня же вечером!

— Поп Григорис уехал сегодня с дочерью в Большое Село, он вернется только завтра. Он повез ее к врачам, она кашляет и харкает кровью. У нее страшная болезнь.

— Иди ты к черту, проклятый! — закричал в ярости старик. — Ты что с самого утра обрушиваешь на мой дом все несчастья?

— Что я узнал, архонт, то и говорю. Хочешь верь, хочешь не верь, твое дело. Я тебя утомил, архонт, извини меня, я пойду.

«Иди к черту, Иуда Искариот!» — сказал про себя старик, а вслух:

— Счастливо, Панайотарос, и если что узнаешь…

— Не беспокойся, архонт, я тут как тут!

Он вышел, тяжело, по-медвежьи ступая; нескрываемая радость была написана на его рябом лице.

Старик Патриархеас упал навзничь на кровать, ему снова и снова приходили на ум слова Панайотароса, он никак не мог успокоиться.

— Какое несчастье могло бы свалиться на наши головы! Бог нас всех ослепил, — ни поп, хитрый как черт, ни учитель со своим образованием, ни я ничего не смогли пронюхать… А он еще работал у меня! Из моего дома вышло бы то пламя, которое могло бы спалить все село! Вот тебе и архонт, вот тебе и глава! Тьфу, пропади ты пропадом! И вот этот медведь, это животное приходит и открывает нам глаза! Нужно выгнать негодяя Манольоса из наших мест, нужно, чтобы убрались с Саракины эти голодранцы, эти подлые большевики! Пусть очистится воздух, пусть воцарятся снова в нашем селе честь и справедливость! Завтра, когда приедет поп, мы наведем порядок.

Поговорив сам с собой, архонт успокоился. Он закрыл глаза, но не мог заснуть. Внизу Леньо пела песни, воркуя, как голубка. Ей было мало места на целом дворе, она вышла за ворота и прогуливалась вдоль ограды, поджидая своих подруг, которых пригласила полюбоваться своим приданым, так искусно развешанным в длинной передней, что всего казалось очень много. Она разложила там также свой подвенечный наряд, лакомства и белые свадебные свечи.

Сегодня вечером Никольос придет с горы в новом костюме, который хозяин подарил ему к свадьбе, и в красном шелковом платке — подарок Леньо — на черных кудрях. А завтра, в воскресенье, должна состояться свадьба. Новобрачной предстояло ехать на муле, покрытом красным ковром, а потом супруга Никольоса могла уже подняться на гору, в свои владения.

Старик, лежа пластом на кровати, слушал пение Леньо, возгласы ее подруг, их радостные выкрики, девичий смех… Он вспомнил и свою свадьбу, когда он, двадцатилетний молодец, стройный, красивый, как святой Георгий, отправился на белом коне в село за невестой. Невеста вышла тогда на порог родительского дома, покрытая белой вуалью, чтобы не видели ее лица, — этого требовали тогдашние обычаи. Но жених не выдержал и крикнул своим будущим родителям: «Уберите облако, дайте показаться солнцу!» И старуха мать с глазами, полными слез, приподнялась на носки, сняла вуаль — и тогда будто и вправду появилось ясное солнышко и сразу все озарило: юную чету, ее родителей, кумовьев, лошадей, мулов, разноцветные ковры…

А потом, проделав долгий путь, мысли старика Патриархеаса обратились к другому.

Прошли годы, померкло солнце, растолстел, даже слишком растолстел святой Георгий, но кровь в нем еще бурлила… В доме у него жила работница, крепкая такая, Гаруфаля… А какая грудь у нее была, какие бедра — весь мир поместился бы на них! Какие щеки! Словно красные яблочки! И однажды ночью, ступая тихо-тихо, чтобы не услышала скрипа половиц преждевременно состарившаяся жена, архонт спустился по лестнице, вошел в комнатушку, где спала Гаруфаля, и улегся к ней в постель — так появилась на свет Леньо.

А теперь Леньо выходит замуж.

Старик архонт усмехнулся, позабыл на время слова Панайотароса, позабыл, что его собственный сын ушел из дому… Ожили в его памяти прошедшие годы, вспомнились былые радости и забавы с чужими женами, веселые пирушки, которых немало было в жизни, вспомнилось все то, что он съел за долгие годы — куры, индюки, куропатки, зайцы, бычки, поросята, телята, бесчисленные жареные ягнята, плов, пирожки, шашлыки, устрицы, миндальные пирожные, икра, шербеты, старые вина…

— Слава тебе, господи, — прошептал он, — хорошо пожил я!

И, закрыв глаза, он заснул.

Тем временем поп Григорис верхом на сером муле и его дочь Марьори на ослике Яннакоса поднимались по горной дороге, неподалеку от той вершины, где обосновался Михелис.

Девушка попросила отца исполнить одну ее просьбу:

— Хочу увидеть его, отец, хочу увидеть, потому что, кто его знает, вернусь ли я оттуда…

— Не говори таких слов, дитя мое, — сказал отец, сдерживая слезы, — ты поправишься, бог поможет, и на рождество состоится твоя свадьба. Я еще попляшу в твою честь.

— Отец, проедем через ту гору, я хочу увидеть его еще раз… — просила девушка.

— Пусть будет так, как тебе хочется, дочь моя. Разве я могу не исполнить твою просьбу? — сказал поп и повернул мула и ослика к горе…

Михелис в одиночестве сидел на лавочке. Никольос, вырядившись уже по-свадебному, покрыв свои кудри красным шелковым платком, вскинул свой пастушеский посох на плечо и устремился вниз, как оторвавшийся от скалы камень.

— До вечера, хозяин, — крикнул он Михелису, который молча им любовался, — до вечера! Я иду жениться, привет совам!

Горное эхо повторило его смех.

Проходя мимо стада, он приложил пальцы ко рту и свистнул, приветствуя своих овец, но как только увидел Дасоса с изогнутыми рогами, который прыгал и смотрел на него, не выдержал, подбежал к нему и, схватив за рога, начал с ним бороться.

— Пошел прочь, рогатый черт, — крикнул он барану, когда достаточно с ним повозился, — поборолись, и хватит, ступай к своим овцам, а я пойду к своей Леньо! До скорого свидания, до понедельника. Ну, благослови же меня, Дасос!

И пастух пустился в путь, весело насвистывая.

Услышав чей-то разговор, Михелис приподнялся с лавочки и увидел среди скал приближающегося попа Григориса, а с ним и свою любимую Марьори. Сердце его беспокойно забилось.

— Куда они едут? Почему повернули сюда? Случилось какое-то несчастье! — прошептал он и побежал к ним навстречу.

— Михелис, дорогой, — сказал старик, — я рад тебя видеть в твоем уединении. Мы едем в Большое Село, и Марьори не хотела уезжать, не повидавшись с тобой. Она немного нездорова, и мы едем узнать, что с ней.

— В добрый час, Михелис, — тихо сказала девушка и покраснела, любуясь своим женихом.

Михелис помог им слезть с седел, и все трое сели на лавочку. Солнце стояло высоко, далекие поля были залиты светом. Два ворона с шумом пролетели над их головами. Поп, заметив это, нахмурил густые брови, но ничего не сказал. А молодые люди ничего не видели. Михелис держал худенькие руки своей невесты, на пальце у нее сверкало обручальное кольцо.

— Я зайду в хижину взглянуть на твое хозяйство, — сказал поп и удалился, чтобы оставить их одних.

— Марьори, дорогая, — спрашивал Михелис, — ты нездорова? Бог велик, моя любимая, верь в него, ты поправишься, ничего страшного нет. Быстро летит время, скоро и рождество.

— Да, — сказала Марьори, — скоро рождество.

Помолчав, добавила:

— Ты поругался со своим отцом?

— Не будем говорить о моем отце, тяжело вспоминать об этом, моя Марьори. Я люблю тебя, я не хочу потерять тебя, только ты привязываешь меня к земле, и никто больше. Только ты, знай это!

— Если меня не станет, что с тобой будет?

Михелис рукой закрыл ей рот.

— Молчи, — сказал он.

Марьори успела поцеловать ладонь Михелиса.

— Любовь моя... — прошептала она, и слезы закапали из ее огромных глаз, в которых застыло отчаяние.

Поп Григорис показался на пороге.

— Марьори, — сказал он, — чтобы вечер не застал нас в пути, поехали. С господом богом!

Он повернулся к Михелису.

— Я хотел бы поговорить с тобой, Михелис, — сказал поп, — но по возвращении. Когда ты вернешься к отцу?

— Когда бог захочет, отче, — ответил Михелис и наклонился поцеловать ему руку.

— Бог иной раз ожидает, чтобы ему подсказало человеческое сердце, Михелис, — промолвил священник и строго посмотрел на будущего зятя.

Поп хотел добавить еще что-то, но удержался.

— Доброго пути, — пожелал им Михелис, — пусть вам сопутствует бог!

Михелис на минутку задержал в своих руках худенькую ручку Марьори и тихо прошептал:

— Марьори, дорогая, только ты!..

И отвернулся, чтобы скрыть слезы. Потом взобрался на высокую скалу и долго смотрел вслед удалявшимся. «Мое сердце еще связано с этой землей...» — прошептал он.

Он окинул взглядом гору, поля. Уже начался сбор винограда, и можно было отчетливо слышать тихое пение сборщиц. Было видно, как любовно они срезали грозди спелого винограда и укладывали его в корзины; их руки, испачканные виноградным соком, тревожили воображение парней, уносивших собранный виноград: одни из них вздыхали, другие злились и только в песне находили успокоение.

Михелис слышал, как парни петушиными криками отвечали на девичьи голоса, и чувствовал нескончаемую печаль в своем сердце. Каждый год парни и девушки приходили на сбор винограда, и всегда Михелис слушал их песни, но в этом году они казались ему не песнями, а плачем.

Стоя неподвижно, Михелис ощущал, что к нему возвращается жизнь, неистребимая и безотрадная. Крутилось колесо жизни: теперь собирали виноград, потом наступит черед сбора маслин, затем придет рождество... И снова расцветет миндаль, зазеленеет пшеница, а затем настанет пора жатвы... И Михелис был словно привязан к этому колесу, поднимался и опускался вместе с ним. И в солнце, и в дождь, и днем, и ночью. А Христос — сначала ребенок, затем мужчина — ходил по земле и сеял божье слово. Потом Христа распинали, он воскресал и поднимался на небо; на следующий год он снова спускался на землю — и опять его распинали.

В висках Михелиса стучало, голова кружилась, он ухватился за уступ скалы, словно хотел остановить это вращавшееся колесо, потом упал на землю, и, сам не понимая почему, зарыдал.

На следующий день, в воскресенье, старик Патриархеас не встал с постели. Он не мог заснуть ночью, его мучили кошмары, кровь приливала к голове, он задыхался. Он известил сына о свадьбе Леньо, но тот ответил: «На похороны я бы вернулся, но ради свадьбы не вернусь». Для старика эти слова были ударом.

— Что я ему сделал? Что я ему сделал? — шептал несчастный, и его глаза наполнялись слезами. — Только его одного люблю на этом свете. Почему же он меня не любит?.. Что я ему сделал?

Перед его мысленным взором прошла вся его жизнь. Вспомнил он своего отца, когда тот уже постарел, и, почти потеряв дар речи, от злости избивал кнутом работниц и работников, швырял камнями в девушек, которые ходили по воду, и разбивал их кувшины. Он жрал как дракон, пил как буйвол, не знал никаких болезней; ко всеобщему ужасу, у него даже росли новые зубы. Но однажды он свалился с горы и разбился насмерть. И вот теперь вспомнил старик Патриархеас, что тогда было, и содрогнулся. Когда ему сказали: «Твой отец разбился!» — на него напал истерический смех, который слышало все село. Он посмеялся, и ему стало легче, как будто давившая его скала свалилась с плеч: он почувствовал свободу и не мог сдержать своей радости.

Вспомнив все это сегодня, старик архонт вздохнул.

— А может быть, и Михелис чувствует такую же тяжесть, которая не дает ему свободно дышать? Неужели в этом мире за все приходится расплачиваться? И Михелис тоже начнет смеяться?

В испуге он широко раскрыл глаза.

— И все-таки я любил своего отца... Но и Михелис меня любит... Но тогда, в чем же дело? Не понимаю! Неужели так суждено, чтобы сыну становился обузой человек, его родивший? Почему? Почему? Не понимаю!

Все это, да и многое другое, вспомнилось старику Патриархеасу. Он тяжко вздыхал, ворочался на кровати, и комната ходила ходуном. Только к вечеру, когда открылись ворота и вошли приглашенные, когда явился поп Григорис и начали петь псалмы, архонт встал, умылся, приоделся, вздыхая, тщательно покрасил усы и брови, смочил волосы одеколоном и спустился вниз, чтобы повенчать дочь со своим работником.

Счастливые молодожены стояли рядом, вымытые, нарядные, слегка вспотевшие. От них пахло, словно от коней, которые выходят из моря. Чувствовалось, что оба они уже одно целое в этом мире, что должны они дать жизнь новому существу.

Старик архонт остановился рядом с ними, ему предстояло возложить на них венцы. Поп Григорис пел псалмы, а пономарь мерно размахивал серебряным кадилом. Кругом стояли приглашенные и любовались новобрачными. Две девочки держали поднос с конфетами.

Поп Григорис торопился. У него было тяжело на сердце, мысли его были там, с дочерью, которую сегодня осматривали врачи, многозначительно качавшие головами. Поэтому он торопился, пел, пропуская добрую половину написанного. Спешили и невеста с женихом — им хотелось поскорее остаться одним; не понимали они, для чего нужна вся эта церемония. Старик Патриархеас тоже спешил, ибо чувствовал, что колени у него подгибаются, и, стараясь скрыть свою слабость, напрягал все силы и бодрился.

— Друзья, — сказал он, когда таинство окончилось, — сегодня вечером мы празднуем свадьбу Леньо с Никольосом, добро пожаловать в мой дом! Ешьте, пейте и веселитесь. Мы зарезали нескольких ягнят, вина у нас много, — слава богу, уже начался сбор винограда, бочки наполнены до отказа. Пейте же сколько душе угодно!

Он повернулся к новобрачным.

— Живите хорошо, дети мои, — сказал он им, — до старости лет плодите детей, нянчите внучат, пусть род человеческий продолжается и не угаснет ваш очаг. И пусть смерть не очень-то задирает свой курносый нос! Что ж, она жнет, а мы сеем, посмотрим, чья возьмет! Ты слышишь, Никольос? Будь мужчиной, сей, сколько можешь! Я, извините меня друзья, поднимусь наверх, мне надо прилечь, я плохо себя чувствую. Но вы занимайтесь своим делом! Ешьте и пейте, раз это свадьба, веселитесь до утра! А вы, невинные девочки, и вы, безусые молодцы, торопитесь и вы с вашими свадьбами, чтобы и я там побывал, чтобы снова стал безусым молодцом и таскал вам вино большими корзинами!

Все весело засмеялись. Прощаясь, архонт поднял правую руку. Какая-то девочка побежала открыть ему дверь. На пороге старик остановился и повернулся к попу Григорису, который молча складывал епитрахиль и собирал свои вещи.

— Отче, — сказал архонт, — как только закусишь немного, не сочти за труд подняться ко мне, поговорим.

Но поп не стал медлить.

— Я иду с тобой, архонт, — сказал он. — Господь да будет с вами, дети мои! Пусть прочным и честным будет ваш союз, новобрачные!

Старики ушли. Приглашенные вздохнули с облегчением и набросились на еду и питье.

Оба старосты поднялись в комнату и заперлись. Внизу пир был уже в полном разгаре, мясо и вино рождали песни, пляски, безудержный смех и любовные вздохи, но старики наверху ничего не слыхали — они обсуждали важные вопросы.

Лежа в кровати, старик Патриархеас говорил долго. Он разошелся, рассказывая о большевиках. Фантазия его разыгралась; он изображал их кентаврами, которые мчались с севера так, что только искры сверкали из-под копыт... И там, где они проносились, пылали села... Впереди мчался Манольос, тоже полузверь-получеловек: изо рта у него вырывалось пламя, и рукой он показывал в сторону села Ликоврисси...

— И поп Фотис, будь он проклят, с ним вместе, — сказал поп Григорис. — Он-то и является их вожаком!

— И поп Фотис, отче, и все голодранцы с Саракины, вся Саракина двинулась и идет, чтобы напасть на наше село. Правильно ты говорил: ноги замахнулись на голову... Поэтому ты мне и был нужен, отче. Посоветуемся вместе и наведем порядок.

Поп Григорис слушал, на минуту приходил в ярость, но затем его мысли снова улетали к Марьори, и тогда глаза его мутнели, в ушах гудело, и он ничего больше не слышал.

Они разговаривали до полуночи. Наконец оба устали, надоели друг другу и смотрели один на другого с ненавистью. «Типун тебе на язык, замолчи ты наконец!» — думал про себя поп Григорис. «Отвязался бы, убрался бы поскорее, — думал архонт, — вымотал всю мою душу, бык!»

Перед попом Григорисом снова возникла Марьори. Он оставил ее в городской клинике, в душной комнатке с маленьким окошком, выходившим во двор. «Пусть побудет здесь немного, — сказали врачи, — посмотрим». — «Опасно ли?» — спросил поп с дрожью в голосе. «Опасно, конечно, но можно и надеяться, отче, посмотрим. Два зверя борются в крови вашей дочери, посмотрим, кто из них победит». — «Скажите мне правду», — просил священник. «Мы все тебе сказали, отче, через месяц приходи справиться». — «Я буду молиться за нее», — сказал поп. «Делай что можешь, и мы сделаем все, что можем. А теперь иди домой, и бог да поможет тебе». Врачи торопились выпроводить его, потому что у них были и другие больные.

Внезапно поп поднялся и протянул руку.

— Спокойной ночи, архонт, — сказал он, вздохнув, — завтра продолжим наш разговор.

— Да посиди еще, отче. Чего ты так торопишься? Ты меня извини, я забыл тебя спросить о Марьори, что сказали врачи?

— Ничего у нее нет. Девочку, говорят, нужно поскорее выдать замуж.

И чтобы переменить разговор, поп спросил:

— Что с Михелисом? Я беспокоюсь о нем, мой архонт.

— Не беспокойся, — буркнул старик раздраженно, — молод он, бури у него еще впереди. С Манольосом покончим, и все наладится… Спокойной ночи, отче!

Простившись, он отвернулся к стене. Прислушался, как поп, тяжело ступая, спускался по лестнице.

— Ну, козлобородый, — пробормотал архонт. — Беспокоится, говорит! Так и я беспокоюсь о твоей Марьори! Если суждено моему сыну жениться на чахоточной и заразить мой род, пусть умрет лучше твоя дочь! Мне ее жаль, бедняжку, один бог знает, как жаль, но пусть лучше она умрет!

В то время как старосты Ликовриси искали способа избавиться от Манольоса, он решал с отцом Фотисом, что нужно сделать, чтобы беженцы Саракины прожили зиму и не умерли от голода и холода.

— Только труд сможет нас спасти, — сказал отец Фотис, — труд и любовь.

Они собрали всех мужчин и женщин, еще способных трудиться, разделили их на отдельные товарищества и братства, в каждом братстве назначили ответственного, старшего брата или старшую сестру, и послали их в соседние деревни — искать работы. Разошлись они, и остались на Саракине только старики и старухи, чтобы следить за детьми.

— В божий путь, дети мои, — говорил отец Фотис, провожая их, — работайте, экономьте, как можете, зерно, масло, вино, одежду и думайте все время о нашей новой родине. Знаете, как пчелы из улья разлетаются по горам и полям, собирают нектар у цветов, а потом возвращаются, нагруженные медом, в свои маленькие восковые домики? Вот так и вы, дети мои! Идите же в божий путь!

Манольос часто ходил вместе с ними, беседовал по дороге, подбадривал, объяснял, какие деревни находятся вокруг, в чем там нуждаются, в какие двери следует стучать. Находил им работу и возвращался опять на Саракину. Собирали они с попом Фотисом детишек и с помощью грифельных досок, которые им подарил Хаджи-Николис, учитель, учили их грамоте.

Когда наступала ночь, оба усаживались на лавочке около церкви и вели долгие беседы.

— Даже в самом маленьком камешке, — говорил вечером отец Фотис, — даже в самом скромном цветке, в самой темной душе обитает бог, Манольос! Постараемся же, чтоб эта маленькая деревушка стала похожа на улей, наполнилась бы трудолюбивым, плодовитым населением и жила в добром согласии — так, как должен жить весь мир. Знай, что хорошее дело, начатое в самом далеком уголке, распространяется потом по всему свету.

Манольос поднял глаза, посмотрел на отца Фотиса, и ему показалось, что его бледное лицо светилось в ночной темноте, а его руки, поднятые к небесам, колебались, как пламя.

— И каждый человек может спасти мир? — взволнованно спросил Манольос. — Часто я думаю об этом, отче, и дрожу от этих мыслей. Значит, на нас лежит такая большая ответственность? Что же мы должны сделать до того, как умрем? По какому пути нам идти?

Он замолчал. Уже наступила ночь, старухи развели костры и готовили ужин, голодные детишки вертелись вокруг в ожидании еды.

Манольос тронул рукой колено отца Фотиса, который молчал, погрузившись в размышления.

— Как мы должны любить бога, отче? — спросил он.

— Люби людей, сын мой.

— А как мы должны любить людей?

— В трудах вести их по правильному пути.

— А какой путь правильный?

— Тот, который ведет ввысь.

ГЛАВА XIV

На следующий день к обеду возвратился в село из Измира ага. Не один. За ним, верхом на маленьком пегом коне, ехал новый турчонок. Это был дикий и сумрачный мальчишка, в котором уже проснулся инстинкт самца; он не жевал мастику, много ел и всегда был голоден, пил и всегда страдал от жажды. Этот турчонок не пел, что «жизнь — это сон», он только кричал и бранился, был капризен, командовал охваченным страстью агой и тот, заглядывая ему в глаза, исполнял все его просьбы. Звали турчонка Ибрагимчиком, было ему пятнадцать лет, над его полными губами уже рос пушок.

Ага нашел этого мальчика в одном грязном поселке, где у каждого дома висел красный фонарь. Мальчуган ходил с корзиной, в которой были перемешаны семечки, английские презервативы, жареные раки и жасмин. К вечеру из поселков в узкий переулок стекались толпы мужчин — стариков, молодых, евреев, мусульман, христиан, — чтобы хоть на время позабыть здесь о дневных заботах. У ворот их поджидали накрашенные, полуголые, бесстыдно улыбающиеся женщины.

Ага увидел Ибрагимчика, и тот сразу ему понравился. Ага подошел, немного поторговался, и сделка состоялась. Ага купил для мальчишки маленького пегого коня, новый костюм из дорогого сукна, серебряные часы с цепочкой, флакон духов и мешочек гвоздики, перемешанный с цветами корицы. Потом повел его в баню, искупал, и вода стала черной. Затем отправился к парикмахеру и приказал постричь мальчугана и надушить его одеколоном. И, наконец, сводил его к одному ходже, своему старому другу, человеку испорченному до мозга костей, чтобы тот научил турчонка некоторым «трудным» вещам.

Такого-то, чистенького и наряженного, Ибрагимчика ага вез теперь в свое царство.

Марфа встретила прибывшую парочку недовольным ворчанием, но, повнимательнее присмотревшись к новичку, радостно засмеялась: «Этот пострелёнок даст жизни аге…»

— Какие новости, Марфа? — спросил ага, едва переступил порог. — Кто умер в селе, кто женился, как прошли жатва и сбор винограда, живы ли еще старик Патриархеас и козлобородый поп Григорис? Не поссорились ли греки, не выкололи ли друг другу глаза? Мне кажется, что я целую вечность здесь не был.

И повернулся к Ибрагимчику.

— Вот это тетка Марфа, наша служанка, — сказал он. — Хорошая хозяйка, женщина неболтливая, честная… Немного горбата, но ничего, привыкнешь. Делай с ней что хочешь: бей ее, убей ее, можешь сесть на нее верхом, она — твоя!

Ибрагимчик засмеялся, схватился руками за горб старухи и покатился со смеху.

— Да на что она мне нужна? — сказал он. — Такой верблюд! Оставь себе свой подарок!

И вошел в дом, чтобы обосноваться в нем.

— Не брани его, Марфа, — сказал ага, — он еще необузданный жеребенок, брыкается, кусается… Не говори ничего, как и я не говорю. Терпи, несчастная Марфа, терпи, и все устроится.

Ибрагимчик вышел во двор.

— В твоем селе есть красивые женщины? — спросил он агу. — Как-нибудь заставишь их потанцевать, я посмотрю на них и выберу одну для себя.

Ага вздрогнул:

— Вот что я тебе скажу: хватит! Здесь все греки, у меня могут быть неприятности. Знай свое место!

— Пусть они посидят на моем месте! — ответил наглый жеребенок и громко заржал. — Эй, горбунья, накрой на стол, дай поесть, я голоден!

Ага тяжело вздохнул. Он вспомнил своего Юсуфчика... Тот тоже умел поговорить, но никогда не ругался. Ты ему скажешь: «Пой», — и он поет, ты ему скажешь: «Зажги мне трубку», — и он зажигает, скажешь: «Пойдем ляжем спать», — и он идет... А этот рогатый черт!.. Но все же хорош, паршивец!

— Ладно, Ибрагимчик, — сказал ага, — все у тебя будет, потерпи немного... Марфа, будь добра, зарежь курицу.

Ага и турчонок, основательно наевшись и хорошо выпив, закрылись в комнате. Мы не знаем, что там происходило, но к вечеру ага вышел из комнаты довольный, с опухшими глазами и очень усталый. Он позвал Марфу:

— Иди и передай Патриархеасу, пусть зайдет ко мне, мне с ним нужно поговорить. Ибрагимчик хочет посмотреть, как танцуют женщины. Почему бы нам и не исполнить его просьбу? Надень косынку и иди!

Около дома Патриархеаса бегали собаки. В самом доме Марфа застала полный разгром. Несколько работниц собирали остатки еды, мыли посуду, вытирали столы, убирали комнаты... Леньо уже отправилась с женихом в бывшую кошару Манольоса, и дом теперь оказался на попечении Мандаленьи. Она командовала женщинами, давала советы, приказывала им, складывала в свою котомку все, что успевала стащить либо тайком, либо на виду у всех. Время от времени она поднималась по большой каменной лестнице взглянуть на хозяина.

Сегодня старик архонт чувствовал себя совсем плохо. Ночью его хватил удар, у него отнялись правая рука и правая нога, лицо перекосилось.

— Ничего страшного нет, — говорила ему тетка Мандаленья, — ничего страшного. Не беспокойся, архонт, я натру тебе тело, и все пройдет... Это просто простуда...

Но старик архонт бесцельно уставился в одну точку. Изо рта текла слюна.

Как только Мандаленья заметила из окна, что во дворе появилась старая Марфа, она сразу же побежала ей навстречу и загородила дорогу. Она не любила Марфу.

— Чего ты хочешь, Марфа? Какое еще несчастье напало на наше село? Вернулся ага? Говори же, а то лопнет мое терпение!

— Потерпи, ты меня совсем оглушила, противная старуха! Мне нужно видеть архонта, это очень важно.

— Ты его не увидишь, нет! Тебе говорят, не увидишь! Он тяжело болен, у него отнялись нога и рука, он просит, чтобы сын пришел, у него был удар, он говорит неразборчиво, заикается, плачет. Нет, ты его не увидишь!

— Пусти меня, паршивая старуха, я хочу его увидеть собственными глазами и скажу об этом аге, чтоб он поверил!

— Не пущу!

— Нет, пустишь!

И они вцепились друг в друга. Прибежали работницы, разняли их. Горбунья успела подбежать к лестнице и, быстро-быстро перебирая ногами, как паук, поднялась наверх, открыла дверь и влезла в комнату. Старик архонт скосил глаза, увидел ее, но не шевельнулся.

— Архонт, — сказала старуха, — это я, Марфа. Большой тебе привет от аги. Он велит тебе прийти к нему, он хочет поговорить с тобой.

Старик повернул голову, губы его зашевелились, он что-то пробормотал, Марфа подошла поближе, но в эту минуту ворвалась разъяренная Мандаленья, оттолкнула ее и наклонилась над стариком.

— Что ты сказал, архонт?

Старик опять пошевелил перекошенными губами. Мандаленья повернулась к горбунье.

— Он говорит, чтобы ты убиралась к черту!

— Так что же мне передать аге, архонт? — настаивала горбунья.

Старик снова пошевелил губами, Мандаленья опять повернулась к Марфе.

— Чтоб и ага убирался к черту! Вот что он сказал!

Старуха покачала головой, подошла еще ближе, наклонилась к больному.

— Архонт, — сказала она тихо, — недоброе дело замыслил ага против нашего села. Он привез из Измира нового дьявола, который подожжет село. Этот проклятый хочет, чтобы собрались все девушки на площади и танцевали, а он выберет себе одну из них… Плохое время ты выбрал для болезни, архонт!

Старик вытаращил глаза, его лицо вспыхнуло, он напряг все свои силы и вдруг отчаянно закричал:

— Никогда!

И упал в изнеможении на подушку.

— Ты убьешь его, проклятая горбунья! Убирайся ко всем чертям! — завизжала Мандаленья, схватила Марфу за горб и вытолкала за дверь.

Потом вернулась в комнату и стала натирать старика маслом и камфарой. Ему стало немного легче, он открыл глаза.

— Пошли за попом Григорисом, пусть придет, — сказал он и снова закрыл глаза.

В это время отворилась дверь и вошел Михелис.

— Уйди, — сказал он старухе и приблизился к кровати.

Старуха собрала снадобья и исчезла.

Михелис стоял неподвижно и смотрел на отца глазами, полными слез. Лицо у старика было очень бледное; двойной подбородок опал, и кожа висела мешком, закрывая шею. Рот с правой стороны покривился, губа отвисла.

Старик открыл глаза, увидел сына и едва заметно улыбнулся.

— Здравствуй! — прошептал он, протянув ему левую руку.

Михелис приблизился и поцеловал ее. Старик посмотрел на сына — внимательно, безнадежно, как будто прощаясь с ним.

— Прощай, — сказал он тихо и опять протянул руку.

Он собрал все свои силы и произнес как можно разборчивее:

— Сын мой, я ухожу, встаю из-за стола, свертываю салфетку. Я закончил свой путь. Если когда-нибудь я говорил тебе неприятные слова, прости меня. Я отец, я люблю тебя, а любовь часто не знает, что говорит. Об одном только прошу тебя…

— Говори, отец.

— Марьори…

Он замолчал, мелкие капли пота выступили у него на лбу. Михелис подошел к отцу, вытер платком лицо старика.

— У Марьори, мне кажется, страшная болезнь. Если это так, то не бери ее в жены, она заразит нашу кровь... слышишь?

— Слышу, отец.

— Сделаешь так, как я тебе говорю?

Михелис молчал.

— Другой милости не прошу от тебя... Сделаешь это? Скажи «да», и я умру спокойно.

Прошло несколько секунд, старик с тревогой смотрел на сына.

— Да, — прошептал наконец Михелис.

Старик закрыл глаза.

— Вот и все, что я хотел, — прошептал он, — ничего больше.

Михелис подошел к окну, взглянул на улицу. Уже вечерело. Усталые крестьяне возвращались со своих виноградников. Смеясь, прошли несколько девушек с кувшинами на плечах; проковылял дед Ладас, босой, сгорбленный, с руками, испачканными виноградным соком, — он тоже собирал виноград.

Старик зашевелился на своей кровати, вздохнул. Михелис обернулся. Старик сделал ему знак подойти.

— Не уходи, — сказал он, — подожди.

— Я не ухожу. Спи, отец...

Было слышно, как далеко, у колодца святого Василия, какая-то девушка пела заунывно и жалобно, как будто никогда не встречались мужчина с женщиной, как будто никогда не упивались они объятиями, и поэтому великая печаль охватила девушку. Вспомнил Михелис свою невесту, и ему тоже захотелось запеть и присоединиться к далекому голосу девушки.

Вдруг внизу, у калитки, он увидел строгое лицо и белую раздвоенную бороду попа Григориса. Ступая осторожно, чтобы не разбудить отца, Михелис открыл дверь и встретил попа на верхней площадке лестницы.

— Что сказали о ней врачи, отче? — спросил он с нетерпением, когда поп медленным, торжественным шагом поднялся по лестнице.

— Ничего серьезного у нее нет, через месяц будет здорова.

Поп посмотрел через открытую дверь.

— Говорят, он хворает... Послал за мной, чтоб я пришел.

— Да, ему плохо, отче, входи... только осторожно, а то разбудим его.

Но старик архонт не спал, он услышал приглушенный разговор и открыл глаза.

— Добро пожаловать, отче, — прошептал он.

— Что с тобой, архонт? Мужайся, у тебя ведь нет ничего серьезного!

— Ничего серьезного, отче, но я умру. Садись, мне нужно с тобой поговорить... Подойди и ты, Михелис.

И, заикаясь, проглатывая, искажая слова, он начал рассказывать им, как ага прислал за ним и велел прийти в конак. Говорит, новый Юсуфчик хочет, чтоб перед ним танцевали все девушки села и чтоб он мог выбрать одну из них...

— Никогда! — заревел поп Григорис, вскочив со стула. — Пусть лучше погибнут все!

— Пусть лучше погибнем все! — поправил его Михелис, которого тоже охватил гнев.

— Исполняйте свой долг, — сказал умирающий, — меня больше не будет с вами, вместо меня останется Михелис.

В изнеможении закрыв глаза, он протянул руку попу Григорису.

— Приходи сегодня вечером причастить меня.

Поп Григорис направился к двери, Михелис пошел за ним.

— Не оставляй его, Михелис. Твой отец нездоров, пусть господь бог благословит его.

И немного подумав, добавил:

— Я сейчас же пойду к аге и поговорю с ним. Не допустит бог такого срама!

Михелис вернулся в комнату и сел рядом с отцом. Всю ночь он провел у его ложа, бодрствуя, не отрывая глаз от старческого лица с искривленным ртом, с отвислыми щеками, с мокрыми от пота седыми волосами…

«И это мой отец, — бормотал он, — это мой отец… Тот великий архонт Патриархеас, который в молодости своей удалью напоминал святого Георгия и казался всадником даже тогда, когда ходил пешком, — тот, который ел самые лучшие кушанья, пил самые дорогие вина, гулял со служанками и хозяйками, двумя монашками и одной игуменьей, наполнял чужие дворы сыновьями и дочерьми…»

Шли часы, село спало. На минутку зашел поп, прочел молитвы над стариком архонтом, отпустил ему грехи, причастил его, и Михелис снова остался наедине с тяжелым, неподвижным телом, которое когда-то давно было его отцом… К утру в поселке завыла собака. Михелис поднялся и подошел к окну. Небо уже розовело, деревья, птицы и воды еще спали. Стояла глубокая тишина — и только страшно выла собака.

Старик Патриархеас услышал вой, открыл глаза и вдруг увидел над своим ложем архангела с огромными черными крыльями. Он дико закричал и без сопротивления отдал богу свою душу.

Тут же отворилась дверь и вошел поп Григорис. Он приблизился к кровати и приложил руку к груди старика архонта; сердце уже не билось. В гневе он повернулся к Михелису.

— Это ты его убил, — сказал он ему глухо. — Ты!

Михелис поднял голову, посмотрел попу прямо в глаза, но ничего не ответил.

Рухнул один из столпов, которые поддерживали Ликоврисси на земле, и все село содрогнулось, когда из дома в дом полетели слова: «Умер старик Патриархеас!» И даже ага, который только что проснулся и, сидя с полузакрытыми глазами на балконе, смаковал все то, что видел и чем занимался в минувшую ночь, — даже ага повернулся, пораженный, к старухе Марфе, принесшей ему эту новость.

— Неужели он умер? Неужели пала эта крепость? Неужели погибло наше село? Должно быть, я спал глубоким сном и поэтому не услышал грохота разрушения!

— Все собаки в селе выли сегодня ночью, — подтвердила старуха, — и я поняла. Наверно, архангел, подумала я, входит в село, чтобы забрать чью-нибудь большую душу, а собаки почуяли его и напугались.

— Хороший был человек, — сказал ага, отхлебывая кофе, — хороший был человек. Из тех, что попадают в рай, — обжора, сластолюбец, гуляка… Но много потерял, бедняга, оттого, что не был мусульманином. Тогда бы вошел в наш рай, а там полно плова, Юсуфчиков и красавиц… Туда бы мог и ты пробраться, Патриархеас, но теперь все кончено!

В это время на террасе показался Ибрагимчик, нечесаный, заспанный, с голой грудью и шеей, на которой чернела родинка, и мысли аги пошли по другому пути. Он протянул руку, поласкал спутанные волосы турчонка, родинку на шее и прикрыл глаза от удовольствия.

— Когда будут танцевать женщины? — капризно спросил турчонок и сердито отвел руку аги.

— Не торопись, моя радость, я выполню твою просьбу, но я не хочу взбунтовать село… Вчера вечером приходил ко мне их поп и сказал: «Не позорь нас, дорогой ага, ты восстановишь против себя село, потерпи немного, и мы найдем способ…» Потерпи же немного, Ибрагимчик, вот придет какой-нибудь праздник, они потанцуют по собственному желанию, без нашего вмешательства — и тогда ты их увидишь…

Но чем дальше говорил ага, тем больше злился.

— В конце концов, — закричал он, — я привез тебя сюда не для того, чтобы женить…

Ворота усадьбы Патриархеаса распахнулись настежь. Покойника положили посреди двора, и все село прощалось с ним. Все плохое позабылось, вспоминали только добрые поступки старосты и без устали хвалили его хорошие черты. Даже Панайотарос не смог сдержать слезы, когда прощался с усопшим:

— Прости меня, и бог простит тебя, — прошептал он, прикладывая свои толстые губы к холодному лбу мертвого.

Пришел и скряга Ладас, и тоже поцеловал покойника, потом обвел глазами весь архонтский дом, мысленно оценил все это богатство, вспомнил о виноградниках Патриархеаса, об его полях, оливковых деревьях, садах — и вздохнул: «Жаль всего этого! Михелис скоро растранжирит добро, я должен иметь это в виду… Вот только попа я боюсь!»

Тетка Мандаленья приготовилась было плакать, сняла уже косынку и распустила волосы, но Михелис рукою отстранил ее.

— Мне не нужны вопли! — сказал он.

На кладбище над открытой могилой выступил учитель. Он начал свою речь издалека, с Древней Греции, с Мильтиада, Фемистокла и греко-персидских войн, потом перешел к Александру Македонскому и к эпохе Христа, упомянул Византийскую империю, остановился на соборе Святой Софии и на императоре Василии, истребителе болгар, и, наконец, измучившись и вспотев, добрался до падения Константинополя. Тут уж он не смог сдержать слез… И весь народ зашумел, когда услышал слова учителя, кричавшего в исступлении: «С годами, со временем, Царьград снова будет нашим!» Взволнованный собственными словами, учитель остановился, отдышался, вытер пот и уже не торопясь заговорил о порабощении страны турками, вспомнил о революции 1821 года, после этого одним смелым прыжком перескочил в сегодня и увидел наконец себя у открытой могилы архонта Патриархеаса. Он устал от столь долгого путешествия, еще раз перевел дыхание, протер свои запотевшие очки, собрал остаток сил и начал панегирик усопшему.

— Незабываемый Георгиос Патриархеас, — закричал он, — был истинным правнуком древних греков, истинным внуком Византийской империи, истинным сыном героев двадцать первого года! Этот великий архонт продолжал славную миссию греческой нации — борьбу человека за свободу! В любой опасности он первый подставлял свою грудь под удары, всегда готов был пожертвовать своей жизнью. Как Александр Македонский, Георгиос Патриархеас принес сюда, в глубину Азии, неугасимый светильник разума и не дал варварам погасить сияние эллинской культуры. Смерть Георгиоса Патриархеаса была бы непоправимым национальным несчастием, если бы он не оставил нам своего достойного сына, Михелиса, который продолжит героические традиции своего славного отца.

На какое-то время поверив словам учителя, все словно впервые увидели, какого большого героя они потеряли… Послышались всхлипывания… А Яннакос и Костандис взяли под руки Михелиса, который неподвижно стоял над могилой, глядя, как опускают в землю гроб, и думая только об одном — о словах попа: «Ты его убил, ты…» Затем они молча направились к осиротевшему дому.

Но и по дороге Михелис все время вспоминал страшные слова: «Ты его убил, ты…» — и молчал.

Когда они подошли к усадьбе и закрыли за собой ворота, Михелис побежал и упал посреди двора, как раз там, где утром стоял гроб отца. Он поцеловал землю и вдруг легко вскочил на ноги, где-то в самой глубине своего сердца почувствовав невыразимую радость. Он позвал Мандаленью:

— Подай нам три чашки кофе, — приказал он, — зарежь курицу, приготовь нам поесть. Быстро!

Друзья смотрели на него с беспокойством — его глаза были полны слез, но голос звучал громко и бодро. Он обошел весь дом, как будто впервые его видел: поднимался в верхние комнаты, входил в амбары, снимал крышки с глиняной посуды, стучал по бочкам, проверяя — полны ли они, открывал ящики… А потом уселся за накрытым столом, посадил справа от себя Яннакоса, слева Костандиса, налил им вина и поднял свой стакан.

— Все то, что наговорил на кладбище учитель о моем отце, сплошная ложь, — сказал он. — Мой отец не был героем, он никогда не подставлял свою грудь опасности, он никогда не принимал смелых решений, он был лишь добрым человеком, любил спокойную, веселую жизнь. Но все то, что сказал учитель о греческой нации, было правильно, ибо каждый грек в этом мире, даже самый скромный и неграмотный, сам того не ведая, является большим человеком и несет на себе огромную ответственность. Грек, который ни разу в жизни не принял ни одного важного решения, предает свою нацию. И когда выступал учитель, я понял, что подвергался опасности, что мог пойти по дороге отца, прямой и удобной, но пригодной только для малодушных. И тогда я понял, в чем мой долг, и захотел пойти по пути, по которому уже тысячелетия идет наша нация...

— По какому пути? — спросил Яннакос, взволнованно слушавший своего друга. — По какому пути? Куда пойдешь ты, Михелис?

— На гору! Поэтому прошу вас об одном одолжении, товарищи и друзья мои. Когда стемнеет, мы поднимемся на Саракину, найдем Манольоса и отца Фотиса. Всю ночь, пока я бодрствовал у кровати умирающего отца, я думал об этом, но потом, на кладбище, принял твердое решение. Сегодня вечером, когда мы соберемся впятером, я вам сообщу о нем. Братья, я прошу вашей помощи!

— С тобой, Михелис, до гроба, — сказали два друга. Они чокнулись и погрузились в молчание.

Солнце заходило. Отец Фотис и Манольос сидели у пещеры и разговаривали. Они только что вернулись из ближайших сел, куда ходили искать работу для своих товарищей. Они оба устали, потому что шли пешком, страдая от жары и пыли. Возвращаясь, они встретили деда Христофиса и узнали, что архонт Патриархеас умер и его уже похоронили.

— Жаль, что эта фабрика перестала работать и производить навоз и незаконных детей, — сказал возчик. — Много красоток овдовело в окрестных селах, царство ему небесное!

— Когда? Как? Говори по-человечески, дед Христофис!

— Вот, говорят, вечером съел двух поросят на свадьбе своей дочери. Хотел, говорят, сожрать и фаршированную индейку, да правая рука у него отнялась. Положили его на кровать, а утром нашли уже мертвым. И на похоронах в его честь выступал учитель, перечислил его предков вплоть до четырнадцатого колена, но, черт меня побери, если я хоть слово понял! Но я тоже заплакал, потому что видел, как плакали другие. Потом я взял горсть земли и бросил на него, — сколько же земли он сожрал! Это были его последние поросята, пусть всемогущий бог успокоит его брюхо!

Так сказал старик и уже хотел идти восвояси, но задержался и добавил, громко засмеявшись:

— Я слыхал, отец Фотис, что двери рая очень узки и, говорят, никто из толстяков не может пролезть туда, но зато мы все втроем пройдем. Да здравствует беднота!

— Грубо говорит дед Христофис, — сказал потом отец Фотис, — грубо, но правильно. Очень трудно богатому спасти свою душу, потому что даже если он и хороший человек, то этого мало, ибо, прекрасно зная, что существуют голодные, он все равно не делится с ними своим добром — мужества не хватает, он избалован богатством и прикидывается дурачком... Посмотрим, как поступит Михелис, теперь-то он и покажет себя!

— Я верю в Михелиса, — сказал Манольос.

— Пусть твои слова дойдут до бога, но я столько повидал в своей жизни...

Не успел он закончить этой фразы, как трое друзей подошли к пещере. Священник и Манольос поднялись им навстречу.

— Царствие ему небесное, Михелис, — сказали они. — Пусть господь бог успокоит его душу.

Мужчины сели. Некоторое время все молчали. Наконец Михелис заговорил:

— Отче мой, — сказал он, — братья и товарищи мои, я плакал о своем отце, ведь я плоть от плоти его. Мне было больно, но одновременно я почувствовал — пусть господь меня простит! — что теперь я свободен, что с меня спала огромная тяжесть. С сегодняшнего дня я понимаю, что ответственность за каждый мой поступок падает на меня, и только на меня. Две дороги открываются предо мной: дорога, по которой вел меня отец, и другая дорога, гораздо более трудная, по которой ведет меня Христос... Какую из них выбрать? Сегодня утром, на кладбище, я принял решение и теперь пришел сообщить вам о нем и попросить вас, отче мой и товарищи мои, чтобы вы мне помогли.

Потом он умолк, положил руку на колено священника, как будто взывая к нему: «Помоги!»

Отец Фотис взял руку Михелиса и сжал ее своими худыми, почти прозрачными ладонями.

— Сын мой, — сказал он, — мы вместе с тобою в этот трудный час. Говори, надейся на нас.

— Мой отец получил в наследство от своего отца, а тот, в свою очередь, от его дедов, много земли и много деревьев, — все то, что позволяло моим родным жить богато. Время от времени они бросали какую-нибудь кроху бедным и умирали с сознанием того, что выполнили свой долг перед людьми. Так казалось им, так казалось и мне... Казалось до тех пор, дорогой Манольос и дорогой отец Фотис, пока господь бог — хвала ему! — не открыл мне глаза и сердце, чтобы я узнал правду и пожалел людей. И сегодня я принял решение: все свое имущество я раздам бедным, себе не оставлю даже той крохи, какую мои предки бросали голодным. Все отдам, дорогой отче, твоей общине, саракинцам! Прими все!

Все слушали Михелиса, опустив головы. Когда он кончил, долго сидели молча. И вдруг, в ночной темноте, послышались всхлипывания отца Фотиса.

Яннакос не выдержал, схватил Михелиса, сжал его в своих объятиях, хотел заговорить, но запутался и начал смеяться и плясать.

— И я дарю своего ослика общине Саракины! — выдавил он наконец из себя. — Нет у меня больше ничего в этом мире! Возьми ослика, отче мой!

Отец Фотис поднялся, возложил обе руки на склоненную голову Михелиса.

— Сын мой, — сказал он, — много горьких дней я прожил, но сейчас забыл о них. Будь счастлив, Михелис, и в этом и в потустороннем мире. В этот час ты спасаешь от позора и от смерти тысячи душ. За этих беженцев, за их детей и за детей их детей, за много поколений, — будь же ты благословен!

Манольос сидел, опустив голову, и плакал. Никогда он не чувствовал большей радости. Даже тогда, когда стоял под платаном, на котором его должны были повесить... Ибо сейчас он убедился, что семя Христа, брошенное на благодарную почву, прорастает и побеждает все земные блага. Легко пожертвовать богу ничем, трудно пожертвовать всем. Михелис пожертвовал всем, и от великой радости и волнения Манольос не мог поднять головы, не мог говорить... Вдруг он вскочил на ноги, обнял Михелиса и расцеловал его.

Костандис видел все это, слышал, и сердце его сжималось: «Я ничего не отдал, — думал он, — ничего не сделал, ничего не дал в честь Христа, — ни детей своих, ни жены, ничего, ничего...»

Прекрасна была эта ночь, показалась луна и, улыбаясь, медленно поплыла по небу, заливая Саракину белым, как мел, светом.

Михелис, молчаливый, безутешный, смотрел на луну, окутавшую нежным сиянием весь мир, и его сердце трепетало от боли. «Ничего я не стою, ничего, — думал он. — Все, что я делаю, я делаю не от доброты, а от страха. Мне страшно, будто я действительно убил своего отца. Страшный грех давит меня, и я отдаю все, чтобы на душе стало легче, чтоб я мог забыться, заснуть и не слышать страшных слов: „Ты его убил, ты!“»

Как взорвавшаяся бомба, разнеслась на следующий день по селу весть о том, что Михелис передает все свое имущество голытьбе с Саракины. Поп Григорис выскочил на улицу в стоптанных туфлях, без пояса, без камилавки, с растрепанными волосами и побежал к Михелису. Увидев, что дверь открыта, он поднялся по лестнице и увидел Михелиса, который у окна писал письмо. Он писал Марьори, пытаясь сочинить одну фразу, в которой говорилось бы не только о том, как он любит ее, но и о том, что им необходимо расстаться. Он писал, зачеркивал, снова писал, слова казались ему очень жестокими, очень резкими, и одно и то же слово не могло вместить в себя всю сладость любви и всю горечь расставания. Слова «вечно» и «никогда» были двумя разными словами, а Михелис искал одно слово, в которое вместились бы эти две страшные бездны, разверзшиеся в его сердце.

И в эту минуту, как бушующий смерч, ворвался в комнату поп Григорис в черной распахнутой рясе.

— Это что еще за новое несчастье, о котором я узнал, Михелис! — закричал он, задыхаясь. — Говорят, ты даришь все свое имущество голодранцам с Саракины? Преступление! Преступление! Позор!

Михелис схватил и порвал незаконченное письмо, взглянул на исступленного попа и ничего не ответил.

— Неужели ты не дорожишь памятью своего отца? Как будто мало тебе того, что ты его убил. Теперь ты еще рубишь, усопшего, на части и раздаешь их босякам и бездельникам? Неужели ты не боишься бога?

— Вот именно потому, что я боюсь бога, я и делаю это, отче! Какая польза, говорит Христос, если ты соблюдаешь все заповеди? Ведь этого мало. Продай свое имущество и раздай его бедным, если ты хочешь войти в царство небесное! Поэтому, отче, я и сделал то, что велит Христос. Почему же ты кричишь?

Поп Григорис выходил из себя, метался по комнате в своих стоптанных туфлях и кусал руки от бешенства.

— Почему ты не отвечаешь, отче? Сделал ли я то, что велит Христос? Да или нет? Ответь!

— Ты подрываешь основы общества, вот что я тебе скажу! Я возвращаю тебе обратно обручальное кольцо моей дочери, — вот что я тебе отвечу! Я не хочу породниться с тобой, ибо вскоре я увижу, как ты бродишь по переулкам села с котомкой за плечами, — ты будешь просить милостыню!

— Ну и что же, ведь я получаю взамен царство небесное? — спокойно ответил Михелис. — Много ли стоит земная жизнь, отче?

— Ты сумасшедший, ты не знаешь, что говоришь! Ты идиот!

— Я христианин, этим все сказано, отче.

— С амвона я отлучу тебя от церкви, тебя и твоего учителя, Манольоса. Предатели вы, вот кто! Оба вы предатели, нет, все трое, вместе с козлобородым попом Фотисом! Да, да, не пяль на меня глаза, я знаю вашу тайну.

— Нашу тайну? — изумленно спросил Михелис. — Какую тайну?

— Вы большевики! Вы получаете приказы из Москвы, чтобы разрушить религию, отчизну, семью и частную собственность — эти четыре основы, на которых держится общество. И Манольос — будь он проклят! — ваш вождь! А поп Фотис держит в руках новое евангелие — приказы Москвы!

— Но ведь тогда и Христос большевик! — сказал Михелис.

— Это вы его сделали похожим на ваши рожи, это не Христос, это — антихрист!

Михелис рассердился и вскочил на ноги.

— Таким сделали его вы, — вы, попы, архиепископы, богачи! Христос превратился у вас в какого-то деда Ладаса, в ростовщика, лицемера, хитреца, брехуна, труса, наполняющего свои сундуки турецкими и английскими золотыми монетами. Ваш Христос вступает в сговор со всеми сильными мира сего, чтобы спасти свою собственную шкуру и кошелек!

— Ты что, войну нам объявляешь, Михелис? — взревел поп, брызгая слюной.

— Я не войну объявляю, я проповедую справедливость, но если вы броситесь на нас, мы будем воевать! Настоящий Христос — с нами. И нищая Саракина в один прекрасный день — и ты это увидишь, отче, — съест богатую хозяйку Ликоврици!

Поп вздрогнул и с силой ударил себя рукой по лбу, как будто вдруг понял, в чем дело.

— Так, значит, ты роздал свои поля и дома саракинцам, чтобы они обосновались в Ликоврици и в один прекрасный день сожрали нас! Но в село они не войдут, нет! Не удастся им это! Если они придут, мы их прогоним, и твои оливковые сады, фруктовые деревья и поля останутся необработанными и не политыми, они опустеют. Я воздеваю руки и клянусь тебе в этом! В воскресенье я поднимусь на амвон и отлучу вас от церкви!

Выпалив все это, поп ушел, хлопнув дверью. В окно Михелис видел, как старик проходил по двору, шаркая стоптанными туфлями; его развевающаяся ряса закрыла сначала ворота, а потом и дорогу, Михелис уже ничего не слышал, кроме собак, которые, надрываясь, лаяли на попа.

Михелис снова уселся у окна и начал писать новое письмо Марьори. Теперь он находил нужные слова, рассказывая ей, как только что ушел ее отец, разгневанный на Михелиса за то, что он, следуя заветам Христа, роздал свое добро бедным. Написал он и о том, что поп вернул ему ее обручальное кольцо.

И тут Михелис открыто признался в своей любви к ней, написал, что днем и ночью она в его мыслях и в его сердце, что для него жизнь без нее — это жестокая, безрадостная, крутая дорога. Он писал о своей любви, и чем больше он писал, тем сильнее любил ее, и сердце его наполнялось неистовой страстью. Казалось, каждое слово любви, которым он хотел утешить Марьори, порождало новый взрыв чувств, раньше ему неведомых. И вдруг жизнь без Марьори показалась Михелису нестерпимой мукой… Его глаза наполнились слезами.

— Я не знал, что так любил ее, — прошептал он, — не знал…

Тем временем поп Григорис уже повидался со своим братом — учителем, потом со скрягой Ладасом, навестил всех богатеев села, поговорил с ними, и все признали, что селу грозит большая опасность и что всем честным хозяевам нужно объединиться и поразить антихриста в самое сердце. Только учитель пытался что-то робко возразить, но брат, поп, рассердился, закричал на него, и учитель умолк.

Они порешили, что, когда саракинцы придут за имуществом Патриархеаса, они, ликоврисийцы, применят силу против них, а в воскресенье, после обедни, поп Григорис поднимется на амвон и отлучит нечестивцев от церкви — сначала только Манольоса, их вождя, а потом, ежели они не раскаются, и его товарищей — Михелиса, Яннакоса, Костандиса и остальных. Поп Григорис говорил: «Пусть исчезнут из нашего села все плевелы и останется только пшеница». Потом он заторопился домой, чтобы написать дочери, до чего дошел ее ненаглядный жених, и что ей лучше всего забыть об его существовании. А когда она, с божьей помощью, вылечится и вернется в село, он, отец, найдет ей благоразумного и богобоязненного мужа. И нужно благодарить бога, что еще до свадьбы Михелис показал себя таким негодяем.

Потом он позвал Панайотароса.

— Держи ухо востро, Панайотарос, — сказал он ему, — время от времени ходи на Саракину, подглядывай, подслушивай, что они там говорят, что делают. Потом приходи и сообщай мне. У нас одни и те же враги. Ты очень силен, и, может быть, скоро нам понадобишься.

— Все вы мне противны, — отвечал Панайотарос, — но больше всех я ненавижу подлеца Манольоса и его товарищей, которые строят из себя Христа и апостолов, — поэтому я послужу вам. Но вы тоже хороши!

Поп Григорис протянул ему руку для поцелуя, но Панайотарос повернулся к нему спиной и пошел к двери.

— Я никогда не целовал рук и бабьих фартуков, — сказал он и переступил порог.

На следующий день, в воскресенье, все село с самого утра собралось в церкви. Мужчины, женщины — одни беспокойные, другие радостно возбужденные — притащили сюда и больных и детишек: пусть увидят и на всю жизнь запомнят, как поступают с теми, кто отрекается от Христа.

Церковь гудела, как пчелиный улей, в который ворвался шмель-грабитель. Около столика со святыми дарами стоял старик Ладас, по случаю торжественного дня надевший туфли. Он купил их в Большом Селе еще к свадьбе, но надевал их только раз в году, на пасху. Туфли стали малы ему, жали ноги, и он подпрыгивал, как ворон. Выходя из дому, он нес их в руках и обувался лишь у самой церкви; после обедни он снова снимал туфли и нес их домой, вместо того чтобы они его несли.

Пришел и Панайотарос, который месяцами не заглядывал в церковь. Его рябое от оспы лицо сияло от удовольствия. Он заложил за ухо сигаретку, чтобы закурить на радостях, когда Манольоса отлучат от церкви.

И старуха Мандаленья, возмущенная, вся в черном, пришла полюбоваться на своего племянника, так опозорившего ее честный род своими выдумками. Она кипела негодованием против этого антихриста — ведь она всегда говорила, что противного мальчишку испортит образование! Теперь она радовалась тому, что оказалась права и Манольос угодил в лапы к черту.

Пришел и Михелис, бледный, печальный, тоже одетый в черное. Все последние ночи он не мог сомкнуть глаз, и когда иной раз к утру все-таки засыпал, ему снился отец, который смотрел на него и покачивал головой, будто проклиная его. Вместе с Михелисом пришли Яннакос и Костандис; чуть-чуть позади стояли парикмахер Андонис и мясник Димитрос.

— Я зарежу ягненка, — признался он парикмахеру, — я зарежу ягненка и отнесу его на Саракину, чтобы отпраздновать отлучение от церкви. Приходи и ты закусить.

— И я пойду, побрею Манольоса и освежу его хорошими духами, — заявил парикмахер. — Бритва и флакон у меня уже в кармане.

Остановился около псаломщика и учитель, готовясь подтягивать псалмы. Он хмурился, ему совсем не нравилось готовящееся бесчеловечное торжество. «Это несправедливо, — думал он, — здесь действуют личные страсти, низкие расчеты». Но он не осмеливался возвысить голос. С малых лет он боялся попа Григориса, своего старшего брата, который безжалостно избивал его. И даже теперь, будучи шестидесятилетним холостяком, он все еще боялся его.

Показался грозный поп Григорис, похожий на пророка, с седой, расчесанной на две стороны бородой. Торопясь, он быстро закончил обедню. Его нетерпение разделяли все односельчане. Затем он взошел на амвон. Ликоврисийцы подняли головы и с ужасом смотрели на него. Как на похоронах, зазвонил колокол — одной душой становилось меньше.

Поп Григорис обвел глазами толпу, еще грознее нахмурился и заговорил:

— Братья христиане, — сказал он, и его низкий голос загудел под куполом церкви, — братья христиане, церковь — это кошара, а верующие — овцы; Христос — пастух, а представитель бога на земле — священник. Когда одна из овец страдает заразной болезнью, пастух выгоняет ее из кошары, чтобы не заразились другие овцы, и гонит ее далеко к оврагам, чтобы она там издохла. Он скорбит, что погибает одна душа, но он должен быть жестоким, чтобы спасти остальные души. Одна овца из нашей христианской овчарни заразилась чесоткой, братья христиане. Это Манольос. Он поднял голову против Христа, и мы должны поразить его прямо в сердце. Он поднял голову против общины, против семьи, против собственности. Он поднял свое красное знамя, чтобы залить нас кровью. Он получает указания из Москвы, — вера, община и честь в опасности! Он — большевик! И мы должны отлучить его от церкви, отделить от здоровых овец, прогнать к оврагам сатаны, и пусть он там издыхает, а мы будем спасены! Сейчас я сойду с амвона и изгоню его!

Поп спустился с амвона. К нему подбежал пономарь с чашей, наполненной святою водой. Поп окунул в чашу кропило, взмахнул им и громко крикнул:

— Изыди, отлученный!

Сделал шаг вперед, еще раз взмахнул и снова закричал:

— Изыди, отлученный!

Казалось, Манольос незримо присутствует здесь и священник идет прямо на нечестивца, изгоняя его. Поп подошел к церковным дверям, беспрерывно размахивая кропилом; верующие отстранялись в ужасе, будто боялись, что прикоснется к ним тень отлученного, который отступал, уходил из церкви.

Поп подошел к двери, еще раз с силой взмахнул кропилом и повернулся к землякам.

— Крикните три раза, братья христиане, крикните все вместе: «Да будет отлучен Манольос!»

Раздался такой гул, что содрогнулись церковные своды. Все подняли кверху руки и воскликнули трижды:

— Да будет отлучен Манольос!

Поп в последний раз взмахнул кропилом, крикнул: «Изыди отлученный!» — и с силой захлопнул дверь церкви. Все с облегчением вздохнули, как будто действительно дьявол ушел и воздух очистился.

Поп вернулся обратно и остановился посередине церкви:

— Братья христиане, с сегодняшнего дня пусть никто не подходит к нему! Пусть никто не подаст ему куска хлеба, стакана воды! Пусть никто не откроет уст и не поздоровается с ним! И кто увидит его, пусть плюнет три раза на землю и обойдет его стороной. Он отрекся от Христа, и Христос, в свою очередь, отрекается от него! Он отрекся от религии, от общины, от семьи, от собственности, и они, в свою очередь, отрекаются от него. Пусть убирается вон, к дьяволу! Аминь!

— Аминь! — закричала возбужденная и полная ненависти толпа.

— Аминь! — раздался страшный голос Панайотароса, перекрывший всех.

Но в эту минуту из толпы послышался чей-то тихий голос:

— Отче, Манольос не одинок, я вместе с ним! Отлучи и меня от церкви, меня, Михелиса Патриархеаса!

И тут же раздался другой голос, гневный:

— И меня, Яннакоса, бродячего торговца и почтальона! И меня отлучи вместе с ним!

— И меня, Костандиса, владельца кофейни, и я с ним вместе!

Толпа всколыхнулась, раздалась в стороны, и трое друзей оказались одни в середине церкви.

Поп Григорис прорычал:

— Придет и ваш черед, ангелы сатаны, не торопитесь! Велико терпение всемилостивой церкви Христовой, она дает вам время покаяться. Меч Христа, милосердный, но грозный, висит над головами людей и ждет. Я вас оставляю на божью милость!

— Бог нас рассудит, отче, — закричал Яннакос. — Мы на него и надеемся, бог будет судить, а не ты!

— Бог и осудил вас моими устами! — яростно заревел поп, и глаза его налились кровью. — Я, священник, есмь язык бога в Ликovриси!

— Только чистое сердце — язык бога, — возразил Михелис, — а наши сердца, отче, чисты!

Он повернулся к товарищам.

— Пошли, братья, — сказал он. — Давайте отряхнем с наших ног ликоврисийскую пыль. До свиданья, земляки!

Никто ему не ответил. Женщины крестились, плевались и бормотали: «Господи помилуй! Господи помилуй!»

— До свиданья, земляки! — снова закричал Михелис. — Наш Христос — бедный, гонимый, стучит во все двери, но никто ему не открывает. Ваш Христос — богатый помещик, он вошел в сделку с агой, он запирает от людей свои двери и ест в одиночестве; ваш сытый Христос проповедует: «Этот справедливый, честный, добрый мир мне нравится; пусть будет отлучен от церкви всякий, кто поднимет свою руку на основы мира сего!» А наш босой Христос смотрит на голодных измученных людей и кричит: «Несправедлив, подл, безжалостен этот мир, и он должен быть разрушен!»

Поп Григорис подхватил концы своей рясы.

— Большевики, — заревел он, — сгиньте, обратитесь в прах перед ликом божьим!

Заволновались крестьяне, старик Ладас запрыгал на своем месте, Панайотарос сжал кулаки.

— Вон! Вон! Вон! — послышались яростные голоса.

Яннакос полез было драться, но Михелис схватил его за руку.

— Пойдемте, — сказал он, — пусть бог нас рассудит!

Он перешагнул порог церкви, за ним вышли Яннакос и Костандис. Отделились от толпы и пошли за ними, правда, на некотором расстоянии, парикмахер Андонис и мясник, толстяк Димитрос.

— На кого же ты нас оставляешь, Костандис? — послышался вдруг пронзительный женский голос. — На кого ты оставляешь свою жену и своих детей, проклятый?

Костандис обернулся и увидел свою жену, бежавшую за ним с распущенными волосами. Он замедлил было шаг, но Яннакос силой потащил его.

— Пойдем, пойдем, не оглядывайся!

ГЛАВА XV

Поп Григорис возвращался домой, задыхаясь от злости и обрушивая на головы всех громы небесные.

Слово священника должно было бы убивать, и если он говорил: «Анафема!» — проклинаемый человек должен падать мертвым. Тогда бы свет очистился, на земле воцарились бы мир и справедливость.

Он мысленно перебрал тех людей, которых убил бы, владей он этой силой. В первую очередь он убил бы Манольоса, самого опасного противника, ибо тот был лишен недостатков: он не воровал, не ругался, не лгал, не грешил с женщинами… Его, значит, убить в первую очередь. Вслед за ним, или, вернее, вместе с ним, подлого попа Фотиса. Этого он ненавидел до такой степени, что готов был выколоть ему глаза. Один вид попа Фотиса — его аскетическое лицо, его пламенные глаза — приводил его в ярость. За ним тоже не водилось никаких грехов: он не чревоугодничал, не пьянствовал, не развратничал, люди любили его. Эх, свалить бы его на землю, вырвать ему бороду, отрезать нос! И чем больше поп Григорис думал о нем, тем больше его душила злоба, и теперь он уже, не знал, кого убить в первую очередь — попа Фотиса или Манольоса.

Потом он убил бы Яннакоса и Костандиса. По дурному пути они идут, дурной пример подают другим, лучше и от них избавиться. А Михелис? Поп задумался. «Лучше подождем немного…» — пробормотал он. Но скрягу Ладаса он, безусловно, убил бы. Не потому, что тот скряга, злодей, выгнавший на улицу многих сирот, а потому, что тогда, в подвале, он назвал его, Григориса, «козлобородым попом».

Этих пятерых он уничтожил бы в первую очередь, а потом, изо дня в день, уничтожал бы всякого, кто осмелился бы поднять на него руку. Кое-какие старые счеты были у него и в епархии Большого Села — с некоторыми архимандритами, протоиереями и с самим епископом. С ними он тоже рассчитался бы… А потом — со своими товарищами, которые обидели его еще тогда, когда он учился. Будь они живы, непременно и с ними он рассчитался бы!.. Поп Григорис вздохнул. «Да, нужно бы священнику обладать такой силой, нужно бы…» — думал он.

А крестьяне все толпились на площади перед церковью, продолжая шумно и возбужденно обсуждать случившееся.

Их жизнь приобрела вдруг цену. Им пришлось увидеть повешенного сеиза, смерть великого старосты, убийство турчонка, гибель вдовы — а теперь им посчастливилось присутствовать и при отлучении от церкви!

Панайотарос сидел под платаном с довольным видом и курил. «Дела идут прекрасно, — думал он, — мой донос пришелся к месту! Я разделаюсь со всеми, со всеми — с Христом и с апостолами. Пусть все катятся к черту!» Он жадно затянулся, выпустил дым через нос, сплюнул и отправился на Саракину, посмотреть, что там творится.

Он поднимался по знакомой тропинке. Какой-то старичок с Саракины собирал сухие ветки и мелкий хворост.

— В добрый час, дедушка, — сказал ему Панайотарос. — Как дела?

— Хорошо, хорошо, сынок, разве ты не знаешь! Говорят, что нам подарили поле и виноградники, чтобы не померли мы, несчастные, с голоду. Слава богу! Завтра мы спустимся в Ликовриси собирать виноград.

— Ваши люди придут собирать виноград, дедушка?

— Конечно. У нас тоже есть достойные парни и девушки, завтра вы полюбуетесь ими.

Панайотарос пошел дальше.

«Хорошо, что я узнал об этом, — подумал он. — Есть что доложить козлобородому…»

Он подошел к скале, которую выбрал в качестве наблюдательного пункта, так как с нее было видно все, что творилось у пещер, лег на землю, подпер руками подбородок и начал внимательно смотреть.

Поп Фотис, наверно, только что закончил обедню, потому что толпа стариков, старух и детей собралась перед пещерой с изображениями святых, и в середине толпы стояли поп Фотис и Манольос — они произносили какие-то речи. Панайотарос весь превратился в слух. Время от времени до него долетали отдельные слова, из которых почти ничего нельзя было понять, но, связывая их воедино, он догадался, что Манольос говорил: «Меня отлучил от церкви не бог, а поп Григорис, что не одно и то же!»

Немного подальше горел костер, и толстяк Димитрос, стоя на коленях, ворочал ягненка на палке, а Яннакос то и дело проверял ножом, не изжарился ли он. Они о чем-то говорили и смеялись. Тут же Андонис намыливал лицо какому-то старику, готовясь побрить его; подбежали к нему детишки — подстричься; они весело прыгали вокруг и ждали своей очереди. Костандис же с несколькими старухами таскал воду.

— Да они пир устраивают, — зарычал Панайотарос, — им хоть бы что!.. Где же, поп Григорис, тот грозный меч, о котором ты кричал? Где же огненные языки ада? Пропади ты пропадом!

Он подполз поближе, чтобы лучше слышать, и свесился со скалы. «Ну, а где же Михелис?.. — подумал он, — я его не вижу. Он плачет где-то о своей судьбе, непутевый. Все повернулось против него: он потерял отца, эту архонтскую свинью; роздал, сытый дурак, свое имущество, а поп вернул ему обручальное кольцо; и теперь он стал сирота, бедный и вдовый!»

Издалека доносились голоса, смех; кто-то из беженцев принес бузук и налаживал его. Яннакос и толстяк Димитрос сняли с костра ягненка и положили его на камни. Подбежали голодные саракинцы, окружили жареное мясо, начали бить в старые кастрюли и радостно прыгать... Подошел поп Фотис, перекрестился, благословил ягненка и начал его делить, как просвиру в церкви. Все со смехом расселись; заиграл бузук.

Вдруг Манольос вскочил на ноги и беспокойно осмотрелся.

— Михелис! — закричал он. — Эй, Михелис!

Но напрасно он кричал, никто не отзывался.

Отец Фотис, очень довольный, воздевал к небу руки и громко говорил. Панайотарос слышал почти все.

— Дети мои, — говорил он, — велик сегодняшний день, ибо то, что пророчил Христос о своих учениках, теперь сияет, как благословение, над нашими головами! Христос сказал: «Блаженны будете, когда возненавидят вас люди, когда вас отлучат от церкви, поругают вас, наклевещут на вас ради Христа! Радуйтесь в этот день, веселитесь; большую награду вы получите на небесах. То же самое, что творят с вами, творили и их предки с пророками!» Таковы, дети мои, были Христовы слова! И вот сегодня нас ругают, на нас клевещут, нас преследуют, мы страдаем ради Христа. А нашего товарища, Манольоса, поп отлучил от церкви. Слава тебе, господи, мы идем по правильному пути! Христос шествует впереди нас, и мы следуем за ним. Радуйтесь, веселитесь, дети мои, Христос воскрес!

Так сказал поп и, наполнив глиняную чашу водой, выпил ее залпом.

— Да это же не люди, это дикие звери! — зарычал Панайотарос. — Звонили в колокола, как на похоронах. Отлучили их от церкви, прогнали их из святого места — а они смеются и похваляются. Отчего же у них такое хорошее настроение? Дьявол у них в сердце или Христос? Будь я проклят, если хоть что-нибудь понимаю!

Он снова высунул голову, снова начал прислушиваться, но вдруг почувствовал на своем плече чью-то руку. Он вскочил в ярости: над ним с улыбкой склонился Михелис.

— Ты что подглядываешь, Панайотарос? — спросил он дружелюбно. — Почему не пойдешь к нам, чтобы закусить немного? Пойдем со мной...

И тихонько потащил его за руку. Но Панайотарос съежился.

— Не пойду! — буркнул он. — Не нужна мне ваша еда, не нужна мне ваша компания, проклятые! Оставьте меня одного в страшном моем одиночестве!

— Ты, Панайотарос, настоящий мужчина, прямой и честный. Неужели тебе не стыдно водиться с бесчестными людьми, с бездельниками? Уж не они ли послали тебя сюда шпионить за нами?

— Я не вожусь ни с кем, я совсем одинок, Михелис! Я нелюдим, как волк, понимаешь? Я ненавижу и вас и их! Молчи, не говори со мной, — я кусаюсь!

— Что с тобой, Панайотарос? — сказал Михелис и сел рядом с ним. — Вот уже несколько месяцев, как тебя узнать нельзя. Ты всегда был грубым, но не был злым. Кто сделал тебя таким, Панайотарос? Чья это вина? Что с тобой произошло?

— Многое, многое… Э, да ведь ты и сам знаешь, зачем же спрашиваешь? Сам знаешь!

— Из-за того, что тебя выбрали изображать Иуду? — робко спросил Михелис. — Но ведь это игра, брат мой, святая игра, это ведь неправда… Разве Манольос — Христос? Разве я, недостойный, — его любимый ученик Иоанн? Как ты мог впасть в такой грех? Ведь это произошло случайно, из-за того, что у тебя рыжая борода…

— Я ее сбрею! — в бешенстве закричал Панайотарос. — Я ее сбрею, проклятую!

Михелис улыбнулся.

— Ну, тогда пойдем, — у нас тут есть парикмахер… Пойдем, он тебя побреет, и ты успокоишься!

— Я ее сожгу сам! Сожгу! Сожгу, чтоб взял ее себе сатана! — закричал Панайотарос и вскочил на ноги, будто вдруг решился на что-то. — Иду сейчас же!

— Пойдем с нами, — снова ласковым голосом попросил Михелис. — Пойдем с нами, и ты увидишь, что мы примем тебя с распростертыми объятиями; только одного тебя не хватает нам, чтобы мы были счастливы.

Но Панайотарос уже скатился кубарем со скалы и, не останавливаясь, мчался вниз. Оглянувшись, он увидел Михелиса, печально смотревшего на него, и прокричал:

— Убирайтесь ко всем чертям — и вы и они!

И указал своей ручищей сначала на Саракину, потом на Ликоврիси.

Этой ночью Михелису, который спал в одной пещере с Манольосом, приснился страшный сон. Уходя из родительского дома, он прихватил с собой кое-какие вещи. На Саракине он почти все роздал самым бедным, а себе оставил только матрац и кое-что из одежды. В первый же день он сказал отцу Фотису:

— Отче, с сегодняшнего дня я оставляю Ликоврыси и ищу убежища у вас. Я буду работать, бороться и либо одержу победу, либо паду, побежденный, вместе с вами. Воздух долины стал для меня невыносим.

— Добро пожаловать, сын мой, в наше войско, — ответил священник. — Вместе будем взбираться по крутому склону, а на вершине найдем бога. Ты — изнежен, но у тебя смелая душа и большое сердце; ты будешь у нас одним из лучших борцов. Добро пожаловать к нам!

— Иди сюда, Михелис, — сказал Манольос, — мы с тобой разделим мой дворец — пещеру рядом с церковью. Там найдешь и распятие, что ты мне подарил, — то самое, с ласточками.

Михелис перенес туда свои вещи и большое серебряное евангелие. И когда он заснул впервые на новом месте, ему и приснился сон, который так его напугал. Будто бы Марьори заключили в высокую башню и огромные черные собаки сторожат ее, чтобы она не убежала, а Михелис стоит внизу и поет, чтобы она услышала его голос и выглянула в окошко. И вдруг он видит, как открываются железные двери башни и выходит Марьори, одетая в платье цвета моря; длинный шлейф волочится по земле, а к платью приколоты три красные розы — одна возле сердца, другая на поясе, а третья — на колене. За девушкой и впереди нее бегут, высунув языки, черные собаки; Марьори держит в руках свой белый платочек и вытирает им губы. Вдруг внизу, у башни, появляется лодка, узкая-узкая, как гроб. Земля вокруг превращается в море, Марьори входит в лодку и отплывает. А когда обернулась и увидела его, замахала ему своим платочком, покрытым красными пятнами, закричала громким, душераздирающим голосом. Михелис проснулся и вскочил на ноги.

— Что с тобой, Михелис? — спросил Манольос, разбуженный его криком.

— Мне снился страшный сон, Манольос. Черные собаки, лодка и Марьори, которая уплывала.

Манольос задрожал, но ничего не сказал: он услышал в воздухе шелест крыльев архангела Михаила.

Свет, едва проникавший в пещеру, слабо освещал их лица и серебряное евангелие Михелиса, лежавшее в глубине пещеры.

— Сегодня у нас много работы, — сказал Манольос и встал с камня. — Мы вызвали человек двадцать наших товарищей, работающих батраками. Они пойдут собирать урожай с виноградников, которые ты подарил общине, дай бог тебе добра! Много душ ты спас, Михелис.

— Я ничуть не пострадал, отдав то, что имел. Поэтому-то я и думаю, что не сделал ничего для спасения своей души, Манольос! Только жертва имеет цену, а я ничем не пожертвовал. Гораздо большую жертву принес Яннакос, отдав своего ослика.

Манольос словно взвешивал в уме слова своего друга.

— Я думаю, ты прав, Михелис, — сказал он через минуту.

Человек десять мужчин и столько же женщин, радостно переговариваясь, уже подошли к пещере. Увидев Михелиса, они подбежали к нему пожать руку.

— Ты сделал нас снова хозяевами, — говорили они ему, — бог да освятит кости твоего отца!

На секунду перед его глазами промелькнуло доброе, откормленное лицо отца, его полные слез, жалобно глядевшие глаза, его перекошенные, еле двигавшиеся губы, будто желавшие ему сказать: «За что ты убил меня, за что?» — но старик пожалел сына и не сказал ничего.

— Я это сделал ради спасения его души, — прошептал Михелис, склонив голову. — Ради спасения его души, пусть господь бог ее успокоит...

Поколебался немного и добавил:

— Это и было его последним завещанием. Он просил меня раздать его состояние бедным...

Манольос обернулся, посмотрел на своего друга, подошел и пожал ему руку, но тот лишь печально покачал головой и отвернулся, чтобы скрыть охвативший его ужас.

Тогда вышел вперед отец Фотис.

— Дети мои, — сказал он, — перекреститесь и идите, с божьего благословения, собирать урожай с наших виноградников. Манольос пойдет впереди вас. Теперь, дети мои, у нас появились свои земли, мы пустим в них корни; то, что было мечтой, начинает осуществляться и становится явью. Теперь есть у нас и поля и деревья, и все вместе мы будем обрабатывать их и радоваться их плодам. Все вместе! Не будет у нас богатых и бедных; мы все будем одной дружной семьей! Даст бог, мы покажем, как должны жить между собой люди и как справедливость может воцариться на земле. С благословения бога и богоматери, в добрый час! А ты, Манольос, иди с ними, иди впереди. Ты знаешь, где находятся виноградники. Мы же с Михелисом пойдем в Большое Село официально оформить документы, чтобы наша община стала хозяином всего состояния почившего архонта Патриархеаса.

Все перекрестились, Манольос вышел вперед, и они двинулись в путь. Шли радостно, пели песни о сборе винограда, и никто не подозревал о том, что их ожидает в Ликовриси.

Возвратясь с Саракины, Панайотарос сразу же побежал искать попа Григориса.

— Завтра они придут собирать виноград, принимай меры!

Поп Григорис, который в это время сидел за столом и ел, бросил вилку.

— Я не позволю им войти в село! — закричал он. — Они не будут собирать виноград, нет! Я им не позволю поселиться в моем селе. Иду к аге!

Он надел праздничную рясу и тяжелый серебряный крест, взял длинный посох с ручкой из слоновой кости и медленным, торжественным шагом направился к дому аги.

Ага уже поел и теперь пил кофе. Возле него Ибрагимчик курил сигарету, сидя спиной к аге. Очевидно, они снова поссорились, и несчастный ага пил кофе с такой гримасой, будто это было лекарство. В дверях показался поп Григорис, приложил руку к сердцу и поклонился.

— Доброго здоровья, дорогой ага.

Но тому было лень повернуть голову.

— Я по голосу узнаю, что это ты, поп, — сказал он равнодушно. — Какие новые неприятности ты мне несешь? Подойди сюда, чтоб я мог тебя видеть. Садись за стол!

Он хлопнул в ладоши, пошла старуха горбунья.

— Чашку кофе уважаемому гостю, — приказал он.

Потом обратился к попу:

— Говори!

— Дорогой ага, — начал тот, — твоей милости хорошо известно, что мир висит на волоске. Если этот волосок порвется, мир упадет вниз и разобьется вдребезги.

— Это знает каждый дурак, — сказал ага раздраженно, — дальше!

— Некто хочет перерезать этот волосок, ага.

Ага заволновался, схватил свой ятаган и вскочил, готовый убить этого «некто».

— Кто он? — закричал ага. — Я отрублю ему голову! Да, клянусь Мохаммедом! Говори поп, кто он, и тогда увидишь, что я сделаю с ним!

— Московит! — ответил поп.

Ага остолбенел. Что ж, теперь надо бежать из Ликоврisi? Оставить Ибрагимчика и все свои дела? Бежать к шайтану, на край света, чтобы найти среди снегов московита и зарезать его?

— Но ведь этот проклятый далеко, — сказал ага и отложил ятаган. — Далеко! Куда же я пойду? Не притворяйся дурачком, поп. Успокойся, вот тебе мой совет. Я сделаю то же. Так и проживем, а когда кончится жизнь, будем наслаждаться на том свете.

— Да нет, не надо покидать Ликоврisi, дорогой ага! Московит послал своего человека в наше село. Здесь, в Ликоврisi, он и хочет перерезать этот волосок! Я исполнил свой долг сегодня в церкви, пусть это сделает теперь твоя милость.

— О чем-то мне бубнила горбунья, да я не понял.

— Я отлучил от церкви Манольоса — московита! Я изгнал его из стада Христова!

— Но почему же, поп? Ведь он, бедняга, хороший человек, хоть и чудак! Разве он не хотел принять на себя вину и пойти на виселицу, чтобы спасти село?

— Лицемерие, дорогой ага, лицемерие! Он все это подстроил, чтобы ввести в заблуждение людей.

Рассерженный ага почесал затылок.

— Вы, греки, будьте вы прокляты, можете даже блоху подковать! — закричал он. — Где же понять простодушному человеку, чего вы хотите! Говорите одно, делаете другое, а на уме у вас третье! Уходи, поп, не морочь мне голову, убирайся! Я не в настроении сегодня! Да еще этот дьяволенок... — указал он на Ибрагимчика.

Но Ибрагимчик молча курил, пуская дым в потолок, и скрипел белыми, острыми, как у собаки, зубами. Впрочем, услышав свое имя, он сердито повернулся к аге.

— Скажи попу, сам знаешь о чем! Иначе я убегу, пойду обратно в Измир. Издохну я здесь!

Он сделал движение, чтобы встать, но ага схватил его за плечо.

— Сиди смирно, дьяволенок, сиди, говорят тебе, — сейчас скажу!

Он обернулся к попу Григорису.

— Уважаемый поп, чего тебе от меня надо? Ты пришел просить меня об одолжении? О каком? Говори, поторгуемся, но только покороче. Не засоряй мне голову лишними словами, я и так пойму. Ну, я слушаю тебя.

— Ага, — сказал поп Григорис, подходя к нему, — этот бездельник, сын покойного Патриархеаса, подарил все свое состояние голодающим с Саракины.

— Это его право, — сказал ага. — Разве это не его собственность? Что хочет, то и делает.

— Да, но ведь эти голодранцы присланы из Москвы! Их всех послали сюда, чтобы они перерезали волосок.

— О чем ты говоришь, поп? Говори яснее! Всех?

— Всех… А возглавляют их поп Фотис и Манольос. Говорят, завтра они придут собирать урожай со своих виноградников… Ты понимаешь, что это значит? Наложат свою лапу сначала на наше село, на твое село, дорогой ага, а затем понемногу выбросят нас всех отсюда, и — нет больше волоска!

— Ну, и чего же ты хочешь?

— Завтра, когда придут московиты, ты выйди из своего канака, стань у входа в село и прогони их.

— Но каким образом, поп? Разве виноградники не их собственность?

— Нет!

— Как нет? Аллах, я с ума сойду! Разве их не подарил им Михелис, разве они не стали их собственностью?

— Нет, говорю тебе, нет, дорогой ага! Мы объявим Михелиса невменяемым.

— Невменяемым? Это еще что такое? Говори понятнее.

— Ну, сумасшедшим, другими словами! Он сам не знает, что делает, и его подарок не действителен.

— Но разве Михелис сумасшедший? Клянусь моей верой, он вполне нормален!

— Безумие и ум трудно разграничить, ага! Никто не знает, где кончается ум и где начинается безумие. Поэтому мы найдем способ доказать, что Михелис сумасшедший.

Ага схватился руками за голову и вдруг начал хохотать.

— Понял, — закричал он, — понял! Ну и греки, дети сатаны, вы сделаете из мира голубец и съедите его!

— Так как же, ага?

— Слушай, поп Григорис, я скажу тебе коротко и ясно! Дай мне, и я дам тебе, — я пойду стану у входа в село, как ты говоришь, и прогоню несчастных саракинцев, но твоя милость… Мы уже договорились, дай мне, и я дам тебе!..

Поп побледнел — он понял.

— Итак, поп, слышишь меня, я окажу тебе услугу, но и ты окажи ее мне.

— Говори, ага, — тихо сказал поп, — если это будет зависеть от меня…

— Пустяки, не беспокойся!.. Ибрагимчик во что бы то ни стало хочет, чтобы как-нибудь потанцевали девушки, чтобы он мог выбрать себе какую-нибудь…

— Это очень сложно…

— Сложно ли, просто ли, но иначе нельзя! Разве ты не видишь его? Этому чертенку пятнадцать лет, кто может его обуздать? Ты? Я? Он проглотит нас сразу! Только женщина может одолеть его! А поэтому давай найдем ему какую-нибудь самку, пусть приручит его. Он сейчас как необъезженный жеребенок — ты его хочешь оседлать, а он подбрасывает тебя в воздух; но когда ты его приручишь, сможешь ездить на нем, и он даже будет хвостом помахивать!

Довольный Ибрагимчик слушал агу и смеялся — словно его щекотали.

— Плохо, что умерла вдова… — пробормотал поп.

— Найдем ему другую…

Но тут закричал сам Ибрагимчик:

— Я хочу, чтобы она была молоденькая, полненькая, беленькая, как булочка, и не горбатая… Чтобы она сопротивлялась, а я мог бы бороться с ней, повалить ее, чтоб она кричала, плакала, рвала на себе волосы, а я получил бы удовольствие… Ты понял, поп?

Поп задумался…

— Надо найти какую-нибудь сироту, — сказал он наконец, — у которой нет родственников в селе… чтобы не разыгрался скандал! Боюсь я скандала, ага, только скандала, ничего другого! Дай мне срок, ага…

— Чего он еще просит? — с беспокойством спросил Ибрагимчик.

— Несколько дней сроку, чтобы он мог выбрать такую женщину, какую ты хочешь, чертенок! Поп прав. Думаешь, что они как курицы в его курятнике и он может сразу тебе дать такую, какую ты хочешь? И не надувай губы, потому что, клянусь Мохаммедом, я тебя оскоплю, чтобы ты успокоился, несчастный, — тогда и нам будет спокойнее! Ты слышишь, что я тебе сказал? Помалкивай! А если тебе очень уж невтерпеж, у тебя есть Марфа!

— Тьфу! — Ибрагимчик плюнул на стену. — Она мне не нужна.

— Ладно, поп, уходи, даю тебе несколько дней сроку. Ты слышал, какую он хочет: молодую, толстую, белую и честную.

Поп вздохнул.

— Согласен, ага, — сказал он, поднимаясь. — Итак, когда появятся завтра московиты…

— Ладно, договорились! А твоя милость…

— Посмотрю, поищу… и да простит мне бог!

— Не бойся только, и он простит, — плечи у него крепкие, выдержит он и этот грех, — сказал ага и разразился хохотом.

Поп вышел из конака, погруженный в раздумье. Очень ему не нравилось все это дело, но пришлось согласиться — лучше уж пойти на это, чем всему селу попасть в ловушку и очутиться в когтях попа Фотиса, подвергнуть опасности религию, отчизну, честь и собственность… Лучше уж пойти на это, чем дать порваться волоску, который держит мир, не позволяя ему упасть и разбиться вдребезги.

Он позвал к себе богатых крестьян.

— Завтра притащатся саракинские оборванцы собирать урожай с виноградников, которые им подарил наш слабоумный Михелис… Но все мы здесь можем засвидетельствовать — а если нужно будет, то и клятвенно! — что Михелис с детства был… не того, понимаете? Что он ненормальный, дурак, неуравновешенный! Что какой-нибудь хитрый человек, — ну, скажем, поп Фотис, — легко мог его запутать и заставить подписать все, что угодно… Поэтому я — бог мне свидетель! — возвратил ему обручальное кольцо. Итак, значит, его подарок недействителен, виноградники не являются собственностью саракинцев, так же как поля, сады и дома… Других родственников у Патриархеаса нет, и все отойдет общине… Согласны?

— Согласны! — ответили все, восхищенные умом своего попа.

— Я сейчас из конака, договорился с агой. Я убедил его после долгих уговоров, и он сам станет у входа в село и не разрешит голодранцам-большевикам войти к нам. Вы же все собирайтесь со своими работниками, собаками и палками, чтобы поддержать агу… Но будьте осторожны, чтобы никто не дрался, — мы христиане и должны любить наших врагов…

Потом он позвал Панайотароса. Тот пришел к вечеру, совершенно неузнаваемый. Он спалил свою бороду раскаленным углем, отчего его лицо и шея покрылись ожогами, да еще остриг себе волосы большими ножницами для стрижки овец.

Поп, несмотря на все свои заботы, не мог удержаться от смеха.

— Господи, — закричал он, — да на кого же ты похож?

— Это мое дело! — зарычал Панайотарос. — Попридержи-ка язык, поп, потому что я уйду и ты останешься один, а ведь я знаю, что нужен тебе.

— Да ты не горячись, Панайотарос, мы же тебя не называли горбатым! Послушай, завтра ты мне действительно будешь нужен. Возьми с собой дубину и, если с ними вместе придет Манольос, кинься на него. Он отлучен от церкви, ты ни перед кем не будешь в ответе за него. Можешь даже убить его, — бог на твоей стороне.

— Оставь бога, поп, не приплетай его к своим проделкам! Ты боишься попа Фотиса, а мне противен Манольос, — вот и все! Не приплетай сюда богов и всех святых, это на меня не действует. Ты хитер и поэтому понимаешь, что я хочу сказать.

Он пошел к двери, обернулся, подмигнул попу Григорису и засмеялся дьявольским смехом.

— Будь мы оба прокляты! — сказал он.

Саракинцы спускались с горы с песнями. Впереди, глубоко задумавшись, шел Манольос. «Дай бог, чтобы не встретили мы сопротивления», — размышлял он.

Но чем ближе они подходили к селу, тем яснее видели, что у колодца святого Василия толпились собравшиеся там люди; одни сидели на земле, другие ходили взад и вперед, размахивая палками, и до Манольоса уже долетали угрожающие выкрики.

Манольос остановился и обернулся к своим товарищам.

— Друзья, — сказал он, — мне кажется, они будут сопротивляться… Женщины пусть останутся здесь и ждут, а мы, мужчины, пойдем вперед, и бог нам поможет! Мы пойдем мирно, ибо справедливость на нашей стороне, но если они во что бы то ни стало захотят драться, мы не схватимся с ними, — они ведь наши братья, — а пойдем к аге. Он правит селом, и пусть он рассудит — иначе и быть не может. Ведь виноградники теперь наши, он должен нас защитить… Итак, вперед, с богом!

Женщины остались ждать, рассевшись в кружок на скалах, а мужчины пошли вперед. Но не прошли они и ста шагов, как над головой Манольоса пролетел камень, потом другой, третий, и, наконец, посыпался целый град. Толпа зашевелилась и двинулась на саракинцев; впереди, по-медвежьи тяжело ступая, шел злой, неровно остриженный Панайотарос.

— Что же нам делать? — закричал Лукас, человек-великан. Неужели мы допустим, чтобы они нас прогнали? Берите тоже камни и пойдем на них!

Но вмешался Манольос:

— Остановитесь! Не нужно проливать кровь, братья!

Послышались выкрики:

— Назад! Назад! Никто из вас не войдет в село! Назад!

Манольос вышел вперед, замахал руками, показывая знаками, что он хочет говорить.

— Братья, братья, слушайте меня!

— Проклятый! Вор! Убийца! Большевик!

И все яростно бросились на него. Но Панайотарос протянул свои ручищи и заревел:

— Пусть никто не тронет его! Это моя добыча, я его сожру!

И кинулся на Манольоса.

Но саракинцы уже окружили своего вождя.

— Кто тронет Манольоса, — крикнул Лукас, схватив огромный камень, — тому разобью голову, как арбуз!

А тем временем пономарь, подученный попом Григорисом, бегал вокруг и голосил:

— Он отлученный! Бей его, Панайотарос, да освятит господь твою руку!

Прибежал запыхавшийся учитель.

— Что здесь происходит? — закричал он. — Люди, остановитесь во имя господа бога!

— Они хотят разграбить наше село, занять его, — вопил пономарь.

— Мы хотим собрать урожай с наших виноградников, учитель, — кричали саракинцы. — Они — наши, их подарил нам Михелис!

— Михелис объявлен сумасшедшим, подарок недействителен! — пропищал старик Ладас, прятавшийся за спиной учителя.

— Подарок недействителен! Вон! Вон! Большевики, продажные шкуры, предатели!

Тогда Панайотарос, нагнув голову, как бык, кинулся на Манольоса. Но Лукас поднял обеими руками огромный камень и швырнул его в Панайотароса. Камень ударил Панайотароса по колену, и он упал на землю, Лукас бросился на него, оседлал, начал яростно избивать. Панайотарос, собрав все свои силы, вскочил на ноги и схватил противника за талию. Рыча, они покатились по земле. То один, то другой оказывался наверху.

Пономарь схватил камень, нацелился в Манольоса.

— Проклятый! — взвыл он и метнул камень.

Камень попал Манольосу в бровь. Брызнула кровь и залила его лицо.

— Убивают нашего Манольоса, вперед!

Саракинцы с криком ринулись в драку.

С диким воем саракинцы схватились с ликоврисийцами. Старик Ладас пустился наутек, учитель попытался разнять дерущихся, но его начали безжалостно колотить с обеих сторон. Тем временем какой-то мальчишка побежал в село и радостно объявил там:

— Убили Манольоса, убили проклятого!

Костандис выскочил из своей кофейни, схватил дубину и побежал к дерущимся.

— Где? Где? — кричал он мальчику, когда тот пробегал мимо.

— У колодца святого Василия!

Костандис бросился туда, по дороге встретил Яннакоса, они побежали вместе, не обменявшись ни единым словом.

Около колодца саракинцы и ликврисийцы слились в один рычащий клубок, катающийся по камням. Женщины с Саракины, сильные, с огрубевшими от тяжелой работы руками, тоже приняли участие в битве; охваченные яростью, они дрались не хуже мужчин.

— Манольос, Манольос… — раздались два хриплых, задыхающихся голоса.

Манольос, сидевший на пашне и перевязывавший свою рану, узнал голоса и поднял голову.

— Я здесь, братья, — закричал он, — не бойтесь!

В эту минуту старик Ладас, пристроившись на скале, радостно заверещал:

— Ага едет, ага едет!

Послышалось конское ржанье, и к колодцу стремительно, так что из-под копыт кобылы посыпались искры, подлетел мертвецки пьяный ага с серебряными пистолетами за поясом, с длинным ятаганом, в красной феске. Он на скаку осадил лошадь, она встала на дыбы, но ага, прижавшись к ее шее, не упал. Он вытащил пистолет, выстрелил в воздух и заорал хрипло и грозно:

— Гяуры!

Клубок тут же распался. По одну сторону стали саракинцы, по другую — ликврисийцы, все с избитыми лицами, в пыли, в крови. Посредине лежал израненный учитель. Он попытался встать, чтобы приветствовать агу, но не смог.

— Гяуры! — снова закричал ага, глядя налитыми кровью глазами на саракинцев. — Чего вы хотите в моем селе? Вон отсюда, гяуры!

Манольос вышел вперед.

— Уважаемый ага, — сказал он, — у нас есть виноградники в Ликовриси, мы пришли собрать с них урожай, они принадлежат нам!

— Пропадите вы все пропадом! Откуда и с каких это пор они принадлежат вам? Где вы их нашли, голодранцы?

Со скалистого уступа, хихикая, свесился скряга Ладас.

— Нам их подарил Михелис! — ответил Манольос.

— Его подпись, несчастные, не имеет силы, она недействительна! Он — несовершеннолетний, — сказал ага.

— Не несовершеннолетний, а ненормальный!

— Это одно и то же, скряга, — помалкивай!

Ага вытащил свой пистолет и прицелился в Ладаса.

— Пощади! Пощади! — закричал старик и спрятался за скалой. — Ты прав, любезный ага, ты прав, — он несовершеннолетний!

Ага вложил пистолет в кобуру и разразился хохотом. Потом обернулся к саракинцам.

— Кто из вас Манольос? — закричал он. — Сегодня облачно, я плохо вижу, пусть выйдет!

— Это я, — сказал Манольос и приблизился к лошади аги.

— Ты хороший человек, Манольос, и пусть о тебе говорят что угодно! Подойди ближе, гяур, расскажи мне, что такое большевик? Мне прожужжали все уши за последнее время. Человек ли это, зверь ли, болезнь ли вроде холеры, — не понимаю… Ты понимаешь?

— Понимаю, уважаемый ага, — сказал Манольос.

— Тогда говори, ради твоего бога, говори, чтобы я тоже понял!

— Первые христиане, ага…

— Оставь ты первых христиан, гяур, хоть ты не морочь мне голову, хватит с меня и раки! Нужны мне теперь первые христиане! Я тебя спрашиваю, что значит большевик?

— Я скажу тебе, любезный ага, — запищал сверху старик Ладас. — Они хотят, чтобы не было богатых и бедных, а были только бедные, чтобы не было ни хозяев, ни рабов, а все были бы рабами, чтобы не было твоей и моей жены, а чтобы все жены были общими!

— Чтобы не было больше аги и райи! — зарычал ага. — Чтобы нарушился, значит, порядок божий? На вот тебе! — и, протянув руку, он ткнул ладонью прямо в лицо Манольосу.

— Открой свои глаза и посмотри, — все ли пальцы одинаковы? Тут и маленькие и большие. Такими их сотворил бог. Такими он сотворил и людей — один большой, другой маленький, один ага, другой райя. Такими он сотворил и рыб, — и большие рыбы едят маленьких. Он сотворил ягнят и одновременно — волков, чтобы волки ели ягнят. Таков божий порядок! И вдруг являетесь вы, большевики… Убирайтесь к черту!

Крикнув это, он выхватил ятаган, вонзил шпоры в бока лошади и бросился на саракинцев.

Женщины пронзительно закричали и стали поспешно взбираться на скалы. Испуганные мужчины тоже отступили назад; только Манольос стоял неподвижно.

— Эй, гяур, — закричал ему ага, — убирайся, чтоб я не отрубил тебе головы! Ты что же — не боишься?

— Я боюсь, — ответил Манольос, — но только одного бога, а людей я не боюсь.

— Клянусь моей верой, ты с ума спятил, тебя связать надо! — воскликнул ага и тут же захохотал. — Но ты чудак! Хочешь, я возьму тебя в свой конак, чтоб ты меня забавлял? Наша религия считает, что сумасшедшие и святые — это одно и то же, и не делает разницы между ними, а ты — и святой и сумасшедший. Ты чудак, говорю тебе! Иди ко мне в конак, я буду тебя кормить, поить и одевать, я сделаю тебя человеком… Не хочешь? Ну, тогда пропадай, несчастный! Ступай домой с богом! Мне не хочется убивать тебя.

Он обернулся к ликоврисийцам, которые радостно слушали, как ага их защищает.

— А вы, гяуры, вы и не сумасшедшие и не святые! Поэтому убирайтесь к дьяволу! Все убирайтесь — и честные, и хозяева, и дармоеды! Все убирайтесь вон!

Напуганные, но довольные ликоврисийцы торопливо разошлись по домам. Яннакос и Костандис подняли с земли учителя и, поддерживая, повели его домой, потому что несчастный еле шел и жестоко страдал.

— Так мне и надо, — признался он, — я не овечка и не волк, а какое-то недоразумение. Меня и волки кусают, и овцы марают. Я хорошо знаю, дорогие мои Яннакос и Костандис, что правильно, что неправильно, но у меня не хватает силы поступать как нужно! Я хорошо знаю, где правда, но молчу. Боюсь я! Где уж мне, несчастному, поднимать голову! Боюсь… И вот теперь, пожалуйста, меня колотили обе стороны — и ликоврисийцы и саракинцы. Они правы, они правы! Так мне и надо!

Он повернулся к двум друзьям, которые поддерживали его.

— А вы не боитесь? — спросил он с удивлением.

— И мы боимся, учитель, — ответил Яннакос, — но притворяемся храбрыми… Как мне разъяснить тебе это, если я сам запутался? Ну вот, я прикидываюсь храбрым, а сердце у меня дрожит, но постепенно, — странное дело! — притворяясь храбрым, я действительно делаюсь храбрым! Ты понимаешь, учитель, что я говорю? Сказать тебе по правде, я и сам толком не понимаю!

Несмотря на сильную боль, учитель усмехнулся.

— Я бы отдал всю свою ученость, — сказал он, — чтобы походить на тебя, Яннакос… А ты, Костандис?

— Я хуже Яннакоса, учитель. Я не храбрый и не притворяюсь храбрым. Я боюсь, дрожу от страха, я очень труслив, но мне стыдно. И если я когда-нибудь все брошу и пойду по пути Христа, я сделаю это не из доброты, не из храбрости, а из самолюбия. Я буду дрожать от страха, но не вернусь обратно. Понимаешь, учитель?

— Манольос лучше всех нас, — сказал Яннакос. — Ему не надо притворяться храбрым, он действительно храбрый.

ГЛАВА XVI

На другой день рано утром Михелис спускался с горы, дрожа от негодования. «Я пойду к попу и вырву ему бороду, — твердил он про себя, — я пойду поругаюсь со старостами, позвоню в колокол, созову все село и заставлю их выслушать меня!»

Он то вспыхивал, то успокаивался и никак не мог подыскать нужных резких слов, не знал с чего начать… Всю ночь он не сомкнул глаз, пребывая в какой-то тяжелой дремоте, а перед рассветом ему снова привиделся покойный отец: будто стоял над ним и жалобно смотрел на него, покачивая головой… Его губы зашевелились, и Михелис услышал его голос — тихий, слабый: «За что? За что? За что?» — и ничего больше.

Тогда он вскочил с кровати, взял свою палку и направился к селу. Он шел прямо к попу. Толкнул калитку, вошел, пересек двор, увидел попа, который, наклонившись, сидел у окна и при свете лампы, со слезами на глазах, читал какое-то письмо.

Увидя перед собой нежданного гостя, он поспешно спрятал письмо на груди, но Михелис успел заметить почерк и узнал его. Угас его гнев, промелькнула в воздухе тень смерти, и сердце его сжалось. Тем временем поп пришел в себя, слезы на его глазах высохли, и уже совсем другой человек смотрел на Михелиса.

— Каким ветром принесло тебя, хозяин? — спросил он насмешливо. — Тебе уже надоела и Саракина? Одиночество — страшная вещь, не покидай своего гнезда! Вернись в село, к своему богатству… Ты оформил документы? — спросил он обеспокоенно.

— У меня уже ничего нет, мне теперь легко, я свободен.

— Ты оформил документы? — снова спросил поп еще тревожней.

— Да.

— Ты сумасшедший! Сумасшедший! Сумасшедший! — заорал поп Григорис и яростно стукнул кулаком по подоконнику. — Ты пропал, несчастный, ты теперь раб попа! Хитрого попа Фотиса! Жаль мне твоего богатства!

— Я свободен, — повторил Михелис, и в его груди снова начал закипать гнев. — Это ты раб, отче! Ты не достоин своего сана!

Поп заговорил негромко, и в голосе его слышалось огорчение:

— О твоем благе я заботился и о благе моей дочери… Теперь все пропало!

— Что она пишет?

— Читай, — сказал поп. Вынув письмо, он бросил его Михелису.

Михелис взял письмо. Оно было все залито слезами, он не знал, чьими — старика ли, девушки ли? Медленно, с трудом читал он письмо, и глаза его затуманились.

«…Мне очень плохо, отец, прости меня, очень плохо… С каждым днем я худею, таю. Врачи проходят мимо моей кровати и даже не оборачиваются, чтобы посмотреть на меня; они вычеркнули меня из живых. А я лежу, глядя в потолок, словно в небо; другого неба для меня уже нет. И я бы умерла спокойной, даже счастливой, если бы не мысль о том, что ты, отец, останешься один-одинешенек. И некому будет подать тебе стакан воды… Тебя я жалею и еще моего бывшего жениха. Может быть, ему и не жалко, что меня не станет, но я, когда вспоминаю его, плачу, плачу… За что, за что? Чем я виновата? Я хотела иметь дом и ребенка… А теперь?..»

Михелис не мог читать дальше. Он положил письмо на подоконник и направился к двери.

— Ладно, — сказал он, — я ухожу.

— Чего же ты хотел от меня? Зачем пришел?

— Ничего. Мне от тебя ничего не нужно. Что ты можешь дать мне? Прощай!

— Бог суров, он безжалостно карает людей… Но чем я провинился перед ним?

Михелис, стоявший уже у порога комнаты, в гнева обернулся:

— Поп, он должен был бы покарать тебя, подлого, низкого человека, а не твою дочь!

— Он знает мое самое больное место, туда и ударил, — пробормотал поп, и на глаза его снова навернулись слезы.

Но внезапно его охватила ярость. Он вскочил и одним прыжком очутился на середине двора, догоняя Михелиса.

— Это все вы виноваты, — закричал он, — Манольос, подлый поп с Саракины и ты! Вы виноваты со всеми вашими проделками и вашим предательством! Все было хорошо, благодаренье богу, и к дочери моей вернулось бы здоровье, и ты не убил бы своим поведением своего отца, а через год я обнимал бы уже внука… Но Манольос, иезуит, вскружил тебе голову. А потом пришел этот обманщик, грязный поп — и умер от горя твой отец, ты разбазарил свое имущество, и я швырнул тебе твое обручальное кольцо, а моей девочке, когда она узнала об этом, стало хуже, и теперь она совсем погибла, погибла, конец ей… И она, проклятый, на твоей совести… Раньше у нее, бедняжки, было хоть мужество бороться, но теперь…

Он метался взад и вперед по двору, изрыгал проклятия и стоны, и из глаз его текли слезы. Вдруг его снова охватила ярость, и он закричал:

— Правильно объявил я! Ты и в самом деле сумасшедший, твоя подпись недействительна, я заберу у тебя все и отдам нашей общине! Саракина, будь она проклята, не съест ни одной грозди винограда, ни одной маслины, ни одного пшеничного зерна. Нет и нет! Это тебе так не пройдет! Я погублю тебя, клянусь, погублю так, же, как ты погубил своего отца, как ты погубил мою девочку… Вот увидишь! Не смейся! Я пойду к архиепископу и поговорю с ним. У меня в свидетели пойдет все село, и ага за меня! Это тебе даром не пройдет!

— Все с тобой заодно, — сказал Михелис, сердце которого разрывалось при виде страданий измученного и злого попа. — Все с тобой заодно, только не бог, но как может выдерживать твое сердце, как ты можешь допустить, чтобы столько людей на Саракине умирало голодной смертью? Не боишься бога?

— Если умрет моя Марьори, я сделаюсь зверем, и тогда мне никто не будет страшен! Я сниму рясу, возьму ружье и начну убивать людей! Почему бог убил мою Марьори? Что она ему сделала? Разве когда-нибудь в мире существовало более невинное, более доброе, более спокойное существо? И первым я убью Манольоса! Это он, собака, съел меня! Не повесил его ага, так я его повешу! Он строит из себя святого великомученика и героя, а сам продался Москве, предатель, безбожник, большевик!

В бешенстве он потряс кулаками перед самым носом Михелиса и проревел:

— Убирайся, чтоб я тебя больше не видел! Убирайся, не то я разобью твою голову о стенку!

Он упал на усыпанную галькой землю, губы его дрожали.

В доме никого не было. Михелис нагнулся, напряг все свои силы, поднял старика с земли, втащил его в дом и уложил на диван. Потом пошел в кухню, принес ему стакан воды. Старик схватил стакан, не отрываясь, сделал несколько глотков и открыл глаза.

— Михелис, — прошептал он, — я пропащий человек. Бог обрушивает кару на мою голову, но я не могу изменить решения, не могу… Я не могу простить никого, никого… Уходи, я не хочу тебя видеть!

Вдруг он почувствовал прилив сил, вскочил с кровати, перебежал через двор и открыл калитку.

— Убирайся! Чтоб ноги твоей больше не было в моем доме! — крикнул он и с силой захлопнул калитку за Михелисом.

Михелис бродил по улицам села, и у него было такое чувство, будто он попал вдруг в незнакомое место. Бродил как во сне и словно в первый раз видел эти дома, магазинчики, этот платан. Проходя мимо родительского дома, он остановился и долго смотрел на него, охваченный воспоминаниями… Он хотел было перешагнуть порог и войти, но испугался, что может увидеть покойника — высокого, жирного, обросшего травой, который стоит посреди двора, простирает к нему руки и не разрешает войти…

Михелис вздрогнул и быстро пошел прочь. На мгновение ему показалось, что страшные слова попа: «Ты его убил, ты…» — превратились в жутких, костлявых мертвецов, которые преследуют его.

На краю села он остановился. «Зачем я пришел сюда, — подумал он, — зачем? Ведь во мне клокотал гнев, куда же он делся?» И вдруг перед ним возникла Марьори. Она словно плыла в воздухе, бледная, с широко открытыми глазами, с красным платком у рта…

— Это село полно мертвецов и привидений, — прошептал он. — Уйду отсюда!

Облака заволокли небо, солнце скрылось. Внезапно поднялся ветер, деревья задрожали, полетели уже начавшие желтеть листья, и земля, как тяжело больная, постепенно покрывалась желтыми пятнами.

Прошло несколько крестьян. Сделав вид, что не замечают его, они поспешно скрылись в переулке. Один мальчик обернулся, увидел его, расплакался. Какая-то старуха из-за полуоткрытой калитки посмотрела на Михелиса и тут же захлопнула ее. Потом подошла к своему старику, который бродил по двору и искал солнечного местечка, чтобы погреть свои кости.

— На улице, — сказала она ему тихо, — сын нашего прежнего архонта, Михелис. Жаль смотреть на него… До чего он дошел, помилуй нас, господи! Высох, побледнел, глаза остекленели…

Старик покачал головой.

— Так ему и надо, — сказал он. — Роздал свое имущество, а теперь бродит по переулкам… Босой?

— Нет, носит еще старые свои туфли! Правду говорят, свихнулся, несчастный.

— Конец роду Патриархеасов! — сказал старик хихикая. — Столько людей извели, а теперь сами вот до чего дошли! Нет, что не говори, а бог справедлив! Слушай, жена, что я тебе скажу: послезавтра, когда он начнет стучать в двери, подай ему кусок хлеба, тогда мы сможем сказать, что подавали милостыню Патриархеасам!

Он перекрестился.

— Слава тебе, господи! — прошептал он с удовлетворением.

Послышался далекий гром, воздух стал влажным, запахло дождем. Михелис встряхнулся.

— Пойду поищу Яннакоса, — внезапно решил он и снова вошел в село.

Упали первые тяжелые капли, улочки опустели. Проходя мимо дома вдовы, он остановился. Толкнул дверь: пустынный двор, увядшие красные гвоздики. Он вошел в комнату. Ковры, скамейки, сундуки — все разворовали, ничего не оставили; разобрали кровать, вынули оконные рамы, только одна еще была цела и болталась на петлях, глухо поскрипывая при порывах ветра. И прохожие уже начали заходить сюда и гадить по углам…

— Бедная Катерина… — прошептал Михелис. — Сколько радости ты дала людям, сколько радости ты сама видела и слышала в этой, ныне опустевшей комнате! Тьфу тебе, мир!

Пискнула мышь; она забралась на камышовый потолок и с ожесточением грызла его, как будто бог платил ей за это и указал срок, когда надо кончить. И поэтому она торопилась.

Михелис закрыл за собой дверь и направился к дому Яннакоса.

«Скорее Катерина со всеми ее грехами войдет в рай, чем поп Григорис во всех своих рясах… — подумал он. — Она уже вошла, наверно… Сидит там и разговаривает с Марией Магдалиной…»

У него немного отлегло от сердца, и он постучал в дверь Яннакоса.

Яннакос с утра сидел в конюшне и прощался с осликом. Он дал обещание отдать его саракинцам, но вчера вечером получил записку от старика Ладаса: «Верни мне три золотые лиры, или я заберу твоего ослика. Хорошенько подумай, а то посажу тебя в тюрьму».

Он обнимал лоснящуюся, горячую шею любимого животного, оплакивал его и говорил ему всякие нежные слова:

— Юсуфчик мой, злые люди позавидовали нам и хотят нас разлучить! Кто теперь будет приходить к тебе каждое утро, кто будет разговаривать с тобой, ласкать тебя, наполнять твое ведро чистой водой, ясли — кормом? Кто пойдет в поле за свежей травой, чтобы ты полакомился, мой Юсуфчик!.. Кроме тебя, у меня никого нет на свете. Потому я и не обращал внимания на людей, что бы они ни делали, что бы мне ни говорили. Я слушал их и улыбался. Ведь я знал, что, когда вернусь домой, ты будешь меня ждать, мой Юсуфчик, ты повернешь ко мне голову, посмотришь на меня невинными глазами и помашешь хвостом… И двинемся мы оба в путь, — ты впереди, я сзади, — пойдем по селам, будем продавать и покупать и честно, своим потом зарабатывать на хлеб… А теперь, что с тобой будет в руках скряги, который хочет нас разлучить? Что будет со мной — ведь я останусь один на целом свете! Пропали мы, мой Юсуфчик! Будьте вы прокляты, злые люди и их дела! Будь проклята и ты, несправедливая судьба, которая сделала нас бедными!.. Прощай, мой Юсуфчик!..

Он нагнулся, плача, поцеловал блестящую, теплую шею животного, медленно и нежно погладил рукой белый пушистый живот ослика, его круп, хвост…

А Юсуфчик радовался ласкам своего хозяина, гордо встряхивал головой, поднимал хвост и победно ревел.

Стукнула дверь. Яннакос испуганно вскочил на ноги, но тотчас же успокоился, увидев Михелиса.

— Здравствуй, Михелис, — сказал он с облегчением, но его глаза были красны от слез.

— Что с тобой, Яннакос? Ты плакал?

Яннакос вытер глаза, ему стало стыдно.

— Я, кажется, стал ребенком, — сказал он, — прощался со своим осликом… У меня его забирает скряга Ладас, чтоб он сдох!

И показал Михелису письмо.

— У тебя найдется что-нибудь поесть? — спросил Михелис. — Я проголодался. Я ушел с горы утром, а теперь уже время обедать. Послушай, Яннакос, я сейчас же иду к старику Ладасу, ослик принадлежит Саракине, и скряга не имеет права забирать его!

Яннакос покачал головой. Он знал, что поп уже договорился с агой, написал архиепископу, и они все вместе не позволят Михелису раздать свое имущество, пока не будет решено: законна или незаконна подпись Михелиса. Все село было готово лжесвидетельствовать и показать, что у сына Патриархеаса голова не в порядке.

— Если он заберет его у меня, — вдруг сказал Яннакос, — не будь я Яннакосом, если не подожгу его дом!

Он вошел в дом, приготовил яичницу, принес хлеб, виноград, сыр. Дождь уже кончился. Они сели во дворе перед хлевом и начали есть; рядом с ними ел и довольный ослик.

— Как хорошо нам здесь втроем! — простонал Яннакос. — А старик скряга хочет нас разлучить…

— Сейчас же пойду к нему, — сказал Михелис, вытер губы и встал.

— Да поможет тебе бог, Михелис, сделай все, что можешь.

Старик Ладас и его жена сидели перед низким столиком и ели. Пенелопа, положив рядом с собой на скамейку носок, бросала в рот, как в дыру, маленькие-маленькие кусочки. Жевала она молча, медленно, лениво. Ее муж был в хорошем настроении и не переставая разглагольствовал:

— Все идет отлично, Пенелопа, слава богу! Поп — сущий дьявол в рясе. Он уговорил агу написать архиепископу, и вот увидишь, скоро имущество старика Патриархеаса попадет ко мне в руки. Говорят, оно перейдет к общине! Ха-ха! Не слушай, Пенелопа, я все уладил с попом. Мы пустим имущество с молотка, поп тоже получит свою долю; подлец хотел бы заграбастать все, но разве я допущу? Мы договорились между собой. А через несколько дней мы заполучим и ослика этого проклятого Яннакоса. Он будет твоим, женушка, ты сможешь седлать его и объезжать на нем наши владения. Он спокойный, работящий, хорошо откормлен, при нем и седло. Ты небось видела, оно все из пуха — будешь сидеть на нем царицей! Ни детей, ни собак у нас нет, никаких расходов, — живем как цари! Да проживи я еще сто — двести лет, все Ликовриси целиком бы попало в мои руки! А почему, как ты думаешь? Потому что все здесь дураки и бездельники, что ни год, шьют себе новые платья, обувь, рожают детей, а ведь все это большие расходы, кругленькие суммы… А мы… За твое здоровье, Пенелопа!

Он наполнил холодной водой чашку и поднял ее, удовлетворенно причмокивая языком.

— Гроша не стоит вино по сравнению с божьей водицей, — сказал он.

Не постучав, Михелис открыл дверь и вошел. Старик Ладас увидел его и недовольно опустил голову. «Наверно, будет скандалить, — подумал он, — не нравится мне его рожа. Прикинусь-ка я дурачком!»

— Добро пожаловать, дорогой Михелис, — сказал он, — садись! Ты, наверно, уже поел?

Пенелопа встала, убрала со стола еду, взяла свой носок, села в углу и принялась вязать.

— Господин староста, — сказал Михелис, — что ты будешь делать с твоими полями, виноградниками, оливковыми деревьями и полными сундуками? Возьмешь их с собой в могилу? Одной ногой ты уже там, а тебе еще мало? Теперь, говорят, ты хочешь отобрать и ослика у бедного Яннакоса… Побоялся бы бога, постыдился бы людей!

«Клянусь моей верой, — подумал старик, почесывая голову, — он, кажется, и впрямь рехнулся! Опять бога впутывает в мои дела. Поговорю-ка я с ним поласковее, а то еще разозлится и даст мне по башке…»

— Михелис, — начал он вкрадчивым, жалобным голосом, — как же мне быть? Во всем должен быть порядок. Он должен мне три золотые турецкие лиры, что же мне теперь делать? И я ведь нуждаюсь…

— Я напишу тебе расписку и сам буду должен тебе эти лиры; я поставлю свою подпись.

Старик кашлянул.

— Злые языки говорят, Михелис, ты уж извини меня, что теперь твоя подпись… Не сердись, ради бога! Я этому не верю, но мы, люди, хитрая машина, один винтик разболтается и…

Михелис вскочил, схватил скамейку, на которой сидел, поднял ее и швырнул на пол. «Ведь и вправду они меня с ума сведут, — подумал он, — если будут так поступать со мной». Он подошел к старику, который вытаращил на него покрасневшие глаза.

Старик Ладас сидел в углу, недалеко от двери, и посматривал во двор… «Слава тебе, господи, — мелькнуло у него в голове, — калитка отперта, если он меня слишком прижмет, я выскочу на улицу…»

— Если ты сможешь мне дать деньги… — сказал он плачущим голосом.

— Я пойду домой, вредный старик, и принесу их тебе! — закричал Михелис, приближаясь к старику. — Скряга, святоша, подлец!

— Ага сегодня опечатал сургучом дом твоего отца, — сказал Ладас и тут же прикусил себе язык…

«Я не должен был этого говорить, не должен был… Он сейчас взбесится! Конец! Пропал я!»

Михелис почувствовал, что голова у него начинает трещать, и сжал ее руками.

— Боже мой, — закричал он, — я с ума сойду! Говори яснее, дед Ладас! Меня выгоняют из родительского дома? Тогда я возьму бидон с керосином, разолью по всему селу и подожгу его! Не уходи, скряга, куда побежал! Вернись сейчас же, будь ты проклят!

Он хотел задержать его, но старик одним прыжком оказался уже у калитки. Михелис, однако, догнал его и схватил за горло. Старик упал на колени и завизжал.

— Кто опечатал? Поп? Ага? Ты?

— Не я, не я, дорогой Михелис! Ты спроси и Пенелопу, я сидел у себя дома взаперти… Мне люди сказали; ты спроси и Пенелопу. Говорят, пошел утром ага с попом Григорисом… Говорят, приедет и архиепископ из Большого Села, захватит с собой врачей…

— Врачей? — закричал Михелис, и волосы у него встали дыбом. — Врачей?

— Пусти меня, дорогой Михелис, не сжимай так… Я все тебе расскажу! Ты меня задушишь!

Михелис приподнял его и поставил на ноги.

— Говори все, подлый!

— Пенелопа, дай мне воды… я задыхаюсь!

Но Пенелопа даже не пошевелилась. Она сидела неподвижно, словно мертвая, и, спокойно улыбаясь, все вязала и вязала свой чулок.

— Дай-ка я закрою калитку, чтобы нас не подслушали соседи, — сказал старик.

И, проворно выскочив на улицу, он припустился бежать, крича:

— Помогите, односельчане, помогите! Михелис хочет меня задушить!

Но крестьяне в страхе захлопывали двери. А старик Ладас все бежал и кричал, подняв на ноги все село. Когда он добрался до дома попа Григориса, священник вышел к воротам.

— Помоги мне, отче, Михелис с ума сошел! Он хочет меня задушить! Дай мне прийти в себя, дух перевести!..

Но священник загородил вход и не пустил Ладаса к себе.

— Беги, — сказал он ему, — беги и кричи, поднимай село на ноги! Беги, дед Ладас, ори, чтоб все узнали и поверили! Беги, ради бога, беги!

И, сказав так, поп закрыл ворота.

Старик Ладас, поняв смысл его слов, побежал дальше. Он останавливался на каждом углу и истошно вопил. Подхватив валявшийся на улице обрывок веревки, он всем показывал его.

— Михелис хотел задушить меня вот этой веревкой! Помогите, братья, пустите куда-нибудь, спрячьте меня! Он бежит за мной, и в руках у него бидон с керосином!

Но сам пробегал мимо открывавшихся перед ним дверей, продолжая кричать:

— Он взял бидон с керосином, чтобы поджечь село! Помогите! Помогите!

Старик взбудоражил все село. Несколько человек схватили свои старые ружья и стали наготове у дверей.

На террасе показался ага.

— Пусть пойдут двое сильных мужчин и схватят его! Где Панайотарос?

Подбежал Панайотарос.

— К твоим услугам, ага!

Ага бросил ему веревку.

— На, иди свяжи его и приведи сюда! И слушай меня, Панайотарос, с этого дня ты будешь моим сеизом! Ты сильный, злой и рыжий, у тебя есть все то, что нужно для сеиза. Подойди-ка, я кину тебе феску подохшего сеиза, будешь ее носить! Ступай, доброго тебе начала!

Он действительно снял с гвоздя феску повешенного и бросил ее вниз.

— Вот тебе, носи на здоровье!

Потом ага повернулся к полусонному Ибрагимчику, который курил, выпуская дым через ноздри.

— Да, Ибрагимчик, кажется, они и вправду свели с ума этого несчастного!

— Когда мне приведут женщину? — нагло спросил, вместо ответа, этот жеребенок. — Клянусь Мохаммедом, я тоже скоро с ума сойду!

Панайотарос поймал на лету брошенную ему веревку, потом феску и рысью помчался к дому старика Ладаса.

Но Михелиса там уже не было. Он торопливо убегал самыми тихими переулками. Ему стало стыдно за односельчан, которые захлопывали перед ним двери. Увидав его, женщины визжали.

Выйдя на горную тропинку, он убавил шаг, так как очень устал.

Шел тихий, монотонный дождь; гора была окутана прозрачным туманом; поля тонули в сплошной пелене дождя. Михелис спрятался под скалистым выступом, чтобы переждать непогоду. Во рту у него было горько. Он смотрел на дождь, прислушивался к журчанью воды, струящейся по камням, и мысли его устремились вслед за водой, туда, к полям. Как будто он сам превращался в эти потоки и бушующим водопадом обрушивался на село. Высоко вздымалась грудь Михелиса. Он видел, как из-под земли, окутанной дождем, возникали грязные фигуры воскресших мертвецов и медленно шли с полей на гору, двигаясь прямо на него. Впереди шел высокий, жирный мертвец с раздувшимся зеленовато-синим животом — архонт. Все это походило на второе пришествие, — словно протрубили уже ангелы и из грязи выходили человеческие черви…

В последние дни Михелис читал апокалипсис: в ушах его все время звучали трубы, в мыслях его беспрестанно мелькали ангелы и блудницы над водами и морями из кипящего стекла… Скакали всадники на вороных, зеленых, красных и белых окровавленных конях. Михелис смотрел на дождь, прислушиваясь к шуму воды, в висках у него сильно стучало… Ему вдруг начало казаться, что рушится мир. Темнело, наступал вечер, а дождь все шел и шел — настойчивый, монотонный, терпеливый. Земля становилась мягкой и теплой.

— Боже, только ты существуешь вечно, — пробормотал Михелис, и глаза его наполнились слезами. — Если б тебя не было, где бы мог человек пустить корни, когда все тает, обрывается и рушится? В женщине, которую он любит? В отце, который его породил? В людях? Все рвется и рушится, и только ты, боже, остаешься вечным — так разреши мне опереться на тебя! Храни меня, господи, ибо разум меня покидает!

Поп Фотис и Манольос сидели в пещере и с беспокойством ожидали Михелиса.

— Нам предстоит упорная борьба, отче, чтобы ликоврисийцы удовлетворили наши справедливые требования, — говорил Манольос, — но стоит ли терять попусту столько времени на земные дела?

— Стоит, Манольос, стоит! — ответил поп Фотис, и его глаза засверкали. — Некогда я тоже говорил: зачем мне бороться за земные блага? Что для меня этот мир? Ведь я изгнанник небес и скоро вернусь к себе на родину!.. Затем я понял, что никто не взойдет на небо, если сперва не одержит победы на земле. Но никто не одержит победы на ней, если не будет бороться терпеливо, яростно, не вступая ни в какие сделки с совестью. Только на земле человек может разбежаться, чтобы прыгнуть в небо! Попы Григорисы, Ладасы, аги, богачи — вот те злые силы, с которыми нам суждено бороться. Если мы бросим оружие, мы погибнем и тут, на земле, и там, на небе!

— Михелис хрупкий, изнеженный, он не сможет…

— Сможем мы! Посмотрим, какие новости он принесет нам сегодня! Если плохие, то завтра я отправляюсь к архиепископу и добьюсь у него справедливости. Скоро зима, не дай бог нам встретить ее раздетыми и без крова над головой!

— Если бы можно было отдать свою жизнь, чтобы спасти души, которым грозит опасность… — прошептал Манольос.

— Гораздо легче отдать свою жизнь сразу, нежели отдавать ее по капельке в повседневной борьбе! Если б меня спросили, какой путь ведет на небо, я бы ответил: самый трудный! По нему и пойдем. Смелее, Манольос!

Манольос не отвечал; он чувствовал, что священник прав, но ему хотелось действовать быстро. Он не мог забыть ту божественную радость, которую испытал, когда хотел отдать свою жизнь. Этот огонь не угас в нем и сейчас, хотя и казался далеким, как потерянный рай, в повседневной же борьбе не было ничего захватывающего и сверкающего. А он торопился.

Молча они прислушивались к дождю, который шел не переставая и превращался в бегущие потоки. Время от времени молния разрывала ночную тьму, освещая на миг пещеру, их бледные лица, а иногда шею или руку. Затем все снова погружалось во мрак.

Вдруг они услышали быстрые шаги по камням.

— Михелис! — закричал Манольос и выскочил наружу.

Два друга обнялись в темноте, потом вошли в пещеру.

— Добро пожаловать, дорогой Михелис, — сказал поп Фотис. — Какие новости в Ликovриси?

— Моя подпись не имеет силы, ага опечатал мой дом, придут врачи и осмотрят меня… Марьори умирает. Вот какие новости! Жаловаться вы не можете! Новостей много, слава богу!

Он сел прямо на землю, прислонился к скале и замолчал.

— Жаловаться вы не можете, — повторил он немного погодя и попытался улыбнуться. — Я вернулся не с пустыми руками.

— Мы не жалуемся, — ответил священник, поднявшись. — Ведь это и есть человек: ему тяжко, с ним поступают несправедливо, а он борется и не складывает оружия! Мы не сдадимся, Михелис, завтра я пойду в Большое Село и начну борьбу!

Михелис покачал головой.

— Попробуй, отче, с божьей помощью сделать все, что сможешь, но у меня опускаются руки, я не могу… Там, в селе, я только на минуту вспыхнул, хотел придушить деда Ладаса, облить село керосином и поджечь его, но вскоре почувствовал усталость, устрашился своих мыслей и пустился наутек.

— Мы вступим в сражение, Михелис, — сказал Манольос.

И он схватил в темноте горячую руку друга.

Дождь кончился, и поп Фотис встал.

— Спокойной ночи, — сказал он. — Я пойду лягу и подумаю о завтрашних делах. Мы выйдем рано утром, Манольос.

Сказав это, он исчез в ночной темноте.

— Жизнь тяжела, — вздохнул Михелис. — Окажи мне услугу, Манольос: завтра, когда вы пойдете в Большое Село, зайди к Марьори и передай ей от меня привет. Больше ничего.

Он лег на матрац, закрыл глаза и снова увидел идущего к нему отца…

На другой день, шагая вместе по дороге, поп Фотис и Манольос почти не разговаривали. Небо опять заволокло тучами, но дождя не было. После вчерашнего потопа они с трудом пробирались босиком по грязи.

Кругом — плодородная древняя земля, сады и виноградники, — то ровная долина, то слегка волнистые, радующие взор поля. Иногда солнце прорывалось сквозь облака, и тогда улыбался клочок голубого, нежного, ласкового неба; на скалистой вершине сверкали две древние мраморные колонны.

— Когда-то вся эта земля была нашей.

Поп Фотис остановился, посмотрел на колонны и перекрестился, как будто проходил мимо церкви. Все в нем загорелось, но он сдержался.

Они шли молча, с полупустыми котомками за плечами. Священник был одет в свою поношенную рясу, Манольос — в грубую пастушескую одежду.

Когда они подходили к какому-нибудь селу, начинали лаять собаки, открывались двери домов, выглядывали люди, смотрели на них, изредка слышались приветливые слова вроде: «Добро пожаловать!», «Куда идете?», «Счастливого пути!», но затем двери захлопывались, и два посланца бедности снова продолжали свой путь, неся на плечах тяжесть всех душ Саракины.

В полдень они остановились под золотистым тополем, чтобы перекусить и набраться сил. Они нашли два камня и сели на них. Пахучие дикие растения — полынь, тимьян, мята, ромашка — после дождя издавали сильный аромат. Ненадолго показалось солнце, и через все небо протянулась радуга.

Отец Фотис посмотрел на всю эту красоту, на землю и небо, омытые дождем, и его бледное строгое лицо озарилось улыбкой. Он заговорил:

— Однажды я спросил одного монаха, отца Софрония, который жил уединенно, вдали от монастыря, в ските над пропастью: «Как случилось, отец Софроний, что ты нашел дорогу к спасению?» — «Сам не знаю, сын мой, сам не понимаю… Как-то раз, утром, после ночного дождя я выглянул из окна, вот и все». — «И больше ничего, отец Софроний?» — «Что тебе еще нужно, сын мой? Я увидел бога из своего окна…» С той поры всегда, когда я встаю утром и вижу землю после дождя, я вспоминаю того святого отшельника, — он, наверно, давно отдал душу богу, прогуливается теперь в раю, и, возможно, ради него бог велит изливаться дождю и в раю.

Слова эти внезапно засверкали в воздухе и придали омытой дождем земле какой-то высший смысл. На сердце у Манольоса стало радостно и легко.

— Спасибо тебе, отче, — сказал Манольос, помолчав несколько минут, — я ищу бога только в великие страшные минуты, — ты же показываешь мне его постоянно. Я ищу его в мгновенной смерти, — ты же показываешь мне его в повседневной, неприметной борьбе. Только теперь я понял, зачем мы идем в Большое Село и кого мы там должны найти.

— Каждый всегда находит то, что ищет. Мы — ты хорошо это понял, Манольос, — найдем бога там, куда мы идем. И мы найдем бога не таким, каким его представляют те, которые никогда его не видели, — розовощеким стариком, блаженно восседающим на пушистых облаках и повелевающим людьми. Нет, для нас он будет голосом, который вырывается из нашей души и призывает к борьбе, — вчера против попа Григориса и Ладаса, сегодня против архиепископа, а завтра… посмотрим… Ты торопишься?

Они двинулись дальше. В сумерках добрались до Большого Села. Еще издалека заметили они его купола и мечети; стройные минареты, изящные и могучие, поднимались ввысь. Когда путники входили в ворота крепости, они услышали властный и вместе с тем ласковый голос муэдзина.

Низамы сторожили крепостные ворота. Улицы кишели турками. Беи сидели, скрестив ноги, на соломенных циновках, пухлые мальчики с высокими девичьими голосами били в бубны и пели амане… Жеманные турчанки, закутанные в покрывала, медленно прохаживались по улицам; босоногие продавцы расхваливали жирный, ароматный салеп и жареную кукурузу.

Наши путешественники остановились в христианском заезжем дворе. Внизу было помещение для ослов и мулов, наверху — большая комната с двумя длинными рядами соломенных циновок. Поп Фотис знал хозяина двора Герасимоса — крикливого, умного кефалонийца, бывшего владельца корабля, который «причалил» далеко от моря, женился на старости лет на красивой, здоровенной антолийке, народил детей и открыл заезжий двор. Жена варила, а он воевал с людьми и с животными, дрался, издевался, ругался. Это был толстый лысый человек с огромным животом, который мешал ему, как он сам говорил, своими глазами видеть — мужчина он или женщина…

Заметив попа Фотиса, он выскочил из-за прилавка и побежал приветствовать друга.

— Как гром с ясного неба! — кричал он радостно. — Ты мне как раз и нужен. Я снова страшно согрешил: один купец забыл здесь свой мешочек с золотыми лирами, я ему вернул. С тех пор моя душа не знает покоя; согрешила, значит, несчастная, и не находит себе места!

Но у попа Фотиса не было настроения шутить.

— Мы пробудем два дня, Герасимос, — сказал он, — дай нам поесть и постели два матраца, чтобы можно было поспать... Денег у нас нет, ты запиши все расходы. Когда-нибудь, капитан, я расплачусь с тобой.

— Кто с тебя спрашивает деньги, отче? — ответил старый капитан смеясь. — Нет их у твоей милости, найдутся у богатых хозяев, которые останавливаются в моем заезжем доме, — я с них возьму вдвойне, расходы на тебя покроются с избытком. А если я снова найду чей-либо кошелек, я больше не возвращу его... Добро пожаловать! Сегодня вечером мы поужинаем вместе, вы не постояльцы, а мои гости... Эй, Крусталеня!

Из кухни вышла здоровенная анатолийка с большими подкрашенными глазами. В руках она держала кастрюлю.

— Поцелуй руку священнику, — приказал Герасимос. — Сегодня мы ужинаем вместе. Ты понимаешь, что это значит? Поджарь-ка нам свинины!

Крусталеня подошла, наклонилась, поцеловала руку попу и направилась обратно в кухню.

— Эй, куда же ты уходишь, жена! — закричал ей вслед веселый кефалониец. — Мы не съедим тебя, подойди-ка на минутку, дай посмотреть на тебя!

Он подмигнул попу Фотису.

— Скажи нам лучше, сколько груш помещается в сумке?

— И не стыдно тебе, старый хрыч? — ответила, покраснев, толстуха и, хихикая, скрылась на кухне.

Герасимос разразился хохотом.

— Что за народ эти женщины, отче! — сказал он. — Я не знаю, как написано в священном писании, но точно знаю одно: мужчину создал бог, а женщину — дьявол; И я могу это доказать тебе: я уже всех переспросил «сколько груш в сумке?» — никто не мог ответить. Но моя жена, плутовка, угадала. «Две», — ответила она! Слышишь, вот чертово племя, индюшка!

На другой день утром поп Фотис, босой, в бедной, поношенной рясе, направился к дому архиепископа. Ему открыла толстая крестьянская девушка, посмотрела на его пустые руки и надула губы.

— Так рано не приходят, — сказала она, — владыка еще не проснулся.

Поп Фотис сел ка каменную скамью во дворе и стал ждать.

Постепенно подходили и другие посетители — мужчины и женщины. У каждого в руках было подношение — корзиночка яиц, кролик, курица, головка сыру. Толстая крестьянка забирала все это, улыбалась, уносила в дом и приглашала присесть — на стуле или на скамейке, смотря по подарку.

— Его племянница... — тихо сказал какой-то старичок.

Через час по всему двору из уст в уста прошла весть, что владыка проснулся; один слышал, как скрипнула кровать, другой, как архиепископ кашлял, а третий, как он полоскал горло.

— Он пьет утром по сырому яйцу, чтобы поставить голос... — сказал старичок.

Все почтительно зашевелились и робко посмотрели на окно с закрытыми ставнями. Послышался сильный кашель, сморканье, потом легкое кряхтенье и плеск воды.

— Теперь он умывается... — опять сказал старичок.

В молчании все прислушивались к звукам, доносившимся из дома святейшего отца.

Через четверть часа они услышали скрип стульев и звон чашек, тарелок, ножей, вилок.

— Теперь он пьет кофе…

Через полчаса послышались визгливые голоса и плач.

— Теперь он бьет племянницу…

Через некоторое время заскрипела лестница и стало слышно, как кто-то громко высморкался.

— Теперь он спускается! — сказал громче, чем раньше, старичок и первый вскочил на ноги.

Все встали и не отрываясь глядели на дверь. Послышался громкий бас:

— Ангелика, кто пришел первым, пусть зайдет!

Открылась дверь, появилась толстушка с покрасневшими глазами, сделала знак попу Фотису. Поп Фотис прошел вперед, вошел в дом и закрыл за собой дверь.

Архиепископ стоял перед круглым столом. Был он невысокого роста, крепкий, с короткой седой вьющейся бородой и бородавкой на носу, которая делала его похожим на носорога.

— Слушаю тебя, — сказал он. — Покороче! Мне кажется, что я тебя видел. Ты не из беженцев? Говори.

На секунду рассерженному попу Фотису захотелось уйти — уйти, сильно хлопнув дверью. И этот человек — представитель Христа на земле? И он проповедует людям справедливость и любовь? Разве можно ожидать от него справедливости? Но поп Фотис сдержался. Он вспомнил детей Саракины, надвигающуюся зиму и открыл уже было рот, чтоб заговорить, но архиепископ жестом остановил его.

— В следующий раз, — сказал он, — идя к епископу, надевай туфли.

— У меня их нет, — ответил поп Фотис. — Были, а теперь нет, извини меня. И Христос ходил босиком, уважаемый епископ.

Архиепископ нахмурил брови.

— Мне говорил о тебе поп Григорис, — сказал он, угрожающе покачивая головой. — Он говорил, что ты строишь из себя Христа, обещаешь установить равенство и справедливость на земле… И не стыдно тебе? Хочешь, чтобы не было больше богатых и бедных, и уж конечно, и архиепископов… Бунтовщик!

У попа Фотиса застучало в висках. Он сжал кулаки, но снова вспомнил голодных саракинцев и сдержался.

— Ты закончил богословское училище в Халки?

— Нет, твое преосвященство.

— Тогда как же ты смеешь проповедовать? Я не стану разговаривать с тобой, поп… Ты пришел просить меня о каком-то одолжении, чего же ты хочешь? Побыстрее, ты не один, там многие ждут. И обдумывай каждое свое слово!

— Я пришел просить не об одолжении, я пришел просить то, что мне положено.

— В твоих глазах дьявольским огнем горит гордыня. Опусти их и говори.

Поп Фотис осмотрелся: за спиной архиепископа висела икона с изображением распятого Христа, на этажерке стояли книги с золотым тиснением на переплетах, на стене висела большая картина — гораздо больше, чем икона, — и на этой картине был изображен сам архиепископ в золотом облачении, в тяжелой митре, с длинным посохом в руке.

Поп Фотис молчал. Архиепископ стал нервничать.

— Дорогой отче, или говори, или уходи, у меня нет лишнего времени!

— У меня тоже, твое преосвященство, лучше я уйду! Я хотел защитить свои права, но теперь понял: вот кто меня защитит! — сказал священник и пальцем указал на распятого Христа.

— Кто? — спросил архиепископ и обернулся.

— Распятый Христос.

Архиепископ совсем взбесился, стукнул кулаком по столу.

— Прав поп Григорис, ты — большевик!

— Да, если и он большевик! — ответил священник и снова показал на Христа.

— Ангелика! — крикнул архиепископ.

Вошла толстая племянница.

— Следующий раз, если придет этот поп — посмотри на него хорошенько! — не пускай его!

— Бог нас рассудит, уважаемый архиепископ, когда мы оба, босые, предстанем перед ним, — спокойно сказал поп Фотис, открыл дверь и вышел.

Долго он бродил по улицам, зашел на крытый рынок, побывал во дворе мечети, перешел арочный мост и попал в сад; затем вернулся в село и снова начал бродить по переулкам. Он внимательно смотрел на все, но ничего не видел. В голове у него шумело, какой-то туман стоял перед глазами. Он думал об архиепископе, о детях Саракины и приближающейся зиме.

Вдруг он оказался перед заезжим двором Герасимоса. Он вошел. Манольоса еще не было.

— Улетела пташка! — крикнул ему хозяин. — Он тоже ушел гулять с самого утра.

Поп Фотис, совершенно обессиленный, присел. Он чувствовал себя так, будто возвратился из путешествия на край земли. Он прислонился к стене, закрыл глаза и застонал.

В это время Манольос неподвижно сидел у изголовья постели Марьори и смотрел на нее. Она спала, и Манольос ждал, когда она проснется...

Он смотрел на нее, и сердце его сжималось. Она страшно исхудала. Глаза были обведены огромными синими кругами. Под тонким одеялом едва угадывалось ее истощенное тело. Видно было, что тень смерти уже коснулась ее лица. Казалось, она ненадолго вышла из земли, поиграла, посмеялась, поплакала, обручилась, схватила полный стакан, но, не успев коснуться его губами, снова очутилась во власти земли...

Вдруг Марьори вздохнула, открыла глаза и увидела Манольоса.

— Здравствуй, Манольос, — сказала она. — Это он тебя прислал?

— Он, Марьори, Михелис.

— Он поручил передать мне что-нибудь?

— Да, Марьори. Привет.

— Больше ничего?

— Больше ничего.

Марьори горько улыбнулась.

— А что мне еще нужно теперь? — сказала она. — Привет, этого достаточно.

Она отвернулась, ее душили слезы. Потом взяла себя в руки, вытерла слезы и снова повернулась к нему:

— У меня тоже к тебе поручение, Манольос.

Сунула руку под подушку и достала ножницы.

— Помоги мне приподняться, — сказала она.

Манольос приподнял ее, подложил ей под спину подушку, усадил поудобнее. Марьори сняла косынку с головы, развязала черную шелковую ленточку, которая стягивала толстые каштановые косы. Она попыталась отрезать ножницами косы, но не смогла, — сил не хватило.

— Не могу, — сказала она, — не могу, Манольос! Помоги, пожалуйста.

— Ты их отрежешь? — спросил испуганно Манольос.

— Отрежь их! — ответила она хриплым голосом.

Манольос дотронулся до теплых, еще живых кос девушки, и его рука дрогнула.

— Отрежь их! — повторила Марьори.

Манольос отрезал одну косу, потом вторую, и руки его дрожали, словно резали живое тело.

Марьори взяла косы, посмотрела на них, покачала остриженной головой и вдруг, не сдержавшись, громко зарыдала. Потом наклонилась, вытерла волосами слезы, взяла косынку, медленно и осторожно завернула в нее волосы — как будто пеленала своего любимого умершего ребенка, — завязала уголки косынки и протянула узелок Манольосу.

— Возьми их, — сказала она, — отдай ему и передай привет от Марьори. Больше ничего.

ГЛАВА XVII

— Все хорошо, все хорошо, — говорил самому себе поп Фотис, шлепая босыми ногами по грязи. — Все хорошо, слава богу!

За ним, ссутулившись, шел Манольос, с ужасом думая о том, что в его котомке лежат завязанные в белую косынку две девичьи косы. Как будто за плечами он нес мертвеца!.. Небо грозно нахмурилось, раздался гром, пошел сильный дождь.

— Все хорошо, все хорошо! — снова прошептал поп Фотис и ускорил шаг.

Он молча и торопливо шел под проливным дождем, глядя себе под ноги. Стая журавлей пролетела над его головой, но он не поднял глаз, чтобы взглянуть на них. Он почти бежал. Только к вечеру, когда сквозь завесу дождя уже показалась острая вершина Саракины, он обернулся к Манольосу и сказал ему:

— Будем бороться, Манольос! С одной стороны — архиепископы, попы, старосты, ослепленный народ, с другой стороны — мы, несколько босоногих, и Христос. Не бойся, Манольос, мы победим!

И продолжал идти, шлепая по грязи. Потом вдруг засмеялся.

— Почему, спрашивает, я не надел своих туфель! Готов об заклад побиться, то же самое, наверно, сказал и Кайафа Христу.

И они стали подниматься на Саракину.

Последние два дня Михелиса мучило страшное беспокойство. Он уже не мог спокойно спать в своей постели. Как только он засыпал, к нему являлся отец, страшный, обнаженный, разгневанный. «Мне кажется, если я еще несколько дней побуду один, то сойду с ума», — думал Михелис, дрожа от страха.

Он брал свое большое евангелие, открывал его, читал, чтобы забыть о страшном видении, но слова ускользали от него. Тогда он закрывал книгу и снова ходил взад-вперед по пещере.

Однажды вечером пришел учитель, чтобы составить, как он сказал, ему компанию. Он заговорил с Михелисом об отце, о невесте, о зиме, надвигавшейся на несчастных саракинцев, о том, как трудно будет им пережить холода… Потом учитель свернул беседу на серьезные темы — о жизни, о смерти, о судьбе человеческой… Михелис отвечал через силу, ему хотелось побыть одному, учитель пристально смотрел ему в глаза. И внезапно Михелис понял. Рассердившись, он вскочил на ноги.

— Учитель, — спросил он, — ты пришел проверить, не сумасшедший ли я?

— Михелис, дорогой, что за глупости ты говоришь? — запротестовал учитель, страшно покраснев.

— Ты честный человек, совесть не давала тебе покоя, вот ты и пришел сюда сегодня, чтобы самому убедиться в том, что твой брат-поп преступник и обманщик. Ну, каково же твое мнение, Хаджи-Николис, честный человек?

Учитель молчал.

— Честная, но искалеченная душа, — прошептал Михелис, сочувственно глядя на учителя. — Честная искалеченная душа, не можешь ты найти в себе мужества, чтобы ответить…

— Да, да, — тихо сказал учитель, — не нахожу…

— Если тебя спросят, ты скажешь правду?

— Да… но меня не спросят.

— А если тебя не спросят, ты не станешь по собственной воле говорить правду?

Учитель кашлянул и промолчал.

— Нет, — немного подумав, ответил он, совершенно уничтоженный. И хотя Михелису было жалко учителя, его все же охватило негодование.

Этому ты учишь и детей? — крикнул он. — Да стоишь ли ты того, чтобы тебе доверяли новое поколение?

Учитель встал, он казался очень усталым.

— Разум готов, — сказал он, — но плоть…

— Если бы разум был готов, он не посчитался бы с плотью — что он хочет, то и делает!

Михелис рассердился так потому, что и сам был немного похож на учителя. Он и разговаривал с ним строго, для того, чтобы бичевать и стыдить себя самого.

— Почему плохие люди так сильны в мире? — продолжал Михелис. — Почему хорошие люди так слабы? Ты можешь объяснить мне, учитель?

— Нет, не могу, — ответил учитель.

И через минуту добавил:

— Ты меня пристыдил, Михелис, — сказал он, — и ты совершенно прав. Но мой брат-поп сильнее меня, он всегда был сильнее меня. Еще когда мы были детьми, он постоянно бил меня. Но я и сейчас не могу выступить против него… Если бы его не было, может быть…

Михелис с минуту помолчал в нерешительности.

— Не бывает ли иногда у тебя, Хаджи-Николис, страшного искушения — убить его? — произнес он наконец.

Учитель испуганно вздрогнул.

— Иногда… иногда… — прошептал он, — очень редко и только во сне…

Учитель сказал это и тут же опомнился. Рассердившись на Михелиса, он направился к выходу из пещеры. Еще шел дождь, ночная мгла окутала весь мир.

— Ухожу, — сказал он, — спокойной ночи!

— Уже стемнело, учитель, — насмешливо сказал Михелис. — Никто не увидит, что ты был на Саракине, и никто не скажет твоему брату об этом! До свидания!

У подножья учитель заметил двух человек, поднимавшихся на гору. Он посторонился и укрылся за скалой, чтобы его не увидели, и как только те прошли, спотыкаясь, побрел вниз по тропинке.

— Прав Михелис, — шептал он самому себе, спускаясь. — Прав он, — мой брат преступник и обманщик, а я — искалеченный, хотя и честный человек. Но я наберусь мужества и сегодня же пойду повидать брата!.. Брошу правду ему прямо в лицо, да поможет мне в этом господь бог!

У входа в пещеру поп Фотис и Манольос встретили поджидавшего их Михелиса. Увидав друзей, Михелис почувствовал, что покой водворяется в его сердце, что он уже не одинок. Мир стал добрым, и мертвец растаял в воздухе.

— Здравствуйте! — сказал он. — Как тяжко быть одному!

— Тяжким было и наше путешествие, — ответил поп Фотис. — Но бог нас окрылил.

И он коротко рассказал о своей встрече с архиепископом и о том, как тот отнесся к нему.

— Значит, война? — пробормотал Михелис и снова почувствовал в воздухе присутствие мертвеца.

— Война! — ответил поп Фотис. — Сперва нашими врагами были турецкие начальники. Теперь у нас иные враги — наши начальники. Это еще более злые враги, но с нами босой Христос!

Он обратился к Манольосу:

— Не всегда лицо у Христа такое, Манольос, каким ты вырезал его однажды из дерева: покорный, смиренный, которого бьют по одной щеке, а он подставляет другую. Нет, Христос бывает и грозным, он идет впереди, а за ним — обиженные всей земли. «Не думайте, что я пришел принести мир на землю; не мир пришел я принести, но меч!» Чьи это слова? Христа! Вот какое лицо у Христа мы видим, Манольос!

Глаза священника, как два уголька пылали во мраке пещеры. Он помолчал, потом добавил:

— Радуюсь я, дети мои, что у нас такой вождь. Ягненок — это хорошо, но когда вокруг волки, лев лучше.

Кто-то появился у входа в пещеру, в полумраке они увидели чье-то лицо и чьи-то руки.

— Кто там? — испуганно закричал Михелис.

И они услышали в ночи, сквозь шум дождя, гневный и печальный голос Яннакоса:

— Это я, братья мои! Я покинул погрязшее в грехах село и прошу убежища на вашей горе.

— Добро пожаловать, Яннакос! — закричали они и бросились обнимать его.

— Что с тобой случилось, Яннакос? — спросил его Манольос. Как это ты к нам пришел в такое время, в такой дождь?

Яннакос взял руку попа Фотиса и пылко поцеловал ее.

— Я слышал твои последние слова, отче, и я вместе с тобой! «Ягненок — это хорошо, но когда вокруг волки, лев лучше»!

Он отжал мокрые волосы, поставил на землю свой узел и сел на него. Все молчали.

— Сегодня пришел Панайотарос, наш новый сеиз, и показал мне приказ с печатью аги, — сказал наконец Яннакос. — Он забрал у меня ослика — я ведь был должником этого скряги Ладаса...

Он больше не мог сдержать слез; но затем взял себя в руки и вскочил.

— Как-нибудь ночью я спущусь с горы и подожгу его дом! Да, подожгу, клянусь Христом! — закричал он.

— Мы спустимся все вместе, Яннакос, — сказал священник. — Не торопись. Все вместе!

— А что, наш час уже настал? — пылко спросил Яннакос.

— Скоро настанет! Поэтому я приказываю: с завтрашнего дня все женщины и дети начнут учиться метать из пращи. Мы должны быть готовы!

Он направился к выходу.

— На сегодня хватит, дети мои, — сказал он. — Страшным ядом напоили нас сегодня люди. Хватит! Пора спать, сон заживляет раны... чтобы завтра нам нанесли другие!.. Пойдем со мной, Яннакос, ты будешь сегодня гостем в моей бедной келье. Добро пожаловать!

Яннакос вскинул на плечи свой узел и пошел за священником. Михелис и Манольос остались вдвоем. Михелис взял руку своего друга.

— Говори! — прошептал он.

Манольос вынул из котомки девичью косынку.

— Марьори передала тебе привет.

Михелис схватил страшный подарок. Как только он его ощупал, руки у него задрожали, он все понял. Наклонился над пышными косами, спрятал в них свое лицо, начал плакать и целовать их.

Потом поднял голову.

— Умирает? — спросил он.

Манольос не ответил.

Пока друзья вели на Саракине такие разговоры, учитель стиснув зубы направился к брату — к попу Григорису. Слова Михелиса устыдили и в то же время подбодрили его. Он расхрабрился и впервые в своей жизни решился поспорить с братом.

Когда учитель вошел к попу, тот сидел за столом. Он хорошо поел, — обед был вкусный, вина много, — закурил сигарету и с удовольствием вдыхал ее дым. Ага вчера сообщил попу, что исполнил его желание: прогнал саракинцев и сам, лично, опечатал дом Патриархеаса. Теперь настала очередь попа исполнить желание Ибрагимчика. Поп долго и упорно размышлял об этом, но никак не мог подобрать девушку, которую можно было бы отвести в конак без скандала. И как раз сегодня, покуривая сигарету, он нашел ее, и на душе у него сразу стало легко.

— Так оно и есть! — пробормотал поп, наполняя свой стакан вином; — Бог меня озарил! Девушка она хорошая и такого поведения, что никакого шума не произойдет. Ага будет доволен и станет на нашу сторону. Слава тебе, господи!

Как раз в это время и вошел учитель.

— Здравствуй, Николис, — сказал поп, даже не пошевелившись. — Откуда ты пришел? Ты весь в грязи.

— С Саракины! — собрав все свое мужество, ответил учитель.

Поп подскочил на стуле.

— Что же ты делал в их проклятом осином гнезде?

Разве ты не знаешь, что Саракина и Ликовриси на ножах?

«Держись, учитель! — сказал про себя Хаджи-Николис. — Вот сейчас ты сможешь показать себя! Докажешь, что ты достойный потомок Александра Македонского!»

— Я ходил к Михелису, — сказал он, — я хотел лично убедиться, сумасшедший он или нет.

— А! — закричал поп. — Ты хотел убедиться! Ну и что же?

— Я целый час беседовал с ним о разных вещах. О многом мы говорили...

— Ну? Ну?

— Он совершенно нормален.

Поп вскочил.

— Знай свое место, учитель, — крикнул он, — и не суй нос не в свои дела! Разве я велел тебе идти туда? Зачем же ты пошел?

— Все это так угнетало мою душу... прошептал учитель. — Я подозревал, что это несправедливо...

— Ты еще будешь учить меня, что справедливо и что несправедливо? Михелис — сумасшедший, вот что справедливо!

— Но он не сумасшедший... — осмелился сказать учитель.

— Я тебе говорю — сумасшедший! Ты не видишь дальше своего носа, дальше отдельных людей, а меня не интересуют отдельные люди, — я забочусь об общем благе. Я вождь народа! Ты понял, учитель?

Учитель молчал.

— Если поступают несправедливо по отношению к отдельной личности и от этого выигрывает все общество, то тогда справедливо поступить с ней несправедливо! Но где уж понять это твоему слабому разуму!

Поп остановился перед учителем, который слушал, опустив голову.

— Если тебя спросят, так и отвечай, а если не можешь, то молчи!

— Я буду молчать, — сказал учитель и встал, — но про себя...

Поп саркастически засмеялся:

— Про себя думай что хочешь, меня это абсолютно не беспокоит, про себя ты волен думать что угодно, но вслух — будь осторожен!

Затем голос попа смягчился.

— Мы братья, Николис, — сказал он, — и мы должны быть перед людьми одного мнения — моего… Ты понял?

Учитель хотел было крикнуть: «До каких же пор? У меня тоже есть свой ум и собственное мнение, я не согласен с тобой, не подпишусь я под этим несправедливым делом! Я выйду на площадь и поведаю людям правду!» Но вместо этого он направился к двери, промолвив:

— Спокойной ночи!

— Ну и потеха! — пробормотал поп, осушив стакан с вином. — Собственное мнение, говорит, есть у его милости!

Он сложил салфетку, перекрестился, возблагодарил бога, который посылает людям так много еды и питья, и отправился спать.

— Завтра рано утром, — сказал он громко, — я позову Марфу.

Ранним утром шла Марфа к дому попа, еще больше сгорбившись и бормоча себе под нос: «И на кой черт я понадобилась козлобородому попу с самого утра? Ведь сейчас в конаке проснется этот проклятый байстрюк и начнет орать: мне нужно то, мне нужно это! Сам не знает, чего он хочет, — чисто беременная баба!.. Будь осторожна, Марфа, и что бы ни говорил тебе козлобородый, так и знай, — это чертовы козни, это ловушка, бедная Марфа! Смотри, как бы не попала ты в беду!»

Марфа вошла в комнату. Поп сидел на диванчике, скрестив ноги, и шумно потягивал кофе. Глаза его опухли от сна.

Марфа низко поклонилась, поцеловала попу руку и отошла в сторону, сложив руки на животе.

Поп обдумывал, как бы ему лучше приступить к делу.

— Ну, Марфа, — сказал он наконец, — в один прекрасный день ты попадешь в рай, стройная, как только что отлитая свечка. Столько лет ты работаешь у турок, но никогда не забывала христиан; и если у нас большая необходимость, мы, христиане, зовем тебя. Потому-то и позвал я тебя сегодня, Марфа.

«Ну и чертов поп, — думала про себя горбунья, — вот он готовит ловушку, вот уже положил сыр, открыл дверцу… Будь осторожна, бедная Марфа, как бы не попасть туда!»

— Отче, — сказала она, — твое слово — слово бога. Приказывай мне.

— Ты ведь знаешь, что Ибрагимчику нужна женщина. Он хочет, чтобы женщины поплясали перед ним, и он мог бы выбрать кого-либо из них для себя. Экий сукин сын! Это большой позор, лучше смерть! Не так ли, Марфа?

— Лучше смерть! — подтвердила старуха горбунья.

— Но нельзя же портить отношения и с агой. Община кровно заинтересована, чтобы он был на нашей стороне. Ага заявил мне бесповоротно: «Если не найдете женщину для Ибрагимчика, я начну войну с общиной!» Ты понимаешь, Марфа, тогда мы пропали! Ну, так что же делать? Что лучше — найти одну женщину для Ибрагимчика или погубить всю общину? Что скажет твоя милость, Марфа?

— Пусть пропадет община! — ответила старуха, которая думала, что угадала мнение попа Григориса.

— Боже упаси! Что я от тебя слышу, Марфа? Чтобы пропала община? Чтобы пропали христиане? Помяни меня, господи! Нет, нет, Марфа, подумай-ка хорошенько!

— Я подумала, — сразу ответила Марфа. — Нужно подыскать ему женщину.

— Браво, такой я тебя и люблю, дочь моя! Ты знаешь, какую он хочет? Кругленькую, беленькую, как свежеиспеченный хлеб, и честную…

— Кругленькую, беленькую, как хлеб, и честную… Гм, что тебе ответить, отче? Я такой не знаю…

— Ну-ка, подумай еще немного, дочь моя, ты меня очень обяжешь…

— Что тебе ответить, отче? Всех я мысленно перебрала; одна кругленькая и честная, но не беленькая, другая беленькая и честная, но не кругленькая…

— Ты знаешь, о ком я подумал? О Пелагее, старшей дочери Панайотароса, и я тебе скажу, почему…

— Но она не беленькая, батюшка! Разве ты не знаешь, что ее дразнят черным горшком, кляксой и еще…

— Это не имеет никакого значения, чудачка! Это легко исправить. Я дам тебе коробочку пудры, она начнет пудриться утром и вечером и станет белой, как хлеб…

— Ну, тогда, дорогой отче, все пойдет как по маслу.

— Но как ты думаешь, она захочет?

— Она? Она же как огонь! Она, отче мой, Ибрагимчик женского рода! Но Ибрагимчик мужчина и откровенно говорит о своем желании, а Пелагея девушка и скрывает его… Ой, и что же это будет, когда соединятся эти два зверя! Стены дома обвалятся!

И старая горбунья захихикала и вытерла рукавом мокрый нос.

— Хорошо, хорошо, — строго сказал поп, — брось ты эти игривые мысли… Давай-ка серьезно подумаем сообща, как все сделать получше. Панайотарос теперь стал сеизом аги, значит, никто не удивится, если Пелагея придет в конак, будто бы повидать своего отца. Ты все устроишь, Марфа, тебе хорошо известны такие дела, ты устроишь, чтобы Ибрагимчик увидел ее. Но заранее нужно послать ей пудру…

Поп встал, открыл шкафчик и достал коробочку пудры.

— Вот она, — сказал священник и положил коробочку на ладонь Марфы. — Скажи ей, что для экономии пудру можно смешивать с мукой.

Старуха в раздумье покачала головой. Она поняла наконец, на что ее толкал поп, и струсила.

— Все это хорошо, отче, — сказала она, — но об одном мы позабыли, а ведь это главное…

— Что такое, Марфа?

— А если об этом узнает Панайотарос? Тогда прежде всего он убьет меня, потом Ибрагимчика, а потом и твою милость! А затем подожжет село… Знай это!

Поп почесал затылок.

— Ты права, он и меня может убить… Но все равно, у нас нет другого выхода. Что же делать? А! Придумал! Я попрошу агу, чтобы он приказал Панайотаросу совершить поездку.

— А если она забеременеет?

— Кто?

— Да кто же еще, отче? Пелагея…

— Да что ты все каркаешь, противная старуха! — закричал поп в бешенстве… — Не забеременеет!

— Откуда ты знаешь?

— Бог велик, — ответил поп, который не знал, что сказать.

— Гм! — отозвалась старая горбунья, — ты думаешь, отче, что бог вмешивается в такие грязные дела?

— Хорошо, тогда договорись с Мандаленьей, — у нее есть лекарства…

«Отойди от меня, сатана, — пробормотала про себя старая горбунья, — дьявол или бог тебя к нам послал?»

— О чем ты думаешь, дочь моя?

— Ты — представитель бога, батюшка, о чем мне думать? Поступай так, как бог подскажет.

— Я борюсь за благо христиан, Марфа, — бог это знает! Он благословит, и все будет в порядке… Будь уверена, дочь моя, и твой труд будет вознагражден…

Глаза старухи заблестели. «Эх, козлобородый, — подумала она, — вот с этого и нужно было начинать…»

— Хорошо, — сказала она, — я рискую головой, но сделаю все, что в моих силах. Пусть и твоя святость сделает все. Бедная я женщина!

— Не беспокойся, Марфа, ты не останешься в обиде… Теперь ступай с богом, позже опять поговорим. Я всегда дома!

Старуха наклонилась и поцеловала попу руку.

— С твоего благословения, отче, — сказала она, — я поняла, что тебе нужно, а твоя милость поняла, что нужно мне. Я сегодня же встречусь с Пелагеей. Подлая самка запрыгает от радости!

— Да поможет тебе бог! Иди! И поскорее приноси мне хорошие новости.

Он покровительственно похлопал ее по плечам и горбу.

— Будет и твоя свадьба, тетушка Марфа, — сказал поп, — подыщу я и тебе хорошего парня, но по-честному, чтобы повенчалась! Чтобы ты избавилась от этих турок.

— Сделай, что можешь, отче, — сказала взволнованно старуха и даже остановилась, — сделай, что можешь, и бог тебе заплатит за это!

И старуха пошла к дому аги, вытирая нос, из которого опять потекло.

— Вот проклятая, — пробормотал поп, едва закрылась дверь, — поверила! Женщины — странные создания, помилуй меня, господи!

Священник с беспокойством ждал день, два, а на третий вдруг открылась дверь и вошел Панайотарос в новой красной феске. Увидев его, поп испугался.

— Что случилось, Панайотарос? — сказал он, поднимаясь со стула.

— Ага прислал меня к тебе, отче.

— И что же он просил передать мне?

— Разве я понимаю? Что-то странное. Передай привет, сказал, Ибрагимчик стал ягненком!

ГЛАВА XVIII

Зима нагрянула внезапно. Грозно нахмурился божий лик. Пошли беспрерывные дожди, подул ледяной ветер с гор, пожелтевшие листья слетели с деревьев, земля превратила их в прах и приняла обратно в свои недра. Глубоко в земле семена набухали, наливались соками, готовились пустить ростки, чтобы уцепиться ими за кочки, за камни и пробить весною корку земли. Ящерицы скрылись в своих норах, пчелы спрятались в ульях, летучие мыши повисли в пещерах виноградными гроздьями. Вся природа замерла в ожидании.

Крестьяне с утра топили печки в домах, доставали из амбаров зерно, масло, вино — все, что собрали за лето. Ели и пили. Женщины, при свете ламп, вязали, пряли, лущили пшеницу и рассказывали старинные сказки и непристойные анекдоты, чтобы скоротать время.

Никольос загнал своих овец в кошару и сидел перед ярко горящей печкой, касаясь коленями Леньо, которая напряла много шерсти и теперь вязала чепчик и кофточку для будущего ребенка. Ее живот уже округлился, и Никольос смотрел на него, как смотрят крестьяне во время дождя на хорошо вспаханную, хорошо засеянную землю.

— Назовем его Георгиосом, — говорила Леньо, — Георгиосом, в честь деда, старика Патриархеаса…

— Нет, назовем лучше Харидимосом в честь моего отца, — настаивал Никольос.

— Нет, говорю тебе, назовем его Георгиосом!

— Мужчина должен командовать — назовем его Харидимосом!

Из-за этого они часто ссорились, но потом валились на постель, рядом с печкой, и мирились.

Когда погода прояснялась, поп Григорис садился на своего мула, отправлялся в Большое Село повидаться с Марьори и все чаще возвращался хмурый, потеряв всякую надежду на ее выздоровление. Лицо его стало страшным, сердце окаменело. Однажды, возвращаясь из Большого Села, он встретил Пелагею, которая босиком шлепала по грязи. Ее щеки пылали, словно апрельские розы. Поп Григорис рассердился на бога.

«Почему ты так несправедливо поступил со мной?.. — мысленно воскликнул он. — Где же твоя справедливость? Почему тает как свечка моя Марьори, а у этой потаскухи розовые щеки?»

…Ибрагимчик грелся у печи. Похудевший и успокоенный, покорно зажигал он трубку аги, наполнял все время его чашку раки и молчал… Ага искоса посматривал на него и хитро улыбался.

— Ну, как тебе нравится жизнь здесь, Ибрагимчик? Хочешь снова вернуться в Измир?

— Мне хорошо и в Ликовриси, никуда я не поеду!

— Одолела тебя женщина, бедняга! Разве я не говорил тебе — подальше от женщин? А ты заупрямился: «Хочу женщину! Женщина мне нужна!» Так тебе теперь и надо!

А старик Ладас, которого закалила скупость, с восходом солнца расхаживал босой по своим полям и виноградникам, а впереди него, безразличная ко всему, словно мертвая, ехала его жена на ослике Яннакоса.

— Видишь, Пенелопа, — говорил он ей, — бог справедлив, он хороший хозяин. Как и я, он разбирается в торговле. У нас не пропали те три золотые лиры, потерять которые ты так боялась. Теперь у нас свой ослик, и ты любуешься миром свысока… Да, повторяю, женушка, проживи я еще лет двести, я сделал бы тебя королевой!

Мужчины собирались в кофейне Костандиса, пили липовый чай, курили наргиле, играли в преферанс, а самые молодые — в тавли.В воздухе пахло липовым чаем и табаком. Каждый субботний вечер приходил сюда и учитель. Люди окружали его, он рассказывал им о мужественных поступках их предков и, постепенно увлекаясь, принимал воинственный вид, поднимался на цыпочки, размахивал руками и кричал. Он расставлял все стулья с наргиле с одной стороны, а столы — с другой.

— Вот здесь, справа, — кричал он, — выстроились персы, — а тут, слева — греки… Допустим, что я — Мильтиад. Сколько персов? Один миллион! Сколько нас, греков? Десять тысяч. Начинается бой!

Учитель бросался на стулья, сваливал их, подвергая опасности наргиле. Тогда в бой вступал Костандис и нападал на учителя.

— Разгромили их окончательно! — кричал учитель, весь в поту. — Устроили Марафон, сбросили их в море! Да здравствует Греция!

В начале игры односельчане не только улыбались, но даже смеялись над ним. Однако постепенно их тоже захватывала игра, и они принимали грозный вид. Никто не хотел идти направо, к персам, — все бежали и выстраивались за учителем, — Мильтиадом.

— Живи нам на радость, Мильтиад! — говорили ему односельчане в конце сражения и угощали его липовым чаем.

Однажды Яннакос спустился с горы и направился в село. Шел мокрый снег, улицы были пусты. Он смотрел на трубы, из которых вился дымок, улавливал запахи готовящегося обеда и как бы различал отдельные блюда: вот это жареная картошка, здесь жарят колбасу на раскаленных углях, еще дальше обливают плов горячим маслом… «Хорошо живут, подлецы, — бормотал он, — хорошо набивают свое брюхо, будь они прокляты!» Немного подальше вынимали из печки хлеб, и его запах щекотал ноздри. «Хлеб… — шептал он, — хлеб…» — и судорожно облизывал губы.

Он ускорил шаг, так как ему стало нехорошо. Приблизился к дому старика Ладаса. Обошел дом раз, второй, внимательно осмотрел стены, окна, маленький сад за домом. «Вот здесь, — произнес он, — стена пониже…» Вдруг он остановился, сердце его сильно забилось: до него из садика донесся крик Юсуфчика, рев любимого Юсуфчика… Как будто тот почуял присутствие своего хозяина! Яннакос прислонился к стене, насторожился и с волнением прислушался. Никогда еще его слух не услаждали столь приятные звуки, никогда еще Юсуфчик не ревел с такой силой. Смолоду, вспоминал Яннакос, он сам певал песни под окнами девушки, которую любил, — своей покойной жены, но это было совершенно иное. В реве Юсуфчика слышалась такая тоска, такая жалоба, такое огромное желание вырваться отсюда.

— Не беспокойся, Юсуфчик, — прошептал он, и его глаза наполнились слезами, — не беспокойся, Юсуфчик, я тебя вызволю.

Было уже совсем темно, когда он вернулся на гору. Ему было холодно, хотелось есть. Он обошел пещеры, где женщины прижимали детей к груди, согревая их своим телом. Входя, он ободрял их добрым словом: «Мужайтесь, братья и сестры, стисните зубы покрепче! Даст бог, переживем!» Мужчины ворчали что-то в ответ, а женщины только покачивали головами и вздыхали.

— Надейтесь на бога, женщины!

— До каких пор, дорогой Яннакос?

И тогда он отправлялся дальше, не зная, чем их утешить.

— Что там творится в Ликовриси, дорогой Яннакос?

— Дымят у них печки, едят они, будь они все прокляты! Собрали наш виноград и пьют наше вино, собрали наши маслины и едят наше масло. Но у бога зоркие глаза, он все видит.

— Когда же он обратит свой взор к нам и заметит нас, дорогой Яннакос?

И Яннакос покидал эту пещеру и шел дальше.

Трое мужчин тихо разговаривали в темноте, прижавшись друг к другу, чтобы согреться. В середине сидел Лукас, великан-знаменосец.

— Вы видели детей? — спросил один. — Они начинают пухнуть с голоду. Мой ребенок уже не может стоять на ногах.

— До сих пор, — сказал второй, — мы надеялись на бога, но теперь…

— Святой Георгий, помоги нам! Но и сами мы должны пошевеливаться, — добавил Лукас. — Пора уже положиться на свои собственные руки — спуститься в село и захватить все, что сможем… Кто идет?

— Я, братья, — Яннакос!

— Здравствуй, брат, садись к нам поближе, погрейся.

— Во мне все клокочет, все горит, — ответил им Яннакос. — Мне не холодно, я пришел из Ликовриси.

— Когда же мы сделаем то, о чем говорили? — спросил Лукас.

— Может быть, и сегодня, — ответил Яннакос. — А вы готовы, друзья?

— Готовы! — ответили все в один голос. — Решай! Чем быстрее, тем лучше.

— Ну тогда сегодня: как раз выдалась темная ночка — уже сейчас в двух шагах ничего не видать, идет снег, крестьяне все попрятались в домах; нажрались, наверно, до отвала и теперь будут храпеть вовсю. И ни одна живая душа нас не учует…

— Если готовы, берите бурдюки и мешки. А ты, Лукас, возьми и карманный фонарик.

— Все, что нужно, уже здесь, Яннакос. Только заканчивай свои дела побыстрее.

Яннакос вышел и направился к пещере Манольоса. У входа в пещеру он заметил Михелиса, который, держа что-то на руках, подкладывал в костер хворост.

Яннакос подошел на цыпочках. Михелис последние дни был задумчив, все время о чем-то размышлял, одиноко бродил от пещеры к пещере, молча наблюдая за людьми.

Яннакос нагнулся и увидел, что Михелис держит на руках высохшего, как скелет, ребенка лет трех-четырех и внимательно смотрит на него. Живот малютки распух, ножки превратились в две тростинки, а на подбородке выросло несколько длинных волосков.

— Михелис… — тихо сказал Яннакос, чтобы не испугать своего друга, — не смотри так!

Михелис повернулся, из его глаз текли слезы.

— Погляди, Яннакос, — прошептал он, — у него борода появилась… Три года ему, а у него борода появилась. Это от голода! Я его нашел на дороге.

— Не смотри так, — повторил Яннакос.

— Я его нашел на дороге, — повторил Михелис. — Я не могу больше выносить все это! А ты можешь?

— Пойдем, — сказал Яннакос и взял его за руку.

— Подожди… Разве ты не видишь? Он умирает.

Ребенок попытался закричать, но у него уже не было сил. Он лишь почмокал губами, как рыба, выброшенная на берег, пошевелил ручонками и внезапно замер на руках Михелиса.

— Пойдем, — повторил опять Яннакос, — оставь его здесь, а завтра мы выроем ему маленькую ямку…

— Я не могу больше выдержать, Яннакос… А ты можешь выдержать?

Но Яннакос крепко схватил его за руку и увлек за собой. Манольоса они нашли в углу пещеры. Он сидел, опустив голову.

— Какие новости, Манольос? — спросил Яннакос.

— Плохие, дорогой Яннакос! Товарищи, которые работают в соседних селах, принесли немного хлеба, но разве этого хватит на всех! Мы послали людей в Ликовриси. «Чтоб вы подохли!» — ответил нам дед Ладас. «Пусть сотворит чудо ваш поп Фотис!» — ответил нам поп Григорис. И только Димитрос, мясник, прислал немного мяса, да Костандис ограбил свой бедный амбар. Но этого мало; даже по кусочку не достанется каждому ребенку.

— Где священник?

— Вот он!

Вошел поп Фотис и молча сел на землю. Он только что похоронил скончавшихся с голоду двух братьев-малышей; они умерли, обняв друг друга. Отец принес их в корыте, прикрыв травой, — у него не было полотна, чтобы сшить для них саван. Священник осторожно, чтобы не разъединить умерших, поднял их, положил на землю и прочел над ними молитвы. Тем временем немного поодаль отец выкопал небольшую яму.

Все молчали. Первым заговорил священник.

— Горе тому человеку, — сказал он, — который хочет мерить бога по своей мерке! Он пропащий человек! Он может с ума сойти, может начать проклинать всех, отречься от бога…

Он снова умолк, его устрашили слова, сорвавшиеся с языка, но он не мог больше сдерживаться.

— Что это за бог, который равнодушно смотрит, как умирают дети? — закричал вдруг поп и встал.

— Дорогой отче, — сказал Яннакос, — я сужу не бога, я сужу людей. Я осудил ликоврисийцев. Да, осудил, и сегодня вечером я спущусь в село и силой возьму то, в чем нам отказали.

Священник задумался на минуту: перед ним снова промелькнули два обнявшиеся ребенка.

— С моего благословения, — сказал он. — Я беру на себя этот грех.

— Нет, я беру его на себя, дорогой отче, — запротестовал Яннакос. — Я тебе не позволю.

— Ребята ждут меня, — добавил он, — это наши воины!

— Идите с богом! Скоро спустимся все вместе, открыто!

— Я тоже пойду! — неожиданно сказал Михелис.

— Пойдем, Михелис, развеешь немного свою печаль.

Он взял его за руку, и они пошли вперед, осторожно ступая в темноте. Яннакос чувствовал теперь необычайный душевный подъем.

— С хорошим началом, дорогой Михелис! Давай встряхнемся немного, брат! До сих пор ты говорил: упади пирог, я его съем! Но разве пирог сам упадет? Рехнулся он, что ли? Протяни же свою руку и хватай его! Давай не будем все сваливать на бога. Он хороший, я против него ничего не имею, но у него много забот, разве ему за всем уследить! Нам надо самим приложить руку. «Почему, волк, у тебя такой толстый загривок?» — «Потому что я сам хожу на охоту!» Давайте и мы выйдем сегодня на охоту… Эй, друзья, пошли! — обратился он к своим товарищам, которые в ожидании сидели вокруг небольшого костра в пещере. Все вскочили на ноги.

— С богом! — сказал Яннакос. — Нас благословил священник. Пошли! Не надевайте ваших туфель на толстой подошве и сапог — от них много шума, он выдаст нас.

Все засмеялись: у них и в помине не было такой обуви! Они обмотали ноги тряпками.

— Ты захватил с собой карманный фонарик, Лукас?

— Разве бывает великий пост без марта? Вот он!

Яннакос посмотрел и засмеялся.

— Его нам подарил бедный капитан Фуртунас, — сказал он. — Теперь он увидит из ада свой подарок и посмеется от всего сердца.

Впереди шли Яннакос с Лукасом, за ними два друга-товарища, Михелис замыкал шествие.

— Вы делайте свое дело, ребята, — сказал он, — а меня оставьте одного, я хочу пройтись по селу.

Ночь была очень темная, лил дождь. Струи вились, как шелковые нити; соединяясь внизу, они разбивались о камни. Время от времени из какого-нибудь дупла раздавался звонкий птичий голос: птица скучала и ждала своего возлюбленного. А сверху, с вершины пророка Ильи, вдруг послышался протяжный вой. Четверо мужчин остановились.

— Волк, — сказал Яннакос, — он тоже голоден.

— А быть может, это пророк Илья, — заметил Лукас. — Ведь и он тоже голоден.

— Нам поможет Святой Волк! — сказал Яннакос. — Пошли, друзья, в селе нас ждут ягнята!

Они снова двинулись. Лукас взял за руку Яннакоса.

— А ты наметил, на кого нам напасть? — спросил он.

— Да! На самого богатого, на самого подлого, на самого скупого! На старика Ладаса. Мы наполним наши бурдюки и мешки до отказа! Пусть ест бедная Саракина, пусть ест и больше не воет.

Немного помолчав, он добавил:

— А однажды ночью мы спустимся и стащим керосин.

— Хлеб и керосин! Ты прав, Яннакос, эти две вещи необходимы человеку, чтобы жить и мстить. Потому что недостаточно только жить.

Они уже подходили к селу. Яннакос остановился и обернулся к своим товарищам.

— Я пойду впереди, — сказал он, — я знаю все закоулки; вы же идите за мной гуськом, держась подальше от меня. Я заберусь на стену первый.

Они вошли в один из пустынных переулков. Приближалась полночь, все село спало глубоким сном.

«Только бы не почуял мое присутствие Юсуфчик, не начал бы опять реветь… — подумал Яннакос, когда они подходили к дому Ладаса. — Дай бог, чтобы он спал…»

Он приблизился к стене и подождал своих товарищей; те подходили один за другим.

— Пошли кругом, через садик, — тихо сказал Яннакос, — стена там невысокая. Дай мне фонарик, Лукас… Пошли, только будьте осторожны!

— Собака у него есть? — спросил один.

— Какая собака у такого скряги! Собаку ведь надо кормить, — ответил Яннакос.

Он обернулся к Лукасу.

— Эй, громадина, — сказал он, — ты останешься на улице и будешь служить лестницей! Мы заберемся на твои плечи и спрыгнем в садик. Если появится опасность, крикни, как сова… Ну, готовы, ребята?

— Готовы!

Великан прислонился к стене, схватил Яннакоса и поставил его к себе на плечи.

— Во имя Святого Волка, — сказал он. — Прыгай!

Яннакос сел на стену, затем спрыгнул в сад. Он постоял у стены, ожидая товарищей; те, один за другим, перемахнули через стену с мешками и бурдюками на плечах.

— Идите за мной, я знаю дорогу… Осторожно!

Они пересекли садик; маленькая дверь была открыта, и все вошли в дом. В верхней комнате слышался храп хозяина.

— Спит, — сказал Яннакос, — нам повезло.

Он зажег фонарик, нашел дверь кладовой и толкнул ее. Они вошли. Пахло маслом, вином, сухим инжиром, гниющей айвой. Посветили фонариком — заблестели раздутые бурдюки и винные бочки на подставках.

— Побыстрее наполняйте мешки, ребята, — прошептал Яннакос.

Один повернул кран бочки и наполнил свой бурдюк вином; другой набрал мешок пшеницы. Яннакос налил в свой бурдюк масла, потом взял мешок и набил его зерном. Посмотрел кругом, увидел веревочную лестницу, висевшую на стене.

— Слава тебе, господи, — сказал он, — вот и лестница, а то трудненько было бы все это перебросить! Бог ворует вместе с нами! Ну, ребята, пошли!

Они взвалили бурдюки и мешки на плечи, взяли лестницу, снова пересекли садик, укрепили лестницу на стене и поднялись по ней со своим тяжелым грузом. Лукас принимал мешки, бурдюки и ставил их на землю. Потом все по очереди становились на плечи Лукаса и прыгали на землю. Только Яннакос задержался, усевшись на стене, — ему не хотелось спускаться.

— Братья, — сказал он, — подождите одну минутку, я посмотрю на своего ослика и тотчас же приду.

— Оставь ослика, Яннакос, — сказал Лукас, — пойдем! Кто знает, что может случиться…

— Не могу, — сказал Яннакос, — не могу! Одну минутку, и я вернусь.

Яннакос снова спустился в садик.

Товарищи нахмурились, но не сказали ни слова и стали ждать его затаив дыхание: не дай бог, пройдет кто-нибудь по улице, не дай бог, откроется какая-нибудь дверь!

— Вы вдвоем идите, — сказал Лукас товарищам. — Идите вперед. Лучше нам пробираться врозь. А я его подожду.

Он помог им. Они вскинули мешки на плечи и скрылись в темноте. А Лукас сел на землю прямо под дождем и стал ждать Яннакоса.

И вдруг раздался радостный рев, похожий на звук труб второго пришествия. «Черт побери этого ослика, — пробормотал Лукас, — он поднимет на ноги все село!»

В доме открылось окно, послышался голос старика Ладаса:

— Пенелопа, ты спишь? Эй, Пенелопа, что случилось с осликом? Почему он ревет?

Но никто не ответил. Рев прекратился, снова зашумел дождь. Лукас поднял голову — какая-то тень обозначилась на стене. Великан вскочил, прислонился к стене и схватил Яннакоса за ноги.

— Идем, Лукас, идем! Мне кажется, старик проснулся.

Они вскинули бурдюки на плечи и двинулись в путь.

— Все-таки исполнил свое желание, — сказал Лукас, когда они вышли из села.

— Да, — ответил Яннакос и вздохнул. — Если бы я мог перенести его через стену, клянусь своей верой, я бы его забрал… А где Михелис? — спросил он с беспокойством.

— Он, наверно, уже закончил свою прогулку и вернулся обратно. Пошли быстрее!

Они молча продолжали свой путь.

Поп Фотис и Манольос не спали, ожидая их возвращения. Уже рассветало, небо на востоке посветлело, стало голубоватым; дождь прекратился, но было еще пасмурно. Вдруг они услышали приближающиеся крики и оживленные голоса.

— Идут! — воскликнул Манольос и выбежал из пещеры.

Показались четверо мужчин с тяжелой ношей. Они зажгли фонарик, чтобы освещать им дорогу. Их лица горели от радости. Впереди, взвалив на плечи бурдюк с вином, шел Яннакос.

— Тысяча приветов, — крикнул он, — от старика Ладаса, от доброго щедрого человека. Помощь малая, говорит он, но его любовь к вам велика! Он шлет вам это вино, чтобы вы выпили за его здоровье!

— Вот, пожалуйста, есть оливковое масло, чтобы вы промаслили свои кишки, — добавил Лукас, опуская бурдюк с маслом к ногам священника. — А если вам еще понадобится, говорил Ладас, так полны масла и другие бурдюки.

— Вот, пожалуйста, есть пшеница, чтобы поели несчастные дети, за которых у него болит душа. Это тоже велел передать вам Ладас! — добавили и остальные два товарища, снимая с плеч полные мешки.

— Дай бог ему здоровья, — ответил, улыбаясь, отец Фотис, — и пусть он ему заплатит с процентами! Я тут же сяду и напишу Ладасу письмо, что четыре ангела вошли ночью в его дом, взяли дорогие подарки, возложили их на свои крылья и принесли к нам, на Саракину. И подпишу вексель на подарки. Пусть ему заплатят в загробной жизни.

— И напиши ему, дорогой отче, — добавил Яннакос, хохоча, — что один из ангелов намеревался разбить остальные бочки и продырявить бурдюки, чтоб вылилось вино и оливковое масло, но в последнюю минуту ему стало жалко, — не старика, конечно, он пожалел, а вино и масло!

Отец Фотис повернул голову к Манольосу.

— Дорогой Манольос, — сказал он, — принеси миску, угости ангелов! Войдите в пещеру, отряхните ваши мокрые крылья.

Они вошли в пещеру, перед ними поставили полные миски. Они поели, выпили и пришли в отличное настроение.

— За здоровье деда Ладаса, доброго человека! — сказал священник.

— За здоровье ангелов! — добавил Манольос.

— За здоровье Святого Волка! — сказал Лукас. — Он, когда мы отправились в путь, завывал на вершине Саракины и подбодрял нас.

— А Михелис? — сказал Яннакос. — Мы его потеряли?

— Он вернулся, — ответил Манольос, — весь в грязи, молчаливый... Теперь он спит...

Утром, когда скряга Ладас проснулся и вышел в свой садик, он увидел лестницу, висевшую на стене. Это сразу показалось ему подозрительным. Он крикнул жене, которая уже встала и смотрела из окна на мир своими стеклянными глазами:

— Эй, Пенелопа, кто повесил лестницу на стене? Твоя милость?

Но Пенелопа схватила свой чулок и начала вязать. Она даже головы не повернула на его слова. Старик снял лестницу, отнес ее в кладовую, там все внимательно осмотрел — все было на месте: бурдюки, бочки, инжир, айва.

— Слава тебе, господи, — пробормотал он. — Хорошо, что это не воры! Она ведь ненормальная, бедняжка, и мне нужно быть очень внимательным, а то она может когда-нибудь подожечь дом.

Он вошел в конюшню и увидел ослика.

— А с тобой что случилось? Почему ты ревел ночью и разбудил меня? — спросил Ладас и сердито пнул его ногой.

Но ослик даже не повернулся, чтобы посмотреть на обидчика. Перед его большими глазами стояло странное видение: будто ночью приходил настоящий хозяин; тихо, нежно, как прежде, погладил его по шее, по животу и по спине, а он, ослик, якобы, поднял тогда хвост и заревел от радости. Хозяин же сжал ему морду, чтобы он не ревел, поцеловал его в уши и шею и вылез из сарая через круглое оконце...

И спокойный, благочестивый ослик опустил голову, закрыл глаза и помолился своему богу — богу с огромным пышным хвостом, с ослиной, совершенно белой головой, с золотым седлом, с красными поводьями, украшенными серебряными, блестящими бусинками:

«Бог мой, сделай так, чтобы сон, который ты ночью мне послал, стал явью!»

Утром об удивительном чуде стало известно на всей Саракине: четыре ангела принесли ночью пшеницу, оливковое масло и вино для голодающих! Самые простодушные поверили и крестились, но более смышленые смотрели на Яннакоса и Лукаса и улыбались. Женщины набросились на пшеницу, чистили ее и тихонько пели нежные песни, словно баюкали ребенка, — какого-то древнего, божественного младенца. И если вдруг одно зернышко падало на землю, то к нему тут же протягивалась рука и подбирала его, будто это была драгоценная частица бога, которую страшно уронить на землю и испачкать. Они быстро намололи пшеницы на камнях, замесили тесто, испекли пирог на раскаленных углях, помазали его маслом, чтобы стал вкуснее, и разделили на кусочки, как просвиру.

И действительно, все сразу почувствовали себя так, словно вкусили тела господня, укрепившего их кости, оживившего их плоть, а когда выпили по глотку вина, женщины не смогли сдержать слез.

«Боже мой, — думали они, — кусок хлеба, глоток вина… Как мало нужно, чтобы воспарила душа!»

В полдень двое мужчин взвалили на плечи мешки с пшеницей, чтобы отнести ее на дальнюю мельницу. До подножья горы их сопровождали женщины; они как будто боялись, что пшеница не вернется обратно.

— Когда вы возвратитесь? — спрашивали они мужчин.

— Завтра, рано утром. Не беспокойтесь, женщины! — отвечали те, усмехаясь.

Яннакос теперь стал кладовщиком Саракины: он хранил продукты и раздавал женщинам каждое утро все, что нужно было на день.

— Экономьте, друзья, — говорил он, — затяните пояса до конца зимы. Вы понимаете, что у ангелов есть и другие дела; они не могут носить нам продукты ежедневно…

Голодное тело получило немного хлеба и масла, и снова в нем разгорелось пламя, готовое вот-вот угаснуть. У детей пропала одутловатость на лицах, на щеках заиграл слабый румянец. У женщин снова появилось молоко, и грудные младенцы не плакали теперь по ночам. Мужчины тоже набрались сил, снова окрепли их мускулы, они опять таскали камни, заканчивая начатые постройки. Время от времени можно было услышать смех и шутки, а в отдаленных пещерах уже обнимались и целовались влюбленные парочки.

— Пшеница, оливковое масло и вино должны превратиться в кровь, чтобы мы набрались сил и продолжали наш поход, — сказал однажды отец Фотис Манольосу. — Мы не можем все время голодать и красть. Мы должны спуститься в село и занять, мирно или насильно, те земли, которые нам отдал Михелис. Только тогда мы сможем жить и укореняться на этой сухой горе.

— Скоро, — сказал Манольос, — нужно будет подрезать ветки на виноградных кустах, очистить оливковые деревья, удобрить поля. Неужели мы допустим, чтобы они опустели? Тогда мы потеряем год! Чего ты ждешь, отче?

— Я жду внутреннего зова, дорогой Манольос, жду голоса, который прикажет мне: «Иди!» Никогда в своей жизни я не принимал важного решения, не услышав этого голоса. А это решение, — я говорю об этом только тебе, Манольос, — великое, ведь может пролиться кровь.

— Знаю, дорогой отче. Но разве делается что-нибудь без крови в нашем подлом и несправедливом мире? Я думал: увидят ликоврисийцы, до чего дошли наши дети, увидят их впалые щеки, их распухшие животы, их тоненькие ножки — и пожалеют их. Поэтому я послал нескольких ребятишек в Ликоврити… Ты знаешь, как их приняли? Одни прогнали их палками от своих ворот, другие, словно это не дети, а собаки, бросили им сухие корки… И только один пожалел их — и знаешь, кто, отче? Ага! Он заметил с балкона, как дети рылись внизу, отыскивая объедки, очистки, лимонные корки, чтобы поесть. «Кто это там? — спросил ага. — Обезьянки или людишки?» Он спустился по лестнице в открыл дверь. Потом позвал Марфу: «Усади их за стол, Марфа, и накорми их всем, что у нас есть. Дай им поесть, чтобы обезьянки стали людьми…»

— Я этого не знал… Я этого не знал! — закричал священник, и на его загоревшихся глазах сверкнули слезы.

— Я тебе не рассказал сразу, отче, чтобы не огорчать тебя. В твоем сердце яд, им напоили тебя люди. Выпей теперь еще и этого яду, чтобы он совсем отравил твое сердце.

— Ты, конечно, правильно сделал, сказав мне это, Манольос, ибо сердце мое должно преисполниться горечи! Если в сердце человека нет ни любви, ни ненависти, то он ничего не может сделать в этом мире, так и знай!

Он замолчал, словно вдруг обессилев, сел на камень, склонил голову на грудь и так сидел долго-долго, будто прислушиваясь к чему-то. Манольос сел напротив него и смотрел вдаль, на долину. Дождь перестал, земля была черная-пречерная, досыта напившаяся влаги. Дул легкий ветерок, раскачивались ветки оливковых деревьев, казавшиеся то серебристыми, то темно-зелеными. Мокрые виноградники казались совсем темными. Ястреб слетел с вершины святого Ильи и парил над долиной.

Отец Фотис встал.

— Мое сердце исполнилось горечи, — сказал он, — я иду.

Манольос ничего ему не ответил. Он чувствовал, что все тело старика напряжено до предела. «Лучше бы я ничего ему не рассказывал, — подумал он, — лучше было бы...»

Отец Фотис поднялся на скалы и пошел тропинкой к вершине горы, где сияла белоснежная церковь святого Ильи.

Священник поднимался, расправив плечи, стройный, как сабля или двадцатилетний юноша. Он шел все время вперед, то исчезая за скалами, то снова появляясь. Он снял монашеский капюшон, и его волосы развевались по ветру.

Затем Манольос заметил его уже у входа в церковь. Он казался черной точкой на белой стене и был похож на сокола в небе. Наконец священник исчез в темном провале двери, и Манольос больше его не видел.

Тогда он вернулся в свою пещеру, взял толстую дубовую колоду и неожиданно начал вырезать новый лик Христа.

ГЛАВА XIX

Уже стемнело, но священник еще не возвращался. Поднялся сильный, ледяной ветер, небо нахмурилось. Где-то далеко-далеко, в наступившей темноте, снова послышался волчий вой.

— Пойдем посмотрим, что с ним. Вдруг что-нибудь случилось... — сказал Михелис.

Это были чуть ли не первые слова, которые он вымолвил за много дней. Все больше и больше погружался он в горькие раздумья. Он то вздыхал, то смотрел вверх, на церковь и горы, безмятежно улыбаясь. Он хранил косы Марьори на своей груди и ежеминутно вздрагивал от страха, что потерял их. Ночью, во сне, он кричал, вскакивал на ноги, подолгу не мог уснуть.

— Пойдем посмотрим, что с ним. Вдруг что-нибудь случилось... — снова сказал он Манольосу, который спокойно сидел в пещере.

Была, наверно, полночь.

— Ничего плохого с ним не может случиться, — ответил Манольос. — Я видел его сегодня, дорогой Михелис, он шел по тропинке, гордо подняв голову... Ничего плохого с ним не может случиться. На какое-то мгновение он показался мне бессмертным.

— Но он почему-то задерживается... Что он может там делать? — прошептал Михелис, которого не успокоили слова друга.

— Разговаривают они, у них тайная беседа, они решают, что делать, дорогой Михелис. Святой Илья и он. Никто не должен им мешать. Они принимают решение.

— Но ведь там ему нечего есть! Как он будет спать в такой холод!

— Ничего, он может не есть, не спать; он не чувствует холода. Таким, как он, уверяю тебя, в эти минуты ничего не нужно. То ли он уже мертвый, то ли бессмертный, не знаю. Но ему ничего не нужно.

Подошел к ним Яннакос. Был он хмур, что-то бормотал про себя и ругался.

— Опять ты сердит? Что с тобой, Яннакос? — спросил Манольос. — Как твои дела, кладовщик Саракины?

— «А как твои дети, ворон? С каждым днем все больше и больше чернеют», — ответил Яннакос.

И немного спустя добавил:

— Продукты кончаются, — вот какие у меня новости! Скоро съедим последние крохи… Что будем делать? Снова возьмем своих соколов и ринемся на долину? Теперь очередь за попом Григорисом.

— Очередь за Ликовриси, подожди! — сказал Манольос.

Яннакос вскочил на ноги и радостно захлопал в ладоши.

— Пришло время? — крикнул он. — Это сказал священник?

— Он пока ничего не сказал, но мне кажется, что время пришло… — прошептал Манольос. — Нужно успеть, а я еще не готов.

Оба друга повернулись к Манольосу, стараясь разглядеть в темноте его лицо.

— Тебе чего-то не хватает, Яннакос? — спросил Манольос.

— Конечно, не хватает.

— Чего же?

— Керосина. Я дал богу слово, что сожгу дом деда Ладаса.

— Ты дикарь… — промолвил Михелис.

— Я справедлив, — ответил Яннакос. — Если бы Христос в наше время спустился на землю, на нашу землю, — что бы он нес на плечах? Как ты думаешь? Крест? Нет! Бак с керосином.

Манольос вскочил, прислонился к скале и внимательно слушал.

— А что ты об этом думаешь, Манольос? — спросил Яннакос. — Ты молчишь?

— А ты знаешь почему, дорогой Яннакос? — прошептал Манольос, весь дрожа.

— Я этого не знаю, никто мне этого не говорил.

Немного помолчав, он добавил:

— Через несколько дней наши дети будут снова бродить, опираясь на костыли, по улицам Ликовриси и рыться в мусоре, чтобы найти какие-нибудь объедки, а на них будут смотреть и посмеиваться. Нашим детям снится Христос, именно Христос. Они просят, чтобы он спустился на землю. Но утром, просыпаясь, они все забывают — ведь они дети! — и снова роются в мусоре…

Манольос слушал, тяжело дыша, и молчал, но его сердце сильно билось и все тело вздрагивало. Позавчера ночью ему приснился такой же Христос. Точно такой же! Но ему, Манольосу, было стыдно в этом признаться. Да, ему приснилось, что босой Христос спускался с какой-то сверкающей, лысой горы, вроде Саракины, и нес на плечах не крест, а бак с керосином, и его глаза, суровые, печальные и грозные, были устремлены на Ликовриси.

Он повернул голову к Яннакосу.

— Ты прав, друг, — сказал он. — Не крест, а керосин.

— Я пойду встречу своих соколов. Нельзя терять времени.

Он остановился у входа и засмеялся.

— У попа Григориса, — добавил он, — есть лампа, она работает на керосине. Значит, у него в кладовке есть какой-нибудь бак с керосином, а то и два. Я возьму с собой Лукаса, он заменит лестницу. Спокойной ночи!

Уже совсем рассвело, когда Манольос увидел, что отец Фотис спускается с горы. Он прыгал со скалы на скалу, ряса его развевалась, как большие черные крылья, волосы разметались по плечам. Алое сияние зари охватило священника; казалось, это шествует сам пророк Илья, охваченный пламенем.

Женщины, шедшие с кувшинами по воду, заметили его и испуганно закричали.

— Святой Илья спускается с горы!

Мужчины выскочили из пещеры и во главе с Манольосом отправились навстречу священнику, ибо все вдруг как-то бессознательно поняли, что он несет им какое-то важное известие.

— Что у него в руках, братья? — закричал Яннакос.

Он совсем не спал минувшей ночью, и глаза его покраснели. Он не успел умыться, и его руки пахли керосином.

— И правда, что это у него в руках? — спросил Михелис, пристально всматриваясь в священника.

— Икона! Икона! — крикнул Лукас, который шел впереди. От него тоже пахло керосином.

«Он взял икону святого Ильи и несет ее нам! — подумал Манольос. — Это хороший признак!»

Теперь они ясно видели лицо священника. Оно было строгое, хмурое, как будто он еще их не видел, как будто не слышал их голосов, как будто его мысли еще не расстались с суровым уединением.

— Братья, — сказал Манольос, — давайте посторонимся, дадим ему пройти, ничего не будем у него спрашивать, он еще беседует с богом.

Все посторонились, освободив тропинку.

Священник спускался быстро. Он торопился, камни сыпались из-под его ног, и все теперь отчетливо видели, что он держит в руках чудотворную икону пророка, высоко подняв ее над головой.

— Порохом пахнет, — заметил Яннакос своему ночному сотоварищу, Лукасу, — ты взгляни на его лицо!

— Хорошо, что мы успели вовремя! — сказал Лукас. — Большинство домов — деревянные, двух баков будет достаточно.

Подошли женщины, присоединились к мужчинам, начали судачить о чудесах, о святых, о сновидениях. Вытянув шеи, смотрели они на приближающегося попа. Одной казалось, что у него были черные крылья и он летел; другой, — что у него не крылья, а ряса, но какой-то ворон уселся ему на плечи и, держа в клюве раскаленный уголь, кормит священника. Потом все сразу умолкли, — священник был совсем близко.

— Пойдемте со мной! — не останавливаясь, позвал он мужчин.

— И вы, женщины! — бросил он женщинам и быстро прошел мимо, подняв над головой икону пророка.

Все вздрогнули, как будто над ними пронеслась какая-то хищная птица и коснулась их своими могучими крыльями. Все пошли за священником, суровые и полные решимости — впереди мужчины, за ними женщины. Солнце, разгоняя редкие облака, поднялось высоко и висело в небе, словно огненный шар. Долина внизу еще была окутана туманом. Старухи, оставшиеся на горе, выходили из пещер, прикладывали руки к глазам, чтобы посмотреть на спускавшийся по склону народ.

У пещер отец Фотис остановился, укрепил икону на скале. Весь поселок окружил священника.

Он воздел руки и заговорил. Сначала его голос был хриплым, как будто у него что-то застревало в горле. Слова теснились, будто стремясь вырваться сразу, гурьбой, мешали друг другу, но постепенно голос окреп, слова пошли четкими, стройными рядами.

— Мужчины, — кричал он, — слушайте! Женщины, поднимите детей на руки, пусть они тоже слушают! Я восхожу на огненную колесницу. Куда она меня повезет, туда и поведу я вас! Что она мне доверила, то я и расскажу вам! Жизнь не стоячее болото, богу угодны только мужественные деяния, а не покорность и терпенье! Честный человек не может видеть, как у него на глазах падают и умирают с голоду дети. В поисках ответа он обращается даже к господу богу! И вот я поднялся на вершину, чтобы встретиться с грозным хозяином нашей горы, поговорить с ним, поспорить и найти лекарство от всех болезней. В конце концов наши дети теперь и его дети, и он в ответе за их судьбы!

Священник простер руку к иконе.

— Ты в ответе за них, огненный пророк, и чтобы сказать тебе это, я поднялся в твою обитель! И подобно арендатору, который идет отчитываться за целый год перед хозяином и несет ему огромный груз — дары виноградников и садов, подобно этому арендатору я взвалил на свои плечи боль и плач народа и сложил все это, хозяин, у твоих ног. Всю ночь, дети мои, я стоял перед пророком… И я поведал ему о всех наших бедах. Я рассказал ему, кто мы такие, откуда пришли и как попали на эту гору просить убежища под его кровом. Он знал все это; я ему говорил и раньше, но нужно было, чтобы он выслушал это еще раз. Он слушал, слушал и молчал. Потом я ему говорил о соседях в Ликоврыси, о том, как они к нам отнеслись, как объединились попы, старосты и подвластный им люд, как ограбили и выжили нас, как не разрешают нам обрабатывать земли, которые нам подарил, дай бог ему здоровья, Михелис… Все ему высказал, излил всю свою злость. Он слушал, слушал и молчал. Потом я говорил ему о муках, которые терпит его народ, о голоде и холоде, о болезнях… «Наглость богачей перешла всякие границы. У сытых стала слишком жирная шея, нож вонзился нам в самое сердце. Ты слышишь, грозный, огненный возничий? — кричал я. — Запряги своих пламенеющих коней и спускайся на землю!» Он слушал, слушал и молчал. Я разгорячился, разозлился, смотрел на него и думал: «Неужели не дрогнет его сердце? Как оно может вмещать в себя такую боль, такую несправедливость, такую дерзость? Неужели он не сойдет с иконы? Неужели он не запряжет пламя, не обнимет меня, не посадит рядом с собой, чтобы помчаться в Ликоврыси?»

Я припал к иконе, приник к его уху: «Илья, — крикнул я ему, — эй, капитан Илья! Выслушай еще и это: от голода наши дети уже не могут стоять на ногах, они взяли костыли и пошли, подпрыгивая, как воронята, в Ликоврыси просить милостыню… А знаешь ли ты, увидел ли ты со своей вершины, как их приняли ликоврысийцы?» Я целовал икону и чувствовал губами, что тело пророка начало согреваться и зашевелилось. Я осмелел. «Соизволил ли ты, — крикнул я ему, — еще раз посмотреть со своей огненной колесницы вниз и увидеть, как их приняли ликоврысийцы? Одни схватили палки и гнали их от своих ворот, а другие избивали их до полусмерти!» Но как только я ему это сказал, то в страхе отскочил назад, ибо икона словно толкнула меня ногой, словно ожила четверка огненных коней, словно зашевелились губы пророка, и я услышал трубный глас: «Пойдем!» И икона оказалась у меня в руках.

Народ заволновался, зашумел. Женщины с визгом пали на колени перед чудотворной иконой, а мужчины, увлеченные словами священника, подошли к иконе и смотрели на пророка, в огненном облаке спускающегося с вершины. Теперь они видели ясно — гора эта была Саракиной.

— Когда? Когда же, отче? — послышались со всех сторон яростные голоса. — Почему мы медлим?

— Скорее, — закричал Яннакос, — скорее, дорогой отче, пока у нас есть еще кусок хлеба, пока мы едим и набираемся сил! Продукты кончаются!

Манольос подошел к священнику, взял его руку и поцеловал ее.

— Благослови нас, дорогой отче, — сказал он, — и подай знак. Мы готовы.

Отец Фотис простер руки к своему народу.

— Через три дня, — крикнул он, — через три дня, дети мои, двадцать второе декабря! В этот день рождается свет, рождается пророк Илья! Это знаменательный день! Готовьтесь, в этот день мы спустимся вниз!

Мужчины бросились к иконе, по очереди целовали ее. Дерево и краски ожили, пророк зашевелился, плащ его стал развеваться, словно пламя, раздуваемое ветром. Женщины увидели, как на челе его выступили капли пота, а подошедшие к иконе дети, заметив, что глаза пророка увеличились и приняли грозное выражение, заплакали и со страхом смотрели на икону, не осмеливаясь ее поцеловать.

Отец Фотис в изнеможении лег в пещере, закрыл глаза и ждал, когда к нему придет сон и бог побеседует с ним в сновидениях. А Манольос взял в руки икону огненного пророка и поставил ее в глубине темной пещеры, рядом с иконой Распятия, на которой вокруг креста вились ласточки.

С того часа Саракина загудела, словно военный лагерь. Те, у кого не было дубин, разошлись по горе, чтобы найти какой-нибудь дуб и срезать с него сук; те, что владели пращой, учили женщин и детей пользоваться ею. Отец Фотис роздал оружие самым храбрым и без устали бегал от одного к другому, давая им различные советы.

К вечеру из села пришел Костандис. Он был поражен, услышав такой шум, увидев, что мужчины и женщины учатся пользоваться пращой, срубают сучья и делают дубины, словно готовясь к войне. Он увидел Манольоса, склонившегося над новым ликом Христа. Тот торопился закончить свою работу, как будто это тоже было оружие, которое можно дать людям.

Костандис печально сел рядом с ним.

— Манольос, — сказал он, — если у тебя есть время, подними голову и выслушай меня, — я принес плохие новости.

— Что же, говори, дорогой Костандис. Горы привыкли к снегам, говори!

— Вчера к полудню пришло известие: Марьори умерла.

Манольос отложил в сторону обрубок; в глазах его отразились удивление и страх.

— Умерла? — спросил он с изумлением, как будто в первый раз слышал о смерти.

— Эта весть пришла вчера совсем неожиданно. Ее старик отец завопил так, что все село вздрогнуло, тут же сел на лошадь и, рыдая, уехал. Сегодня утром он вернулся. Когда он приехал в Большое Село, ее уже похоронили; он не успел даже закрыть ей глаза. Старик поп стал неузнаваем; он совсем с ума сошел от горя. Я увидел его и испугался. Мне стало его жалко. Он бродил босой, нечесаный, стучал во все двери и созывал всех в церковь, чтобы выступить там перед людьми. Заставил пономаря бить поклоны, как на похоронах. Мы все оставили свои дела и пошли в церковь. Поп собрал нас во дворе церкви, поднялся на амвон, губы у него дрожали, он не мог говорить. Но глаза у него были красные-красные и метали молнии. Наконец он собрался с силами и закричал страшно, во всю глотку: «Дети мои, я хочу вам сказать два слова, больше не могу, сердце мое разрывается от горя. Саракина нас съест! Саракина нас съест! Поднимайтесь, вооружайтесь, я стану во главе — и вперед, дети мои! Прогоним их! Они сглазили наше село! С того проклятого дня, как на нашу землю ступила их нога, нас преследуют несчастья и смерть! Главный виновник всего этого — Манольос, отлученный от церкви! Он вскружил голову Михелису, свел его с ума! Он стал причиной расторжения помолвки его с Марьори, это ее и убило!» Он пытался говорить еще, но у него закружилась голова, он протянул руки, чтобы опереться о стену, но, ничего не видя, пошатнулся и грохнулся наземь.

Костандис умолк. Манольос прикусил краешек платка, чтобы не закричать. «Умерла Марьори, умерла... умерла...» — твердил он про себя, но никак не мог осмыслить этих слов.

Он повернулся к Костандису.

— Ну? — спросил он, а мысли его были уже где-то далеко.

— Я пришел сказать тебе об этом, дорогой Манольос. Вы должны быть осторожны. Слова попа пробудили в крестьянах ненависть; они собираются напасть на вас. Они искали только повода и теперь его нашли... Богачи вас боятся, потому что вы, мол, большевики. Бедняки вас ненавидят, потому что богачи, пользуясь их темнотой, настроили их против вас... Их много, они вооружены, будьте осторожны!

— Ступай, дорогой Костандис, разыщи Михелиса и сообщи ему эту новость, — я не могу... Только поговори с ним помягче, потому что в последнее время Михелис стал неузнаваем. Он ходит, как слепец, смотрит на тебя, а думает о чем-то постороннем. Ты его спрашиваешь, а он не отвечает... А ночью дрожит, долго не ложится, а когда ляжет, то уснуть не может. Однажды я спросил его: «Чего ты боишься, дорогой Михелис?» Губы его раскрылись, и он ответил: «Мертвеца... мертвеца!» Мужайся, дорогой Костандис! Пойди встреться с ним, а я пока разыщу священника.

— Все кончено, — сказал Михелис и закрыл серебряное евангелие, которое читал. — Ничего я уже не боюсь, милый Костандис. Бог взял нож и разрезал мою жизнь на две части; сначала одну половину оторвал от земли, а затем и вторую. Теперь мне легко!

Костандис встревожился, видя, как спокойно Михелис встретил страшное известие. Он чувствовал, что за этой безмятежностью кроется буря.

— Все уже кончено, — снова повторил бывший архонтский сын и поднялся.

Потом он достал из углубления в скале веревку, крепко перевязал евангелие, как будто это был опасный зверь, который может укусить, посмотрел на Костандиса и покачал головой.

— К кому же нам обратиться, дорогой Костандис: к человеку? Это же зловонная клоака! К богу? Он разрешает деду Ладасу жить, здравствовать и убивает Марьори. К самому себе? Мы, черви, дрожим и греемся на солнце, и в то время, когда червь говорит; «Мне хорошо, я греюсь…» — кто-то наступает на него и растаптывает… Ты что-нибудь понимаешь, дорогой Костандис?

У Костандиса были дети, как он мог это понять! Он встал.

— Я пойду за Яннакосом, — сказал он.

Яннакос находился в пещере, превращенной им в кладовую, и подсчитывал, сколько муки и масла еще осталось (вино кончилось несколько дней назад).

— На два-три дня, — прошептал он, — самое большее на три! На этом все кончится. Потом война, а после нее — посмотрим! Жизнь — это недуг, от которого излечиваются. Вот, пока я живу, пока размышляю о том, что живу, живет и мой Юсуфчик, и меня утешает мысль, что настанет день, когда мы встретимся. Только смерть неизлечима.

— Здравствуй, Яннакос! — послышался за его спиной чей-то голос. — Как твои делишки? В селе давно тебя не видать.

Яннакос обернулся и увидел Костандиса.

— Добро пожаловать, дорогой Костандис, — воскликнул он радостно. — Я заглядываю в село, но разве там меня увидишь! Я хожу только ночью, да и то по самым темным переулкам.

И Яннакос, смеясь, рассказал ему о том, что дважды он, как волк, спускался в село и ограбил два дома.

— Итак, — закончил он рассказ, — краденые продукты у нас уже кончаются, но керосин… вот он, здесь, в углу, — мы его еще не трогали. Он дожидается своего часа…

— Какого часа? — беспокойно спросил Костандис.

— Когда он превратится в огонь, Костандис! Разве не в этом его долг? Иначе, для чего бы сотворил его бог?

Потом, подумав немного, Яннакос стукнул себя по лбу.

— Хорошо, что ты пришел, тебя сам бог послал! Окажи-ка мне услугу! Сегодня у нас воскресенье. Послезавтра, во вторник, не мог бы ты забрать моего ослика у старик Ладаса? Скажи ему, что он тебе нужен, что ты заплатишь, — скряга даст тебе ослика, а ты запрешь его в своем доме. Слышишь? Не дай бог, если сгорит хоть один волосок на ослике, а у тебя он будет в безопасности.

— Значит, ты собираешься поджечь дом деда Ладаса? — крикнул Костандис в страхе.

— Да о чем же мы говорили столько времени? Разве не в этом долг керосина? Бог знает, зачем его сотворил!

— Хорошенько все обдумай, дорогой Яннакос, не попади в беду!

— Я все хорошо обдумал, Костандис! Это дельце как раз по мне, будто по заказу. Я это говорил и нашему пророку Илье, капитану Илье, как его теперь называет священник, — тот тоже согласен.

Костандис почесал голову.

— Не понимаю, — сказал он.

— Ты не понимаешь, потому что у тебя кофейня, жена и дети, потому что ты не голодаешь и кое-как сводишь концы с концами… Да и зачем тебе понимать? Это не выгодно. Поэтому ты и становишься на колени. Но бездомный, дорогой Костандис, на колени не становится — вот и весь секрет… В среду мы придем в село, и пусть бог нам поможет!

— Я с вами, Яннакос, — помолчав немного и тяжело вздохнув, сказал Костандис. — Мы часто толкуем с Андонисом и толстяком Димитросом о том, как бы вам помочь.

— Ступай спроси отца Фотиса, он тебе разъяснит! У меня к тебе только одна просьба; чтобы мой ослик во вторник был в твоем доме, больше ничего… И будь осторожен, несчастный, никому не проговорись.

Прошло воскресенье, настал понедельник. К обеду пошел мелкий снег, запорошил вершину. Церковь пророка Ильи скрылась в густом тумане. Побелели ущелья, и голодные вороны полетели в долину. Багровое небо отливало медью.

Манольос, склонившийся с утра над чурбаном, ушел с головой в свою работу. Он резал, отсекал, отбрасывал лишнее, добиваясь, чтобы появился на свет живший в его душе образ Христа. Неподвижно стояло перед ним божественное лицо. Оно было точно таким, каким приснилось ему позавчера, — суровое, грозное, с глубоким шрамом от правого виска до подбородка, усы обвисли, брови нахмурились, гнев и скорбь затаились в уголках губ.

С самого утра он искал в дереве святой лик — тот самый, который ему снился. Поэтому он резал, разбрасывая по сторонам стружки, торопясь поскорее обрести его… К вечеру лицо Христа засияло в тусклом зимнем свете: видение Манольоса воплотилось в дереве.

В эту минуту вошел Михелис, спокойный, полный решимости. Он посмотрел на вырезанный из дуба лик — и отступил.

— Что я вижу? — воскликнул он. — Это война!

— Нет, это Христос, — ответил Манольос, вытирая вспотевший лоб.

— Но тогда какая же разница между ними?

— Никакой, — ответил Манольос.

Уже стемнело, снежинки падали тихо, бесшумно, покрывая весь мир плотной белой пеленой. Долина внизу исчезла. Небо низко нависло, и с него на землю сыпались хлопья снега.

Манольос зажег карманный фонарик, достал старое изображение Христа, которое когда-то вырезал из бузины, и поставил его рядом с новым.

— Какая разница! — прошептал Михелис и вздохнул. — Разве это один и тот же?

— Один и тот же! Раньше он был спокоен, полон доброты и кротости; теперь он грозен… Ты можешь это понять, дорогой Михелис?

Михелис помолчал, потом ответил:

— Раньше не мог, теперь могу…

И снова замолк.

Во вторник утром, на рассвете, все саракинцы были уже на ногах. На вершине горы, покрытой белоснежной шапкой, отчетливо вырисовывалась церковь пророка. Как только первые лучи солнца коснулись ее, она порозовела, ожила и засверкала.

Отец Фотис собрал свой народ.

— Дети мои, — сказал он, — нынешний день решит нашу судьбу. Мы терпели сколько могли, мы подошли к краю пропасти. Еще немного, и мы упали бы вниз — в первую очередь дети, затем мужчины и женщины. Перед нами выбор: или смерть, или борьба за жизнь. Мы выбрали борьбу! Вы все согласны?

— Согласны, отче!

— Я спрашивал и часового, который нас охраняет — вождя Илью. Он тоже согласен! Я спросил и свое сердце, — оно тоже согласно! То, что мы предпринимаем сегодня, мы предпринимаем не вслепую, но с открытыми глазами, с ясным умом, как свободные люди. Мы идем отстаивать наши справедливые требования — просить не милостыни, а справедливости! У нас в долине свои сады, виноградники, поля, оливковые рощи и дома. Пусть нам их отдадут! Нам не нужно чужой земли, мы хотим обрабатывать наши поля и снимать с них урожай. Мы войско не просто голодных людей, а войско обиженных, которые не желают, чтобы их обижали и впредь. Мы не нападем первыми, но если на нас нападут, мы будем защищаться. Для этого у нас есть руки, их нам дал бог! Что может сделать, как может восторжествовать справедливость в несправедливом и бесчестном мире, если она не будет вооружена? Мы ее вооружили. А с какой целью они вооружают несправедливость? Сегодня мы покажем, что у добродетели тоже есть руки, способные сражаться. Христос не только ягненок, но и лев, — сегодня он пойдет с нами, как лев. Манольос вырезал из дерева его лик — вот он! Этот Христос станет во главе и поведет нас!

Сказав это, отец Фотис высоко поднял суровый лик. В утреннем ветре, над толпой, лик Христа грозно зашевелился. Манольос в последнюю минуту покрасил красной краской шрам, идущий от виска до подбородка, и взволнованные люди увидели в этом Христе со шрамом великого борца, израненного в древних войнах, борца, который снова бросается в бой.

— Он — наш вождь! — крикнул священник. — Поднимите руки, приветствуйте его!

Он обратился к Лукасу, знаменосцу.

— Лукас, — сказал он, — прибей эту святую икону к древку, пусть она идет впереди и показывает нам путь! А теперь — каждый на свое место! Бог послал нам зарю, — пойдемте! Впереди Лукас со знаменем, потом мужчины с оружием, а позади — женщины и дети с пращами!

Войско выстроилось, все перекрестились. Отец Фотис взял в руки икону с изображением пророка Ильи. Манольос пошел впереди, немного сзади шел Яннакос с керосиновым баком под мышкой. Михелис остановился на скале и посмотрел на шествие.

— Я не пойду, дорогой отче, — заявил он попу Фотису, — у меня нет сил.

Он смотрел на уходивших: почти все были босы, одни одеты в лохмотья, другие повязаны овчиной или мешковиной. Лица их были морщинисты, скулы обтянуты кожей, глаза, обведенные черными кругами, глубоко запали. Они были голодны, дрожали от холода и старались идти быстрее, чтобы немного согреться... Они ни к кому не питали ненависти, они хотели только согреться и поесть, чтобы не умереть...

Яннакос на минутку поставил на землю керосиновый бак и потер закоченевшие руки.

— А не споем ли мы, братья? — крикнул он. — Разве так, молча, отправляются на праздник? Давайте споем дорожную песню, амане, религиозный гимн, — что хотите, но нужно спеть, чтобы согреться!

Они распрямили плечи, подняли головы. Отец Фотис, а за ним и весь люд торжественно затянули старинный военный гимн, который некогда пели их предки, отправляясь в поход против варваров:

— «Спаси, господи, люди твоя и благослови достояние твое, победу на сопротивные даруя...»

ГЛАВА XX

В это время село Ликовриси начало просыпаться. Ночью ударил мороз, в горах выпал снег. Крестьяне нежились в своих кроватях, лежа на мягких, теплых перинах. Вчера они резали свиней, палили их, вспарывали им брюхо, вынимали кишки и, вымыв, отдавали их своим женам и дочерям. А те уже должны были позаботиться о заливном, о колбасе, сложить в глиняные миски и горшки сало, солонину и требуху.

Поэтому первыми сегодня проснулись хозяйки. Засучив рукава, они ставили на огонь котлы, толкли в ступках перец и тмин для колбасы, давили померанец и лимон для заливного. А жирные кабаньи туши, опаленные, чисто вымытые, неподвижно висели на крюках в кухне, дожидаясь, когда за ними придут хозяйки.

— Смотри только, Марфа, не принеси ко мне в дом свинины, чтобы я не согрешил и не опоганил себя, — говорил накануне своей служанке ага, слышавший, как визжали закалываемые кабаны. — Тьфу, язычники, вы поганите себя свининой, жарите колбасу и наполняете воздух вонью!

Ага обожал свиную колбасу, не знал более вкусной закуски для раки, и хитрая горбунья каждый год подсовывала ему ее, говоря, что это колбаса из соленой верблюжатины. Ага знал, что´ он ел, облизывая пальцы, но притворялся непонимающим. Поэтому он считал, что соблюдает закон своего пророка. Даже самому себе он не признавался, что это вкусное, столь любимое им мясо было свининой, и неизменно в тот день, когда кололи свиней, призывал к себе старуху горбунью и угрожающе говорил ей:

— Смотри только, Марфа, не принеси ко мне в дом свинины, чтобы я не согрешил и не опоганил себя.

А на самом деле это обозначало: ступай и купи мне колбасы как можно больше, но сделай вид, будто это для тебя, а потом принеси ее мне и говори, что это верблюжье мясо.

— Не беспокойся, дорогой ага, — отвечала горбунья, не смея даже улыбнуться. — Я найду для тебя и в этом году вдоволь верблюжьей колбасы. Не беспокойся, хватит и для Ибрагимчика.

Тем временем голодные саракинцы почти бегом спускались с горы. Яннакос повернул голову и сказал идущим рядом товарищам:

— Удачный день, братья, выбрал священник для похода в село! Кабаны сегодня висят на крюках, — ждут нас, а хозяйки развели огонь и готовят для нас еду. Пусть обрастут жиром кишки и у бедняков! Как вы думаете, скряга Ладас тоже заколол кабана?

Но его товарищи, взволнованные грозным военным гимном, не отвечали. Они уже спустились к подножью горы и вышли в долину. Перед ними раскинулось село. Над запорошенными снегом домами вился дымок. Голодные саракинцы раздували ноздри и жадно вдыхали запах свинины, которую там уже начали варить для заливного. Женщины вспомнили свои разоренные дома, вспомнили, что и они так делали раньше в праздничные дни, и глубоко вздохнули.

Прежде чем подойти к колодцу святого Василия, поп Фотис остановился и сделал знак, что хочет говорить.

— Дети мои, — сказал он громко, — будьте осторожны! Сначала мы захватим дом старика Патриархеаса. Если дверь закрыта, мы ее взломаем — ведь дом наш — и войдем! А потом мы разделим его сады, виноградники и поля и будем владеть ими... Дай бог, чтобы на нас не напали, но если нападут, мы будем защищаться! Это война, мы отстаиваем свои права — бог нас простит! Село проснулось, я уже различаю вдалеке людей — они собираются на площади. Я слышу звон колоколов. Будьте осторожны! Вперед, все вместе!

И действительно, уже гудел колокол, и село поднималось на ноги. Этой ночью Панайотарос не мог уснуть. Он словно что-то предчувствовал и, выйдя рано утром на балкон аги, стал внимательно смотреть на Саракину. Вскоре в утреннем тумане он разглядел спускающихся саракинцев... Тогда он кубарем скатился с лестницы, выскочил на площадь, подбежал к церкви, схватил веревку колокола и начал бешено звонить. В это же время и старуха Мандаленья, которая шла с кувшином к колодцу святого Василия, увидела босых людей, лавиной катившихся с горы. Она побежала в село, визжа:

— Идут, идут, проклятые! К оружию, односельчане! Нежившиеся в постелях крестьяне услышали звон колокола, крики старухи Мандаленьи, вскочили со своих перин, открыли двери и, закутавшись в одеяла, бросились бежать к церкви. Хозяйки перестали возиться с кабаньими тушами, подбежали к окнам и дверям и кричали пробегавшим мимо всклокоченным мужчинам:

— Что случилось? Почему звонит колокол?

Но никто не отвечал; все бежали к церкви.

Поп Григорис, нечесаный, в наспех накинутой рясе, стоял у дверей церкви и вопил как бешеный:

— К оружию, дети мои! Большевики идут! Они спускаются с Саракины, и мы должны стать на защиту нашего села! Бегите домой, берите оружие и собирайтесь все у колодца святого Василия.

Он повернулся к Панайотаросу, который отчаянно звонил в колокол.

— Прекрати, Панайотарос! Беги разбуди агу и скажи ему — пусть седлает лошадь и скачет к колодцу святого Василия! Большевики идут!

Прибежал запыхавшийся учитель. Он забыл дома очки, все время спотыкался и кричал как одержимый:

— Не беритесь за оружие, братья! Я пойду и поговорю с ними по-хорошему! Все мы — братья! Не топите село в крови!

— Не суйся не в свои дела, учитель, — заорал поп в ярости. — Никаких переговоров! Пришло время уничтожить их! Вперед, дети мои! К оружию, братья! Смерть голодранцам!

Разъяренные крестьяне побежали домой, вооружились палками, пистолетами, серпами, многие схватили ножи, которыми вчера кололи кабанов, — и большая толпа, возглавляемая попом Григорисом, устремилась к колодцу святого Василия.

Подбежал и Панайотарос. Он стал рядом с попом, поднял свой пистолет и выстрелил в воздух.

— Вперед, ребята! Уничтожим их!

Ага сквозь сон услышал выстрел, стукнул палкой о пол, появилась Марфа.

— Что это за выстрелы?

— Большевики идут, дорогой ага!

— Какие большевики, горбунья? Говори толком! Откуда? Из России?

— Нет, дорогой ага, с Саракины. Поп просил тебя оседлать лошадь и скакать туда.

Ага громко засмеялся. Ему еще хотелось спать, он повернулся на другой бок, лицом к Ибрагимчику.

— Когда они придут из России, — сказал он, — тогда разбуди меня. А сейчас ступай к дьяволу!

Отец Фотис увидел, как со всех сторон сбегались к колодцу разозленные ликоврисийцы. Он отделился от своих людей и, безоружный, пошел вперед с иконой в руках.

— Братья, — крикнул он. — Я хочу вам кое-что сказать. Остановитесь! Выслушайте меня, Христа ради, чтобы не пролилась кровь!

На минуту-две враждующие стороны замерли в ожидании. Отец Фотис сделал еще несколько шагов.

— Тебе, поп Григорис, твоей святости, отче, — крикнул он, — я хочу кое-что сказать. Подойди поближе!

— Чего тебе надо от меня, козлобородый? — ответил поп Григорис, выскакивая вперед. — Вот я!

Два попа остановились друг против друга, между двумя лагерями: один — высокий, откормленный, лоснящийся, как бык; другой — кожа да кости, со впалыми щеками, с израненными ногами, похожий на голодную загнанную лошадь.

— Отче, — сказал священник Фотис громко, чтобы его слышали все, — большой грех мы совершим, ввергнув в войну своих братьев. Кровь, которая прольется, будет лежать на нашей совести… Я хочу тебе кое-что предложить, отче. Слушайте и вы все, братья! Положите оружие на землю и не деритесь, подождите! Мы, два старика, — поп Григорис и я, — каждый представитель своего народа, поборемся безоружные и дадим клятву: если поп Григорис свалит меня на землю и положит на лопатки, мы мирно, с пустыми руками вернемся на Саракину; если же я одержу победу над попом Григорисом, мы будем владеть землями, которые подарил нашей общине Михелис Патриархеас. Над нами есть бог, и он нас рассудит.

Услышав слова отца Фотиса, ликоврисийцы успокоились. Они видели его высохшее лицо, его тонкие, как у кузнечика, руки и ноги, и злорадно рассмеялись:

— Подуй на него, отец Григорис, подуй на него, и он упадет!

Но саракинцев охватил ужас.

— Нет, нет, отче! — крикнул Лукас. — Пусть выйдет бороться со мной самый сильный из них! И посмотрим, кто победит! Пусть выйдет Панайотарос, который корчит из себя забияку, чванится пистолетами и красной феской! Пусть выйдет этот турок, если не боится!

Сказав это, Лукас передал знамя своему соседу, юноше, и засучил рукава.

— Иду, предатель, иду, большевик, — закричал Панайотарос и бросился вперед. — Иду, и живым ты от меня не уйдешь!

Он выхватил пистолет и прыгнул вперед, но поп Григорис закричал:

— Остановитесь, оставьте нас одних, мы сами все решим! Я принимаю твой храбрый вызов, козлобородый! Клянусь богом, что, если я тебя свалю, ты уйдешь по добру! Если же ты меня свалишь — забирайте беспризорные земли, которые вам подарил никудышный хозяин Михелис. Я призываю бога, — пусть он станет над нами и рассудит нас!

— Во имя бога, — сказал отец Фотис и перекрестился.

Он обернулся к своим, подозвал одного старика и передал ему икону.

Потом он снял свою старую рясу, аккуратно сложил ее и положил на камень. Все увидели его черную рваную рубашку, штаны в заплатах, его ноги — тонкие, израненные, похожие на две сучковатые палки.

Поп Григорис стоял, расставив свои крепкие ноги, сложив сильные руки на груди, и ждал, пока противник приготовится. Его хмурое лицо выражало презрение и гнев. Он нетерпеливо, словно конь, бил ногой о землю. Но как только увидел перед собой высохшего, как скелет, попа Фотиса, обутого в лапти, с черными, глубоко запавшими глазами, он вздрогнул, словно перед ним появился призрак смерти.

— Перекрестись, отче, — спокойно сказал поп Фотис, — я готов.

Поп Григорис машинально перекрестился и не сдвинулся с места, упершись ногами в землю.

— Ну, давай, кузнечик, — сказал он с иронией. — Бей!

— Неужели ты, отче, не можешь раскрыть рта, чтобы не ругаться? И этим языком ты прославляешь бога? И этими руками ты поднимаешь святые дары?

— Этими руками я переламываю кости козлобородым! — заорал поп Григорис и, нагнув голову, как бык, ринулся на своего врага.

Он в бешенстве замахнулся кулаком, чтобы ударить, но отец Фотис отступил, и кулак пролетел мимо. Еще немного, и поп Григорис сам грохнулся бы на землю. Еще больше разъярившись, он снова бросился на попа Фотиса, схватил его за бороду и вырвал клок волос. Но отец Фотис, сжав свой сухой стальной кулак, ударил им в толстое брюхо попа Григориса. Раздался глухой звук, и могучий поп покатился по земле. Глаза у него помутнели, он побледнел, но тут же собрался с силами, вскочил, обхватил Фотиса за поясницу и, прижавшись к нему лицом, стал кусать его в шею, стараясь перегрызть ему горло. Они боролись молча, только время от времени поп Григорис рычал, как зверь, пожирающий свою добычу.

Саракинцы стояли затаив дыхание.

— Пропал наш отец, — прошептал Яннакос. — Он задушит его, этот бык!

— Не бойся, Яннакос, разве ты не видишь бога над его головой?

Не успел Манольос произнести эти слова, как отец Фотис ухватился одной рукой за раздвоенную бороду попа Григориса, а другой — с силой ударил его в челюсть. Поп Григорис застонал и, наклонившись, выплюнул зубы с кровью. Но прежде чем он успел опомниться от боли, поп Фотис обхватил его руками, качнул вправо-влево и вдруг, с размаху обрушившись на него всем телом, повалил на землю.

Поп Фотис приподнялся было, чтоб наступить коленом на грудь поверженного противника, но не успел. К нему кинулся Панайотарос и начал бешено его избивать. Но тут же на сеиза набросился Лукас, за ним — Манольос с Яннакосом... И оба лагеря смешались. Засвистели камни, послышались удары палок, звон ножей, пистолетные выстрелы. Вначале люди кричали, ругались, но потом стали слышны только стоны и вой, как будто в смертельной схватке сошлись дикие звери.

Костандис с Андонисом и толстяк Димитрос подбежали с палками и стали рядом с саракинцами.

— Костандис, — крикнул ему Яннакос, вылезая из кучи сцепившихся тел. — Ты выполнил мое поручение?

Костандис посмотрел на него с удивлением, так как забыл об его просьбе.

— Какое поручение?

— Мой ослик...

— Не беспокойся, Яннакос. Он у меня дома.

— Ну, тогда я пошел! — крикнул Яннакос, взвалив на плечо бак с керосином.

— Вперед, братья! — крикнул Лукас, колотя своей тяжелой дубиной по головам направо и налево. — Вперед, победа будет за нами!

И действительно, ликоврисийцы, предчувствуя свое поражение, начали понемногу отступать. Многие из них убегали в село и поспешно запирались в своих домах… Тем временем саракинцы подняли отца Фотиса, положили его около колодца и стали омывать ему раны. Голова у него была разбита, из нее струей лилась кровь.

— Мужайтесь, братья! — закричал Манольос, бросаясь на ликоврисийцев.

Он вырвал из рук Панайотароса пистолет, стал стрелять в воздух и погнал испуганную толпу в село.

В эту минуту послышался голос учителя:

— Остановитесь, братья, не убивайте друг друга! Мы можем прийти к соглашению. Все мы греки и христиане!

Но на него напали и друзья и враги, повалили его на землю и начали топтать ногами. Кто-то бросил в него большой камень, и учитель, потеряв сознание, скатился в какую-то яму.

Ликоврисийцы уже отступили в село. Лукас схватил второй бак с керосином, который охраняли женщины, метнулся к ближайшим домам и начал обливать стены.

— Вперед, женщины, за мной! Зажигайте огонь! — кричал он, бросаясь вперед.

Скоро пламя начало лизать стены домов, и люди, запертые внутри, истошно завопили.

Поп Григорис лежал без сознания. Его подняли, унесли в дом к старухе Мандаленье, жившей неподалеку, уложили во дворе. Старуха принесла свои снадобья, нагнулась над попом, промыла ему раны и смазала их бальзамом. Избитый поп стонал.

Тем временем Манольос шел вперед, а за ним — все саракинцы. Они подошли к дому старика Патриархеаса, взломали дверь и вошли.

— Здесь, ребята, мы укрепимся! — крикнул Манольос. — Пусть двое побегут за нашим священником, а остальные войдут в дом. Теперь мы здесь хозяева. В добрый час!

Два человека побежали за попом Фотисом. Хозяйки с ведрами бросились тушить занявшееся пламя. Улицы опустели…

Вдруг послышались испуганные голоса:

— Горит дом старика Ладаса!

— Распороты его бурдюки, и выливается масло! Бочки разбиты, и льется вино!

— Дед Ладас с женой выбежали на улицу и плачут!

Панайотарос потерял свою красную феску. Манольос овладел одним из его пистолетов, — и новый сеиз, прихрамывая, бегал взад-вперед, стрелял из второго пистолета и вызывал на бой Манольоса. А тот тем временем склонился над отцом Фотисом, которого принесли и уложили на мягкой кровати старика Патриархеаса. Женщины перевязывали ему раны; он открыл глаза и смотрел на своих друзей и улыбался.

— Они нарушили свою клятву, — говорил он. — Бог их накажет! Я одолел попа Григориса, я доволен.

— Тебе больно, отче? — спросил его Манольос.

— Конечно, больно, Манольос, но, повторяю, я очень доволен. Бог известил нас о своем решении, мы победили!

На дворе послышались радостные голоса. Лукас с двумя товарищами пробрался в горящие дома, и, пока женщины носили воду и тушили пожар, трое саракинцев успели стащить трех заколотых кабанов, висевших на крюках. С радостными криками принесли они их к дому Патриархеаса.

— Разведите костры, женщины! — кричали они. — Дров у нас достаточно. Откройте кладовую, возьмите муку, пеките хлеб, жарьте мясо, потому что все проголодались.

— Сейчас пост, и нельзя есть даже оливковое масло! — запротестовала какая-то старуха. — Бога вы не боитесь!

— Давайте спросим у священника, — предложил Лукас.

— Я беру этот грех на себя, ешьте, — ответил отец Фотис.

Подошел Яннакос, весь в саже и в масле.

— Я отомстил, братья! — крикнул он. — Моя душа удовлетворена! Этот скряга погубил многих вдов и сирот, а теперь я погубил его!

Раздался стук в дверь, и послышался голос Костандиса:

— Откройте, откройте, братья! Учитель убит!

Женщины побежали открыть дверь. В дом вошли Костандис, Димитрос и Андонис. Они несли на руках убитого. Из разбитой головы учителя вытекал мозг. Остекленевшие глаза были открыты, нижняя челюсть совершенно изуродована.

— Мы нашли его в канаве, — сказал Костандис. — Оба села прошли по нему.

Все наклонились над учителем и по очереди целовали его.

— Он стал между нами и хотел нас помирить, а мы его убили... — сказал Манольос, вытирая глаза.

Лежа на своей мягкой постели, ага прислушивался к выстрелам, курил трубку и ласкал Ибрагимчика. Но турчонок почуял запах пороха, кровь у него взыграла, он брыкался, хотел выбежать на улицу и тоже стрелять. Но ага крепко держал его за ногу и не разрешал уйти.

— Успокойся, Ибрагимчик! Пусть греки дерутся между собой и убивают друг друга. Нет погибели на эту расу, будь она проклята! Сколько лет, из поколения в поколение, мы пытаемся ее уничтожить! И чего мы добились? Ничего! Одного уничтожишь, а десять вырастают на его месте. Если они сами не перебьют друг друга, — слушай, что я тебе говорю! — они не исчезнут. Вот поэтому я их и не трогаю — пусть убивают друг друга. А когда они окончательно повыкалывают друг другу глаза, тогда я сяду на свою лошадь и поеду наводить порядок. Ты понял? Я это говорю, чтоб ты знал, как надо обращаться с греками. Может быть, и ты удостоишься когда-нибудь быть агой в греческом селе.

— Разреши мне убить нескольких греков! — кричал разгоряченный турчонок. — У меня руки чешутся.

— Говорю тебе, не трать сил, они сами убивают друг друга, а если мы вмешаемся и уничтожим кое-кого из них, то у наших властей будет много неприятностей. Снова приплывут корабли из Европы, окружат Измир — и выпутывайся тогда как хочешь! Нам хорошо здесь на кровати, Ибрагимчик! На улице холодно, я не разрешаю тебе выходить. Старуха принесет нам сейчас поесть меду с орехами.

Он хлопнул в ладоши, и вошла старуха Марфа.

— Что там творится, Марфа?

— Убивают друг друга, ага! Оба попа ранены, повыдергали друг другу бороды, Панайотарос потерял свою феску и сломал ногу, подожгли дом старика Ладаса, и льется по улице его масло и вино!

Ага громко захохотал.

— Хвалю, гяуры! — сказал он. — Как будто я вам платил, чтобы вы это сделали! Ну-ка, старуха, принеси нам меду с орехами!

Он повернулся к Ибрагимчику, который продолжал упрямиться, стремясь во что бы то ни стало вмешаться в уличное побоище.

— Да не сходи ты с ума, не вмешивайся в греческие дела, — это древнее проклятие бога! Ты послушай, что рассказал мне мой покойный дед, и постарайся понять. Все правильно сотворил аллах, говорил он мне, все! Но в одном только он оказался непредусмотрительным — взял огонь, смешал его с навозом и сотворил грека. Но как только он увидел, что наделал, тут же раскаялся, — у этого хитрюги был такой проницательный глаз, что он видел все насквозь! «Как же теперь быть? — прошептал аллах. — Вот влип! Давай-ка я теперь сотворю турка, пусть зарежет грека, чтоб в мире снова стало спокойно». Он взял мед и порох, размешал хорошенько и сотворил турка. И сразу же, без промедления, поставил их на большой поднос, чтобы они боролись. И начали они бороться: боролись с утра до вечера, и ни один из них не мог повалить другого. Но как только стемнело, подлый грек подставил ножку турку, и тот свалился. «Черт меня возьми, — прошептал аллах, — опять я влип. Эти греки погубят мир. Пропали все мои труды… Что же делать?» Всю ночь несчастный аллах не сомкнул глаз, а утром вскочил на ноги и от радости захлопал в ладоши. «Придумал, придумал!.» — крикнул он. Он снова взял навоз и огонь и сотворил другого грека. Поставил его на подносе, чтобы он поборолся с первым. Началась борьба. Один подставил ножку — подставил и другой, один бьет — бьет и другой, обманывает один — и другой тоже… Они боролись, падали, поднимались, и снова боролись, опять падали, опять поднимались и боролись. И до сих пор борются! Вот так-то, Ибрагимчик, мир вновь обрел спокойствие.

Пришла Марфа с орехами и медом.

— Открой окно, Марфа, — приказал ага. — Я хочу слышать их голоса и выстрелы, чтоб душа моя радовалась. И наполни бутыль раки. А когда уже все те, которые должны быть убиты, будут убиты, — приди и скажи мне. Я сяду на лошадь и поеду наводить порядок.

К вечеру выстрелы утихли и бойня прекратилась. Крестьяне закрылись в домах, промывали раны, мазали их, ставили банки и пили настой шалфея. При свете ламп они разглядывали свои раны. У одного было разорвано ухо, у другого не хватало нескольких зубов, у третьего был отрезан палец или подбит глаз, четвертому сломали ребра… Они осматривали и свое село: несколько ставен обгорело, кое-где были сорваны двери, исчезло три заколотых кабана, дом старика Ладаса все еще горел. Вылилось все вино и масло из его бурдюков, пропала вся пшеница…

— А что с его бедной женой Пенелопой, этой святой женщиной? — спрашивала старуха Мандаленья, которая ходила из дома в дом, мазала раны, ставила банки и прикладывала пластыри.

— Дай бог здоровья соседкам! Они из самого огня ее вытащили. Бедняжка неподвижно сидела на скамье и визжала. Даже не встала, чтобы убежать, — сжимала в руках чулок со спицами и визжала.

— А как же муж? Неужели он не бросился в пламя, чтобы спасти ее?

— Бросился, проклятый, но не жену спасать, а схватил сундук с золотыми лирами, выбежал в переулок, уселся на сундуке и заплакал. Немного погодя принесли и посадили на сундук Пенелопу. И — вы не поверите! — она тут же снова принялась вязать свой чулок… Ты права, тетушка Мандаленья, она святая женщина!

Старуха Мандаленья ушла, ругая мужчин. Вдруг дверь в одном из домов открылась и чья-то рука схватила ее за платье.

— Ты не видела моего мужа? Опять бес в него вселился! Говорят, он нацепил пистолеты и взбудоражил все село. И еще говорят, он убил саракинского попа. Правда ли это, тетушка Мандаленья?

— Твоего мужа я не видела, Гаруфаля, но я видела его феску, которую он потерял у колодца святого Василия… Сам он где-то бегает, а его феска валяется там, несчастная Гаруфаля!

— Черт бы его побрал! — воскликнула Гаруфаля и захлопнула дверь.

Старуха пошла дальше. Она торопилась, она несла самые дорогие мази, чтобы залечить раны попа Григориса.

Попа притащили в дом. Несколько соседок суетились вокруг него, готовили кофе, постные кушанья, лимонад, суп и салат из рыбьей икры, чтобы он поел и тем подкрепил свои силы.

— Это ничего, дорогой отче, — добродушно говорила ему оборванная и голодная старуха с огромным носом. — Это ничего… Ты ведь с утра не ел, отче, проголодался. Все болезни происходят от голода — поешь, отче, и скорее выздоровеешь.

Поэтому поп и ел и пил, сидя на кровати. Ему пришлось обходиться без передних зубов, которые выбил отец Фотис. Из раны на голове все еще сочилась кровь, и он с нетерпением ждал старуху Мандаленью с мазями…

Все было бы хорошо; боль начала успокаиваться, но в сердце кипела ненависть.

— Кто-нибудь видел, тетка Персефона, как этот проклятый поп свалил меня? — тихо спросил он старуху, хлопотавшую около него. — Только отвернись, будь добра, потому что из твоего носа каплет на меня.

— Да что ты говоришь, дорогой отче? Чтобы этот кузнечик тебя свалил? Спаси меня, господи — не говори ты этого! Нет, дорогой отче, никто этого не видел, никто!

Но сердце попа не успокаивалось. «Во всем, во всем виноват, будь он проклят, негодяй Манольос! Во всем! Он свел с ума Михелиса, он убил мою Марьори, он стал во главе саракинцев и повел эту голытьбу сюда. Он уговорил Яннакоса поджечь село… Во всем, во всем виноват этот предатель, этот подкупленный! Я его прикончу!»

Он вертелся с боку на бок на кровати, съел еще одну тарелку салата из рыбьей икры, выпил еще одну чашку вина.

«Я должен набраться сил, — думал он. — Я должен есть, сколько могу, чтобы подкрепиться. Завтра я встану, пойду к аге, попрошу, чтобы он призвал сюда низамов и прогнал большевиков чтобы снова воцарились порядок и справедливость в мире…»

Открылась дверь, поп обернулся.

— Добро пожаловать, Мандаленья, — сказал он. — Подойди сюда, я что-то тебе скажу на ухо.

Старуха подошла и наклонилась над попом.

— Выставь соседок, запри дверь на замок и зарежь мне курицу.

ГЛАВА XXI

На следующий день ага проснулся, прислушался — ни выстрелов, ни голосов. Тишина. Он забеспокоился.

— Гяуры, — пробормотал он, — неужели они уже кончили? Дьявол их побери, они уже не убивают друг друга!

Он позвал к себе Марфу.

— Что, они уже перестали убивать друг друга?

— Да, дорогой ага, успокоились. Но бунтовщики заняли дом старика Патриархеаса и не хотят уходить. Они говорят, что дом — их. А несчастного учителя убили.

— Убили? — закричал довольный ага. — Молодцы! С одним уже покончено. А что попы?

— Э, у них семь душ, ага, как у котов! Только морды разбиты да бороды повыдерганы, но они выживут, не умрут.

— Это плохо, — пробормотал ага. — Ну, ничего, потерпим до следующей схватки. Оседлай мне кобылу.

Горбунья собиралась уйти, но ага позвал ее снова.

— Где Ибрагимчик? С самого утра он ушел от меня.

— Пришла Пелагея, ага. Она пришла, сука, когда было еще темно.

— Дьявол ее побери! Неужели она ему еще не надоела? И что он в ней находит? Чтоб ты пропал, бесстыжий!.. Ну, ничего, он еще маленький, не может хорошее от дурного отличить! Ну ладно, оседлай мне кобылу!

Отец Фотис тоже проснулся рано утром. Его мучила боль, но он, закусив губы, старался не поддаваться ей, чтобы не показать своей слабости. Он подозвал Манольоса.

— Дорогой Манольос, — сказал он, — нужно торопиться, не теряйте времени. Раздели людей на группы, займите сады, виноградники и оливковые рощи… Пусть на каждом участке построят сарай и укрепят его для обороны, чтобы никто не мог нас выгнать. А со мной пусть останется несколько человек. Идите. Да благословит вас бог!

— Тебе еще больно, дорогой отче?

— Что значит — больно или не больно? Тут люди гибнут, а ты на такие пустяки обращаешь внимание! Собирай мужчин, идите! Ведь скоро непременно появится ага.

Манольос спустился во двор. Учитель все еще лежал на гальке посреди двора. Его глаза остекленели, их не смогли закрыть. Они смотрели вверх, в небо, хотя уже ничего не видели.

Женщины нарвали лавровых веток и прикрыли его. Какие-то старухи сидели вокруг убитого, поджав под себя ноги, и тихо, нежно, но без особой грусти, оплакивали его. Мать недавно умершего ребенка вложила в скрещенные руки учителя большую ветку базилика, чтобы он передал привет ее сыночку. Еще совсем недавно ее сын был учеником в школе Хаджи-Николиса, и учитель любил его.

Манольос собрал мужчин, разделил их на три группы. Они взяли с собой палки, оружие, продукты — сколько смогли захватить из кладовой Патриархеаса — и отправились в путь. Одна группа должна была занять сады покойного архонта, другая — виноградники, третья — оливковые рощи.

Село спало. Они быстро прошли по пустынным улицам. Дом старика Ладаса еще дымился. Снег в долине уже растаял, небо было ясное. Белоснежная вершина пророка Ильи улыбалась, окаймленная зеленью оливковых деревьев. Сельский пономарь услыхал топот ног, открыл свое окошечко, увидел саракинцев и все понял. Обрадовавшись, он быстро оделся и побежал к попу Григорису сообщить плохие новости.

— Когда поп узнает, он взбесится, — бормотал пономарь хихикая. — Мне следовало бы быть митрополитом, а ему стать пономарем. Но судьба слепа.

Он быстро стал подниматься по склону. Проснулись петухи, кое-где робко приоткрывались двери. Он добежал до поповского дома, толкнул дверь и вошел. Поп сидел на кровати и смотрел в окно, встречая новый день. Вчера вечером старуха Мандаленья намазала его разбитую голову какой-то густой желтой мазью и обвязала ее черной тряпкой. Борода его поредела, с правой стороны был выдран большой клок. Правый ус тоже пострадал. Знатный поп вышел из боя ощипанный, побитый, похожий на бездомного кота после драки.

Но он не чувствовал ни боли, ни стыда. Только одним были заняты его мысли — как бы уничтожить Манольоса. Ему было мало, что он отлучил его от церкви и выгнал из села. Он хотел его уничтожить. В нем проснулся людоед, ожили темные, первобытные инстинкты. Ему хотелось повалить Манольоса на землю, топтать ногами, впиться ему в горло и высосать кровь. Он, как голодный волк, готов был завыть от ярости. Христианская любовь и доброта, страх перед богом, ад и рай — все исчезло из головы попа Григориса, и только волчья жестокость осталась в его одичалой, опустевшей душе.

Пономарь подошел, глотая слюну, не зная, какие сказать слова, чтобы побольнее задеть попа. И в то же время ему надо было делать вид, что он и сам расстроен.

— Отче, — начал он, притворяясь, будто убит горем. — Извини меня. Большие корабли — большие бури. Ты — большой корабль, отче. На тебя бросаются волны…

— Не строй из себя дурачка, иезуит! — крикнул поп. — Я тебя хорошо знаю. Ты хотел — у-у, морда! — стать митрополитом, но не сумел, и теперь твои уста источают яд… Не заговаривай мне зубы, выкладывай поскорее, что случилось!

Пономарь рассердился, но не подал виду и капля за каплей начал изливать свой яд.

— С попом Фотисом, — сказал он плаксиво, — ничего не случилось, он живет и здравствует.

— Дальше, иезуит! Ты ведь хочешь сказать что-то другое! Изливай свою желчь!

— Саракинцы — я видел это своими глазами — отправились рано утром захватить именье старика Патриархеаса. Мы проиграли игру.

— Ах, чтоб тебя! Дальше!

— Все село покатывается со смеху. Говорят, подлые, будто поп Фотис повалил тебя на землю и уложил на обе лопатки…

— Ну-ка, иезуит, подойди поближе.

Но пономарь побоялся ручищ попа и отошел подальше, в угол.

— И самое страшное…

— Самое страшное? Говори, проклятый, выкладывай поскорее!

— Самое страшное, дорогой отче… Но мужайся, все мы люди, все умрем…

Поп схватил железную табакерку и бросил ее в голову пономаря. Но тот пригнулся, табакерка с грохотом стукнулась о дверь, и тонко нарезанный табак рассыпался по полу.

— Говори, а то встану, изобью тебя до смерти, несчастный! Итак, самое страшное?

— Как, разве ты этого не знаешь, отче? Ох, ну как же тебе это сказать? Я сейчас потеряю сознание… Твой брат, отче…

Поп не в силах был больше сдерживаться. Отбросив простыни, он спрыгнул на пол и набросился на пономаря. Но тот ухитрился сделать баррикаду из стола и двух стульев и за нею чувствовал себя в безопасности.

— Его убили, — пробормотал он плаксиво.

— Кто? Кто? — взревел поп, и из его ран на голове снова закапала кровь. — Кто его убил?

— Не знаю, отче. Где мне знать, несчастному? Говорят, его нашли в канаве с разбитой головой… В него швырнули большой камень, сделали из его головы пирог с начинкой и теперь он лежит во дворе Патриархеаса.

— А ты никого не подозреваешь, Хараламбис? Есть у тебя кто-нибудь на примете?

— Что тебе сказать, отче? Никого… Но, правда… Может быть…

— Что — правда?.. Что — может быть?.. А ну-ка, вспомни хорошенько! Ты — человек умный, ты что-нибудь, наверно, знаешь…

Поп подошел, отодвинул стулья и стол и с деланной лаской положил руку на плечо пономарю.

— Ты должен знать! Не может быть, чтоб не знал… Ты думаешь, что это…

— Э-э… э… вроде я что-то видел краешком глаза, э-э… но э…э… я не хочу согрешить…

— Не бойся ада, я здесь… Говори смело… Я тоже о нем подумал. Сатана! Ты его видел? Видел своими глазами?

Несчастный пономарь молчал. Он боялся попа, но боялся и ада. Он чувствовал, что совсем погиб.

Поп с силой потряс его.

— Ты будешь свидетелем, — сказал он ему. — Помоги мне, ты ведь знаешь, как я тебя люблю! Помоги мне одеться, я разыщу агу и отомщу за кровь брата. Значит, ты его видел, видел собственными глазами!

— Как тебе сказать, отче? Вроде видел, вроде и не видел.

Разозленный поп поднял руку. Пономарь съежился.

— Ты его видел, проклятый? Почему ты скрываешь?

Пономарь поднял глаза и увидел над собой занесенный кулак.

— Отче, — крикнул он, — дай мне время собраться с мыслями!

— Хорошо, жду.

«Я сказал, что видел его, — подумал пономарь. — Но кого — я не сказал. Значит, я не беру никакого греха на свою душу. А тогда что я теряю, если скажу: видел?»

Он успокоился и закричал:

— Я его видел, отче, я теперь вспомнил. Я его видел собственными глазами. Клянусь, я его видел, когда поп Фотис повалил тебя на землю и прижал коленом...

— Ладно, ладно, не об этом сейчас речь! Замолчи! Я тебе сказал, помоги мне одеться... Главное, что ты видел его, антихриста. Ты и не знаешь, какую услугу оказываешь христианству!

Пономарь, обрадовавшись, схватил штаны, носки, подрясник и начал одевать толстого попа. Потом обул его, надел ему на голову камилавку и, довольный, вывел его на улицу.

— Отведи меня в конак... Тише! Да не торопись же, проклятый! А теперь ступай скажи, чтобы прах учителя перенесли в церковь.

Ага уже собирался сесть на лошадь. И в этот момент увидел, что к нему, пошатываясь, еле волоча ноги, идет поп Григорис с забинтованной головой. Ага громко захохотал.

— Что за вид у тебя, поп? — крикнул он. — Кто тебе разбил голову?

— Справедливости, дорогой ага! — закричал поп, протягивая руки к аге. — Отмщения! Это Манольос! Он поднял на ноги Саракину, он поджег наше село, он разбил мне голову и убил моего брата-учителя. У меня есть свидетели! Ты представитель турецкой власти в Ликоврисси. Я прихожу к тебе и простираю руки — я прошу справедливости и мести! Передай мне Манольоса, чтобы я судил его. Этого требует все село!

— Да не кричи ты, поп, совсем меня оглушил. Ну, садись. Марфа подаст тебе кофе, чтобы ты пришел в себя! Все идет как надо, вы ведь греки, и головы у вас греческие, ударяются одна о другую и разбиваются! Все идет как надо!

— Отдай нам Манольоса! — снова закричал поп, прислоняясь к стене, чтобы не упасть.

Подбежала Марфа, пододвинула к нему стул и помогла сесть. Ага медленно надел патронташ, навесил на себя пистолеты с серебряными ручками, взял плеть.

Открылась дверь. Вошел босой старичок, сгорбленный, измятый, с обгоревшими волосами и бородой, с кровавыми подтеками на лице и руках. Он перебежал двор и упал в ноги аге.

— Дорогой ага, — закричал он, — помоги!

— Слушай, а ты случайно не дед Ладас? — спросил ага, пнув его ногой. — Что за рожа у тебя? Где ты ее приобрел?

— Меня сожгли, дорогой ага! Распороли бурдюки и разбили бочки, сожгли мои сундуки, одежду, мое сердце!

— Кто же?

— Манольос! Манольос, большевик!

— У нас есть свидетели, дорогой ага! — закричал и поп. — Его видел Панайотарос, его видел пономарь... я тоже его видел!

— Сожги его, дорогой ага, сожги его так же, как он сжег меня, — плаксиво затянул старик Ладас. — Разложим в центре площади костер, швырнем его туда, обольем смолой и подожжем!

Ага почесал затылок и, обеспокоенный, сплюнул на землю.

— Вот еще беда! Вот еще беда!.. — пробормотал он. — Будьте вы все прокляты, греки!

Он ходил взад и вперед по двору, стегая воздух плетью. И чем сильнее хлестал, тем больше злился.

— Клянусь Мохаммедом, — наконец заревел он. — Я прикажу схватить вас всех подряд — попов, старост, большевиков — и повешу вниз головой!

Он услышал скрип ворот и обернулся.

Прихрамывая, без фески, с одним только пистолетом за поясом, оборванный, в запачканной кровью и грязью одежде, с опухшим и посиневшим от побоев лицом, вошел Панайотарос.

Ага не выдержал и расхохотался.

— Это еще что за карагёз? — закричал он. — Как тебя назвать — ободранным медведем, паршивым верблюдом или Панайотаросом?

Взбешенный Панайотарос зарычал, но ничего не ответил. У него болело колено, и он с трудом стоял на ногах. Он прислонился к стене, но не удержался и упал.

Ага посмотрел на своих утренних гостей: поп, скорчившись на стуле, стонал, руки у него дрожали, и он пролил на рясу весь кофе, который принесла ему Марфа; старик Ладас, лежа на земле, медленно, как больной кролик, вертел своей лысой головой, поводил налитыми кровью глазами, шевелил губами, будто жевал что-то; Панайотарос походил на кучу грязных лохмотьев, откуда торчали патронташ, огромные ноги и распухшая морда.

— Ха-ха! — громыхал ага. — Что это за разбитые корабли? Что за изодранные знамена? Что за обгадившиеся капитаны?! Да здесь вся Греция собралась! Провоняли мне весь двор! Эй, Марфа, принеси половую тряпку, вымой-ка их хорошенько!

Оскорбленный поп поднял голову.

— Любезный ага, — сказал он, — знай, что ты будешь отвечать перед властями! Ведь здесь у нас дьявол, которого подкупила Москва, чтобы он уничтожил наше село, уничтожил Турцию! Не относись к этому легкомысленно, не смейся! Лучше замахнись и бей! Что мы делаем, когда волк забирается в стадо? Убиваем его! Отдай нам Манольоса… Пусть твоя милость не вмешивается, все село соберется сегодня перед твоим конаком и загудит. А глас народа — глас божий! Прислушайся к народу, который требует справедливости. Ты — ага села, сверши же правосудие!

Ага впал в глубокое раздумье. «Неплохо было бы избавиться от одного грека. Одним будет меньше — от этого всегда польза, а я останусь в стороне. Увидим, что получится…»

— Что тут долго думать, ага? — вскочил вдруг Панайотарос. — Я видел, как он убивал огромным камнем учителя, я видел, как он давал Яннакосу бак с керосином и говорил ему: «Подожги, Яннакос, в первую очередь конак аги, подожги эту собаку, чтобы наше село освободилось от турок».

— Ты можешь поклясться в этом, Панайотарос? — зарычал ага, и кровь бросилась ему в голову. — Можешь поклясться?

Панайотарос бросил быстрый взгляд на попа, — тот кивнул ему.

— Клянусь, ага!

— Он большевик, дорогой ага, — сказал поп Григорис, пытаясь встать со стула. — У него одна цель: взорвать Турцию! А за ним стоит Москва и поддерживает его. Если мы его оставим в живых, то он озвереет и сожрет весь мир!

— Ну, это ты уж слишком, любезный поп, — сказал ага, снова почувствовав некоторое беспокойство.

Тогда поп поднялся на ноги и, собрав все силы, подошел к аге.

— Я? Слишком? Но ведь это же ясное дело! Ты вспомни, дорогой ага, кем был Манольос в нашем селе и кем он стал? Был паршивым пастухом, слугой Патриархеаса. У него не было ни одной своей овцы, ни пяди земли. Он был жалким батраком. А через несколько месяцев, с помощью обмана и при поддержке Москвы, — пожалуйста, кем он стал? Зверем! Он поднял знамя восстания, стал убивать людей, разводить женатых, притащил черт знает откуда попа Фотиса и его голодранцев, занял Саракину, построил у нас под носом новое село, где живут одни большевики! Он дал клятву прийти к нам, поджечь конак, убить тебя, дорогой ага, разграбить Ликоврриси, а потом позвать московитов и хозяйничать у нас в селе… Ты рискуешь головой, любезный ага, будь осторожен! Волк вошел в твою овчарню, и ты должен убить его.

Ага снова задумался. До сих пор он не придавал всему этому особого значения. «Это — греческие дела, — размышлял он. — Пусть дерутся греки с греками, пусть выцарапывают друг другу глаза! Но теперь в эти дела оказались замешанными власти, Турция… Если я разрешу этому червю, Манольосу, стать зверем, что потом будет с Турцией? Придет московит и захватит ее. И тогда черт знает чем все это кончится. Козлобородый прав: волк вошел в мою овчарню — если я его не съем, он меня съест!» Ага заговорил:

— Что бы там у вас ни делалось, — мне на это наплевать. Но теперь я вижу, что это не только греческие дела — вся эта история гораздо серьезнее… Идите теперь все к черту, оставьте меня одного, я подумаю, — а дальше видно будет. Ну-ка, живо, убирайтесь!

Он поднял свою плеть и начал размахивать ею над их головами и согнутыми спинами. Все трое испуганно втянули головы в плечи, чтобы уберечься от ударов, и, прижимаясь друг к другу, бросились к двери. Позади них слышался свист плети. Потом ага захлопнул дверь ногой и остался один.

— Принеси мне бутыль раки! — крикнул он Марфе. — Мне надо все хорошенько обдумать.

Поп Григорис и Ладас помчались в село и приказали пономарю звонить в колокол, как на похоронах. Все ликоврисийцы собрались на площади. Всю ночь они переживали свое поражение, которое потерпели от голодранцев, а сегодня, израненные и избитые, были злы и жаждали отмщенья. Поп стал в центре площади — он уже ожил — и закричал:

— Дети мои, мы опозорились, нужно отомстить! Я беседовал с агой, мы обо всем с ним договорились. Кто виновен во всех наших несчастьях? Только один человек — отлученный от церкви Манольос! Но час его пробил. Ага передаст его нам, чтоб мы его судили, вынесли приговор и выпили из него кровь. Идите, дети мои, идите к дому аги, рвите на себе одежды и кричите: «Манольос! Манольос! Выдать нам Манольоса!» И ничего больше. Остальное — мое дело.

Он быстро направился к церкви, вошел в нее, упал на тело своего брата, поцеловал его, наскоро прочитал молитвы. Сейчас мысля его были заняты другим. Потом крестьяне подняли тело учителя и отнесли его на кладбище. Поп облокотился на свой посох, вспомнил свое детство и заплакал. Учителя поспешно зарыли в землю, выпили по рюмке раки за упокой его души и разошлись. Все думали о другом и торопились.

К обеду мертвецки пьяный ага принял решение. Он позвал к себе Панайотароса, который, как побитая собака, сидел на пороге и ждал приказаний.

— Иди сюда, Панайотарос, — сказал он ему. — Ты можешь ходить или совсем охромел, бедняга?

— Могу, если речь идет о Манольосе, — ответил тот.

— Я вижу, что у тебя не покрыта голова. Где же твоя феска? Что ты с ней сделал, гяур?

— Я вчера забыл ее, ага, у колодца святого Василия. Я узнал, что ее нашла старуха Мандаленья. Я попрошу ее принести мне феску.

— Надень на голову феску, возьми с собой двух сильных крестьян, если сам не надеешься справиться, пойди в деревню и приведи ко мне Манольоса. Ступай!

— Живого или мертвого?

— Живого!

Гипсоед тут же перестал хромать от радости и побежал так, как будто у него выросли крылья.

«Твой час пробил, Манольос! — бормотал он, потирая ручищи. — Теперь будь здоров, Иуда Панайотарос! Мы его сожрем!»

Манольос со своими друзьями расположился в большом саду Патриархеаса, на окраине села, около озера Войдомата. Они уже построили сарай. Манольос назначил часовых и ждал конца дня, чтобы, как стемнеет, пойти в село, узнать о здоровье отца Фотиса и посоветоваться с ним. Он услышал колокольный звон, и его охватило беспокойство.

Вскоре после обеда прибежал Костандис и принес новости:

— Поп Григорис снова поднимает людей. Он ходит с перевязанной головой, уговаривает крестьян собраться перед конаком и требовать от аги: «Передай нам Манольоса! Он виноват, он!» Они хотят схватить тебя, дорогой Манольос, свалить на тебя всю вину и осудить тебя, как вора и убийцу, за поджог села и за то, что ты большевик… Все, все сваливают на тебя… Скройся, уходи обратно на Саракину, уходи еще дальше… Твоя жизнь в опасности, они совсем взбесились!

— Мое место здесь, с моими братьями, которые тоже подвергаются опасности, — ответил Манольос. — Как же я могу уйти, дорогой Костандис? А что с другими товарищами? Ты их видел?

— Яннакос увел своего ослика из моего дома и спрятал его в большой оливковой роще, где и обосновался со своими друзьями. Отец Фотис чувствует себя лучше. Завтра, говорит, встанет и пойдет к аге. «Он турецкий варвар, — говорит отец Фотис, — но хороший человек и поймет наши справедливые требования…» Я за тебя боюсь, дорогой Манольос! Поп Григорис дал клятву уничтожить тебя…

— Дай бог, чтобы во всем он только меня обвинил, Костандис, и чтобы только меня он уничтожил! Тогда пройдет его гнев и он оставит в покое наших людей… Этого я и хочу. На все вопросы я буду отвечать — да! Да, я воровал, и никто другой. Да, я убил, я поджег село, я большевик… Я все возьму на себя, лишь бы спасти наш народ! Я сам сдамся аге.

Вытаращив глаза, Костандис смотрел на своего друга. Лицо Манольоса излучало радость; он словно вырос и стоял в саду среди деревьев, окруженный ярким сиянием. Так казалось Костандису, и он даже зажмурился от этого нестерпимого света.

— Дорогой Манольос, — сказал он, — я не могу давать тебе советов. Я знаю себя, Костандиса, свой дом, ну, в крайнем случае еще нескольких своих друзей, и это все. Ты же охватываешь взглядом целый народ. Ты с восторгом идешь на то, о чем я даже думать боюсь. То, что я называю страхом, ты называешь надеждой… Ты хочешь и можешь пойти по стопам Христа. Делай то, что велит тебе бог, дорогой Манольос…

— Пойдем, — сказал Манольос и направился к выходу из сада.

Опустив голову, Костандис пошел за ним.

Они вышли из сада и пошли по берегу озера. Небо было ясное — стоял хрустальный зимний день. В неподвижной темно-зеленой воде озера Войдомата отражались ивы и камыши. Аист стоял на одной ноге и посматривал вокруг; два других, прижав к животу ноги, парили над водой, поглядывая на нее голодными глазами.

Манольос медленным взглядом обвел все: озеро, обнаженные блестящие деревья, далекую темно-фиолетовую Саракину, ее вершину — этот сторожевой пост, покрытый снегами. Потом взглянул на долину, увидел оливковые деревья, цветущие сады, мушмулу, лимоны в густой зелени, миндальные деревья, которые уже предвещали весну, — почки на них набухли, вот-вот раскроются…

— Красив мир, — сказал Манольос и улыбнулся.

«Еще красивее иной раз душа человека», — подумал Костандис, но ничего не сказал вслух.

Они направились к селу. Колокол продолжал звонить, как на похоронах. Издалека доносился гул людских голосов, лай собак, пение петухов.

— Погода изменится, — сказал Манольос. — Ты слышишь, поют петухи?..

Но Костандис молчал, крепко сжав губы, боясь разрыдаться. Он шел, опустив голову, время от времени поглядывая на Манольоса.

И, уже подходя к колодцу святого Василия, они заметили, что за забором прячутся Панайотарос и два здоровенных крестьянина с палками в руках. На голове Панайотароса снова красовалась круглая красная феска сеиза. Костандис увидел их и остолбенел.

«Они пришли схватить его!» — подумал он. Хотел бежать, но ему стало стыдно. Он остановился, дрожа от страха.

Панайотарос обогнал своих товарищей и стремительно бросился вперед, несмотря на свою хромоту.

— Куда ты идешь, проклятый? — зарычал он, схватив Манольоса.

— Я иду к аге, Панайотарос, не злись! Я узнал, что он меня ищет, и иду сдаться ему.

Панайотарос посмотрел на него смущенно.

— И ты не боишься? — спросил он. — Ты не боишься аги, попа, села? Что за дьявол в тебе сидит?

— Я не боюсь смерти, Панайотарос, значит, никого не боюсь. Вот и весь мой секрет… Пошли!

— Иди впереди меня, а то еще удерешь! Я пойду за тобой.

Он обернулся к своей свите.

— Вы уходите, я сам справлюсь. Убирайтесь! Уходи и ты, Костандис, паршивая шкура!

Костандис не решался уйти и посмотрел на Манольоса.

— Иди, дорогой Костандис! Иди домой, к своим детям. Оставь меня.

Теперь они остались вдвоем. Долго шли молча.

— Панайотарос, — сказал Манольос тихим, ласковым голосом, — неужели ты так ненавидишь меня и хочешь моей смерти? Что я тебе сделал?

— Не говори со мной таким голосом, — зарычал Панайотарос. — Ты погубил мое сердце.

Он вспомнил тело вдовы, ее звонкий смех, ее алые горячие уста, ее сверкающие белые зубы, ее светлые волосы, ее нежный ночной лепет. Глаза Панайотароса наполнились слезами, он глубоко вздохнул, душа его разрывалась от горя.

— Когда ты умрешь, Манольос, — сказал он, — я тоже кончу свою жизнь. Я живу только для того, чтобы убить тебя… А потом зачем мне жить? Выстрел из пистолета — и пойду к черту!

Они уже входили в село. Колокол еще звонил, на площади слышался шум. Наверно, там собрались мужчины; наверно, они толпились перед конаком аги и кричали.

— Что они кричат? — спросил Манольос и остановился на секунду, чтобы послушать.

— Сейчас сам услышишь, проклятый! Шагай быстрей!

Шум не смолкал, и уже можно было различить отдельные слова. Манольос горько улыбнулся и ускорил шаг. «Иду, иду, — прошептал он. — Иду, не кричите!»

Как только Манольос показался на площади, люди в бешенстве хотели наброситься на него. Но Панайотарос стал впереди и поднял руки.

— Никто его не тронет, — заорал он, — он мой! Потерпите!

— Вор! Убийца! Большевик! — рычали люди и рвались растерзать его.

Поп Григорис заметил Манольоса издалека и в ярости кинулся к нему.

— Убейте его, дети мои! Смерть проклятому!

Но открылась дверь, Панайотарос пнул Манольоса ногой, и оба вошли в конак.

Ага сидел в комнате, скрестив ноги на своей подушке, пил раки и смотрел на раскаленные угли в медной жаровне. Стояла приятная жара, в воздухе пахло раки и колбасой. Ага от удовольствия прикрыл глаза. Через балконные двери он слышал, как шумит народ, собравшийся перед конаком: «Манольоса! Манольоса! Смерть!» Ага слушал и улыбался.

«Какая подлая раса! — думал он. — Какие они лисы, какие воинственные черти! Ворон ворону глаз не выклюет, а грек греку — и глаза, и брови, и нос! Теперь во что бы то ни стало хотят съесть несчастного Манольоса… Чем он перед ними провинился? Он глупенький, жалкий. Он не сделает ничего плохого человеку. И все же они хотят его сожрать! Притворяешься святым, твоя милость? Ну и получай по башке и катись к шайтану! Зачем мне беспокоиться? Защитить его и самому влипнуть? Вам хочется погубить этого несчастного? Возьмите его, съешьте, приятного вам аппетита! Я умываю руки и пью раки. А еще у меня есть верблюжья колбаса… И Ибрагимчик… И плеть! Все, все у меня есть!»

На веранде послышались шаги. Ага поднял голову.

Вошел веселый Панайотарос, плотно закрыл за собой дверь, низко поклонился и подошел к аге, прихрамывая.

— Я его поймал, дорогой ага! Он забаррикадировался в саду со своими людьми, — было их человек двадцать, и все вооруженные, как омары! Моих двух товарищей прошиб холодный пот. «Уходите, трусы!» — сказал я им и пошел против всех один. Вынул пистолет. «Трусы, — крикнул я, — назад! Я — Панайотарос!» Как только они меня услышали, разбежались, как зайцы! Остался только Манольос, — он, по правде говоря, не уходил… Я его схватил и привел к тебе!

— Честь твоим рукам, ты настоящий лев! — сказал ага, пряча усмешку в свежевыкрашенных усах. — Ты что-то слишком разошелся, но ведь ты настоящий грек! Врун ты… Ну, ладно, приведи его, потешимся немного!

Панайотарос выбежал, схватил Манольоса и сильным ударом втолкнул его в комнату. Манольос, скрестив руки, спокойно остановился перед агой и ждал.

— Закрой дверь, Панайотарос, и стань с той стороны! — приказал ага.

Ага наполнил чашку раки, выпил ее залпом, запихнул в рот большой кусок колбасы и начал медленно жевать, глядя на Манольоса прищуренными глазами.

— Слушай, Манольос, — сказал он наконец, — второй раз ты попадаешь в мои лапы, но мне кажется, что на этот раз живым ты не уйдешь… Много страшных грехов валят на твою голову, бедняга. Говорят, что ты крал, говорят, что ты убил, что поджег село… Правда ли это?

— Правда, ага.

Рассерженный ага нахмурился.

— Слушай, что я тебе скажу, — закричал он, — оставь свои старые штучки, не притворяйся святым, а то дьявол тебя возьмет, знай это! Чтобы ты крал, убивал… чтобы ты поджег село?! Этот номер не пройдет, Манольос!

— Я, ага, я! Притворяюсь святым, притворяюсь несчастным, не поднимаю глаз, чтобы посмотреть на людей, но душа у меня сатанинская.

Тем временем крики на площади усилились:

— Манольоса! Манольоса! Смерть!

— Ты слышишь? Кричат, чтоб я тебя им выдал. Живым ты не выйдешь из их лап, подумай над этим хорошенько.

— Я все обдумал, дорогой ага, — выдай им меня. Об одном только прошу: чтоб ты им не разрешил тронуть еще кого-нибудь. Саракинцы правы, но добром они не смогли отстоять свои права. Поэтому я постарался это сделать силой и сделал, ты сам знаешь. Я виноват, и больше никто! Они хорошие люди, дорогой ага, спокойные, честные, трудолюбивые.

— Но, говорят, они большевики? Говорят, что они хотят взорвать всю Турцию?

— Не слушай, дорогой ага! Это бедные люди, они хотят жить, хотят осесть на этой земле. Больше ничего.

Ага схватился за голову. Комната перед ним закружилась.

— Да вы, греки, с ума меня сведете! Слушаю одного — он прав, слушаю второго — он тоже прав. Я совсем запутался... Клянусь аллахом, когда-нибудь я всех вас схвачу и повешу, чтобы обрести покой!

С площади доносились все более яростные крики:

— Манольоса! Манольоса! Смерть!

— Не знаю, шайтан их подери, что и делать... — пробормотал ага. — Мне тебя жаль, несчастный человек, потому что ты, я уж говорил тебе, глупый и святой. Ты хочешь, словно наседка, прикрыть своими крыльями всю грязь мира... Мне тебя жаль, но ведь если я не удовлетворю их требования, мне самому попадет. И потом разве я уверен, что ты не большевик? Этот проклятый поп, который заставляет людей кричать во все горло, — ведь он способен дойти до паши в Измире и донести на меня, а тогда пропала моя голова! Ты понял, Манольос? Ну пусть войдет твоя милость в мое положение! Как бы ты поступил на моем месте? Не лучше ли выдать им тебя, и пусть они делают с тобой что хотят, вместо того чтоб надо мной днем и ночью висела петля? Выскажи и ты свое мнение — прав ли я?

— Ты прав, дорогой ага. Выдай им меня!

— Не говори мне этого так спокойно, потому что меня охватывает ярость! Ну скажи, что ты большевик, чтобы я разозлился, встал и выдал тебя, чтобы у меня совесть была спокойна, чтобы мне не казалось, что я выдал волкам невинного ягненка... Ты понимаешь, что мне нужно? Мне нужен собственный покой, — шайтан вас всех побери! — собственный покой! Я с удовольствием избавился бы и от тебя и от них.... Но я не хочу брать лишнего греха на душу — убивать невинного... Ты понял? Если ты мне скажешь, что ты большевик, все уладится.

— Я большевик, дорогой ага, — сказал Манольос: — Я опасен для ваших властей если бы я мог, я бы их уничтожил!

— Ну, говори еще, говори! Клянусь моей верой! Распали меня, чтобы я пришел в ярость!

— Бесчестен этот мир, дорогой ага, несправедлив, ничтожен! Самые лучшие люди голодают и терпят несправедливости, самые плохие пьют, едят и правят — без веры, без стыда, без любви. Несправедливость не может больше править! Я выйду на дороги, стану на площадях, поднимусь на крыши и закричу: идите сюда все голодные, все обиженные и все честные! Давайте объединимся и раздуем пожар, чтоб очистить землю от архимандритов, от господ, от аги.

— Говори еще, Манольос, говори, у тебя хорошо получается, я начинаю злиться.

— Я бы хотел, дорогой ага, быть таким сильным, чтобы объявить революцию во всем мире. Поднять всех людей — белых, черных, желтых, чтоб мы стали одной могучей армией голодных, чтоб мы вошли в большие прогнившие города, погрязшие в грехах и преступлениях, чтоб мы проникли в серали Константинополя и подожгли их! Но я скромный, слабый человек, батрак в селе, затерянном в глубине Анатолии, и мой голос не может быть слышен дальше Ликовриси и Саракины. Поэтому я стою между ними и проповедую: поднимайтесь, братья, вооружайтесь, дети мои! До каких пор мы будем рабами? До каких пор мы будем склонять свои шеи и кричать: «Зарежь меня, ага, чтоб я стал святым!» Вперед! Настало время! Свобода или смерть! Наши права не отдают нам добром, мы завоюем их силой! Объединяйтесь в одно войско и идите на зажиревших и потерявших совесть богачей этого села! Убивайте всех, кто будет сопротивляться! Подожгите дом скряги Ладаса! Богатый дом Патриархеаса — ваш! Войдите туда и укрепитесь там! И когда вы пустите корни и наберетесь сил, поднимайтесь и бейте агу, чтоб он убирался с греческих земель! Гоните тирана вплоть до Красной Яблони и дальше...

Но Манольос не успел закончить. Ага в бешенстве вскочил на ноги, схватил Манольоса за горло и начал душить его. Потом швырнул его на пол, открыл дверь и сильным ударом ноги столкнул с лестницы. Затем спустился сам, снова схватил его за горло, отбросил в другой конец двора и открыл ворота.

Народ ринулся к воротам, но сразу же остановился в испуге. Ага, весь желтый, с пеной у рта, держал Манольоса за горло, а за ним стоял Панайотарос с синим распухшим лицом, смеялся и делал руками знак толпе — дескать, подходите. Первым бросился вперед поп Григорис и остановился перед агой, вытянув вперед руки, готовый схватить Манольоса. Послышался хриплый, задыхающийся от гнева голос аги.

— Берите его, убейте его, изрубите его в мелкие куски, дьявол вас всех побери! — выкрикнул он и с силой захлопнул за собой ворота.

Поп подскочил к Манольосу и схватил его за плечо, Панайотарос — за другое плечо. Люди с воем окружили свою жертву, навалились на нее, начали бить, толкать, потом потащили ее в церковь. Наступила ночь, не было видно ни одной звезды, черные облака покрыли все небо. Далеко на западе загорались и гасли молнии.

Крестьяне прошли мимо платана, нетерпеливо ощупывая полуживого Манольоса, вдыхая запах его крови, и каждый старался держаться поближе к нему. Прибежал пономарь, вынул из-за пояса большой ключ, настежь открыл церковные двери, и народ повалил внутрь. Три серебряные лампады горели перед алтарем: одна перед образом Христа — богом богатых, другая — перед образом богоматери, и третья — перед образом Иоанна апостола. Все остальные великомученики и ангелы, нарисованные на стенах, тонули во мраке. И только на дверце, ведущей к алтарю и освещенной лампадой богоматери, блестели два крыла архангела Михаила и его красные, как у куропатки, ноги. В церкви пахло воском и ладаном.

Пол Григорис схватил Манольоса за горло, подтащил его к алтарю, грубо повалил на пол и заставил стать на колени перед архангелом Михаилом. Попа охватило такое нетерпение, такая радость мщенья, что он даже не мог говорить. Слова теснились, сталкивались друг с другом у него в горле, и оттуда вырывалось лишь невнятное рычание.

Панайотарос сильно ударил ногой Манольоса, стоящего на коленях с поднятой головой и молча, спокойно глядевшего на красные ноги архангела. Из толпы вышел старик Ладас, приблизился и, злобно засмеявшись, плюнул в Манольоса. Народ толпился вокруг своей жертвы и нетерпеливо, с тайной и сильной радостью ожидал минуты, когда поп подаст им знак броситься на Манольоса. Люди облизывали пересохшие губы. Язык присыхал к гортани, как будто их вдруг охватила нестерпимая жажда.

Поп Григорис вошел в алтарь, надел расшитую золотом епитрахиль, открыл святые врата и остановился. При свете трех лампад его лицо грозно сияло. Рана на голове вскрылась, и по бороде потекли струйки крови. Он кивнул Панайотаросу, тот схватил Манольоса под мышки и бросил его ничком к ногам попа. Люди подошли еще ближе, чтобы лучше видеть.

— Во имя отца, и сына, и святого духа! — послышался громкий голос попа, как будто начиналась обедня.

— Аминь! — ответили люди, и все перекрестились.

— Братья! — крикнул поп Григорис. — Станьте на колени, и все вместе попросим бога спуститься в этот час в церковь и свершить правосудие. Он здесь, господи, у твоих ног, этот отлученный, и ждет, чтоб на него пал твой меч! Он грабил, жег дома, убивал людей, разжигал вражду в народе, вносил раздор в семьи, расстраивал свадьбы, разводил мужей с женами, поссорил отца с сыном, поднял и повел голодранцев и бездельников жечь и грабить хранимое богом село Ликовриси. До тех пор, господи, пока он жив, религия и честь в опасности. До тех пор, пока он жив, христианство и греческая нация, эти две великие надежды мира, в опасности. Он подкуплен Московитом — сыном дьявола. Да сотрется с лица земли его имя! Мы собрались сегодня в твоем доме, господи, чтобы вершить суд. Спустись же к нам, вседержитель, с купола церкви и стань судьей! Направь наши руки, чтобы они привели в исполнение твой справедливый приговор!

Охваченный ликованием и гневом, поп наступил ногой на спину Манольоса и закричал:

— Я потерял свою дочь и брата — виноват он! В нашем селе начались раздоры — виновен он! Антихрист московит вошел в наше село — двери ему открыл он! На склонах Саракины появились осиные гнезда — этот рой притащил сюда он! Братья христиане, глас народа — глас божий! Решайте!

Чем больше говорил поп, тем сильнее злились люди. В мерцающем свете трех лампад ненавистью сверкали белки их глаз, скрежетали зубы, сжимались кулаки — и вся эта темная масса гудела и рычала. Панайотарос, стоя на коленях, смотрел не отрываясь на Манольоса. Он словно боялся, что тот ускользнет от него: Манольос поворачивался влево, сеиз тоже поворачивался влево, Манольос наклонялся вправо — и сеиз наклонялся вправо, готовый броситься и схватить его. А старик Ладас, стоявший рядом, вспомнил свой сгоревший дом, вспомнил свои бурдюки, бочки и заплакал.

Поп Григорис склонился к Манольосу, который спокойно сидел на ступеньке.

— Проклятый, — закричал ему поп, — встань! Подними его, Панайотарос, поставь его как следует, чтоб он не упал! Слышал, какие бедствия ты причинил селу? Слышал, какие грехи падают на твою душу? Ты можешь что-нибудь сказать в свою защиту? Можешь ли что-нибудь сказать?

— Ничего, — ответил Манольос спокойно.

— Признаешь, что ты крал, поджигал и убивал?

— Признаю. Во всем, что случилось, только я виновен, и больше никто.

— Признаешь, что ты большевик?

— Если большевик — это то, что у меня в мыслях — значит, я большевик, отче!

Церковь загудела до самого купола, где парил вседержитель. Старик Ладас выскочил вперед и закричал:

— Смерть! Смерть! Можно ли оставлять его в живых? Какая нам нужда в других свидетелях? Смерть!

Зарычали люди, рассвирепели, замахали руками.

— Смерть! Смерть!

Манольос вырвал свою руку из ручищ Панайотароса, спустился по ступенькам алтаря. Люди отступили. Манольос сделал шаг и протянул вперед руки.

— Убейте меня, — сказал он.

И, не сопротивляясь, пошел вперед, спокойный и беззащитный. На его белокурую голову падал нежный свет лампад. Люди смотрели на него с удивлением и, сами того не замечая, все время расступались перед ним, И все настолько растерялись, что, если бы в это время Манольос дошел до двери и побежал, никто не двинулся бы с места, чтобы помешать ему. Но он остановился посредине церкви, под вседержителем на куполе, и скрестил руки.

— Убейте меня, — повторил он, словно умоляя.

Поп Григорис вышел из алтаря и сделал знак Панайотаросу, чтобы тот следовал за ним. И, пригнувшись, вытянув шею, растопырив пальцы, готовый вот-вот броситься на Манольоса, сам медленно двинулся к своему врагу.

— Закройте дверь! — глухо зарычал он. — Закройте дверь, а то он уйдет от нас.

Пономарь побежал к двери, закрыл ее на ключ и уперся в нее спиной.

Глухой крик попа Григориса вывел толпу из оцепенения, и сразу же ею овладел страх — как бы не убежала дичь. Все сдвинулись и тесным кольцом окружили Манольоса. И теперь он чувствовал на своем лице тяжелое, прерывистое дыхание толпы.

На секунду Манольос заколебался. Он повернулся к двери, но она была закрыта. Тогда он посмотрел на иконостас, на освещенные, неподвижные, покрытые серебром иконы, — краснощекий Христос улыбался, богоматерь склонялась к сыну, а святой Иоанн проповедовал в пустыне... Он поднял глаза к куполу и в темноте угадал святой образ вседержителя, который парил над толпой, не знавшей сострадания. Он посмотрел на людей вокруг себя, и ему показалось, что в темноте блеснули лезвия ножей.

И снова послышался визгливый голос старика Ладаса:

— Смерть! Смерть!

В эту минуту раздался сильный стук; все замолчали и повернулись к двери. Теперь с улицы слышались голоса:

— Откройте! Откройте!

— Это голос попа Фотиса! — крикнул кто-то.

— Это голос Яннакоса, — сказал другой. — Идут саракинцы, чтобы отнять его у нас!

Дверь затрещала, зашаталась, с улицы все сильнее доносился грозный гул, крики мужчин и женщин.

— Откройте, убийцы! Побойтесь бога! — ясно слышался теперь голос попа Фотиса.

Поп Григорис поднял руки.

— Во имя господа бога, — крикнул он. — Я беру грех на себя!

Панайотарос вынул нож и обернулся к попу Григорису.

— С твоего благословения, отче! — сказал он.

— Благословляю тебя, Панайотарос!

Но толпа уже кинулась на Манольоса. Пролилась кровь, забрызгала чьи-то лица, несколько горячих, соленых капель попали на губы попа Григориса.

— Братья... — послышался тихий голос умирающего Манольоса.

Но он не успел закончить, упал на каменные плиты церкви, забился в агонии, раскинул руки, как распятый Христос. Из множества ножевых ран струилась кровь.

Толпа почуяла запах крови и кинулась на еще трепетавшее тело. Дед Ладас беззубым ртом припал к шее Манольоса и как одержимый силился вырвать кусок тела.

Панайотарос вытер нож о свои стриженые рыжие волосы, вымазал кровью свое лицо, изрытое оспой, и крикнул:

— Ты погубил меня, Манольос, я отомстил, — мы в расчете! До скорой встречи!

Поп Григорис наклонился, собрал в ладонь кровь убитого и обрызгал ею толпу.

— Его кровь на всех нас! — крикнул он.

Народ с ужасом принял на себя эту кровь.

— Откройте! Откройте, убийцы! — послышались снова голоса с улицы.

Поп Григорис сделал знак пономарю — тот подошел к нему, пошатываясь.

— Открой дверь, — приказал он, — и скорей возвращайся, чтобы смыть кровь с плит. Не забывай, что сегодня в полночь рождество Христа.

Он обратился к своей пастве.

— Пошли, братья христиане, — сказал он. — Мы выполнили свой долг. С нами бог! Теперь пусть приходит поп Фотис, пусть хоронит его.

Пономарь открыл дверь, и в темноте показались беспокойные, грозные лица мужчин и женщин.

— Где Манольос? — послышался задыхающийся голос Яннакоса.

— В церкви он. Идите возьмите его! — ответил поп Григорис. — Дайте нам дорогу!

— Если вы его убили, — закричал поп Фотис, — его кровь падет на ваши головы и на головы ваших детей.

— В церкви он, — повторил поп Григорис, — идите уберите его!

— Его убили, — заревел Яннакос и бросился в церковь.

За ним ворвались поп Фотис, Костандис, парикмахер Андонис, толстый мясник Димитрос и несколько саракинских женщин.

Когда Яннакос бежал к алтарю, он споткнулся посреди церкви и упал на труп Манольоса. Послышался его душераздирающий крик:

— Манольос!

Яннакос, весь в крови, рыдая, обнимал, целовал, ласкал своего убитого друга.

К полночи радостно зазвонил колокол, зовущий христиан в церковь, чтоб увидеть рождающегося Христа. Зажглись фонари, осветились дома. Одна за другой распахивались двери, христиане отправлялись в церковь, дрожа от холода. Ночь была тихая, темная, холодная. Только в доме Патриархеаса двери были закрыты, и прохожие слышали доносившийся оттуда гул мужских голосов, а время от времени — пронзительный женский плач.

Манольос лежал на широкой кровати старика Патриархеаса, завернутый, как новорожденный, в белые шелковые простыни из приданого матери Михелиса. Вокруг него товарищи, бледные и молчаливые, коротали ночь. Яннакос прижался головой к ногам Манольоса и плакал — тихо, бесшумно, жалобно, словно ребенок. Он устал кричать, бить себя в грудь и теперь, прижавшись лицом к ногам друга, только плакал. Костандис побежал на Саракину за Михелисом. Несколько женщин лежали в углу, отвернувшись к стене, и плакали.

Отец Фотис, наклонившись, рассматривал при свете фонаря лицо Манольоса. Оно было спокойное, очень бледное, с большой ножевой раной от виска до подбородка. Время от времени отец Фотис протягивал руку и поправлял ему волосы, на которых запеклась кровь, а потом снова склонял свою голову и погружался в размышления. Старуха Марфа совсем недавно известила его, что ага испугался и послал в Большое Село тайного гонца с просьбой прислать в Ликовриси пехоту и конницу, так как большевики вошли в село и хотят его убить.

«Они придут с винтовками, пушками, лошадьми, — думал он. — Разве можем мы сопротивляться? Нас всех уничтожат… Мы должны сейчас уйти. Нужно уйти как можно быстрее… До каких пор, боже мой, до каких пор?»

Он протянул руку и ласково, медленно провел ею по лицу Манольоса.

— Напрасно, напрасно ты отдал свою жизнь, Манольос, — прошептал он. — Тебя убили, ты взял на себя все наши грехи, ты говорил: «Я воровал, я поджигал, я убивал!» — чтобы нас оставили в покое и мы могли бы закрепиться на этой земле. Напрасно… Напрасно!

Отец Фотис слышал праздничный звон колокола, возвещавшего о том, что родился Христос и спустился на землю спасти людей. Он покачал головой, вздохнул и прошептал:

— Напрасно, напрасно, Христос… Вот уже скоро две тысячи лет, а тебя все еще распинают. И еще… Когда же ты родишься, Христос, чтоб тебя больше не распинали, чтобы ты жил с нами вечно?

Под утро отец Фотис прислонился головой к железной спинке кровати, на которой лежал Манольос, и на минуту задремал. Ему снилось, будто он гонялся вокруг зеленого раскидистого дерева за крохотной желтой птичкой, вроде канарейки. Он начал гоняться за ней, когда был еще маленьким ребенком. Проходили годы; он рос, стал юношей, потом мужчиной, у него выросли борода и усы, сначала черные как смоль, потом седые — он старел и все время гонялся за желтой птичкой. Но она ускользала от него, перелетая с ветки на ветку, и все пела, пела…

Прошла только минута, но когда священник открыл глаза, ему показалось, что прошла тысяча лет, что тысячу лет он без устали гонялся за постоянно нарождающейся силой, — за святой неуловимой птичкой, похожей на канарейку. Но в душе отец Фотис понимал, что желтая птичка, которая то смело прыгала вокруг, то щебетала, охваченная страстью, подняв к небу голову, не была канарейкой.

— Чем бы она ни была, я буду гоняться за ней до самой смерти!

Сказав это, отец Фотис вскочил на ноги, собрал всю свою паству — мужчин и женщин — на большом дворе Патриархеаса. Ночью пришли и все остальные — те, что разошлись по садам, виноградникам и оливковым рощам. Двор наполнился людьми.

— Дети мои, — сказал он. — Мужайтесь! Тяжело то, что я вам сейчас скажу, но наши плечи крепки — вынесут и это. Вчера ночью мне сообщили: сюда идет турецкое войско, чтобы выгнать нас, и нам лучше уйти, чтобы не застали никого из нас ни в Ликовриси, ни на

Саракине. Нас, греков, мало осталось в мире. Мы — пусть что угодно говорят наши враги, — мы есть соль земли, и нельзя допустить, чтоб мы погибли, братья!

— Не погибнем, отче, не беспокойся! — крикнул Лукас, уже поднявший знамя святого Георгия-всадника. — Вперед, братья, вперед за святым Георгием! И посмотрим, куда нас приведет дорога.

Все бросились разорять богатый дом Патриархеаса. Отец Фотис открыл кладовые и раздавал добро. Все нагрузились продуктами и одеждой, сняли с петель дверь, положили на нее Манольоса. Двое мужчин подняли ее на плечи, старики взяли иконы. Отец Фотис вышел вперед, и быстрым шагом все направились к Саракине.

— Мы пройдем через Саракину, — сказал священник, — похороним нашего Манольоса, разроем могилы, заберем кости наших отцов и снова отправимся в путь. Мужайтесь, дети мои! Будьте стойкими! Мы бессмертны! Двинемся снова в путь!

Они подошли к колодцу святого Василия. Отец Фотис на минуту остановился.

— Дети мои, — сказал он. — Сегодня на землю спустился новорожденный Христос, Давайте возьмем его с собой. У нас есть матери, которые покормят его… С рождеством Христовым, братья!

Яннакос замыкал шествие. Ночью он вывел своего ослика со двора Костандиса, нагрузил его, чем только мог, и теперь молча шел рядом с ним, опустив голову. Время от времени на глаза его набегали слезы и мир заволакивался туманом, но Яннакос вытирал глаза, и все вновь прояснялось в утреннем зимнем свете. Он осторожно и нежно поглаживал круп ослика, а тот шевелил хвостом, поворачивал голову и смотрел на него, ничего не понимая: что случилось с хозяином? Почему он с ним не говорит? Почему он не протягивает руку, чтобы погладить ему живот, шею и теплые уши?

Они ступили на каменистый склон Саракины и начали подниматься на гору. Впереди несли Манольоса; за ним, в молчании, шел народ. День был холодный. На вершине сверкала церковь пророка Ильи, а далеко на горизонте блестели горы — одни казались розовыми, другие — светло-голубыми.

Около пещер их ожидал Костандис. Он быстро подошел к отцу Фотису.

— Отче, — сказал он, — Михелис не хочет уходить с горы. Он взял с собой узелок с одеждой, большое евангелие, косы Марьори и поселился в келье древнего отшельника. «Мне тут хорошо, — сказал он, — я не хочу больше видеть людей — ни хороших, ни плохих — никого! Я стану отшельником!»

Отец Фотис покачал головой.

— Может быть, он и прав, дорогой Костандис, не будем нарушать его одиночества. Это его путь. А мы пойдем своей дорогой.

— А моя дорога, отче?

— Когда мы похороним Манольоса, ты вернешься обратно к своим детям, дорогой Костандис, — сказал священник и положил руку на голову преданного друга, как будто благословляя его.

Манольоса уложили на земле перед пещерой, служившей церковью. Священник надел епитрахиль и начал отпевание. Народ запел псалмы. Время от времени раздавались рыдания Яннакоса и Костандиса, иногда прерывался и голос самого отца Фотиса, Тогда псалмы продолжали петь другие люди.

По очереди все наклонялись и целовали мертвого. Могила была готова, и священник остановился на краю ямы, чтобы сказать последнее слово и проститься с Манольосом. Но горло его судорожно сжалось, и он заплакал. Одна из старух припала к мертвому, распустила свои редкие белые волосы и простилась с ним.

На чистом девственном снегу — блеск имени героя,
Но солнце растопило снег и смыло все водою…

Через несколько минут отец Фотис рукой подал знак.

— Во имя господа бога! — прошептал он. — Наш поход начинается снова. Мужайтесь, дети мои!

И они снова двинулись в путь — на восток.

Ссылки

[1] Ликовриси (греч.) — буквально «волчий источник», здесь название села.

[2] Ага (турецк .) — господин, начальник.

[3] Раки (турецк.) — виноградная водка.

[4] Сеиз (турецк.) — ординарец, страж.

[5] Райя (турецк.) — подданные, придерживающиеся христианского вероисповедания.

[6] Амане (турецк.) — монотонная песня.

[7] Наргиле — восточный курительный прибор.

[8] Кемаль-паша Мустафа Ататюрк (1880–1938) — первый президент Турецкой республики.

[9] Венизелос (1864–1936) — греческий буржуазный политический деятель.

[10] Иродиада — в евангелии иудейская царица, потребовавшая отсечения головы Иоанна Крестителя.

[11] Женевьева — католическая святая.

[12] Виктория (1819–1901) — английская королева.

[13] Мастика — древесная смола.

[14] Архонт (греч .) — правитель, глава, властелин.

[15] Пилат Понтий — в евангелии римский правитель Иудеи, выдавший Христа иудеям, требовавшим его казни.

[16] Кайафа — в евангелии иудейский первосвященник, осудивший Христа.

[17] Спаномария (греч.) — буквально «безбородый», шутливое обращение.

[18] Конак (турецк.) — правительственное здание и просто большой дом-особняк.

[19] Папафлесас — священник, один из активных деятелей греческой революции 1821–1829 годов.

[20] Фустанелла (греч .) — род короткой юбки, часть формы греческих гвардейцев.

[21] Эвзон — греческий гвардеец.

[22] «Или, или! лама савахфани?» (арамейский яз.) — «Боже мой, боже мой, для чего ты меня оставил?» В евангелии — предсмертное восклицание Христа.

[23] Афон — гора в северной Греции, знаменитая своими монастырями.

[24] Харон — в древнегреческой мифологии лодочник в подземном мире усопших, перевозчик их теней.

[25] Дигенис (греч .) — буквально «дважды рожденный», герой византийского эпоса, страж границ империи.

[26] Константин Палеолог — византийский император, погибший в 1453 году при взятии Константинополя турками.

[27] Мадиам — область в Аравии, упоминаемая в библии.

[28] Клефты (греч .) — греческие народные борцы против турецкой тирании.

[29] Низамы — турецкая стража.

[30] Салеп (турецк.) — горячий густой напиток.

[31] Тавли — восточная игра в кости.

[32] Карагёз — шут в народном театре в Турции и в Греции.

Содержание

- НИКОС КАЗАНДЗАКИС И ЕГО РОМАН «ХРИСТА РАСПИНАЮТ ВНОВЬ»
- ГЛАВА I
- ГЛАВА II
- ГЛАВА III
- ГЛАВА IV
- ГЛАВА V
- ГЛАВА VI
- ГЛАВА VII
- ГЛАВА VIII
- ГЛАВА IX
- ГЛАВА X
- ГЛАВА XI

- ГЛАВА XII
- ГЛАВА XIII
- ГЛАВА XIV
- ГЛАВА XV
- ГЛАВА XVI
- ГЛАВА XVII
- ГЛАВА XVIII
- ГЛАВА XIX
- ГЛАВА XX
- ГЛАВА XXI

2014 Связаться по вопросам размещения книг: litrespru@ya.ru